СИГРИД
УНСЕТ
КРИСТИН,
ДОЧЬ
ЛАВРАНСА
ХОЗЯЙКА

# Сигрид Унсет
# Хозяйка
## Серия «Кристин, дочь Лавранса», книга 2

*OCR Эльза & Eugeny Enin*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160370*

## Аннотация

«Кристин, дочь Лавранса» – один из лучших романов норвежской писательницы Сигрид Унсет (1882–1949), за который она была удостоена Нобелевской премии. Действие романа происходит в Норвегии в первой половине XIV века.

«Хозяйка» – вторая часть трилогии о судьбе Кристин. Героиня восстает против патриархальных традиций и наперекор воле отца отстаивает право любить избранника своего сердца.

# Содержание


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 5
I 5
II 40
III 65
IV 93
V 129
VI 150
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 192
I 192
II 222
III 270
IV 317
V 339
VI 371
VII 403
VIII 423
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 457
I 457
II 484
III 507
IV 538
V 564
VI 592

# Сигрид Унсет
# Хозяйка

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
## ПЛОД ГРЕХА

### I

Вечером накануне дня святого Симона парусная ладья Борда, сына Петера, причалила к песчаной отмели у Биргси. Сам аббат Улав из Нидархолмского монастыря[1] выехал верхом на берег встретить своего родича Эрленда, сына Никулауса, и поздравить с приездом его молодую жену. Аббат пригласил новобрачных быть его гостями и переночевать в Витте.

Эрленд провел по мосткам смертельно бледную молодую женщину – Кристин чувствовала себя отвратительно. Аббат шутливо заговорил о тяготах морского перехода; Эрленд рассмеялся и сказал, что его жене, верно, хочется поскорее лечь в постель, крепко приделанную к стене горницы. Кристин изо всех сил старалась улыбаться, а про себя думала,

---

[1] *Нидархолмский монастырь был расположен на островке у г. Нидароса.*

что по доброй воле никогда в жизни не взойдет на корабль. Ее начинало тошнить, едва Эрленд приближался к ней, – так пахло от него кораблем и морем; волосы у него совершенно слиплись от соленой воды и висели космами. Он был просто пьян от радости, пока они плыли на корабле. А господин Борд смеялся: там у них, в Мере, где он вырос, мальчишки не вылезают из лодок, плавают под парусами и гребут с раннего утра и до поздней ночи. Правда, и Эрленд и господин Борд немного жалели Кристин, но, ей казалось, недостаточно – так ей было худо. Они все твердили, что морская болезнь прекратится, как только привыкнешь к плаванию на корабле. Но ей было одинаково скверно все время.

Даже на следующее утро, когда она ехала верхом через поселки, ей казалось, что она все еще плывет по морю. Дорога шла то вниз, то вверх по большим, крутым глинистым холмам, и если Кристин пробовала глядеть, не отводя взора, на какую-нибудь точку впереди, среди дальних лесистых гор, то будто вся местность кругом уходила из-под ног, вздымалась волнами и обрушивалась на светлое, голубоватое зимнее утреннее небо.

Целая толпа друзей и соседей Эрленда явилась с утра в Вигг проводить новобрачных до дому, так что ехали они в сопровождении огромной свиты. Земля звенела под копытами – она была тверда, как железо, от заморозков. От людей и лошадей шел пар; иней оседал на телах животных, на волосах и меховой одежде мужчин. Эрленд казался таким же

седым, как и аббат, лицо его разгорелось от утреннего питья и жгучего ветра. На нем была брачная одежда, и он выглядел таким юным, таким радостным, что весь светился; в его красивом, мягком голосе слышались веселость и озорство, когда он, смеясь, перекликался с гостями.

Сердце у Кристин начало как-то странно трепетать – от грусти, от нежности, от страха. Она не совсем оправилась после морского перехода, а тут еще эта болезненная изжога, которая появлялась теперь, стоило ей только съесть или выпить что-нибудь, хотя бы самую малость; ей было ужасно холодно, а душу жгла глухая злоба на Эрленда за то, что он так беспечен… И все же теперь, когда она увидела, с какой доверчивой гордостью, с каким сияющим ликованием везет он ее к себе домой как супругу, в глубине ее души зашевелилось горькое раскаяние; грудь заныла от сострадания к нему. И она пожалела, что послушалась тогда совета, подсказанного ее своеволием, и не дала понять Эрленду, когда он был у них дома минувшим летом, что совсем не годится справлять их свадьбу с излишним шумом. Но тогда ей хотелось, чтобы он сам понял – без унижений им не уйти от деяний своих…

…Да и кроме того, она побоялась отца. И думала, что потом, когда их брак будет запит свадебным пивом, они уедут так далеко и ей не скоро придется увидеть опять свою родную долину… А тогда уже прекратятся навсегда всякие толки о ней…

Теперь она увидела, что все обернулось гораздо хуже.

Правда, Эрленд говорил, что хочет устроить в Хюсабю большой пир по случаю возвращения домой, но она и в мыслях не имела, что тут будет как бы второе свадебное пиршество. А ведь здешние гости – это люди, среди которых им с Эрлендом жить, их уважение и дружбу им нужно приобрести. У этих людей перед глазами все эти годы проходили сумасбродства и несчастья Эрленда. И ныне он сам поверил, что поднялся в их мнении, что займет теперь место между равными себе, на которое имеет право и по рождению и по состоянию. А вот теперь он станет посмешищем во всей округе, когда выяснится, что он согрешил со своей собственной нареченной невестой…

Аббат наклонился с седла к Кристин.

– Что вы такая грустная, Кристин, дочь Лавранса? Все еще не оправились от морской болезни? Или, быть может, тоскуете по матушке?

– Да, господин, – сказала тихо Кристин, – я задумалась о матери.

* * *

Так добрались они до Скэуна.[2] Ехали высоко по лесистому горному склону. Под ними в глубине долины стоял лиственный лес, белый и косматый от инея; все сверкало на солнце,

---

[2] *Скэун – округа и области Трендслаг, или Трондхейм, около г. Нидарос; здесь находилось имение Эрленда – Хюсабю.*

и далеко внизу чуть поблескивало синее озерко. Потом выехали из елового бора. Эрленд протянул руку.

– Видишь, вот и Хюсабю, Кристин! Дай тебе Боже провести там много радостных дней, жена моя! – произнес он взволнованным голосом.

Перед ними простирались обширные, белые от инея пашни. Усадьба стояла, словно на широкой полке, прямо посредине склона холма. Ближе всего была маленькая церковка из светлого камня, а прямо на юг от нее – дома. Их было много, и они были большие: дым клубами поднимался из отдушин. Зазвонили колокола, и народ потоком хлынул из усадьбы навстречу с громкими приветственными криками. Молодежь среди поезжан стала бить оружием по оружию – с шумом, с гамом, с радостными криками двигался свадебный поезд к усадьбе новобрачного.

* * *

Остановились перед церковью; Эрленд снял с лошади молодую и повел ее за руку к входу в церковь, где стояла вышедшая к ним навстречу целая толпа священников и служителей. В церкви был пронизывающий холод, дневной свет просачивался через маленькие полукруглые окна, рассеивая бледное сияние свечей на хорах.

Кристин почувствовала себя потерянной и испуганной, когда Эрленд выпустил ее руку и перешел на мужскую сто-

рону, тогда как она вошла в толпу чужих, празднично одетых женщин. Служба была истовой. Но Кристин казалось, что ее молитвы неслись, как дуновение, обратно к ней, когда она делала попытку облегчить свое сердце и вознести его горе. Она подумала: быть может, это недобрый знак, что сегодня Симонов день – день святого покровителя того человека, с которым она поступила нехорошо.

* * *

Из церкви все направились процессией к усадьбе: впереди – священники, потом Кристин с Эрлендом рука об руку и, наконец, гости пара за парой. Кристин не могла настолько собраться с духом, чтобы как следует разглядеть усадьбу. Двор был длинный и узкий, дома расположены в два ряда по южной и по северной сторонам. Они были большие и тесно примыкали один к другому, но по виду казались ветхими и запущенными.

Шествие остановилось у двери жилого дома, и священники окропили ее святой водой. Затем Эрленд повел Кристин через темные сенцы. Справа от нее распахнулась дверь, и хлынул поток ослепительного света. Кристин нагнулась, проходя под притолокой, и очутилась вместе с Эрлендом в его горнице.

Такого огромного покоя Кристин еще никогда не видела ни в чьем жилом доме. Посредине пола был устроен очаг,

такой длинный, что огонь был зажжен по обоим концам его; покой был такой ширины, что поперечные балки подпирались резными столбами, – Кристин показалось, что это скорее церковь или королевские палаты, чем горница в усадьбе. У восточной короткой стены, где посредине шедшей вдоль нее скамьи было почетное место, по бокам были вделаны между столбов закрытые со всех сторон кровати.

В горнице горело множество свечей – на столах, гнувшихся под тяжестью дорогих кубков и блюд, в канделябрах, приделанных к стенам. По стародавнему обычаю, между растянутыми по стенам коврами висели щиты и оружие. За почетным местом стена была обтянута бархатом, и какой-то человек навешивал там теперь отделанный золотой насечкой меч Эрленда и его белый щит с красным вздыбленным львом.

Слуги и служанки приняли от гостей их верхнюю одежду. Эрленд взял свою супругу за руку и подвел к очагу; гости расположились сзади них полукругом. Какая-то толстая женщина с добродушным лицом выступила вперед и оправила на голове Кристин слегка смявшуюся полотняную повязку. Отступая назад на свое место, она кивнула молодым и улыбнулась. Эрленд с улыбкой кивнул ей в ответ и взглянул на жену. В этот миг он был так красив лицом! И опять Кристин почувствовала, что сердце у нее упало, – ей стало ужасно жалко Эрленда. Она знала, о чем он сейчас думает, глядя, как она стоит здесь, в его горнице, в длинной белоснежной полотняной повязке, спускающейся на алое подве-

нечное платье. Сегодня утром Кристин пришлось туго обмотать себе живот под платьем длинным тканым поясом, чтобы оно сидело на ней красиво, и натереть щеки румянами, которые подарила ей фру Осхильд. И тогда, приводя себя в порядок, Кристин подумала гневно и горестно, что Эрленд не очень-то часто посматривает на нее теперь, когда она всецело принадлежит ему, раз он до сих пор ничего не понимает! Теперь она горько раскаивалась в том, что ни о чем ему не рассказала.

Пока новобрачные стояли так, рука об руку, священники обходили кругом всю горницу, благословляя дом, и очаг, и постель, и стол.

Затем служанка подала Эрленду ключи от хозяйства. Эрленд прицепил тяжелую связку к поясу Кристин, – и было видно при этом, что ему больше всего хотелось бы тут же поцеловать жену. Какой-то мужчина поднес большой рог, оправленный в золотые кольца, – Эрленд поднес его к губам и выпил за здоровье Кристин.

– Добро пожаловать в дом свой, хозяйка!

А гости стали кричать и смеяться, пока она пила вместе с мужем своим, выплеснув затем остатки вина на огонь очага.

Тут игрецы заиграли, и Эрленд, сын Никулауса, провел свою супругу на почетное место, а свадебные гости сели за столы.

* * *

На третий день гости начали разъезжаться, на пятый день к вечернему часу уехали и последние. И вот Кристин осталась одна со своим мужем в Хюсабю.

Первым делом она велела слугам вынуть все из кровати, вымыть ее и стены кругом щелоком, а солому выкинуть и сжечь. Затем велела положить в кровать свежей соломы и застелила ее постельным бельем из того, что она привезла с собой. Уже был поздний вечер, когда эта работа закончилась. Кристин приказала сделать то же самое со всеми кроватями в усадьбе и пропарить в бане все меховые покрывала, – служанки должны были заняться этим сразу же с утра со всем усердием, чтобы справиться с работой до наступления праздника. Эрленд качал головой и смеялся: вот так жена! Но ему было довольно стыдно.

Кристин почти не спала первую ночь, хотя священники и благословили ее постель. Подушки были в шелковых наволочках, кровать застлана полотняной простыней, прекраснейшими покрывалами и мехами, но снизу лежала грязная и сгнившая солома; в великолепной черной медвежьей шкуре, лежавшей сверху, были вши.

Много чего увидела Кристин уже за эти дни. Под дорогими коврами, покрывавшими стены, бревна сруба были не отмыты от копоти и грязи. Огромное количество кушаний по-

давалось на пиру, но многое было испорчено и скверно приготовлено. Чтоб развести огонь в очаге, приходилось брать сырые дрова, которые ни за что не хотели загораться и наполняли горницу дымом.

Запущенность в хозяйстве Кристин видела повсюду, совершая на второй день обход вместе с Эрлендом и осматривая усадьбу. Когда прием гостей закончится, все клети и сараи опустеют; закрома с мукой уже почти подчищены. И не могла она понять, каким образом предполагает Эрленд прокормить всех лошадей и такое множество рогатого скота теми запасами сена и соломы, которые у него были; а лиственного корма не хватит, пожалуй, и на мелкий рогатый скот.

Но зато нашелся чердак, наполовину полный льном, никак не использованным, – тут, должно быть, сложили большую часть урожая многих лет. И потом еще сарай, набитый старой-престарой немытой и вонючей шерстью, частью в мешках, а частью просто наваленной как попало. Когда Кристин взяла горсть, из нее дождем посыпались маленькие коричневые яички: в шерсти завелись моль и черви.

Скотина была в жалком состоянии, заморенная, опаршивевшая и в струпьях, – никогда еще Кристин не приходилось видеть столько одряхлевших животных сразу в одном месте. Только кони были красивы и хорошо содержались. Но ни одного из них нельзя было и сравнить с Гюльдсвейном или с Рингдроттом – тем жеребцом, который был у ее отца теперь. Слёнгванбэуге, подаренный ей отцом и приведенный Кри-

стин сюда, был самым красивым конем из всех, что стояли на конюшне в Хюсабю. Подойдя к нему, Кристин невольно обняла его за шею и прижалась лицом к конской морде. А эти здешние вельможи разглядывали коня и расхваливали его крепкие сильные ноги, выпуклую грудь, высокую шею, маленькую голову и широкий круп. Старик из Гимсара чертыхался и божился, что это был сущий грех – холостить такую лошадь, – какой из него вышел бы боевой конь! Тут Кристин немного похвасталась отцом его, Рингдроттом. Тот был гораздо больше и сильнее, ни один жеребец не мог перегнать его. Ведь отец Кристин выпускал его против самых знаменитых коней со всех округ, вплоть до самого Согна. Удивительные имена дал Лавранс этим коням – Рингдротт и Слёнгванбэуге,[3] потому что они были золотистой масти, как светлое золото, и словно помечены красновато-золотистыми кольцами. Мать Рингдротта как-то летом убежала из конюшни в горы; все думали, что ее задрал медведь, но она вернулась домой в усадьбу поздней осенью. И жеребенок, которого кобыла принесла год спустя, конечно, был зачат не от жеребца, что принадлежал людям по эту сторону горного порога.[4] Поэтому жеребенка окурили серой и хлебом, а кобылу Лавранс подарил церкви для пущей безопасности. Но жеребенок так

---

[3] *Рингдротт – Король колец, Слёнгванбэуге – Испещренный кольцами.*

[4] *«По эту сторону горного порога» (дословно – «по эту сторону камня») жили люди, а по ту сторону горного порога, то есть внутри гор, по норвежскому поверью, жили могучие огненные великаны йотуны, или тролли.*

выправился, что теперь Лавранс готов скорее лишиться половины своего имущества, чем Рингдротта.

Эрленд рассмеялся и сказал:

– Ты, Кристин, вообще не словоохотлива, но когда заговоришь об отце, становишься красноречивой!

Кристин сразу же замолчала. Она вспомнила лицо отца, когда нужно было уезжать с Эрлендом и Лавранс подсаживал ее на коня. Он старался принять веселый вид, потому что вокруг них собралось столько народу, но Кристин увидела его глаза. Он погладил ее по плечу и взял за руку на прощание. А она думала тогда, как хорошо, что можно уехать из дому. Но теперь ей казалось, что сколько бы она ни прожила на свете, душу ее будет жечь огнем, как только она вспомнит отцовские глаза в тот час.

* * *

И вот Кристин, дочь Лавранса, принялась хозяйничать в доме своем. По утрам она вставала с петухами, хотя Эрленд возражал и делал вид, будто хочет удержать ее силой в постели, – ведь никто же не ждет от молодой, чтобы она бегала по двору задолго до рассвета!

Когда Кристин увидела, как все здесь запущено и сколько тут такого, к чему нужно приложить руки, ее пронзила ясно осознанная мысль: пусть она взяла на свою душу грех и приехала сюда, но еще более грешно обходиться с Божьи-

ми дарами так, как с ними обходились здесь. Да будет стыдно тем, кто распоряжался тут до нее, и всем, кто допускал, чтобы имущество Эрленда так расточалось! В последние два года в Хюсабю не было настоящего распорядителя; сам Эрленд в это время часто бывал в отъезде, да и вообще он мало смыслил в ведении хозяйства. Поэтому не удивительно, что приказчики Эрленда в дальних приходах обманывают его, – Кристин это было ясно, – а слуги и служанки в Хюсабю работают сколько им самим заблагорассудится и лишь тогда и так, как это их устраивает. Кристин было теперь нелегко опять наводить всюду порядок.

Однажды она заговорила об этом с Ульвом, сыном Халдора, личным слугой Эрленда. Нужно бы закончить теперь же обмолот зерна, во всяком случае усадебного, – его не так-то уж и много, – пока не наступило время убоя скота на зиму. Ульв сказал:

– Ты знаешь, Кристин, я не усадебный работник. Нас с Хафтуром предназначали в оруженосцы Эрленда, и я уже мало что понимаю в делах крестьянских.

– Я знаю, – ответила хозяйка. – Но видишь ли, Ульв, нелегко мне будет управляться здесь зимой, ведь я тут, на севере, человек новый и незнакома с нашими людьми. Очень было бы хорошо с твоей стороны, если бы ты захотел пособить мне и поруководить мной.

– Я понимаю, Кристин, что нелегко тебе будет зимой, – сказал слуга, глядя на нее с улыбкой – с той странной улыб-

кой, что всегда у него появлялась, когда он разговаривал с Кристин или с Эрлендом. Он улыбался дерзко и насмешливо, но все же в его поведении чувствовались доброта и своего рода уважение к Кристин. К тому же Кристин казалось, что она не вправе оскорбляться, если Ульв обращается с ней развязнее, чем это может считаться пристойным. Сама она вместе с Эрлендом допустила, что этот слуга стал соучастником в их распутных и бесчестных деяниях. Кристин поняла, что он знает также, в каком она сейчас положении. Приходится это терпеть; и, кроме того, она видела, как Эрленд все позволяет Ульву, а тот не питает особого почтения к своему хозяину. Но они дружили с детских лет. Ульв был родом из Мере, отец его, мелкий крестьянин, жил около усадьбы Борда, сына Петера. Ульв был на «ты» с Эрлендом, а теперь и с Кристин, – но местные жители здесь, на севере, говорят «ты» гораздо чаще, чем у них дома.

Ульв, сын Халдора, был довольно красивый мужчина, высокий и смуглолицый, с прекрасными глазами, но грубый и несдержанный на язык. Кристин слышала о нем от служанок усадьбы гадкие вещи; когда он бывал в городе, то ужасно напивался, безобразничал и распутничал в портовых заведениях, но дома, в Хюсабю, он был человеком, на которого больше всего можно положиться, – самым толковым, самым работящим и самым рассудительным. Кристин привязалась к нему.

– Всякой женщине было бы нелегко явиться сюда в усадь-

бу после всего того, что тут делалось, – сказал он опять. – И все же я считаю, Кристин, хозяйка, что ты справишься лучше, чем это вышло бы у большинства женщин. Ты не из таких, чтобы сидеть да хныкать и плакать, ты будешь думать о том, как бы тебе самой спасти наследство для своего потомства, раз никто другой об этом не заботится. И ты отлично знаешь, что можешь положиться на меня; я буду помогать тебе, насколько окажусь способным. Ты должна помнить, что я непривычен к крестьянской работе. Но если ты станешь советоваться со мной и позволишь мне обращаться к тебе за советом, то мы как-нибудь одолеем эту зиму.

Кристин поблагодарила Ульва и вошла в дом.

У нес было тяжело на сердце от страха и беспокойства, но она пыталась забыться за работой. Одного она не понимала в Эрленде: по-видимому, он все еще ничего не подозревал! Но еще хуже было то, что она не чувствовала жизни в ребенке, которого носила. Она знала, что после двадцати недель он должен ожить, а теперь уже прошло больше трех недель сверх этого срока. Она лежала по ночам, чувствуя бремя, которое росло, делалось тяжелее и продолжало оставаться все таким же тупым и безжизненным. Ей вспоминалось то, что она слышала о детях, рождавшихся параличными, с затвердевшими сухожилиями; о зародышах, которые появлялись на свет без рук, без ног и едва обладали человеческим образом. Перед ее закрытыми глазами представали страшные маленькие грудные дети-уродцы; одно ужасное

видение сменялось другим, еще более ужасным. Там, у них дома, на юге долины, в Листаде, в одной семье родился ребенок, – теперь он уже, наверное, взрослый. Отец Кристин видел его, но никогда не хотел о нем говорить; она заметила, что ему становилось нехорошо, когда кто-нибудь упоминал об этом. На что он мог быть похож?.. Ах нет! Святой Улав, помолись за меня!.. Нужно крепко верить в милосердие святого короля, ведь она же отдала свое дитя под его покровительство; терпеливо будет она страдать за свои грехи, полагаясь от всего сердца на милость для своего ребенка. Должно быть, сам нечистый искушает ее такими безобразными видениями, чтобы довести до отчаяния… Но по ночам было тяжело. Если у ребенка нет рук или ног, если он паралитик, то, понятно, мать не чувствует признаков его жизни!.. Эрленд замечал в полусне, что жена лежит неспокойно, крепче обнимал ее и прижимался лицом к ее шее под подбородком.

Днем Кристин вела себя как ни в чем не бывало. И каждое утро, одеваясь, заботилась о том, чтобы скрыть, хоть еще ненадолго, от слуг и служанок, что она ходит не одна.

В Хюсабю было принято, что после ужина все слуги расходятся по домам, где они спят. Поэтому Кристин и Эрленд оставались одни в большой горнице. Вообще здесь, в усадьбе, все свычаи и обычаи напоминали стародавние дни, когда у людей были рабы и рабыни для домашних работ. В горнице не стояло привычных столов; по утрам и вечерам накрывался большой стол, положенный на козлы, и после трапезы его

вешали на стену. Во время всякой другой еды люди брали пищу к себе на скамьи, там и ели. Кристин знала, что таков был раньше обычай. Но в нынешние времена, когда люди с трудом находят мужчин, чтобы прислуживать за столом, и всем приходится довольствоваться служанками для домашних работ, такой обычай уже больше не годится: женщины не желают выбиваться из сил и терять здоровье, поднимая тяжелые столы. Кристин вспомнила, как ее мать рассказывала, что в Сюндбю ввели постоянные столы, когда ей было всего восемь зим от роду, и женщины сочли это нововведение очень полезным. Теперь им больше не надо было уходить в терем с разным шитьем, можно было сидеть в горнице, где всегда горели свечи в подсвечниках, а на столе красовалась выставленная напоказ ценная посуда. Кристин подумала: к лету она попросит Эрленда поставить стол у северной длинной стены.

Так было у них дома, а отцовское почетное место находилось в конце стола, кровати стояли у стены, отделяющей горницу от сеней. Дома ее мать сидела выше всех на крайней скамье, чтобы можно было уходить и приходить и присматривать за тем, как подают на стол. Только когда бывали гости, Рагнфрид садилась рядом с хозяином дома. Но здесь почетное место было посредине восточной стены, и Эрленд выразил желание, чтобы Кристин всегда сидела там вместе с ним. Дома отец всегда просил Божьих слуг садиться на почетное место, если такие гости посещали Йорюндгорд, и сам

он с Рагнфрид прислуживал им, пока те ели и пили. А Эрленд так не поступал, разве только когда гости бывали высокого звания. Он не очень любил священников и монахов: эти друзья обходятся дорого, так он считал. Кристин не могла не вспомнить о том, что всегда говорили ее отец и отец Эйрик, когда люди жаловались на жадность церковников к деньгам: каждый забывает о своем греховном удовольствии, когда ему приходится платить за него.

Кристин расспрашивала Эрленда о жизни, которую вели здесь, в Хюсабю, в стародавние дни. Но тот знал об этом до странности мало. Он слышал то-то или то-то, если память его не обманывает, но не мог ничего вспомнить как следует. Этим поместьем владел король Скюле, и он же строил здесь, – говорят, имел намерение превратить Хюсабю в свою главную усадьбу после того, как отдал Рейн женскому монастырю. Эрленд очень гордился своим происхождением от герцога, которого всегда называл королем,[5] и от епископа Никулауса; тот был отцом его деда Мюнана, Епископского сына. Но Кристин казалось, что Эрленд знает об этих людях не больше, чем известно ей самой из рассказов отца. Дома у них было иначе. Ни отец ее, ни мать не кичились могуществом и почестями своих отдаленных предков. Но они часто поминали их, выставляя все то хорошее, что им бы-

---

[5] *Ярл – впоследствии герцог – Скюле, возглавлявший имеете с епископом Никулаусом аристократическую партию баглеров, претендовал на королевское звание, но не получил официального признания. Мюнан, Епископский сын, и его сын Никулаус – также исторические лица.*

ло о них известно, в виде доброго примера и рассказывая об их ошибках и о том зле, которое проистекло от этого, в виде предостережения. Знали они и шутливые предания о Йеслинге Иваре Старом и его вражде с королем Сверре, о быстрых и остроумных ответах Ивара Провста, о невероятной тучности Ховарда Йеслинга, о неслыханной охотничьей удаче Ивара Младшего Йеслинга. Лавранс рассказывал о брате своего деда, который увез шведскую королевну из монастыря Врета,[6] о своем деде, шведском рыцаре Кетиле, и о своей бабке Рамборг, дочери Сюне, которая вечно тосковала по дому в Вестергэутланде и, едучи по озеру Вэнер, провалилась под лед, когда однажды гостила у своего брата на Сульберге.[7] Он рассказывал о воинской отваге своего отца и о его несказанной печали, когда он потерял свою первую юную супругу Кристин, дочь Сигюрда, умершую при рождении Лавранса. И читал по книге о своей прабабке, святой фру Элин из Скёвде, сподобившейся принять мученическую смерть за Господа. Отец часто говорил, что ему с Кристин следует совершить паломничество на могилу этой святой вдовы. Но так и не собрался.

В своем страхе и отчаянии Кристин пыталась молиться этой святой, с которой была связана узами кровного родства. Она молилась святой Элин о своем ребенке и целовала крест,

---

[6] *Похищение Лаврансом Лагманом шведской королевны из монастыря Врета описывается в ряде старинных исторических легенд и баллад.*

[7] *Вестергуэтланд, озеро Вэнер, Сульберга находятся в Швеции.*

полученный от отца; в этом кресте был кусочек савана святой женщины. Но Кристин, с тех пор как сама навлекла на свой род такой позор, боялась святой Элин. Когда же она молилась святому Улаву и святому Томасу об их заступничестве, она часто чувствовала, что ее мольбы доходят до живого слуха и до сострадательных сердец. Этих двух праведных мучеников ее отец любил больше всех других святых, даже больше самого святого Лаврентия, хотя и носил его имя и всегда отмечал его день в конце лета большим пиром и щедрой милостыней. Святого Томаса отец сам видел как-то во сне, когда лежал раненый под Богахюсом. Никто из людей не мог бы высказать словами, какой был ласковый и почтенный вид у святого, да и сам Лавранс не мог ничего вымолвить и только повторял: «Господи! Господи!» Но окруженный сиянием епископ благостно прикоснулся к его ране и пообещал Лаврансу, что он будет жить, выздоровеет и опять увидит жену и дочь, как он молил о том. А перед тем никто не верил, что Лавранс, сын Бьёргюльфа, доживет до рассвета.

– Да, – сказал Эрленд. – Всякое говорят. Со мной-то никогда такого не случалось, да, верно, и не случится: ведь я не отличался благочестием, не то что Лавранс!

Затем Кристин спрашивала Эрленда, кто это был с ними на пиру, когда они прибыли в Хюсабю. Эрленд и о них не мог ничего толком рассказать. Кристин поразило, что ее муж не походит на местных жителей. Многие из них были красивы, светловолосы и краснощеки, сильные и крепкого телосложе-

ния, среди стариков встречались невероятно тучные. Эрленд казался заморской птицей среди своих гостей. Он был на голову выше большинства мужчин, строен и худощав, с тонкими руками и ногами. И у него были черные, мягкие как шелк волосы, смуглая бледность кожи, но голубые глаза под черными как уголь бровями и пушистыми черными ресницами. Лоб у него был высокий, виски впалые, нос немного великоват, а рот несколько маловат и слишком слабый для мужчины. И все же Эрленд был красив! Никто из мужчин не был и вполовину так красив, как Эрленд. Даже его мягкий, тихий голос не походил на тяжелую речь других людей.

Эрленд рассмеялся и сказал, что ведь род-то его происходит не из этих мест, если не считать его прабабки, Рагнрид, дочери Скюле. Люди говорят, что он очень похож на своего деда с материнской стороны, Гэуте, сына Эрленда, из Скугхейма. Кристин спросила, а что ему известно об этом человеке. Оказалось – почти ничего.

* * *

Как-то вечером Эрленд и Кристин раздевались. Эрленд не мог развязать завязку башмака и разрезал ремешок; нож соскользнул и поранил ему руку. Эрленд потерял много крови и страшно ругался. Кристин достала полотняную тряпочку из своего сундучка. Она была в одной сорочке. Эрленд обнял стан жены здоровой рукой, пока Кристин делала перевязку.

Вдруг он испуганно и смущенно заглянул ей в лицо и густо покраснел. Кристин поникла головой.

Эрленд убрал руку. Он ничего не сказал, когда Кристин тихо отошла от него и забралась в постель. Сердце у нее билось глухо и сильно. Изредка она поглядывала на мужа. Тот повернулся к ней спиной и медленно снимал с себя одежду. Потом подошел к кровати и улегся.

Кристин ждала, что он заговорит. Она ждала с таким нетерпением, что по временам сердце ее словно не билось, а трепеща замирало у нее в груди.

Но Эрленд не сказал ни слова. И не привлек ее в свои объятия.

Наконец он нерешительно положил свою руку ей на грудь, прижавшись подбородком к ее плечу так, что колючая щетина бороды вонзилась Кристин в тело. Он все еще ничего не говорил, и Кристин повернулась к стене.

Она словно погружалась и погружалась куда-то. Нет у него для нее ни единого слова, а ведь теперь он знает, что она носила его дитя все это долгое, тяжелое время. Кристин стиснула зубы в темноте. Умолять его она не будет, – если он хочет молчать, она тоже будет молчать – хоть до самого того дня, когда у нее родится *оно*. Гнев заливал ее душу. Но она лежала тихонько, как мертвая, у стены. И Эрленд тоже лежал тихо в темноте. Час за часом лежали они так, и каждый из них знал, что другой не спит. Наконец Кристин услышала по его ровному дыханию, что он задремал. Тогда она дала волю

своим слезам – от горя, от оскорбления, от стыда. И ей казалось, что этого она никогда ему не простит.

* * *

Три таких дня прожили Эрленд и Кристин. «Он ходит словно мокрая собака», – думала о нем молодая жена. Ее бросало в жар и холод от гнева, она не помнила себя от озлобления, видя, что он испытующе поглядывает на нее, но немедленно отводит глаза, если она обращает к нему свой взгляд.

* * *

На четвертый день утром Кристин сидела в горнице, когда туда вошел Эрленд, одетый для поездки верхом. Он сказал, что едет на запад, в Медалбю. Не хочет ли она поехать вместе с ним взглянуть на усадьбу, – она ведь принадлежит ей как свадебный подарок от мужа. Кристин ответила: «хорошо», и Эрленд сам помог ей натянуть мохнатые сапоги и надеть черный с серебряными застежками плащ с рукавами.

Во дворе стояли четыре оседланные лошади, но Эрленд сказал, что Хафтур и Эгиль могут оставаться дома и помогать молотить. Потом сам посадил жену в седло. Кристин поняла, что Эрленд задумал поговорить о том, что лежало меж-

ду ними невысказанным. И все же он ничего не сказал, пока они медленно ехали на юг к лесу.

Уже давно начался месяц убоя скота, но снег еще не выпал в этой стороне. День был свежий и чудесный; солнце только что поднялось, и лучи его сверкали и отливали золотом на белом инее повсюду – на земле и на деревьях. Кристин и Эрленд ехали по пашням Хюсабю. Кристин заметила, что засеянных участков и жнивья было мало, больше пустоши и старых лугов, кочковатых, замшелых, поросших ольховыми побегами. Она сказала об этом.

Муж ответил развязно:

– Разве ты не знаешь, Кристин, – ты же так хорошо понимаешь и в хозяйстве и в управлении имуществом, – взращивать хлеба вблизи торгового города невыгодно: гораздо больше получаешь, обменивая масло и шерсть на зерно и муку у приезжих купцов…

– Тогда тебе следовало бы обменять все то, что валяется у тебя по чердакам и давно испортилось, – сказала Кристин. – Но вот что я знаю: закон гласит, что каждый, кто нанимает пахотную землю, должен сеять зерно на трех четвертях земли, а четвертый участок оставлять под паром. И поместье землевладельца не должно быть в худшем состоянии, чем усадьбы издольщиков. Так всегда говорил мой отец.

Эрленд засмеялся и ответил:

– Я никогда не спрашивал, что гласят об этом законы. Если я получаю все, что мне полагается, то мои крестьяне мо-

гут вести хозяйство в своих усадьбах как им заблагорассудится, а я управляю своим в Хюсабю так, как мне этого хочется и как я считаю лучшим.

– Что же, ты хочешь, значит, быть умнее наших далеких предков, – спросила Кристин, – и святого Улава и короля Магнуса, издавших эти законы?

Эрленд опять рассмеялся и сказал:

– Я над этим не задумывался! Но, черт возьми, до чего хорошо ты разбираешься в законах, Кристин.

– Я немного разбираюсь в этом, – промолвила Кристин, – потому что мой отец нередко просил Сигюрда из Лоптсгорда читать нам наизусть законы, когда тот приходил к нам, а мы сидели по вечерам дома. Отец считал, что будет полезно и для слуг и для молодежи знать об этих вещах, и вот Сигюрд читал нам то одну главу законов, то другую.

– Сигюрд?.. – сказал Эрленд. Ах да, теперь я вспомнил! Я видел его на нашей свадьбе. Такой длинноносый беззубый старикашка, который пускал слюни, плакал и похлопывал тебя по груди – он был пьян как стелька еще и утром, когда народ поднялся к нам посмотреть, как я надеваю на тебя брачную повязку…

– Он знал меня уж я не помню с каких пор, – сердито сказала Кристин. – Он часто сажал меня к себе на колени и играл со мной, когда я была еще девчонкой.

Эрленд опять засмеялся.

Удивительное развлечение – сидеть да слушать, как этот

старикан гнусаво распевает статьи законов одну за другой. Да, Лавранс во всех отношениях не похож на остальных людей, – впрочем, ведь говорят, что если мужик будет знать досконально законы страны, а жеребец свою силу, то уж пусть тогда сам черт будет рыцарем!

Кристин вскрикнула и ударила своего коня по крупу. Эрленд сердито и изумленно глядел на жену, скакавшую прочь от него.

Вдруг он пришпорил коня. Боже мой, брод! Ведь там нельзя теперь переехать – глинистый берег сполз осенью… Слёнгванбэуге припустил сильнее, услышав, что его догоняет другая лошадь. Эрленд смертельно испугался – как Кристин скачет вниз по крутым склонам! Он пронесся мимо нее через кустарник и потом повернул на дорогу в том месте, где небольшой участок ее был довольно ровным, так что Кристин пришлось остановиться. Подъехав к ней, Эрленд увидел, что она и сама немного испугалась.

Эрленд перегнулся с седла к жене и звонко ударил ее по щеке, – Слёнгванбэуге отпрянул в сторону, испугавшись, и попятился.

– Ты заслужила это, – сказал Эрленд дрожащим голосом, когда лошади успокоились и они опять ехали бок о бок. – Так скакать вне себя от злости!.. Ты напугала меня!..

Кристин отвернулась, чтобы он не мог видеть ее лицо. Эрленд пожалел о том, что ударил ее. Но еще раз сказал:

– Да, ты испугала меня, Кристин. Так мчаться во весь

опор! Да еще теперь… – произнес он совсем тихо.

Кристин не отвечала и не глядела на него. Но Эрленд чувствовал, что она теперь не так сердита, как раньше, когда он высмеивал ее родню. Он был очень изумлен этим, но видел, что это так.

* * *

Они приехали в Медалбю, и крестьянин – наемщик Эрленда вышел к ним навстречу, приглашая войти в горницу. Но Эрленд заявил, что они хотят сперва осмотреть усадебные постройки и Кристин пойдет тоже.

– Усадьба принадлежит отныне ей, а она разбирается в таких вещах лучше меня, Стейн! – сказал он смеясь. Подошло еще несколько крестьян, они должны были быть свидетелями, – некоторые из них тоже нанимали у Эрленда землю.

Стейн переехал в усадьбу в этом году и уже несколько раз просил землевладельца приехать и посмотреть, в каком состоянии находились постройки, когда он принял их, или же прислать своего уполномоченного. Крестьяне засвидетельствовали, что действительно ни одна из построек не защищала от непогоды, а те, которые совсем развалились, уже были такими, когда сюда приехал Стейн. Кристин видела, что это хорошая усадьба, но только запушена. Она поняла, что Стейн человек дельный, Да и Эрленд отнесся к нему очень снисходительно и пообещал скинуть кое-что с платежа, пока

тот не обновит постройки.

Потом все пошли в горницу, где на стол были поданы вкусные яства и крепкое вино. Жена крестьянина попросила у Кристин прощения за то, что не вышла ее встретить. Но муж, сказала она, не позволяет ей выходить из дому, пока она еще не побывала в церкви после родов. Кристин ласково поздоровалась с женщиной и захотела пройти к колыбели и взглянуть на дитя. Это был первенец молодой четы – мальчуган двенадцати дней от роду, большой и крепкий.

Эрленда и Кристин провели на почетное место; все уселись и ели и пили довольно долго. Кристин разговаривала больше всех за едой; Эрленд говорил мало, крестьяне тоже, но все же Кристин показалось, что она им понравилась.

Тут проснулся ребенок. Он сперва попищал, но потом стал так ужасно кричать, что матери пришлось взять его из колыбели и дать ему грудь, чтобы успокоить. Когда ребенок насытился, Кристин взяла его от матери к себе на руки.

– Смотри, муж, – сказала она, – какой красивый и крепкий парень!

– Да, да, конечно, – отвечал Эрленд и не взглянул на них. Кристин посидела немного с ребенком, прежде чем отдать его обратно матери.

– Я пришлю какой-нибудь подарок твоему сыну, Арндис, – сказала она, – потому что это первый ребенок, которого я держала на руках своих с тех нор, как приехала сюда, на север.

Вызывающе, в упор, но слегка улыбаясь, взглянула Кристин на своего мужа, а потом на крестьян, сидевших на скамьях. У одного-двух чуть-чуть дрогнули углы рта, однако они продолжали смотреть прямо перед собой с лицами, надутыми от важности. Тут поднялся на ноги какой-то древний старичок, уже изрядно выпивший. Он вынул из чаши с пивом ковш, положил его на стол и высоко поднял тяжелый сосуд:

– Так выпьем же за то, хозяйка, чтобы следующее дитя, которое ты возьмешь на руки, было новым хозяином в Хюсабю!

Кристин поднялась с места и приняла тяжелую чашу. Сперва она поднесла ее своему мужу. Эрленд только прикоснулся к чаше губами, но Кристин пила долго.

– Спасибо на приветливом слове, Ион из Скуга, – сказала она, кивнув ему радостно и ласково улыбаясь. Потом передала чашу дальше.

Эрленд сидел весь красный и, как заметила Кристин, очень сердился. Но ею овладела какая-то непонятная веселость, хотелось смеяться и радоваться. Вскоре Эрленд подал знак, что пора кончать, и они отправились в обратный путь.

* * *

Они проехали часть пути не разговаривая, как вдруг Эрленд сказал запальчиво:

– Ты полагаешь, это так необходимо, чтобы наши крестьяне знали от тебя, что ты вышла замуж беременной?.. Могу прозакладывать свою душу дьяволу, что сплетня о нас скоро разнесется по всем берегам нашего фьорда…

Сначала Кристин ничего не ответила. Она смотрела прямо перед собой через голову коня, и лицо у нее так побелело, что Эрленд испугался.

– Я никогда не забуду, пока живу на свете, – сказала она наконец, не глядя на него, – что таковы были твои первые слова приветствия ему – твоему сыну, лежащему в утробе моей!

– Кристин! – произнес умоляюще Эрленд. – Моя Кристин! – молил он, так как она не отвечала и не смотрела на него. – Кристин!

– Да, мой господин? – спросила она холодно и насмешливо, не поворачивая головы.

Эрленд так выругался, что в ушах зазвенело, пришпорил коня и помчался вперед по дороге. Но вскоре повернул обратно и подскакал к Кристин.

– Ну, теперь, пожалуй, я так рассердился, – сказал он, – что чуть не ускакал от тебя.

– Тогда могло легко случиться, – спокойно ответила Кристин, – что тебе пришлось бы долго дожидаться, пока я приехала бы вслед за тобой в Хюсабю.

– Что ты говоришь! – произнес муж в отчаянии. Опять они проехали часть пути не разговаривая. Через некоторое

время они подъехали к месту, откуда в гору поднималась маленькая тропинка. Эрленд сказал жене:

– Пожалуй, поедем домой верхним путем, – это будет немного дольше, но мне хотелось как-нибудь проехать здесь с тобой.

Кристин рассеянно кивнула головой.

Спустя некоторое время Эрленд сказал, что теперь удобнее будет идти дальше пешком, и привязал лошадей к дереву.

– У нас с Гюннюльфом было устроено здесь, на горе, укрепление, – сказал он. – Мне хочется посмотреть, что осталось от нашего замка…

Он взял Кристин за руку. Кристин не противилась этому, но шла, глядя себе под ноги. Спустя короткое время они уже были на вершине. За подернутым инеем чернолесьем в излучине небольшой речки лежало Хюсабю на склоне холма прямо против них, широко и богато раскинувшись, с каменной церковью и множеством больших домов, окруженных обширными пахотными землями, с темной, поросшей лесом, горой позади.

– Моя мать, – тихо сказал Эрленд, – часто ходила сюда вместе с нами. Но всегда, сидя здесь, она глядела, не сводя взора, на юг, на горы Довре. Она томилась в Хюсабю и днем и ночью стремилась уехать отсюда. Или же оборачивалась в сторону севера и глядела туда, в долину, – видишь, там, где синеет. Это горы по ту сторону фьорда. Никогда не глядела

она на усадьбу…

Голос у него был мягкий и умоляющий. Но Кристин не говорила с мужем и не глядела на него. Тогда он отошел и начал бить ногой по замерзшему вереску.

– Нет, здесь ровно ничего не осталось от моей и Гюннюльфа твердыни. Правда, много уже прошло времени с тех пор, как мы с Гюннюльфом играли тут…

Он не получил ответа. Как раз немного ниже того места, где они стояли, был маленький замерзший пруд. Эрленд поднял с земли камень и кинул его вниз. Пруд промерз до дна. На его черном зеркале осталась только маленькая белая звезда. Эрленд взял другой камень и бросил его с большей силой, потом еще и еще, затем стал в бешенстве швырять камнями – и наконец разбил бы лед вдребезги. Тут он увидел лицо жены: она стояла – глаза у нее потемнели от презрения – и улыбалась насмешливо, глядя на его ребячество.

Эрленд резко повернулся, но в тот же миг Кристин смертельно побледнела, и веки у нее опустились. Она стояла, шаря по воздуху руками и покачиваясь, словно готова была рухнуть наземь. Потом ухватилась за ствол дерева.

– Кристин… что с тобой? – спросил он испуганно. Она не отвечала и стояла, будто прислушиваясь к чему-то. Взгляд у нее был отсутствующий и странный.

Она снова это почувствовала. Глубоко в утробе ее было такое ощущение, словно какая-то рыба била хвостом. И опять будто вся земля закружилась вокруг нее, и Кристин

стало дурно, она почувствовала слабость, но не такую, как раньше.

– Что с тобой? – повторил Эрленд.

Кристин так ждала этого, едва осмеливаясь признаться в своей великой душевной тревоге. Она не могла заговорить об этом теперь, когда они весь этот день питали друг к другу неприязнь. Тогда он произнес такие слова:

– Это ребенок пошевельнулся в тебе? – и ласково коснулся ее плеча.

Забыв гнев, Кристин прижалась к отцу своего ребенка и спрятала лицо на его груди.

* * *

Вскоре они спустились с горы к тому месту, где стояли привязанные их кони. Короткий день кончался; позади них на юго-западе за вершинами деревьев садилось солнце, красное и тусклое в морозном тумане.

Прежде чем посадить жену на коня, Эрленд заботливо ощупал подпруги и пряжки на седле. Потом отошел и отвязал своего коня. Поискал за поясом перчатки, которые засунул туда, но нашел только одну. И начал осматривать землю вокруг себя.

Тут Кристин не могла удержаться и сказала:

– Нечего тебе искать свою перчатку здесь, Эрленд!

– Ты могла бы сказать мне, если видела, что я потерял

ее, как бы ты на меня ни сердилась, – сказал он. Это были перчатки, которые Кристин сшила для него и подарила ему вместе с другими своими свадебными подарками.

– Она выпала у тебя из-за пояса, когда ты ударил меня… – сказала очень тихо Кристин, потупив взор.

Эрленд стоял около своей лошади, положив руку на седельную луку. У него был смущенный и несчастный вид. Но затем он расхохотался:

– Не думал я, Кристин, в то время, когда сватался к тебе, ездил повсюду, просил своих родичей замолвить за меня словечко и старался быть таким уступчивым и таким смиренным, чтобы получить тебя, что ты можешь быть такой чертовкой!

Тут рассмеялась и Кристин.

– Ну конечно! Иначе ты давно бы уже отказался от этого дела… И, без сомнения, это было бы тебе только на пользу!

Эрленд сделал несколько шагов по направлению к ней и положил свою руку на колено Кристин.

– Помоги мне Боже, Кристин, да разве ты слышала когда-нибудь про меня, чтобы я делал что-нибудь себе на пользу?

Он прижался щекой к ее коленям и радостно взглянул снизу вверх в лицо своей жены. Радостная и покрасневшая склонила Кристин голову, пытаясь скрыть свою улыбку и свой взгляд от Эрленда.

Эрленд взял ее коня под уздцы, предоставив своему сле-

довать за ними. Так он провожал ее, пока они не спустились с горы. Всякий раз как они смотрели друг на друга, Эрленд смеялся, а Кристин отворачивала от него свое лицо, чтобы скрыть, что она тоже смеется.

– Ну, а теперь, – сказал он весело, когда они снова очутились на дороге, – поскачем домой, в Хюсабю, моя Кристин, и будем так счастливы, как два вора!

# II

В Сочельник вечером был страшный ветер и дождь лил как из ведра. Ехать на санях было невозможно, и потому Кристин пришлось остаться дома, когда Эрленд и все домочадцы отправились в церковь в Биргси на ночную службу.

Кристин стояла в дверях горницы, глядя им вслед. Факелы из сосновых сучьев в руках людей озаряли красным светом старые темные дома, отражаясь в замерзших лужах на дворе. Ветер подхватывал пламя факелов и относил его в сторону. Кристин стояла, пока был слышен постепенно затихавший в ночи шум.

В горнице на столе горели свечи. Стол был усеян остатками ужина – комками каши на блюдах, недоеденными ломтями хлеба и рыбьими костями, плавающими в пивных лужах. Девушки-служанки, оставшиеся дома, уже улеглись спать на соломе, положенной на пол. В усадьбе Кристин была одна со служанками и стариком, которого звали Ооном. Оон служил в Хюсабю еще со времени деда Эрленда и теперь жил в хижине у озера, но нередко появлялся днем в усадьбе, бегал и хлопотал, воображая, что усердно работает. Старик уснул нынче вечером за столом, и Эрленд с Ульвом смеясь отнесли его в угол, где и положили, покрыв каким-то тряпьем.

А у них в Йорюндгорде пол густо застлан сейчас камышом, потому что во время праздников все домочадцы ночу-

ют вместе в горнице. И прежде чем отправиться в церковь, у них всегда убирают со стола все остатки предпраздничной постной трапезы; потом мать и служанки расставляют на столе, как можно красивее, масло, сыры, юрки тонко нарезанного ситного хлеба, белоснежный шпик и толстейшие копченые бараньи ножки. Серебряная утварь и рога для меда блестят. И отец сам кладет бочонок с пивом на скамью.

Кристин повернула свое кресло к очагу – ей не хотелось смотреть на неубранный стол. Одна из служанок так храпела, что было противно слушать.

…Вот еще одна из привычек, которые ей не нравятся в Эрленде: дома у себя он так безобразно и неряшливо ест, роется в блюдах, выбирая куски повкуснее, не моет руки, перед тем как садиться за стол, да еще позволяет собакам забираться к себе на колени и хватать куски пищи, когда люди едят. Так уж чего и ожидать от челяди!

Дома Кристин учили есть красиво и не торопясь. Не пристало, говорила мать, хозяевам ждать, когда люди поедят, а у людей страдных и трудящихся должно быть время поесть досыта.

– Гюнна! – тихо позвала Кристин большую рыжую суку, лежавшую с целым выводком щенят у каменной кромки очага. Она была такая уродливая, что Эрленд назвал ее но имени старой хозяйки Росволд.

– Бедная тварь! – шепнула Кристин, лаская собаку, которая подошла к ней и положила голову на колени. Спинной

хребет у нее был остер, как лезвие косы, а соски почти шлепали по полу. Щенки просто-напросто съели свою мать.

– Ах ты, бедная моя тварь!

Кристин откинула голову на спинку кресла и смотрела на покрытые копотью балки. Она устала…

Да, нелегко дались ей эти месяцы, что она провела здесь, в Хюсабю. Она поговорила с Эрлендом вечером того дня, когда они ездили в Медалбю. И поняла тогда, что Эрленд думал, будто она на него сердится за то, что он навлек на нее все это.

– Я хорошо помню, – сказал он чуть слышно, – тот весенний день, когда мы ушли в лес за церковью. Я помню, что ты просила меня не трогать тебя…

Кристин обрадовалась, что он сказал это. А то ей часто думалось: как много Эрленд уже, по-видимому, позабыл! Но потом он сказал:

– И все же я никогда бы не подумал, Кристин, что ты способна так долго носить тайную обиду на меня, а сама быть такой же, как всегда, ласковой и веселой! Ведь ты, должно быть, уже давно знала, что с тобой происходит. Я считал тебя такой же ясной и откровенной, как солнышко…

– Ах, Эрленд! – сказала она горестно. – Ведь ты же знаешь лучше всех на свете, что я следовала по тайным стезям и обманывала тех, кто доверял мне больше всего… – Ей так хотелось, чтобы он понял. – Не знаю, помнишь ли ты, милый друг, ведь еще до этого ты поступал со мною так, что кто-

нибудь мог бы назвать твой поступок некрасивым. Но видит Бог и дева Мария, что я не сердилась на тебя и любила ничуть не меньше…

Лицо у Эрленда стало жалким.

– Я так и думал, – сказал он тихо. – Но ведь ты знаешь и то… Все эти годы я упорно старался восстановить, что разрушил. Я утешался мыслью, что в конце концов все обернется так, что я смогу вознаградить тебя за то, что ты была такой верной и терпеливой.

Тогда она спросила его:

– Ты, конечно, слышал о брате моего деда и девице бенгте, которые против воли ее родни бежали из Швеции. Бог покарал их тем, что не дал им детей. Ты ни разу не боялся в эти годы, что он накажет и нас так же?..

И сказала ему тихим дрожащим голосом:

– Можешь поверить мне, мой Эрленд, что я не очень обрадовалась нынче летом, когда впервые узнала, что со мной. И все же думала, что если ты умрешь, прежде чем мы поженимся, так уж лучше я останусь после тебя с твоим ребенком, чем одна. И я думала, что если мне придется умереть от родов, то все же это будет лучше, чем если бы у тебя не было своего законного сына, который мог бы взойти на твое почетное место после тебя, когда ты покинешь юдоль земную…

Эрленд ответил с горячностью:

– Я счел бы, что сын мой приобретен слишком дорогой

ценой, если бы он стоил тебе жизни. Не говори так, Кристин. Уж не так дорого мне Хюсабю, – сказал он немного спустя. – Особенно с тех пор, как я узнал, что Орм никогда не сможет наследовать мне, …

– А ты любишь ее сына больше, чем моего? – спросила тут Кристин.

– Твоего сына?.. – Эрленд усмехнулся. – О нем я пока знаю лишь то, что он является сюда на полгода или около этого раньше, чем следовало бы! А Орма я люблю уже двенадцать лет…

Немного спустя Кристин спросила:

– Ты скучаешь когда-нибудь по тем своим детям?

– Скучаю, – ответил муж. – Раньше я часто ездил в Эстердал, где они живут, взглянуть на них.

– Ты мог бы съездить туда теперь же, на Рождество, – тихо сказала Кристин.

– А ты не будешь этим недовольна? – радостно спросил Эрленд.

Кристин отвечала, что сочла бы это правильным. Тогда Эрленд спросил у нее, будет ли она возражать, если он привезет детей к себе домой на Рождество.

– Ведь тебе все равно когда-нибудь придется увидеть их. И опять Кристин ответила, что и это ей кажется вполне правильным.

* * *

Пока Эрленда не было, Кристин трудилась не покладая рук, чтобы приготовить все к Рождеству. Ее сейчас очень мучила жизнь среди этих чужих слуг и служанок; приходилось делать над собой большое усилие, когда нужно было одеваться или раздеваться в присутствии двух девушек, которым Эрленд приказал ночевать вместе с Кристин в большом покое. Ей пришлось напоминать себе самой, что в одиночестве она никогда бы не смогла спать в таком огромном доме, где до нее другая спала с Эрлендом.

Служанки усадьбы были не хуже и не лучше, чем можно было ожидать. Те крестьяне, которые блюли своих дочерей, не посылали их в услужение в усадьбу, где владелец жил открыто с распутной женщиной и поручил ей управлять своим домом. Девушки были ленивы и не привыкли слушаться хозяйку. Но некоторым из них вскоре понравилось, что Кристин заводила в доме добрые обычаи и сама участвовала в их работе. Они стали разговорчивыми и радовались, что она внимательно слушает их и отвечает ласково и весело. Кристин каждый день появлялась перед слугами с приветливым и спокойным лицом. Она никому не выговаривала, но если какая-нибудь девушка-служанка возражала против ее распоряжения, то хозяйка делала вид, будто думает, что та просто не знает, как взяться за дело. и терпеливо показывала девуш-

ке, как, по ее мнению, нужно выполнить эту работу. Кристин видела, что так обычно поступал ее отец с новыми батраками, когда они ворчали, и никто в Йо-рюндгорде не решался противоречить Лаврансу вторично.

Таким образом, пока в эту зиму все шло хорошо. А потом можно будет что-нибудь придумать, чтобы отделаться от женщин, которые не нравились Кристин или которых нельзя было приучить к порядку.

Была одна работа, за которую Кристин не в силах была браться, пока за ней следили чужие взоры. Но по утрам, сидя одиноко в большом покое, она шила белье для своего ребенка – пеленки из мягкой домотканой шерстяной материи, свивальники из красной и зеленой покупной ткани и белые полотняные крестильные рубашечки. Пока она сидела за этим шитьем, мысли ее метались между страхом и верой в святых друзей человечества, которых она молила о заступничестве. Правда, ребенок жил и шевелился в ней, так что она не знала покоя ни днем ни ночью. Но Кристин слышала о детях, рождавшихся с животами там, где полагается быть лицу, с головами, свернутыми назад, с пальцами на месте пятого. И видела перед собой Свеина, у которого половина лица была багровой, потому что мать его загляделась на пожар.

…Тогда она отбрасывала от себя шитье, вставала из-за стола и, склонив колени перед изображением девы Марии, читала семь раз «Ave». Брат Эдвин говорил, что Божья Матерь радуется каждый раз, когда слышит слова ангельского

благовещения,[8] хотя бы его произносили уста самого негодного грешника. И в особенности радуют сердце Марии слова: «Господь с тобою», поэтому Кристин всегда должна произносить их трижды.

Это ей помогало на некоторое время. К тому же Кристин знала многих мужчин и женщин, которые мало чтили Бога и св. Матерь и дурно выполняли заповеди, но ей не случалось видеть, чтобы у них из-за этого рождались дети-калеки. Часто Бог бывает таким милосердным, что не взыскивает грехов родителей с бедных детей, хотя ему иной раз и приходится являть людям знамение того, что он не может терпеть их злодеяний непрестанно. Но ведь не обязательно же именно на ее ребенке!..

Потом она взывала в сердце своем, к святому Улаву. О нем Кристин слышала так много, что будто сама была с ним знакома, когда он жил здесь, и видела, как он ходил по земле. Он был невысок, склонен к полноте, но статен и красив, в золотой короне и с сияющим венчиком вокруг золотистых кудрявых волос, с рыжей курчавой бородой, окаймляющей суровое, знакомое с непогодами и смелое лицо. Но глубокий и пламенный взор его глаз пронзал людей: никто не смел глядеть ему в глаза, если был грешен. Кристин тоже не смела, она только опускала взор перед его взглядом, но не боялась, – вот так точно бывало и в детстве, когда она поступа-

---

[8] *Эта молитва содержит слова архангела, согласно евангельской легенде возвестившего деве Марии, что ей суждено родить Христа.*

ла нехорошо и должна была опускать глаза перед отцовским взором. Святой Улав смотрел на нее – строго, но не сердито, – ведь она же обещала исправить свой образ жизни. Ей так страстно хотелось получить возможность сходить в Нидарос и преклонить колени у его святыни. Эрленд обещал ей, когда они прибыли сюда, что в Нидарос они съездят очень скоро. Но поездка была отложена. А теперь Кристин знала, что Эрленд едва ли захочет поехать: он был пристыжен и боялся людской молвы.

* * *

Как-то вечером, когда они сидели за столом со своими домочадцами, одна из девушек, молодая служанка, помогавшая в доме, сказала:

– Мне думается, хозяйка, не лучше ли будет, если мы теперь же займемся шитьем пеленок и детского белья, а уж потом начнем эту ткань, о которой вы говорите?

Кристин сделала вид, будто не слышит, и продолжала говорить об окраске. Но девушка начала снова:

– А может, вы привезли детские вещи с собой из дому? Кристин улыбнулась и опять обратилась к другим. Когда немного спустя она бегло взглянула на девушку, та сидела с пунцовым лицом и боязливо поглядывала на хозяйку. Кристин снова улыбнулась и заговорила через стол с Ульвом. Тут девчонка принялась реветь. Кристин посмеялась, а та плака-

ла все пуще и пуще, пока не начала сморкаться и хлюпать носом.

– Ну, перестань же, Фрида! – сказала наконец Кристин спокойно. – Раз ты поступила сюда взрослой сенной девушкой, так не веди же себя, словно ты маленькая девчонка!

Девушка захныкала: она не хотела надерзить, и Кристин не должна на нее гневаться.

– Я и не гневаюсь, – сказала Кристин, по-прежнему улыбаясь. – Ну, ешь теперь и не плачь больше. У всех у нас тоже столько ума в голове, сколько нам дал его Господь Бог.

Фрида выскочила из-за стола и выбежала из горницы, громко рыдая.

Немного погодя Ульв, сын Халдора, разговаривая с Кристин о работе, которую нужно было сделать на следующий день, вдруг рассмеялся и сказал:

– Эрленду следовало бы посвататься к тебе лет десять назад, Кристин! Тогда его дела шли бы сейчас гораздо успешнее во всех отношениях.

– Ты думаешь? – спросила она, улыбаясь, как прежде. – Тогда мне было от роду девять зим. Что же, по-твоему, Эрленд сумел бы дожидаться столько лет своей невесты-ребенка?

Ульв рассмеялся и вышел.

Но ночью, лежа в постели, Кристин плакала от заброшенности и унижения.

Потом, за неделю до Рождества, приехал Эрленд, и Орм,

сын его, ехал рядом с отцом. Кристин кольнуло в сердце, когда он подвел мальчика к ней и велел ему поздороваться с мачехой.

Это был очень красивый ребенок. Таким представляла она себе его, того сына, которого носила. По временам, когда она осмеливалась радоваться, верить, что ее дитя родится здоровым, а не калекой, и мечтать о мальчике, который будет подрастать около ее колен, именно таким выглядел он в ее воображении – до такой степени похожим на своего отца!

Быть может, Орм был немного мал для своего возраста и хрупок, но хорошо сложен, с изящными руками и ногами и прекрасным лицом, смугл и темноволос, но с большими голубыми глазами, алым, слабым ртом. Он вежливо поздоровался с мачехой, но выражение лица у него было суровое и холодное. Кристин не пришлось подольше поговорить с мальчиком. Но она ощущала на себе его взгляд, что бы она ни делала, куда бы ни шла, и чувствовала, что походка у нее становилась как бы еще неувереннее, а тело тяжелее, когда она знала, что ребенок не спускает с нее взора.

Она не замечала, чтобы Эрленд много разговаривал с сыном, но знала, что это сам мальчик сторонится его. Кристин заговорила с мужем об Орме, сказав, что он красив и выглядит умным. Своей дочери Эрленд не привез с собой – он счел, что Маргрет слишком мала для такого далекого путешествия в зимнее время. Она еще красивее, чем ее брат, сказал он с гордостью, когда Кристин спросила его о девочке, и

гораздо живее; она обернула своих приемных родителей вокруг мизинчика. У нее золотистые кудри и карие глаза.

Значит, она похожа на мать, подумала Кристин. Помимо ее воли ревность жгла Кристин. А что, если Эрленд любит дочь так же, как ее отец любил ее? В голосе Эрленда слышались такая нежность и теплота, когда он говорил о Маргрет.

Кристин поднялась с места и вышла из дому. На дворе было так темно и шел такой дождь, что не видно было ни месяца, ни звезд. Однако Кристин подумала, что, должно быть, уж скоро полночь. Она взяла фонарь в сенях, зашла в горницу и зажгла его. Потом накинула на себя плат и вышла под дождь.

– Во имя Христа, – прошептала она и трижды перекрестилась, очутившись в ночной темноте.

В дальней части двора стоял дом священника. Он пустовал теперь. Хотя с Эрленда и сняли отлучение, но в Хюсабю в домовой церкви священника еще не было. Время от времени сюда наезжал один из подручных священников из Оркедала и служил обедню, а новый священник, назначенный сюда, проживал за границей с магистром Гюннюльфом: они были школьными товарищами. Их ждали домой еще с лета, но теперь Эрленд считал, что они приедут в Хюсабю не раньше конца весны. В юности Гюннюльф страдал болезнью легких, и потому он едва ли отправится в путешествие в зимнюю пору.

Кристин отворила дверь, вошла в пустой, холодный дом и

взяла ключ от церкви. Потом постояла немного. Было очень скользко, темно, как в могиле, ветрено, дождливо. Отчаянно с ее стороны выходить из дому в ночное время, да еще в ночь под Рождество, когда всякая нечисть носится в воздухе. Но отступления нет: ей нужно пойти в церковь.

– Пойду во имя Господа Всемогущего, – шепнула Кристин в ночную непогоду. Светя себе фонарем, она осторожно ставила ноги туда, где из-под ледяной коры торчали пучок травы или камень. В темноте дорога в церковь казалась очень длинной. Но в конце концов Кристин ступила на каменную плиту перед дверью.

В церкви стоял жгучий холод – было гораздо холоднее, чем на дворе под дождем. Кристин прошла вперед, к арке алтаря – и склонила колени у распятия, которое едва можно было различить в темноте.

Прочитав молитвы и снова поднявшись на ноги, Кристин постояла немного. Казалось, она ждала, что с ней что-нибудь случится. Но ничего не произошло. Ей было холодно и страшно в темной заброшенной церкви.

Кристин тихонько пробралась к алтарю и осветила иконы. Они были старые, уродливые и грубо выполненные. Самый алтарь был просто голым камнем – она знала, что покровы, книги и церковная утварь были заперты на замок в ящике.

В церкви вдоль стены шла скамья. Кристин опустилась на нее, поставив фонарь на пол. Плащ на ней вымок, обувь промокла, ноги ныли от холода. Она попробовала было подло-

жить под себя ногу, но сидеть было неловко и больно. Тогда она хорошенько укуталась в плащ, стараясь сосредоточить свои мысли на том, что вот опять настает час той святой ночи, когда Иисус Христос соизволил родиться в Вифлееме от девы Марии.

«Verum caro factum est et habitavit in nobis…[9]»

Ей вспомнился глубокий и звонкий голос отца Эйрика. И Эудюн, старый дьякон, который так на всю жизнь им и остался. И церковь там у них, дома, где Кристин стояла рядом с матерью, слушая обедню в день праздника Рождества. Каждый-то год слушала она обедню. Кристин пыталась вспомнить хоть что-нибудь из священных слов, но могла думать только о своей церкви и обо всех знакомых лицах. Впереди всех, на мужской стороне, стоял ее отец, устремив недвижный взор на ослепительный поток света, лившийся с хоров.

Просто нельзя постичь, что их церкви уже больше нет. Она сгорела дотла. Вспомнив об этом, Кристин разразилась рыданиями. И вот она сидит в эту ночь одна во тьме, когда все крещеные люди собираются с радостью и ликованием в Божьем доме. Но так и должно быть: ее нельзя пустить на празднование рождения сына Божьего от чистой и целомудренной девы.

…А родители, верно, справляют это Рождество в Сюидбю. Но в часовне сегодня не служат; она знала, что из Сюндбю ездили на Рождество слушать богослужение в приход-

---

[9] *И слово стало плотью и обитали с нами… (лат.)*

скую церковь в Ладалме.

Впервые за всю свою жизнь, насколько она могла припомнить, она не была на рождественской службе. Должно быть, она была еще совсем маленькой, когда родители взяли ее с собой в первый раз. Она помнит, что ее засовывали в мешок из овчины мехом внутрь, и отец держал ее на руках. Была ужасно морозная ночь, и они ехали через лес – факелы из сосновых сучьев лили свет на отяжелевшие от снега ели. Лицо отца было пурпурно-красным, а меховая опушка на его капюшоне белела от инея. Время от времени отец наклонялся к ней и кусал ее за кончик носика, спрашивая, чувствует ли она, а потом со смехом кричал, оборачиваясь через плечо к матери, что Кристин еще не отморозила себе носа. Должно быть, это было, когда они еще жили в Скуге, – вероятно, ей могло быть всего три зимы. В то время ее родители были еще совсем молодыми людьми. И даже сейчас она помнит голос своей матери в ту ночь – громкий, веселый, полный смеха, когда она окликала мужа и спрашивала о ребенке. Да, у матери был тогда молодой и свежий голос…

«…Вифлеем, толкуемо на норвежский язык, место хлеба. Ибо там был дан человекам хлеб, питающий нас для жизни вечной…»

Это во время поздней обедни на первый день Рождества отец Эйрик восходил на кафедру и толковал Евангелие на народном языке.

В перерыве между церковными службами люди рассажи-

вались в гильдейском помещении у северной стены церкви. Все привозили с собой напитки, и чаши пускались вкруговую. Мужчины заходили в конюшни взглянуть на лошадей. Но летом в часы ночных бдений прихожане собирались на церковной лужайке, и тогда молодежь танцевала в свободное между двумя службами время.

«…И приснoблаженная дева Мария спеленала сына своего ризкой. Положила она его во ясли, откуда привыкли есть волы и ослы…»

Кристин крепко прижала руки к телу:

– Сынок мой, милый мой, мой собственный сын! Господь Бог сжалится над нами ради своей преблагословенной матери. Пресвятая Мария, ты, ясная звезда морей, ты, утренняя заря вечной жизни, помоги нам! Ребеночек мой, что с тобой сегодня, что ты так неспокоен? Чувствуешь ли ты там, под самым сердцем моим, что я так страшно замерзла?..

Прошлым Рождеством, в день поминовения младенцев вифлеемских, отец Эйрик повествовал о невинных детях, зарезанных жестокими воинами на руках у матерей. Но Бог избрал этих мальчиков, чтобы они вступили в Царствие Небесное впереди всех прочих святых мучеников. И это было знамением, что таковых есть Царствие Небесное. И он взял маленького парнишку и поставил между ними. «Если не преобразуетесь вы по их подобию, не войдете вы в покои Царствия Небесного, дорогие братья и сестры. И пусть будет это во утешение всякому человеку, мужчине или женщине, опла-

кивающему смерть юного дитяти…» И Кристин заметила, как взгляды ее отца и матери встретились посреди церкви, а она опустила глаза, поняв, что это не для нее…

Это было в прошлом году. Первое Рождество после смерти Ульвхильд. О!.. Но только не мое дитя! Иисусе, Мария! Дайте мне сохранить моего сына!..

В прошлом году отец не хотел участвовать в скачках в день святого Стефана, но в конце концов мужчины уломали его, и он согласился. Скакать надо было от церковного пригорка у их дома до слияния рек у Лоптсгорда; там участники состязания встречались с людьми из долины Отты. Кристин вспомнила, как отец промчался мимо на своем золотистом скакуне: он поднялся на стременах, пригнувшись к шее коня, и с гиканьем гнал вперед жеребца, – все остальные всадники с шумом и грохотом скакали за ним.

Но в прошлом году он приехал домой рано и был совершенно трезв. Обычно же мужчины возвращаются в этот день домой поздно и бывают здорово пьяны. Ведь им приходится заезжать во все дворы и пить то, что им там подносят, за Христа и святого Стефана, который первым увидел звезду на востоке, когда вел жеребят царя Ирода на водопой на реку Иордан. В этот день и лошадям давали пиво для того, чтобы они были дикими и неукротимыми. В день святого Стефана крестьянам полагалось заниматься конными играми до самой вечерни, нельзя было заставить мужчин думать или говорить о чем-либо, кроме как о лошадях…

Кристин вспомнилось одно Рождество, когда у них в Йорюндгорде было устроено большое пиршество в складчину. И отец пообещал одному священнику, бывшему среди гостей, что тот получит рыжего жеребенка, сына Гюльдсвейна, если сумеет удержать его и вскочить на него, пока тот будет бегать по двору неоседланным.

Это было давно уже… еще до несчастья с Ульвхильд. Мать стояла перед дверью дома с маленькой сестричкой на руках, а Кристин, немного испуганная, держалась за ее платье.

Священник со всех ног погнался за лошадью, ухватился за недоуздок, подпрыгнул так, что полы его длинной рясы взметнулись вокруг него, и все же упустил дикое животное, взвившееся на дыбы.

– Коняшка, коняшка… Стой, коняшка, стой, сынок! – выкрикивал он нараспев, подпрыгивая и приплясывая, словно козел.

Отец и какой-то старый крестьянин стояли обнявшись, лица у них совершенно расплылись от смеха и опьянения.

Должно быть, священник выиграл Рыжего или же Лавранс все-таки ему подарил его, потому что Кристин помнит, что он уехал из Йорюндгорда на нем. К этому времени все были уже довольно трезвы. Лавранс почтительно держал священнику стремя, а тот на прощание благословил его тремя перстами. Вероятно, священник этот был из людей уважаемых…

Да, да! У них дома часто бывало весело на Рождество.

Приходили ряженые. Отец вскидывал ее к себе на спину, и она ощущала его мокрые волосы. Чтобы в головах у них стало яснее и можно было пойти к вечерне, мужчины обливали друг друга ледяной водой у колодца. И громко хохотали, когда жены сердились на них за это. Отец брал ее холодные ручонки и прижимал к своему лбу, который был красен и горяч, как огонь. Все это происходило во дворе, в вечернюю пору, – молодой белый полумесяц висел над горным гребнем в водянисто-зеленом воздухе. Входя в горницу с дочерью, Лавранс ушиб ей о притолоку голову, так что у Кристин вскочила на лбу большая шишка. Потом Кристин сидела у стола на руках отца. Он прижимал к шишке клинок кинжала, кормил Кристин лакомыми кусочками и давал ей пить мед из своего кубка. И она не боялась рождественских ряженых, которые шумели в горнице.

– Ах, отец, отец!.. Мой добрый, милый отец!.. Громко рыдая, Кристин закрыла лицо руками. Ах, если бы только ее отец знал, каково ей в эту Рождественскую ночь!

Идя обратно через двор, Кристин увидела, что над крышей поварни летают искры. Служанки занялись приготовлением еды для людей, ушедших в церковь.

В большой горнице было темно. Свечи на столе догорели, а огонь в очаге почти потух. Кристин подкинула дров и раздула уголья. И тут увидела, что в ее кресле сидит Орм. Он встал, как только мачеха заметила его.

– Как же это? – сказала Кристин. – Разве ты не поехал в

церковь вместе с отцом и со всеми остальными?

Орм раза два глотнул слюну:

– Он, наверное, забыл разбудить меня, так мне кажется. Отец велел мне ненадолго прилечь на кровать у южной стены. Он сказал, что разбудит меня…

– Вот беда-то, Орм, – сказала Кристин. Мальчик не отвечал. Немного погодя он сказал:

– Я думал, что ты уехала вместе со всеми. Я проснулся и оказался совсем один здесь, в горнице.

– Я ходила ненадолго в церковь, – ответила Кристин.

– Ты не боишься выходить из дому в Рождественскую ночь? – спросил мальчик. – А разве ты не знаешь, что нечистая сила могла налететь и утащить тебя?

– Но сегодня ночью носятся, наверное, не только злые духи, – отвечала она. – Говорят, что в Рождественскую ночь все души… Я знавала одного монаха, он уже умер, – надеюсь, он теперь перед ликом Бога, потому что он всегда был такой добрый. Он рассказывал мне… Слышал ли ты когда-нибудь о том, что животные беседовали между собой в своих стойлах в Рождественскую ночь? В те времена они умели говорить по-латыни. И вот петух прокричал:

«Christos natus est!» Нет, теперь я уже не помню всего. Другие животные спросили, где это, и козел проблеял: «В Вифлееме, в Вифлееме!», а овца сказала: «Eamus, eainus!»

Орм презрительно усмехнулся:

– Ты думаешь, я такой младенец, что можно утешать меня

притчами? Отчего бы тебе не взять меня на руки и не дать мне пососать?..

– Я говорила это больше для того, чтобы утешить себя самое, Орм, – спокойно сказала Кристин. – Мне тоже так хотелось бы послушать обедню…

Теперь она не могла уже больше смотреть на неубранный стол, смела все остатки в корыто и поставила его на пол перед собакой. Потом достала из-под скамьи пучок осоки и вытерла насухо столешницу.

– Не хочешь ли пройти со мной в кладовку, Орм, и принести оттуда хлеба и солонины, а потом мы накроем на стол к празднику? – спросила Кристин.

– А почему бы тебе не заставить своих служанок сделать это? – сказал мальчик.

– Меня так учили дома у отца и матери, – отвечала молодая женщина. – На Рождество никто не должен просить другого ни о чем, но каждый обязан стараться сделать как можно больше. И блажен тот, кто может больше всех послужить другим в дни праздников.

– А вот меня же ты просишь! – сказал Орм.

– Это дело иное: ты сын хозяина дома.

Орм взял фонарь, и они пошли вместе через двор. В кладовой Кристин наполнила два корыта всякой праздничной едой. И, кроме того, она взяла связку больших сальных свечей. Пока она занималась всем этим, мальчик сказал:

– Наверное, так водится у крестьян – все то, о чем ты мне

сейчас говорила. Ведь я слышал, что он простой сермяжный мужик, Лавранс, сын Бьёргюльфа.

– От кого ты это слышал? – спросила Кристин.

– От матери, – сказал Орм. – Я слышал, как она не раз говорила моему отцу, когда мы в прошлый раз жили здесь, в Хюсабю, что вот, мол, он теперь увидит, что даже серый мужик не захочет отдать свою дочь за него замуж.

– Уютно же было в Хюсабю в это время, – коротко сказала Кристин.

Мальчик не отвечал. Уголки его рта вздрагивали. Кристин и Орм отнесли в горницу наполненные корыта, и Кристин стала накрывать на стол. Но ей нужно было еще раз сходить в кладовку, чтобы принести кое-что из еды. Орм взял корыто и сказал, немного смущаясь:

– Я схожу за тебя, Кристин. На дворе так скользко. Она вышла за дверь горницы и ждала, пока он не вернулся. Потом они уселись вместе у очага – она в кресле, а мальчик на скамеечке около нее. Немного погодя Орм, сын Эрленда, сказал тихо:

– Расскажи еще что-нибудь, пока мы сидим здесь, мачеха моя!

– Рассказать? – спросила Кристин невозмутимо.

– Да… Притчу или что-нибудь такое… подходящее для Рождественской ночи, – сказал мальчик смущенно.

Кристин откинулась на спинку кресла и схватилась тонкими руками за звериные головы на подлокотниках.

– Тот монах, которого я упоминала, – он побывал и в Англии. И он говорил, что есть там долина и поселок, где растут терновые кусты, которые цветут каждую Рождественскую ночь. Святой Иосиф Аримафсийский пристал к берегу около того поселка, когда бежал от язычников, и там он воткнул в землю свой посох, а тот пустил корни и расцвел; святой Иосиф первым принес веру христианскую в британскую землю. Гластонборг зовется тот поселок, теперь я припомнила. Брат Эдвин сам видел эти кусты… Там, в Гластонборге, похоронен вместе со своей королевой король Артур, – о его славе ты, верно, слышал, – тот, что был одним из семи достойнейших витязей христианства…

В английской земле говорят, что крест Христов был сделан из ольхового дерева. Но мы дома жгли ясень на рождественских праздниках, потому что он затоплял ясеневыми дровами, святой Иосиф, отчим Христов, когда разводил огонь для Марии-девы и младенца – сына Божьего. Это отец мой тоже слыхал от брата Эдвина…

– Но здесь, на севере, растет мало ясеня, сказал мальчик. – Знаешь, его извели на древки для копий в старину. По-моему, на всей земле Хюсабю только и растет один ясень – здесь, с восточной стороны, у калитки, а его отец не может срубить, потому что под ним живет домовой… Слушай-ка, Кристин, ведь у них, в Риме-граде, хранится крест Христов; они же могут узнать, правда ли это, что он из ольхи…

– Да, – сказала Кристин, – не знаю, правда ли это. Пото-

му что, ты знаешь ведь, говорят, крест был сделан из побега от древа жизни: Сифу позволили принести тот побег из райского сада Адаму перед тем, как тот умер…

– Да, – сказал Орм, – но ты расскажи… Немного погодя Кристин сказала ребенку:

– Ну, родич, ты бы теперь прилег. Наши вернутся домой из церкви еще не скоро.

Он встал.

– Мы еще не приветствовали друг друга как родичи, Кристин, дочь Лавранса. – Он отошел к столу, взял там рог, выпил за здоровье своей мачехи ч подал рог ей.

Она почувствовала, как по спине у нее пробежала словно струя ледяной воды. Кристин невольно вспомнился тот миг, когда мать Орма хотела выпить с ней. И плод в чреве ее буйно зашевелился. «Что с ним сегодня ночью?» – вновь подумала она. Казалось, нерожденный младенец чувствовал все то, что чувствовала мать: мерз, когда она мерзла, корчился от страха, когда ей было страшно. «Но я не должка выказывать такую слабость», – подумала Кристин. Она взяла рог и выпила со своим пасынком.

Передавая рог Орму, она нежно погладила черный чубик мальчика. «Нет, конечно, я не буду для тебя суровой мачехой, – подумала она. – Для такого красивого, такого красивого сына Эрленда…»

– Она спала в своем кресле, когда Эрленд вернулся домой и швырнул обледеневшие рукавицы на стол.

– Вы уже все вернулись? – с изумлением произнесла Кристин. – Я думала, вы захотите остаться на позднюю обедню!..

– Ну, и двух служб мне хватит надолго, – сказал Эрленд. Кристин взяла его обледеневший плащ. – Сейчас ясно и опять подмораживает.

– Очень жаль, что ты забыл разбудить Орма, – промолвила жена.

– А что он, огорчился? – спросил отец. – Впрочем, я не забыл про это, – сказал он тихо. – Но он так хорошо спал, что я подумал… Ты знаешь, народ и так глазел на меня в церкви, что я приехал без тебя… Мне неохота было выступать еще бок о бок с мальчиком, в довершение всех благ…

Кристин ничего не сказала. Но ей было больно. Она не могла не признать, что Эрленд поступил нехорошо.

# III

В то Рождество они в Хюсабю мало виделись с людьми. Эрленд не хотел ехать, куда его приглашали, все время сидел дома, в своей усадьбе, и настроение у него было скверное.

Дело в том, что ожидаемое событие он принимал гораздо ближе к сердцу, чем это могла предположить его жена. Он так хвастался своей невестой с тех пор, как его родичи добились для него согласия в Йорюндгорде! И ни в коем случае не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, будто он относится к ней или к ее родичам с меньшим уважением, чем к членам своего собственного семейства. Нет! Все должны знать, что он считал за честь и почет для себя, что Лавранс, сын Бьёргюльфа, выдавал за него свою дочь. А теперь люди скажут, что, конечно, он уважал эту девушку не больше, чем дочь любого мужика, если посмел нанести такое оскорбление ее отцу: спал с его дочерью еще до того, как ее отдали ему в жены! На свадьбе Эрленд настойчиво приглашал родителей своей жены обязательно побывать к лету в Хюсабю, взглянуть, как идут у него дела. Ему не только очень хотелось показать им, что он привел их дочь не в бедный и худородный дом, его также радовала мысль о том, что он будет разъезжать повсюду и показываться в сопровождении таких красивых и видных родителей жены. Он понимал, что Лавранс и Рагнфрид выделятся всюду, куда бы они ни приехали. И он

считал с того раза, как был в Йорюндгорде, когда там сгорела церковь, что, несмотря ни на что, Лавранс не так уж плохо к нему относится. А теперь было мало оснований думать, что свидание между ним и родителями его жены доставит удовольствие им или ему.

Кристин огорчало, что Эрленд очень часто срывал свое дурное настроение на Орме. У мальчика совершенно не было сверстников, с которыми бы он мог проводить время; поэтому случалось, что он докучал и надоедал взрослым; бывало, что он портил что-нибудь. Однажды он взял без спросу отцовский самострел французской работы и сломал что-то такое в замке. Эрленд ужасно рассердился, он дал Орму пощечину и поклялся, что мальчик не получит больше позволения даже касаться самострелов, пока он здесь, в Хюсабю.

– Орм не виноват, – сказала Кристин не оборачиваясь. Она сидела спиной к ним обоим и шила. – Пружина выскочила, когда он взял самострел, и он пытался вставить ее. Нельзя быть столь несправедливым и запрещать такому большому сыну пользоваться одним из многих самострелов, которые есть у тебя в усадьбе. Уж лучше отдай ему тогда один из тех, что лежат в оружейной.

– Можешь сама подарить ему самострел, если тебе так хочется, – сердито сказал Эрленд.

– Охотно, – ответила Кристин, не меняя позы. – Я поговорю об этом с Ульвом в следующий раз, когда он поедет в город за покупками.

– Иди сюда, Орм, и поблагодари свою добрую мачеху, – произнес Эрленд. В голосе его были насмешка и гнев.

Орм так и сделал. А потом поскорее выбежал за дверь. Эрленд немного постоял молча.

– Ты сделала это больше для того, чтобы позлить меня, Кристин, – сказал он.

– Да, ведь я, как известно, чертовка! Ты уже говорил мне это, – отвечала жена.

– Но вспомни, моя дорогая, – грустно сказал Эрленд, – что я говорил в тот раз не всерьез.

Кристин не ответила и не подняла глаза от шитья. Тогда он ушел, а она потом сидела и плакала. Она полюбила Орма, и ей казалось, что Эрленд часто бывает несправедлив к своему сыну. Но, главное, молчаливость мужа и недовольное выражение его лица теперь так мучили ее, что она полночи лежала, заливаясь слезами. А после этого весь день ходила с головной болью. Руки у нее так похудели, что теперь ей приходилось надевать на пальцы сверх своих колец, обручального и венчального, еще несколько серебряных колечек, которые хранились у нее со времени детства, иначе кольца сваливались с пальцев, пока она спала.

* * *

В воскресенье перед началом поста к концу дня неожиданно приехали в Хюсабю господин Борд, сын Петера, со

своей дочерью, вдовой, и господин Мюнан, сын Борда, со своей женой. Эрленд и Кристин вышли во двор встретить гостей и поздравить их с приездом.

С первого же взгляда на Кристин господин Мюнан хлопнул Эрленда по плечу:

– Ты, как вижу, так ухаживаешь за женой, братец мой, что она отлично поправляется в твоей усадьбе. Ты теперь совсем не такая худая и болезненная, Кристин, какой была у себя на свадьбе. И у тебя гораздо больше свежих красок в лице, – засмеялся он, потому что Кристин покраснела, точно цвет шиповника.

Эрленд не отвечал. Лицо у господина Борда потемнело, но обе женщины то ли не расслышали, то ли не обратили внимания; они спокойно и вежливо поздоровались с хозяевами.

Кристин приказала подать пиво и мед к очагу, пока гости ждали обеда. Мюнан, сын Борда, говорил без умолку. Он привез Эрленду письмо от герцогини; она спрашивает, что сталось с ним и его невестой. И не ту ли самую девушку, на которой Эрленд теперь женат, он собирался увезти с собой в Швецию? Чертовски трудно путешествовать сейчас, в самую тяжелую пору зимы, – сперва через долины, а потом на корабле до Нидароса. Но он едет по поручению короля, а потому не приходится ворчать. По пути он заглянул к своей матери в Хэуг и привез от нее поклон.

– А в Йорюндгорде вы были? – тихо спросила Кристин. Нет, потому что ему стало известно, что они уехали на по-

минки в Блакарсарв. Там случилось несчастье. Хозяйка дома, Тура, двоюродная сестра Рагнфрид, упала с галереи стабюра и сломала себе позвоночник, а столкнул ее нечаянно сам муж. Знаете, такие старые стабюры, где не устроено настоящих галереек, а просто на конце бревен положены какие-то досочки на высоте второго жилья. Пришлось связать Ролва и сторожить его денно и нощно после того, как произошло несчастье, – он хотел наложить на себя руки.

Наступило жуткое молчание. Кристин мало знала этих родственников, но они были у нее на свадьбе. Ей стало както не по себе, в глазах у нее потемнело. Мюнан сидел прямо против Кристин, он бросился к ней. Когда он стоял, склонившись над ней и обхватив ее за плечи, у него было очень ласковое выражение лица. Кристин поняла: пожалуй, не удивительно, что Эрленд так любит этого своего двоюродного брата.

– Я знавал Ролва, когда мы были молоды, – сказал он. – Люди жалели Туру, дочь Гютторма; говорили, что он буен и жесток. Ну, а теперь ясно, что он любил ее. Да, да, многие мужья болтают зря и делают вид, что охотно разошлись бы со своей половиной, но большинство отлично знает, что нет ничего хуже потери жены…

Борд, сын Петера, резким движением поднялся с места и отошел к скамье у стены.

– Покарай меня Господь за мой язык! – тихо сказал господин Мюнан. – Никогда не могу запомнить, что надо дер-

жать его за зубами!..

Кристин не поняла, в чем тут дело. Головокружение теперь у нее уже прошло, но было как-то жутко. – все были какие-то странные. Она обрадовалась, когда слуги внесли кушанье. Мюнан взглянул на стол и потер себе руки.

– Я так и думал, что мы не останемся внакладе, если заедем к тебе, Кристин, до того как придется жевать постную пищу. Ну и лакомства ты извлекла на свет Божий за такой короткий срок! Можно, пожалуй, подумать, что ты научилась колдовству у моей матери! Но я вижу: ты быстра на все, чем хозяйка дома может порадовать мужа.

Все сели за стол. Для гостей были положены бархатные подушки на скамью у стены, по обеим сторонам почетного места. Слуги расположились на внешней скамье – Ульв, сын Халдора, посредине, прямо против хозяина дома.

Кристин спокойно болтала с приезжими женщинами, стараясь скрыть, как ей нехорошо. Время от времени Мюнан, сын Борда, вставлял в разговор какое-нибудь словечко, желая пошутить, но неизменно прохаживался насчет положения Кристин.

Она делала вид, что ничего не слышит.

Мюнан был необычайно тучный человек. Его маленькие, красивой формы уши врастали в красный толстый загривок, а брюхо мешало ему пройти, когда все садились за стол.

– Да, я часто задумывался насчет воскресения во плоти, – сказал он. – Неужели я восстану из мертвых со всем этим

салом, которое наросло на мне, когда наступит тот день? Вот ты, Кристин, скоро будешь опять стройна и тонка в стане, но со мной дело обстоит хуже. Конечно, ты не поверишь, однако я был не шире в поясе, чем Эрленд, когда мне было двадцать зим…

– Помолчи, Мюнан, – тихо попросил Эрленд, – ты мучишь Кристин!

– Ладно, раз ты меня просишь, – продолжал тот. – Ты теперь гордый, я понимаю… Сидишь за своим собственным столом с законной женой на почетном месте с тобою рядом… Да и давно пора уж, видит Бог, ты ведь не так уж молод, мой мальчик! Разумеется, я замолчу, раз ты велишь! А тебе-то никто никогда не указывал, когда тебе следует говорить или молчать… в те прошедшие дни, когда ты сидел за моим столом… Ты гостил у меня долгонько, и, думаю, вряд ли замечал когда-либо, что ты нежеланный гость…

Но разве Кристин так уж не нравится, что я немного шучу с нею?.. Что скажешь на это, моя прекрасная родственница? Ты не так дичилась в прежние дни! Я знаю Эрленда с того времени, когда он был вот такого роста, и, полагаю, я смею сказать, что всегда желал мальчику только добра. Решителен и отважен ты, Эрленд, с мечом в руке, на коне и на корабле. Но я взмолюсь святому Улаву, чтобы он разрубил меня пополам своей секирой в тот день, когда увижу, что ты встанешь на свои длинные ноги, поглядишь прямо в глаза – мужчине ли, женщине ли – и ответишь за то, что ты наделал в

своем легкомыслии. Нет, дорогой мой родич, тогда ты повесишь голову, как птичка в ловушке, и станешь дожидаться, чтобы Господь Бог и родня твоя помогли тебе выбраться из беды. Ты такая разумная женщина, Кристин, что, наверное, сама знаешь это, – я хочу сказать, тебе сейчас необходимо посмеяться; наверное, этой зимой тебе достаточно пришлось наглядеться на смущенные лица, на печаль да раскаяние…

Кристин сидела с густо покрасневшим лицом. Руки у нее дрожали, и она не решалась взглянуть на Эрленда. Гнев кипел в ней – ведь тут сидят чужие женщины, Орм и слуги! Вот какова учтивость богатых родичей Эрленда!..

Тогда господин Борд заговорил так тихо, что его могли расслышать только те, кто сидел к нему ближе всех:

– Я не понимаю, как над этим можно шутить… что Эрленд так вел себя со своей женой. А я-то ручался за тебя, Эрленд, перед Лаврансом, сыном Бьёргюльфа!

– Да, это было дьявольски глупо с твоей стороны, крестный, – сказал Эрленд громко и запальчиво. – И я не понимаю, как ты мог быть столь неразумен. Ведь ты… ты же тоже знаешь меня хорошо…

Но теперь Мюнан закусил удила.

– Ладно, теперь я скажу, почему это мне кажется забавным! Помнишь, что ты ответил мне, Борд, когда я приехал к тебе и сказал, что теперь мы должны помочь Эрленду в этом браке… Ну нет! Уж теперь я скажу об этом – Эрленд должен узнать, что ты думал обо мне. Вот так-то и так-то обстоят

у них дела, сказал я, и если он не получит Кристин, дочери Лавранса, то одному лишь Господу Богу да деве Марии известно, о каких только сумасбродствах мы не услышим! Тогда ты спросил, не потому ли мне хочется женить его на обольщенной девушке, что я надеюсь на ее бесплодие, раз так долго ей все сходило? Но, я думаю, вы знаете меня, вы все! Знаете, что я верный родич своим родственникам… – Мюнан залился слезами, до такой степени он растрогался. – Так будьте же мне свидетелями, Господь Бог и все его святые, – никогда я не зарился на имение твое, Эрленд… Да и, кроме того, между мной и Хюсабю стоит еще Гюннюльф. Но я ответил тебе, Борд, ты это знаешь… что первому сыну, которого принесет Кристин, я подарю мой оправленный золотом кинжал с ножнами из моржовой кости… Вот он, получай его! – крикнул Мюнан, рыдая, и швырнул драгоценное оружие на стол прямо к Кристин. – А если на этот раз родится не сын, так, наверное, на будущий год!..

Слезы стыда и гнева струились по горячим щекам Кристин. Она изо всех сил боролась с собой, чтобы не потерять сознания. Но обе гостьи сидели и ели так невозмутимо, словно они привыкли к таким выходкам. А Эрленд шепнул ей, чтобы она взяла кинжал: «Иначе Мюнан не угомонится весь вечер…»

– Да и к тому же я не стану скрывать, – продолжал Мюнан, – я ничего не имею против того, Кристин, чтобы отцу твоему довелось понять, что он слишком поспешил, когда

ручался за твой нрав. Как он был высокомерен! Мы были для него недостаточно хороши, да, да, а ты была слишком хороша и чиста, чтобы терпеть в своей постели такого мужа, как Эрленд. Он говорил так, словно был уверен, что ты не признаешь никаких других занятий в ночные часы, кроме пения в хоре с монашками. Я так и сказал ему. «Милый мой Лавранс, – сказал я, – дочь ваша красивая, здоровая, живая молодая девушка, а зимние ночи долгие и холодные в наших краях…»

Кристин прикрыла лицо головной повязкой. Она громко рыдала и хотела подняться из-за стола, но Эрленд силой посадил ее на место.

– Ты должна владеть собой, – сказал он сердито. – Не обращай внимания на Мюнана… Разве ты не видишь, что он мертвецки пьян?

Кристин чувствовала, что фру Катрин и фру Вильборг презирают ее за то, что она не может совладать с собой. Но она не могла удержать слез.

Борд, сын Петера, сказал в бешенстве:

– Заткни свою вонючую пасть! Ты всегда был свиньей… Неужели же ты не можешь оставить в покое больную женщину и не болтать всякого грязного вздора!

– Свиньей, ты сказал?.. Да, у меня гораздо больше незаконных детей, чем у тебя, правда, правда. Но одного я никогда не делал… да и Эрленд тоже… Мы не нанимали другого человека, чтобы он назывался за нас отцом наших детей.

– Мюнан! – вскричал Эрленд, вскакивая с места. – Я призываю к миру у себя в доме!..

– А, призывай к миру у себя в заднице! Они считают того отца своим, который зачал их… в свинском житье, как ты говоришь! – Мюнан хватил кулаком по столу так, что все чашки и миски взлетели на воздух. – Наши сыновья не живут слугами в домах своих родичей! А вот здесь, через стол от тебя, сидит с тобой твой сын, и сидит он на скамейке для слуг. Это я счел бы для себя величайшим стыдом…

Борд вскочил на ноги и швырнул кружкой в лицо Мюнану. Оба схватились так, что столешница наполовину свалилась, и кушанья и посуда полетели на колени сидевших на внешней скамье.

Кристин сидела белая, с полуоткрытым ртом. Невзначай она взглянула на Ульва – тот громко хохотал грубым и злым хохотом. Потом толкнул столешницу обратно, прижав ею обоих дравшихся.

Эрленд вскочил на стол. Став на колени прямо среди остатков пиршества, он обхватил Мюнана руками пониже плеч и вытащил его к себе, – при этом лицо у него самого стало багровым от напряжения… Мюнан успел лягнуть старика так, что у Борда пошла кровь изо рта; тогда Эрленд перебросил Мюнана через стол прямо на пол. А сам спрыгнул со стола и стоял тяжело дыша – грудь у него раздувалась, как мехи.

Мюнан поднялся на ноги и бросился на Эрленда; тот раза

два уходил у него из-под рук, а потом сам кинулся на Мюнана и схватил его, крепко стиснув своими длинными крепкими руками и ногами. Эрленд был гибок, как кошка, но Мюнан стоял на ногах твердо; сильный и тяжелый, он не давал свалить себя па пол. Они кружились по комнате, служанки визжали и кричали, но никто из мужчин и не думал разнимать дерущихся.

Тут поднялась с места фру Катрин, тяжелая и жирная. Она медленно перелезла через стол, с таким спокойствием, словно шагала по лестнице стабюра.

– Ну, довольно! – сказала она своим протяжным, густым голосом. – Отпусти его, Эрленд! Нехорошо было, муж мой, говорить такие вещи старому человеку, да еще близкому родичу…

Мужчины послушались ее. Мюнан покорно стоял, позволяя жене вытирать головным покрывалом кровь, струившуюся у него из носа. Фру Катрин велела ему лечь в постель, и он послушно пошел за женой, когда та повела его к кровати, стоявшей у южной стены. Фру Катрин и один из слуг стащили с него одежду, опрокинули его на постель и закрыли дверцу кровати.

Эрленд отошел к столу и наклонился над ним, стоя рядом с Ульвом, который продолжал сидеть все в том же положении.

– Крестный! – сказал он жалостно. Казалось, он совершенно забыл о своей жене. Господин Борд сидел, покачивая

головой, и слезы катились у него по щекам.

– Ему вовсе и не надо было служить, Ульву, – послышалось наконец сквозь всхлипывания и прерывистое дыхание. – Ты мог получить усадьбу после смерти Халдора, ведь ты знаешь, что так я и задумал…

– Не больно роскошную усадьбу ты подарил Халдору… Ты дешево купил мужа для служанки своей жены, – сказал Ульв. – Он расчистил землю и возделал ее хорошо… Я считал справедливым, чтобы братья мои получили усадьбу после своего отца. Да и то сказать, не очень-то мне хотелось сидеть мужиком на земле. Тем более глазеть там с горы на двор Хестнеса… Мне бы казалось, что я каждый день буду слышать, как до нас доносится ругань Поля и Вильборг, которые честят меня за то, что ты сделал слишком огромный подарок своему пащенку…

– Я предложил помочь тебе, Ульв… – сказал плача Борд, – когда ты хотел уехать с Эрлендом. Я рассказал тебе все об этом деле, как только ты достаточно вырос, чтобы понимать. Я просил тебя вернуться к своему отцу…

– Я называю того своим отцом, кто заботился обо мне, когда я был ребенком. А заботился обо мне Халдор! Он был добр к моей матери и ко мне. Он научил меня ездить верхом на коне и рубить мечом… вроде того, как мужики работают дубиной, – так, я помню, сказал однажды Поль…

Ульв швырнул нож, который держал в руке, так что тот со звоном покатился по столу. Потом поднялся с места, взял

опять нож, обтер его о свое бедро, сунул снова в ножны и затем повернулся к Эрленду:

– Кончай этот свой пир и посылай людей спать! Разве ты не видишь, что жена твоя еще не привыкла к тем застольным обычаям, которые приняты в нашем роду?..

И с этими словами он вышел из горницы.

Господин Борд посмотрел ему вслед – он казался таким жалким, старым и дряхлым, сгорбившись, среди бархатных подушек. Дочь, Вильборг, и один из его слуг помогли ему встать на ноги и вывели из горницы.

Кристин осталась сидеть одна на почетном месте и все плакала и плакала. Когда Эрленд обнял ее, она сердито отбросила от себя его руку. Идя через горницу, она несколько раз покачнулась, но резко ответила: «Нет!», когда муж спросил ее, не больна ли она.

Ей не нравились эти закрытые кровати. Дома у них они отделялись от остальной комнаты только занавесками, и поэтому там не было так жарко и душно. Сейчас постель казалась ей хуже, чем обычно… Даже дышать ей было трудно. Твердый комок, давивший ее прямо под ребрами, – она думала, что это голова ребенка, и представляла себе, что он лежит, просунув свою маленькую черную головку среди самых корней ее сердца, – лежал тяжело, как когда-то Эрленд, прижимавший черноволосую голову к ее груди. Но сегодня ночью никакие нежности не шли ей на ум…

– Что же, ты так никогда и не перестанешь плакать? –

спросил муж, подсовывая свою руку под плечи Кристин.

Он был совершенно трезв. Эрленд мог очень много выпить, но чаще всего пил довольно мало. Кристин лежала и думала: таких вещей никогда на свете не могло бы случиться у них дома. Никогда в жизни не слыхала она там, чтобы люди поносили и позорили друг друга или же копались в том, о чем лучше помолчать. Сколько раз приходилось ей видеть отца своего, когда он, сильно пьяный, едва стоял на ногах, а горница была полна пьяных гостей, но и тут никогда не случалось, чтобы отец не мог поддержать приличия в своем доме: мир и благодушие царили до тех самых пор, пока люди не валились со скамей на пол и не засыпали там весело и в полном согласии.

– Милая моя, не принимай ты этого так близко к сердцу! – молил Эрленд.

– А господин Борд! – разразилась она рыданиями. – Тьфу, как не стыдно!.. Он смел разговаривать с моим отцом так, будто привез ему послание от самого Господа Бога… Да, Мюнан рассказывал мне об этом на нашем сговоре…

Эрленд тихо ответил:

– Я превосходно знаю, Кристин, что у меня есть причины опускать глаза долу перед отцом твоим. Он прекрасный человек, но мой приемный отец не хуже его. Ища, мать Поля и Вильборг, лежала в постели больная и расслабленная шесть лет, прежде чем умерла. Это было еще до того, как я приехал в Хестнес, но я слышал об этом, – никогда ни один муж

не ухаживал за больной женой более преданно и ласково. Но вот в это самое время и родился Ульв…

– Тогда тем стыднее… От служанки своей больной жены…

– Ты часто держишь себя так по-детски, что с тобой нельзя разговаривать, – сказал удрученно Эрленд. – Господи помилуй, тебе будет весной двадцать лет, Кристин, и уже не одна зима миновала с тех пор, как тебя следовало считать взрослой женщиной…

– Да, конечно, у тебя есть право презирать меня за это…

Эрленд громко застонал:

– Ты сама знаешь, что я не это хотел сказать. Но ты жила там у вас, в Йорюндгорде, и наслушалась Лавранса… Он такой смелый и мужественный, а разговаривает часто так, словно он монах, а не свободный мужчина.

– А ты слышал когда-нибудь о таком монахе, у которого было бы шестеро детей? – сказала она сердито.

– Да, слышал об одном, его звали Скюрда-Грим, и у него было семеро, – сказал смущенно Эрленд. – Он был раньше нидархолмским аббатом… Да ну же, Кристин; Кристин, не плачь же, так! Боже ты мой, да ты, должно быть, с ума сошла!..

* * *

Мюнан был очень смирен на следующее утро.

– Я не мог подумать, что ты примешь так близко к сердцу мою пьяную болтовню, Кристин, милая, – сказал он серьезно и погладил ее по щеке. – Иначе я, разумеется, придержал бы язык!

Он сказал Эрленду, что Кристин, должно быть, чувствует себя неловко, когда этот мальчишка вертится вокруг нее, – не лучше ли увезти Орма куда-нибудь на ближайшее время. И предложил взять его пока к себе. Эрленду это понравилось, а Орм охотно поехал с Мюнаном. Но Кристин скучала по нему – она полюбила пасынка. Теперь она опять просиживала вечерами одна с Эрлендом, а от него толку было мало. Он присаживался к очагу, по временам произносил одно-два слова, выпивал глоток пива из чаши, играл со своими собаками. Потом отходил и растягивался на скамейке, а затем заваливался спать, спрашивал раза два Кристин, скоро ли она ляжет, и засыпал.

Кристин сидела и шила. Слышно было, как она дышала короткими и тяжелыми вздохами. Но теперь осталось уже недолго ждать. Она с трудом припоминала ощущение легкости и гибкости стана, когда можно завязывать башмак без мучения.

И вот теперь, когда Эрленд спал, она уже не пыталась больше удерживать слезы. В горнице не слышно было ни малейшего звука, кроме шороха поленьев, оседавших в очаге, да иногда шевелились собаки. Нередко Кристин задавалась недоуменным вопросом: а о чем же они с Эрлендом беседо-

вали прежде? Правда, им не приходилось много разговаривать, у них бывало другое занятие в те короткие и краденые часы свиданий…

…В это время года мать и ее служанки обычно сидели по вечерам в ткацкой. Потом туда же приходили отец и другие мужчины и усаживались там, всяк со своей работой – чинили кожаные вещи и разные инструменты, занимались резьбой по дереву. Маленькая горенка бывала битком набита народом, люди беседовали между собой потихоньку да полегоньку. Когда кто-нибудь выходил хлебнуть пива из кадки, он неизменно спрашивал, прежде чем повесить ковш обратно, не хочет ли выпить еще кто другой. Таков был обычай.

Потом кто-нибудь, бывало, расскажет отрывок из древнего сказания – о живших в стародавние дни витязях, вступавших в битвы с теми, кто обитает в горе, и с великанами. Или же отец, продолжая вырезать по дереву, расскажет рыцарскую повесть из тех, что читались при нем вслух в чертоге герцога Хокона, когда Лавранс был там факелоносцем в дни своей юности. Странно звучащие красивые имена: король Осантрикс, рыцарь Титурель… Сисибе, Гюнивер, Глориана, Исодд – так звались королевы… А в другие вечера рассказывались всякие небылицы и смешные бывальщины, так что мужчины хохотали во все горло, а мать и служанки только покачивали головами да посмеивались.

Ульвхильд и Астрид пели. У матери был удивительно красивый голос, но ее приходилось упрашивать, прежде чем она

соглашалась спеть. Отца же не надо было долго уламывать, он умел так хорошо играть на гуслях.

Потом Ульвхильд отодвигала в сторону прялку и веретено и трогала себя за поясницу.

– Что, у тебя спинка устала, маленькая моя Ульвхильд? – спрашивал отец и брал ее к себе на колени. Кто-нибудь приносил шашечницу, и отец играл в шашки с Ульвхильд, пока не наставало время ложиться спать. Кристин вспомнилось, как золотистые кудри сестренки ниспадали на коричневато-зеленый сермяжный рукав отца. Лавранс так нежно охватывал рукой хилую спинку ребенка.

Большие красивые отцовские руки с тяжелыми золотыми кольцами на мизинцах… Эти кольца принадлежали его матери. Он говорил, что одно из них – с красным камнем, венчальное кольцо матери, – получит потом, после его смерти, Кристин. А то, которое он носил на правой руке, с камнем наполовину синим и наполовину белым, как герб на его щите, господин Бьёргюльф заказал для своей жены, когда та носила ребенка. Она должна была получить кольцо, если родит мужу сына. Три ночи носила это кольцо мать Лавранса, Кристин, дочь Сигюрда, а потом подвязала его на шею ребенку. И Лавранс говорил, что он хочет, чтобы его положили с этим кольцом в могилу.

Ах, что-то скажет ее отец, когда узнает о ней! Когда эта весть разнесется там, у них дома, по всей округе и ему придется слышать об этом, куда бы он ни поехал – в церковь

ли, на тинг или сходку, – каждый будет смеяться за его спиной над тем, что Лавранс дал себя так одурачить. В Йорюндгорде обряжали к свадьбе развратную женщину, покрыв наследственным брачным венцом ее по-девичьи распущенные волосы!..

«Люди часто говорят обо мне, что я не умею держать в покорности собственных детей». – Кристин вспомнила лицо отца, когда он говорил это: ему следовало бы быть строгим и серьезным, но глаза у него были веселые. Кристин провинилась в каком-то пустяке – кажется, говорила с отцом при посторонних, когда ее не спрашивали, или что-то в этом роде. «Да, Кристин, не очень-то ты побаиваешься своего отца!» Тут он стал смеяться, и она смеялась вместе с ним. «Ну, это нехорошо, Кристин!» – Но никто из них не знал, что же именно нехорошо: то ли, что она не питает надлежащего страха перед отцом, или же что он совершенно не может казаться серьезным, когда ему надо было бы пожурить ее.

…Нестерпимый ужас при мысли, что с ее ребенком может быть что-нибудь неладное, постепенно исчезал по мере того, как Кристин было все труднее и мучительнее носить свое тело. Она пыталась задуматься над будущим: что-то будет через месяц? Тогда ее мальчику уже исполнится несколько дней! Но она не могла представить себе это на самом деле. Она лишь все тосковала и тосковала по дому.

Однажды Эрленд спросил ее, не хочет ли она, чтобы он послал за ее матерью. Но Кристин ответила: «Нет!» Ей ка-

залось, что мать не сможет перенести такое продолжительное путешествие в зимнюю пору. Теперь она раскаивалась. И раскаивалась также, что отказала Турдис из Лэугарбру, которой очень хотелось поехать вместе с Кристин на север и помогать ей по хозяйству в течение первой зимы. Но ей было стыдно перед Турдис. Турдис была личной служанкой Рагнфрид еще у нее дома, в Сюндбю, последовала за ней в Скуг, а затем обратно к ним в Йорюндгорд. Когда она вышла замуж, Лавранс назначил ее мужа управителем в Йорюндгорде, ибо Рагнфрид не могла обходиться без своей любимой служанки. Кристин не пожелала взять с собой из дому ни одной прислужницы.

Теперь ей казалось ужасным, что над ней не склонится ни одно знакомое лицо, когда придет ее час лежать на полу на соломе. Кристин боялась, она мало знала о том, как рожают женщины. Мать никогда не разговаривала с ней об этом и никогда не позволяла молодым девушкам присутствовать, когда ходила принимать роды. Это только отпугивает молодежь, – так говорила Рагнфрид. Иногда это бывает совсем ужасно… Кристин помнила, как мать рожала Ульвхильд. Но Рагнфрид говорила, что эти роды у нее были трудные, потому что по забывчивости она пролезла под изгородью, – всех своих других детей она рожала легко. А Кристин вспомнила, что она сама по рассеянности прошла на корабле под канатом…

Впрочем, не всегда бывают такие последствия, – Кристин

слышала об этом от матери, да и другие женщины говорили то же. О Рагнфрид ходила у них по всей округе молва как о лучшей повивальной бабке, и она никогда не отказывалась оказать помощь, требовалась ли она нищенке или же обольщенной дочери какого-нибудь беднейшего крестьянина, даже если погода стояла такая, что трое мужчин должны были сопровождать Рагнфрид на лыжах и поочередно нести ее на спине.

…Но ведь тогда совершенно немыслимо, чтобы такая опытная женщина, как ее мать, не понимала, что происходило с Кристин нынче летом, когда она чувствовала себя так плохо. Это неожиданно пришло в голову Кристин. Но тогда… но ведь тогда, конечно, мать наверное, приедет, даже если за ней и не посылали никого! Разумеется, Рагнфрид не потерпит, чтобы чужая женщина помогала ее дочери в час мук… Мать приедет… Она, наверное, уже сейчас в пути!.. О, тогда она будет просить свою мать о прощении за все, в чем согрешила перед ней… Ее родная мать будет помогать ей, и можно будет броситься на колени к ее ногам, когда ребенок родится. Мать едет, мать едет!.. Кристин облегченно рыдала, закрыв лицо руками. «Да, матушка! Прости меня, матушка!»

Мысль о том, что мать едет сюда к ней, засела так крепко в уме Кристин, что однажды ей показалось, будто она ощущает всем своим существом, что именно сегодня мать приедет. И вот ранним утром она надела плащ и вышла из дому

встретить ее на дороге из Гэульдала к Скэуну. Никто не заметил, что Кристин вышла из усадьбы.

Эрленд велел навозить бревен для починки строений, и потому дорога оказалась наезженная, но все же Кристин было трудно идти – она задыхалась, у нее началось сердцебиение и стало колоть в боку. Казалось, ее напряженное тело лопнет. А большая часть пути лежала через густой лес. Она немного побаивалась, но в эту зиму никто в округе не слыхивал о волках. И Господь Бог, наверное, охранит ее, потому что она идет навстречу матери, чтобы пасть перед ней ниц и молить о прощении, – остановиться она не могла.

Она подошла к озерку, около которого стояло несколько небольших усадеб. Там, где дорога спускалась на лед, Кристин присела на бревно. Она то сидела, то ходила, когда ей становилось холодно, и так прождала в течение нескольких часов. Наконец ей пришлось вернуться домой.

На другой день она опять отправилась той же самой дорогой. Но когда проходила через двор одной из маленьких усадеб у озера, к ней подбежала ее хозяйка:

– Боже мой, госпожа, этого нельзя делать!

Как только женщина вымолвила это, самой Кристин стало так страшно, что она не в силах была сдвинуться с места; дрожа, перепуганным взором она смотрела на крестьянку.

– Через лес! Подумай только, а вдруг волк учуял бы тебя! Да и всякие другие несчастья могли с тобой случиться… Как это ты поступаешь так безрассудно?

Крестьянка обняла молодую госпожу и поддержала ее. Заглянула в ее изможденное, изжелта-бледное, покрытое коричневыми пятнами лицо.

– Придется тебе зайти к нам в избу и отдохнуть немного, а потом проводит тебя домой кто-нибудь из нас, – сказала она и повела с собой Кристин.

Это была бедная избушка, и все в ней было в беспорядке; много детишек играло на полу. Мать отослала их на кухню, сняла с гостьи плащ, посадила на скамью и стащила покрытые снегом башмаки. Потом завернула ноги Кристин в овчину.

Кристин просила женщину не беспокоиться, однако та стала потчевать ее разными кушаньями и пивом, нацеженным из рождественской бочки, а сама в то же время думала: нечего сказать, хорошие дела творятся в Хюсабю! Хотя она жена бедного человека и в их усадьбе работниц нанимают редко, а чаще совсем не нанимают, но никогда ее Эйстейн не позволял, чтобы она выходила за ограду двора, когда была тяжелой. Если даже ей приходилось зайти в хлев после того, как стемнеет, то и тогда кто-нибудь должен был за ней присматривать. А тут самая богатая женщина в округе уходит из усадьбы, подвергая себя ужасной опасности, и ни одна-то душа христианская не позаботится о ней, хотя слуги толкутся толпой в Хюсабю и ровно ничего не делают. Верно, правду говорят люди, что Эрленду, сыну Никулауса, уже надоела брачная жизнь, да и сама жена!

Но она все время болтала с Кристин и заставляла ее есть и пить. Кристин стеснялась, – ей вдруг так захотелось есть, как уже не бывало… ну, с самой прошлой весны! Все, что подавала эта добрая женщина, было так вкусно… А крестьянка говорила, смеясь: видать, знатные женщины не иначе созданы, чем все прочие! Иной раз дома противно даже смотреть на еду, но часто с жадностью набрасываешься на чужую стряпню, хоть это пища грубая и скудная.

Женщину звали Эудфинна, дочь Эудюна, и была она из Упдала, по ее словам. Заметив, что гостья с удовольствием ее слушает, она принялась рассказывать о своем доме и о своей долине. И не успела Кристин опомниться, как язык у нее развязался, и она заговорила о своем доме, и о своих родителях, и о своей родине. Эудфинна поняла, что сердце молодой женщины готово разорваться от тоски по дому, и потому поддакивала ей и подстрекала продолжать рассказ. И, разгоряченная, отуманенная крепким пивом, Кристин говорила и говорила, пока не стала смеяться и плакать одновременно. Все, что она тщетно пыталась выплакать в одинокие вечерние часы в Хюсабю, теперь мало-помалу исчезало, пока она изливала свою душу перед этой доброй крестьянкой.

Над дымовой отдушиной стало совсем темно, но Эудфинна сказала, что Кристин лучше подождать, когда вернутся домой из леса Эйстейн или сыновья, – они и проводят ее. Кристин умолкла, и ее клонило ко сну, но она сидела, улыбаясь, с сияющим взором, – так хорошо она давно уже себя

не чувствовала, с тех самых пор, как приехала в Хюсабю.

Вдруг какой-то мужчина быстро распахнул дверь, громко спросил, не видал ли кто госпожу, заметил ее и выбежал вон. Сейчас же вслед за ним под притолоку нырнула длинная фигура Эрленда. Он выпустил из рук топор и, шатаясь, попятился к стене, шаря позади себя руками, чтобы опереться; говорить он не мог.

– Ты испугался за свою хозяйку? – спросила Эудфинна, подходя к нему.

– Да, в этом я не стыжусь признаться. – Он провел рукой по волосам. – Наверное, так не пугался еще никогда ни один муж, как я нынче вечером. Когда услышал, что она пошла через лес…

Эудфинна рассказала, каким образом Кристин пришла сюда. Эрленд взял женщину за руку.

– Этого я никогда не забуду ни тебе, ни твоему мужу, – сказал он.

Затем подошел туда, где сидела его жена, стал перед нею и положил руку ей на голову. Он не промолвил ни слова, но стоял так все время, пока они были в горнице.

Тут вошли слуги из Хюсабю и люди из ближайших усадеб. У всех был такой вид, что подкрепительный напиток никак не помешал бы им. Поэтому, прежде чем гости тронулись в путь, Эудфинна обнесла их пивом.

Мужчины побежали по полям на лыжах, но Эрленд отдал лыжи слуге и, спускаясь с пригорка, взял Кристин под свой

плащ. Было уже совсем темно, и звезды ярко сверкали.

Вдруг сзади, из леса, донесся протяжный вой, звучавший все громче и громче в тишине ночи. Это были волки – видимо, целая стая. Эрленд остановился, дрожа всем телом, выпустил Кристин, и она почувствовала, что он осеняет себя крестным знамением, сжимая топор другой рукой.

– Что, если бы ты сейчас?.. Нет, нет!.. Он так крепко прижал ее к себе, что она застонала. Лыжники, бежавшие по полю, круто повернули и изо всех сил поспешили к ним. Потом, вскинув лыжи на плечи, окружили Кристин тесным частоколом из копий и топоров. Волки следовали за ними вплоть до самого Хюсабю, подходя так близко что не раз в темноте можно было разглядеть волчью тень.

Когда они вошли в большую горницу усадьбы, у многих мужчин лица были бледно-серые.

– Это самый ужасный… – начал было один, но тут его вырвало прямо в очаг.

Перепуганные служанки уложили хозяйку в постель. Есть Кристин не могла. Но теперь, когда болезненный, ужасный страх миновал, Кристин было даже приятно видеть, что все так испугались за нее.

Когда они остались одни в горнице, Эрленд подошел и сел на край кровати.

– Зачем ты это сделала? – шепнул он. И так как она не отвечала, сказал еще тише: – Ты жалеешь, что приехала ко мне, в дом мой?

Прошло некоторое время, прежде чем она поняла смысл его слов.

– Иисус, Мария! Как тебе приходят в голову такие мысли?

– О чем ты думала в тог раз, когда сказала… когда мы ездили в Медалбю и я хотел ускакать от тебя… что мне придется долго ждать, пока ты приедешь вслед за мной в Хюсабю? – спросил он все так же тихо.

– Ах, я говорила в гневе! – тихо и смущенно произнесла Кристин. И тут она рассказала ему, для чего она уходила в эти дни. Эрленд сидел тихонько и слушал ее.

– Хотелось бы знать, наступит ли наконец такой день, когда тебе будет казаться, что здесь у меня, в Хюсабю, ты дома? – промолвил он, наклоняясь над ней в темноте.

– О, теперь до этого осталось ждать, наверное, не больше недели! – шепнула Кристин и робко засмеялась. И когда Эрленд прижался своим лицом к ее лицу, она крепко обняла его за шею и горячо поцеловала.

– В первый раз с того дня, как я тебя ударил, ты сама обнимаешь меня, – тихим голосом промолвил Эрленд. – Злопамятная же ты, моя Кристин…

А у нее мелькнула мысль, что сегодня впервые с того вечера, как Эрленд узнал о ее беременности, она осмелилась приласкать мужа без его просьбы об этом.

Но с этого дня Эрленд был так ласков с Кристин, что она с раскаянием вспоминала о каждом часе, когда сердилась на него.

# IV

Наступил и миновал день святого Григория. Кристин была вполне уверена, что это самый крайний срок для нее. Но вот уже скоро и день святой Марии в четыредесятнице, а Кристин все еще ходит в ожидании.

Эрленду пришлось поехать в середине поста в Нидарос на тинг. Он сказал, что, наверное, сможет быть дома уже в понедельник вечером, но даже в среду утром его еще не было. Кристин сидела в горнице, не зная, чем бы ей заняться, – у нее словно руки не поднимались приняться за какую-нибудь работу.

Солнечный свет лился потоком через дымовую отдушину. Кристин чувствовала, что сегодня на дворе, должно быть, настоящая весна. Она встала и накинула на себя плащ.

Одна из служанок говорила ей, что если беременная женщина не разрешается чересчур долго, то ей очень полезно покормить из своего подола зерном ту лошадь, на которой она ехала венчаться. Кристин немного постояла в дверях горницы; в ослепительном солнечном свете лежал совершенно побуревший двор со сверкающими струйками воды, промывавшими светлые ледяные колеи в конском навозе и соломенной подстилке. Небо раскинулось сияющим голубым шелком над старыми домами, два корабельных носовых украшения, стоявших на балках восточной кладовой,

блестели сегодня в потоке солнечных лучей остатками старой позолоты. Вода капала и бежала с крыш, и дым кружился и плясал под порывами легкого теплого ветра. Она прошла *к* конюшне и зашла туда, наполнив подол своего платья овсом из ларя с кормом. От запаха конюшни и звуков движения лошадей в темноте ей стало хорошо. Но в конюшне были люди. Поэтому Кристин постыдилась сделать то, ради чего пришла сюда.

Она вышла из конюшни и выбросила зерно курам, расхаживавшим по двору и гревшимся на солнце. Рассеянно взглянула на Туре, конюха, который чистил и скреб серого мерина – тот очень сильно линял. По временам она закрывала глаза и подставляла солнечным лучам лицо, увядшее и побледневшее от сидения взаперти.

Так стояла она, как вдруг трое мужчин въехали во двор. Ехавший впереди был молодой священник, ей незнакомый. Едва он увидел ее, как сейчас же спрыгнул с седла и пошел прямо к Кристин, притягивая ей руку.

– Вы, конечно, не собирались оказать мне почесть, хозяйка, выйдя во двор ко мне навстречу, – сказал он улыбаясь. – Но все же я должен поблагодарить вас за это. Ведь вы, конечно, жена моего брата. Кристин, дочь Лавранса?

– Тогда вы, разумеется, магистр Гюннюльф, мой деверь… – отвечала она, покраснев как маков цвет. – Добро пожаловать! С приездом домой, в Хюсабю!

– Спасибо за сердечный привет, – сказал священник. Он

наклонился и поцеловал ее в щеку. Кристин знала, что таков был обычай в чужеземных странах при встрече родственников. – Будьте здоровы, супруга Эрленда!

Ульв, сын Халдора, вышел во двор и приказал слуге взять лошадей у приезжих. Гюннюльф сердечно поздоровался с Ульвом.

– А, ты здесь, родич? Я ожидал услышать, что ты теперь женился и стал сам хозяином.

– Нет, я не женюсь до тех пор, пока мне не придется выбирать между женой и виселицей, – сказал Ульв и засмеялся; засмеялся и священник. – Я пообещал дьяволу жить неженатым столь же твердо, как ты дал обет в этом Богу!

– Ну, тогда будешь спасен, как бы ты ни поступил, Ульв, – отвечал магистр Гюннюльф смеясь. – Потому что хорошо поступишь в тот день, когда нарушишь свое обещание, данное лукавому. Однако сказано также, что человек должен держать свое слово, даже если оно дано самому черту… А разве Эрленда нет дома? – спросил он удивленно. Он подал Кристин руку, когда они повернулись, чтобы пройти в главный дом.

Чтобы скрыть свое смущение, Кристин замешалась среди служанок и стала присматривать, как накрывают на стол. Она попросила ученого брата Эрленда сесть на почетное место, но так как сама не хотела сесть там вместе с ним, то он пересел к ней на скамью.

Теперь, когда магистр Гюннюльф сидел рядом с Кристин,

она заметила, что он был, должно быть, по меньшей мере на полголовы ниже Эрленда, но зато гораздо плотнее его. Сложения он был более крепкого, а его широкие плечи были совершенно прямые. Эрленд немного сутулился. Гюннюльф был одет во все темное, как приличествует священнику, но длинная ряса, спускавшаяся до самых пят и доходившая у шеи почти до завязок полотняной рубашки, была застегнута муравлеными пуговицами, а на вышитом поясе висел серебряный футляр с ножом и ложкой.

Кристин незаметно разглядывала священника. У него была круглая крепкая голова и широкое, хотя и худощавое, лицо с высоким лбом, немного выдающимися скулами и красиво закругленным подбородком. Нос прямой, уши небольшие и красивые, но рот у него был большой и губы узкие, причем верхняя чуть-чуть выступала вперед, затеняя едва красневшую нижнюю губу. Только волосы у него были как у Эрленда – густой венец вокруг священнической тонзуры был черен, отливал сухим блеском сажи и казался таким же мягким и шелковистым, как и чуб Эрленда. А впрочем, Гюннюльф был несколько похож на своего двоюродного брата, Мюнана, сына Борда. Теперь Кристин поняла, что недаром говорят, будто Мюнан в молодости был красив. Нет, на свою тетку Осхильд, вот на кого он похож, – сейчас Кристин увидела, что у него такие же точно глаза, как у фру Осхильд: светло-золотистые, сияющие под узкими и прямыми черными бровями.

Сперва Кристин немного дичилась своего ученого деверя, освоившего столько наук в знаменитых школах Парижа и в латинских странах. Но мало помалу стала забывать о своем смущении. С Гюннюльфом было так легко разговаривать! Совсем не казалось, что он говорит о себе самом, – меньше всего он хвастался своей ученостью. Но пока Кристин немного пришла в себя, Гюннюльф уже столько успел ей рассказать, что она подумала: никогда раньше она не знала, как велик мир за пределами Норвегии. Сидя здесь и глядя на круглое, ширококостное лицо священника с живой и тонкой улыбкой, Кристин позабыла себя и все свои заботы. Он перекинул под рясой ногу на ногу и сидел, обхватив колено белыми сильными руками.

В конце дня он зашел в горницу к Кристин и спросил, не хочет ли она поиграть в шашки. Кристин пришлось ответить, что, кажется, у них в доме нет шашечницы.

– Нет шашек? – спросил изумленно священник. Он подошел к Ульву. – Ты не знаешь, Ульв, куда Эрленд девал материнские позолоченные шатки? И разные принадлежности для игры, оставшиеся после ее смерти? Надеюсь, он никому их не отдал?

– Они в ларце наверху, в оружейной, – сказал Ульв. – Ему не хотелось, чтобы их забрал кто-нибудь чужой… из тех, кто бывал тут прежде, – промолвил он тихо. – Хочешь, я схожу за ларцом, Гюннюльф?

– Хорошо, это теперь Эрленду, наверное, не будет непри-

ятно, – сказал священник.

Вскоре оба вернулись с большим резным ларцом. Ключ торчал в замке, и Гюннюльф отомкнул его. Сверху лежали гусли и еще какой-то струнный инструмент – подобного Кристин никогда не видела раньше, Гюннюльф назвал его псалтирью и провел рукой по струнам, но инструмент был совершенно расстроен. В ларце лежали мотки щелка и лент, вышитые перчатки, шелковые косынки и три книги с застежками. Наконец священник нашел и шашечницу; доска была расчерчена на белые и позолоченные поля, а сами шашки сделаны из моржовой кости – половина белых и половина позолоченных.

Только теперь Кристин пришло в голову, что она еще ни разу за все время своего пребывания здесь, в Хюсабю, не видела ни одной из таких вещей, которые должны помогать людям коротать время.

И вот Кристин пришлось сознаться своему деверю, что она плохо играет в шашки, да и чувствует себя не очень способной к игре на струнных инструментах. Но на книги ей было любопытно взглянуть.

– Так тебя, Кристин, вероятно, учили читать по книгам? – спросил священник, на что Кристин смогла довольно гордо ответить, что это она усвоила еще в детстве. А в монастыре ее хвалили за успехи в чтении и письме!

Священник стоял, с улыбкой склонившись над Кристин, пока та перелистывала книги. Одна из них была рыцарское

сказание о Тристане и Изольде, другая повествовала о святых людях. Кристин раскрыла ее на житии святого Мартейна. Третья книга была на латинском языке и особенно красиво переписана, с большими раскрашенными заглавными буквами.

– Она принадлежала нашему предку, епископу Никулаусу, – сказал Гюннюльф.

Кристин, стала читать вполголоса:

– Averte faciam tuam a peccatis meis et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne projicias me a facie tua et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.[10]

– Ты понимаешь это? – спросил Гюннюльф. Кристин кивнула и сказала, что немного понимает. Она знала эти слова, и ее ужасно взволновало, что они попались ей на глаза именно теперь. Лицо у нее дрогнуло, и слезы покатились по щекам. Тут Гюннюльф положил инструмент на колени и сказал, что хочет попробовать, не удастся ли ему настроить его.

Пока они так сидели, послышался топот коней на дворе и сейчас же в горницу ворвался Эрленд, сияя от радости: он услышал, кто приехал. Братья стояли, положив друг другу руки на плечи. Эрленд сыпал вопросами, не дожидаясь ответа. Гюннюльф провел в Нидаросе два дня, так что Эрленд

---

[10] *Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови в утробе моей. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня (лат.)*

случайно не встретился там с братом.

– Вот странно, – говорил Эрленд. – Я думал, что причт соборной церкви выйдет встречать тебя целой процессией, когда ты вернешься домой, – такой ты у нас теперь мудрый да ученый…

– А ты откуда знаешь, что этого не было? – спросил брат смеясь. – Я слыхал, ты и близко не подходишь к церкви, когда ездишь в город.

– Нет, брат! Я, сколько могу, стараюсь держаться подальше от господина архиепископа. Он уже припалил мне однажды шкуру, – пренебрежительно расхохотался Эрленд. – Ну, как тебе нравится твой деверь, милая моя?.. Я вижу, Гюннюльф, что вы уже совсем подружились с Кристин… А она не очень-то жалует других наших родичей!..

Только когда стали садиться за стол ужинать, Эрленд заметил, что он все еще ходит в меховой шапке и плаще, с мечом у пояса.

Это был самый веселый вечер из всех проведенных Кристин в Хюсабю. Эрленд силой заставил брата сесть на почетное место рядом с Кристин, сам нарезал ему кушанье и наполнял кубок. Провозглашая первый раз здравицу в честь Гюннюльфа, он опустился на одно колено и попытался поцеловать брату руку.

– Привет тебе – владыка! Мы должны привыкать, Кристин, оказывать архиепископу достойные его почести, – ну конечно же, ты будешь когда-нибудь архиепископом., Гюн-

нюльф!

Слуги ушли из горницы поздно, а братья и Кристин еще долго сидели за напитками. Эрленд уселся на столе, повернувшись лицом к брату.

– Да, я подумал во время нашей свадьбы, что надо отдать его Кристин, – сказал он, указывая на материнский ларец. – Но я так легко обо всем забываю, а ты ничего не забываешь, брат! Однако кольцо моей матери досталось прекрасной руке, не правда ли? – Он положил руку Кристин себе на колено и стал вертеть ее обручальное кольцо.

Гюннюльф утвердительно кивнул головой. Он положил Эрленду на колени псалтирь:

– Ну-ка, спой, брат! Ты когда-то пел так красиво и играл так хорошо!

– С тех пор прошло уже много лет, – сказал Эрленд более серьезным тоном. Потом пальцы его забегали по струнам.

По лесу Улав, наш король,
Со свитой проезжал.
В размытой глине – вот так честь!
Следок он увидал.
И Финн, сын Арнс, тут сказал
(Он ехал не спеша):
«Эх, ножка в этом башмачке,
Должно быть, хороша!»

Эрленд пел улыбаясь, а Кристин немного смущенно гля-

дела на священника, – вдруг ему не понравится песенка про святого Улава и Альвхильд? Но Гюннюльф сидел с улыбкой на устах, – впрочем, Кристин сразу же поняла, что она относится не к песенке, а к Эрленду…

– Кристин разрешается не петь. У тебя, дорогая моя, наверное не хватит дыхания в груди, – сказал он, поглаживая жену по щеке. – Ну, а теперь твоя очередь. – Он передал инструмент брату.

По игре и пению священника чувствовалось, что он хорошо учился в школе.

Ехал король в далеких горах.
Слышит он голубя жалобный плач:
«Любу украл мою ястреб-палач!»
Долго скакал он оттуда потом.
Ястреб высоко носился кругом.
Летит тот ястреб к саду,
Цветет все дни он сряду.
В зелени вешней – высокий дом,
Пурпуром стены украшены в нем.
Добрый король наш на ложе лежит,
Кровь его тихо на землю бежит.
Бархатом синим он сверху укрыт,
«Corpus Domini»,[11] – надпись гласит.

– Где ты научился этой песне? – спросил Эрленд.

---

[11] *Тело господне (лат.)*

– А? Какие-то мальчики распевали ее около гостиницы в Кантерборге, где я жил, – сказал Гюннюльф. – Вот я и соблазнился перелицевать ее на норвежский язык. Но вышло не гладко… – Он сидел, перебирая струны и наигрывая мотив.

– Однако, брат, уже далеко за полночь. Кристин, должно быть, нужно ложиться спать. Ты не устала, жена моя?

Кристин боязливо взглянула на мужчин. Она была очень бледна.

– Не знаю… Может, мне лучше сейчас не ложиться в постель…

– Ты больна? – спросили оба, наклоняясь над ней.

– Не знаю, – сказала она тем же голосом. И взялась руками за поясницу. – У меня какая-то странная боль в пояснице…

Эрленд вскочил на ноги и направился к двери. Гюннюльф последовал за ним.

– Жаль, вы не позаботились заранее их вызвать сюда – тех женщин, что будут помогать ей, – сказал он. – А что, это намного раньше, чем она ждала?

Эрленд густо покраснел.

– Кристин считала, что ей никто не понадобится, кроме ее личных служанок… Некоторые из них уже сами рожали. – Он попытался рассмеяться.

– Ты с ума сошел! – Гюннюльф взглянул на него. – Да ведь к каждой скотнице зовут соседок и повивальных бабок, когда та собирается рожать! Что же, неужели твоя жена должна за-

ползать в угол и прятаться, как кошка, которой пора котиться? Нет, брат, уж будь настолько мужчиной, чтобы раздобыть для Кристин самых искусных повитух во всей округе!

Эрленд поник головой, лицо его покрылось краской стыда.

– Это верно сказано, брат. Я сам поскачу в Росволд… и разошлю людей по другим усадьбам. А ты побудь пока с Кристин!

– Ты уезжаешь?.. – спросила испуганно Кристин, видя, что Эрленд надевает верхнее платье. Он подошел к ней и обнял ее.

– Я привезу к тебе самых искусных женщин, моя Кристин? Гюннюльф побудет с тобой, а тем временем пусть служанки приготовят для тебя горенку, – сказал он, целуя Кристин.

– Не можешь ли ты послать кого-нибудь за Эудфинной, дочерью Эудюна? – попросила Кристин. – Но только не раньше, чем настанет утро, – я не хочу, чтобы ее поднимали с постели ради меня… Я знаю, у нее так много хлопот.

Гюннюльф спросил у брата, кто такая Эудфинна.

– Мне кажется это малопристойным, – заметил священник. – Жена одного из твоих издольщиков…

– Кристин получит все, что она хочет, – сказал Эрленд. И так как священник вышел вместе с ним, а ему пришлось ждать, пока подадут коня, то Эрленд успел рассказать, при каких обстоятельствах Кристин познакомилась с крестьян-

кой. Гюннюльф закусил губу и глубоко задумался.

* * *

И вот в усадьбе началась суматоха: мужчины уезжали куда-то, служанки сбегались в горницу, спрашивая, как чувствует себя хозяйка. Кристин сказала, что ничего особенного пока еще нет, но нужно все приготовить в горенке. Она пришлет кого-нибудь сказать, когда ее надо будет перевести туда.

Итак, она осталась одна со священником, стараясь разговаривать с ним ровно и весело, как раньше.

– А ты не боишься? – сказал он с легкой улыбкой.

– Нет, я боюсь! – Она взглянула ему в глаза – ее собственные глаза потемнели, и в них был испуг. – Не знаешь ли, деверь… а те, другие дети Эрленда, родились здесь, в Хюсабю?

– Нет! – быстро ответил священник. – Мальчик родился около Хюиехалса, а девочка – в Стринде, в усадьбе, которой он тогда владел, …А что, – спросил он немного погодя, – тебя мучит воспоминание, что до тебя здесь, у Эрленда, жила та, другая женщина?

– Да! – отвечала Кристин.

– Тебе трудно судить о поведении Эрленда в этом деле с Элиной, – сказал священник серьезно. – Нелегко было Эрленду управлять самим собой… Ему всегда было трудно понять, в чем же заключается правда, ибо с тех самых пор, как

мы были малыми ребятами, все, что бы ни делал Эрленд, мать неизменно находила преотличным, а отец преотвратительным. Наверно, брат столько раз рассказывал тебе о нашей матери, что тебе все это известно…

– Насколько я могу припомнить, он упоминал о ней два-три раза, – сказала Кристин, – Но все же я знаю, что Эрленд любил ее…

Гюннюльф сказал тихо:

– Должно быть, никогда еще не бывало такой любви между матерью и сыном! Мать была гораздо моложе моего отца. И вот случилось это дело с теткой Осхильд… Наш дядя Борд умер, и люди говорили… Ты, конечно, все это знаешь? Отец поверил в самое худшее и сказал матери… Эрленд однажды швырнул в отца ножом, он был тогда еще маленьким мальчиком… И набрасывался на отца из-за матери не один раз, когда был подростком…

Когда мать заболела, он расстался с Элиной, дочерью Орма. Мать страдала язвами и струпьями на теле, и отец сказал, что это проказа. Он отослал ее от себя… Хотел принудить жить постоялицей у сестер-монахинь в богадельне. Тогда Эрленд взял мать и поехал с ней в Осло… Они жили у Осхильд, она хорошая лекарка, да и королевский врач-француз тоже сказал, что мать не прокаженная. Король Хокон отнесся тогда к Эрленду очень ласково и посоветовал искать исцеления на могиле святого Эрика, сына Валдемара, короля датского, деда нашего короля с материнской стороны. Мно-

гие получали там исцеление от накожных болезней.

Эрленд отправился в Данию с матерью, но она умерла на борту его корабля, к югу от Стада. Когда Эрленд вернулся с нею домой, – ты должна вспомнить, что отец был очень стар, а Эрленд всегда был непослушным сыном, – так вот, когда Эрленд приехал в Нидарос телом матери, отец жил в то время в нашей городской усадьбе и не хотел пускать к себе Эрленда, пока не убедится в том, что мальчишка не заразился, – так он сказал. Эрленд взял своего коня и ускакал, и не отдыхал, пока не приехал в ту усадьбу, где жила Элина с его сыном. С тех пор он твердо держался за нее, несмотря ни на что, несмотря на то, что самому ему она наскучила; вот так и случилось, что он отвез ее в Хюсабю и поручил ей управление поместьем, когда стал хозяином усадьбы. А Элина держала его в руках тем, что говорила: если после всего этого он изменит ей, то будет достоин сам заболеть проказой…

Теперь, уж кажется, пора, чтобы женщины твои занялись тобой, Кристин… – Он взглянул в посеревшее юное лицо, застывшее от ужаса и боли. Но когда хотел направиться к двери, Кристин громко закричала ему:

– Нет, нет! Не уходи от меня!..

– Тем скорее все кончится, – стал утешать ее священник, – раз ты уже так плохо себя чувствуешь.

– Да не в том дело! – Она крепко схватила его за руку. – Гюннюльф!

Ему показалось, что он никогда еще не видал такого ужаса

на человеческом лице.

– Кристин… Ты не должна забывать, что тебе сейчас не хуже, чем бывает другим женщинам…

– Нет! Нет! – Она прижалась лицом к плечу священника. – Ведь я же знаю теперь, что Элина и ее дети должны были бы жить здесь. Ей он обещал верность и давал брачный обет, прежде чем я стала его любовницей…

– Тебе это известно? – спокойно сказал Гюннюльф. – Сам Эрленд не знал тогда, что делал. Но ты знаешь, этого обещания он не мог бы сдержать… Никогда бы архиепископ не дал своего согласия на то, чтобы они с Элиной поженились. Так уж не думай, будто твой брак недействителен… Ты законная супруга Эрленда…

– Ах, я утратила всякое право попирать землю ногами уже задолго до этого… И хуже еще, чем я думала… О, если бы я умерла и дитя мое никогда не родилось на свет!.. Я не посмею взглянуть на то, что носила…

– Прости тебя Господи, Кристин, ты не знаешь, что говоришь! Неужели ты хочешь, чтобы ребенок твой умер нерожденным и некрещеным?..

– Да, тем, что я ношу под сердцем своим, все равно, наверное, будет обладать дьявол! Оно не может быть спасено… Ах, если бы я выпила питье, которое мне подносила Элина!.. Быть может, это было бы искуплением за все то, в чем мы с Эрлендом согрешили!.. Тогда дитя мое не было бы зачато!.. Ах, я думала об этом все время, Гюннюльф… Когда я увижу

то, что созрело во мне, тогда я пойму, что было бы гораздо лучше для меня выпить зараженный проказой напиток, что она предлагала мне, чем обречь на смерть ту, с которой Эрленд связал себя раньше…

– Кристин! – сказал священник. – Ты заговариваешься. Ведь не ты же обрекла бедную женщину на смерть. Эрленд не мог сдержать слово, которое дал ей, когда был молод и плохо знал закон и право. Никогда бы он не мог жить с ней вне греха! И она сама позволила другому соблазнить себя, а Эрленд хотел выдать ее замуж за него, когда узнал об этом. Не вы же побудили ее покончить с жизнью!..

– А хочешь узнать, как это случилось, что она лишила себя жизни? – Кристин была теперь в таком отчаянии, что говорила совершенно спокойно. – Мы были вместе в Хэуге, Эрленд и я, когда она приехала туда. Она привезла с собой рог, хотела, чтобы я выпила с ней… Наверное, она предназначала его для Эрленда, так я теперь думаю, но когда застала меня с ним, то захотела, чтобы я… Я знала, что это предательство… Я видела, что сама она не взяла ничего в рот, когда поднесла рог к губам. Но я захотела выпить… Мне было совершенно все равно, жить или умереть, когда я узнала, что Элина была у него здесь, в Хюсабю, все время. Тут вошел Эрленд… Он пригрозил ей ножом: «Ты должна выпить первой». Она взмолилась, и тогда он хотел отпустить ее. Но тут дьявол овладел мной, я схватила рог. «Одна из нас, твоих любовниц», – сказала я. Я подстрекала Эрленда… «Ты не

можешь владеть нами обеими», – сказала я. Тогда она убила себя ножом Эрленда… Но Бьёрн и Осхильд нашли способ скрыть, как все это произошло…

– Значит, тетка Осхильд участвовала в этом, – сказал мрачно Гюннюльф. – Я понимаю… Она толкнула тебя в руки Эрленда.

– Нет! – запальчиво воскликнула Кристин. – Фру Осхильд просила нас… так просила Эрленда, так просила меня, что я не знаю, как я могла осмелиться перечить ей… чтобы мы поступили честно, – насколько это еще можно было сделать, – бросились к ногам отца моего и молили его простить нас за все наши прегрешения. Но я не посмела. Я сделала вид, что боюсь, как бы отец не убил Эрленда… Ах, я отлично знала, что отец не сделает ничего тому, кто отдал сам себя и свое дело в его руки! Я сослалась на то, что боюсь, как бы это не принесло такого горя отцу, что уж он никогда больше не сможет держать свою голову высоко. О, но ведь я доказала потом, что вовсе уж не так боюсь причинить горе отцу!.. Ты не знаешь, Гюннюльф, какой добрый человек мой отец! Никто не может понять, кто не знает отца моего, как он был ласков со мной всю мою жизнь. Всегда отец так любил меня. Я не хотела, чтобы он знал, что я вела себя так бесстыдно и что когда он думал, будто я сижу в Осло у монахинь и учусь всему доброму и справедливому… Да, я носила одежду послушницы, когда валялась с Эрлендом по хлевам да чердакам там, в городе…

Она взглянула на Гюннюльфа. Лицо у него было белое и твердое как камень.

– Ты понимаешь теперь, что я боюсь? Та, которая приняла его к себе, когда он приехал, зараженный проказой…

– А ты бы разве не сделала этого? – тихо спросил священник.

– Сделала бы! Сделала бы! Сделала бы! – Тень былой улыбки пробежала по осунувшемуся лицу женщины.

– Впрочем, Эрленд не был заражен, – сказал Гюннюльф. – Никто, кроме отца моего, ни на миг не верил, что мать умерла от проказы.

– Но я-то, я, наверное, все равно что прокаженная в глазах Господа, – сказала Кристин. Она уцепилась за руку священника и прижалась к ней лицом. – До того заражена я грехами…

– Сестра моя, – тихо сказал священник, положив руку на ее головную повязку. – Уж не так ты грешна, юное ты дитя, чтобы забыть, что Бог может не только очистить плоть от проказы, но так же верно может он очистить душу твою от греха…

– Ах, я не знаю, – всхлипывала она, пряча лицо в его рукав. – Не знаю я – я ведь и не раскаиваюсь, Гюннюльф… Я боюсь, но все же… Я боялась, стоя пред вратами в церкви с Эрлендом, когда священник венчал нас… Я боялась, когда шла с ним на свадебную службу… с золотым венцом на распущенных волосах, потому что я не посмела сказать о моем

позоре отцу… с неискупленными грехами, – я не посмела даже сказать всю правду на исповеди нашему священнику. Но нынче зимой, когда я видела, что становлюсь безобразнее с каждым днем, – тогда я еще больше боялась, потому что Эрленд был не таким со мной, как раньше… Я вспоминала то время, когда он приходил ко мне в терем по вечерам в Скуге…

– Кристин, – сказал священник, пытаясь приподнять ее лицо, – не смей думать об этом сейчас!.. Думай о Боге, который видит твое горе и раскаяние. Обращайся к милосердной деве Марии, что жалеет всех страждущих…

– Как ты не понимаешь? Я заставила человека лишить себя жизни…

– Кристин, – строго сказал священник. – Как ты посмела возгордиться и подумать, будто ты можешь так сильно согрешить, что милосердие Божье не сильнее?

Он гладил и гладил ее косынку.

– Разве ты не помнить, сестра моя, как дьявол хотел искусить святого Мартейна, Тогда нечистый спросил святого Мартейна, воистину ли он верит сам, когда обещает всем грешникам, которых исповедует, Божье милосердие? И епископ ответил: «И тебе я посмею обещать прощение Божье, как только ты попросишь о нем, лишь бы ты отбросил свою гордыню и поверил, что любовь его сильнее твоей ненависти…»

Гюннюльф продолжал поглаживать по голове плачущую

женщину. А сам думал: «Так вот как поступил Эрленд со своей юной невестой!..» Он побледнел, и в углах рта у него легли жесткие складки.

Эудфинна, дочь Эудюна, явилась раньше всех. Она застала роженицу в маленькой горенке; Гюннюльф сидел возле Кристин, и несколько служанок суетилось вокруг.

Эудфинна почтительно поздоровалась со священником, а Кристин поднялась со своего места и, подойдя к ней, протянула ей руку.

– Спасибо тебе, Эудфинна, что ты пришла. Знаю, дома твоим нелегко будет обходиться без тебя!..

Гюннюльф смотрел пытливо на женщину. Тут он тоже поднялся на ноги.

– Ты хорошо сделала, что пришла так скоро. Жене моего брата нужно, чтобы около нее был кто-нибудь, кто мог бы ее утешить… Она ведь чужая здесь, в долине, и к тому же молода и неопытна…

– Боже мой! Да она бела, что ее повязка! – шепнула Эудфинна. – Как, по-вашему, господин, можно дать ей сонного питья? Наверное, ей нужно немножко отдохнуть, пока ее не схватило по-настоящему.

Она неслышно и деловито засуетилась, пощупала ложе, приготовленное служанками на полу, и велела им принести еще несколько подушек и побольше соломы. Потом поставила на огонь какие-то маленькие горшочки с травами. После этого она занялась развязыванием всех тесемок и узел-

ков на платье Кристин и наконец вытащила шпильки из волос больной.

– Никогда я не видела более прекрасных волос! – воскликнула она, когда весь поток золотисто-русой шелковистой гривы хлынул вокруг бледного лица. Эудфинна невольно рассмеялась. – Видно, они ничего не потеряли ни в блеске, ни в силе своей, хотя ты и проходила простоволосой немного дольше, чем следовало бы!..

Она уложила Кристин поудобнее на полу среди подушек и хорошенько укутала ее.

– Теперь выпей вот это, тогда будет не так больно от схваток. А потом постарайся немного поспать.

Гюннюльфу пора было уходить. Он подошел к Кристин к склонился над ней.

– Ты будешь молиться за меня, Гюннюльф? – спросила та умоляюще.

– Я буду молиться до тех пор, пока не увижу тебя с твоим ребенком на руках… Да и потом тоже! – сказал он и положил ее руку обратно под одеяло.

Кристин лежала в дремоте. Она чувствовала себя почти хорошо. Болезненные схватки в пояснице появлялись и исчезали и снова появлялись, но были так не похожи на все то, что она переживала раньше, что всякий раз, как они проходили, она чуть ли не спрашивала себя: да уж не причудилось ли ей все это? После мучений и ужаса ранних утренних часов Кристин чувствовала себя так, будто она уже прошла благо-

получно через наихудшие страхи и боль. Эудфинна тихонько ходила, развешивая у очага детские вещи, одеяла и шкуры, чтобы согреть их, да помешивала в своих горшках, отчего пряный запах распространился по горенке. В конце концов Кристин почти засыпала в промежутках между схватками, и ей казалось, что она сейчас в пивоварне у них дома, в Йорюндгорде, и должна помочь матери выкрасить большой кусок ткани, – наверное, это было оттого, что в комнате стоял пар от варившихся крапивы и коры ясеня.

* * *

Потом начали съезжаться одна за другой соседки, жены владельцев усадеб в местной округе и из Биргси. Эудфинна уступила им место и замешалась в толпу служанок. К вечеру Кристин почувствовала, что боли стали невыносимыми. Женщины сказали, что ей надо бы походить по комнате, пока она еще в силах. Для Кристин это было мучением – к тому времени горница была битком набита женщинами, и Кристин должна была вышагивать как кобыла, выставленная на продажу. А время от времени ей приходилось позволять чужим женщинам щупать и трогать себя руками по всему телу, после чего они принимались болтать все сразу. Наконец фру Гюнна из Росволда, которая как бы распоряжалась всем, сказала, что теперь Кристин может уже лечь на пол. Она разделила женщин, приказав одним спать, другом бодрствовать.

– Ну, скоро все это не кончится… Но ты кричи, Кристин, когда тебе будет больно, и не беспокойся о тех, кто спит! Ведь мы все здесь собрались для того, чтобы помогать тебе, бедное мое дитя! – сказала она нежно и ласково, похлопав молодую женщину по щеке.

А Кристин лежала, кусая губы и комкая края одеяла в своих вспотевших руках. В горнице было жарко до духоты, но женщины сказали, что так и должно быть. После каждой схватки пот ручьями струился с Кристин.

В промежутках между схватками Кристин лежала, думая о том, как ей накормить всех этих женщин. Ей так хотелось, чтобы они увидели, что у нее в доме заведен хороший порядок Она велела Турбьёрг, стряпухе, положить творожной сыворотки в кипяток, когда будут варить свежую рыбу. Только бы Гюннюльф не счел это за нарушение поста. Отец Эйрик говорил, что это ничего, ибо сыворотка – не молочное кушанье, к тому же рыбный навар будет все равно вылит. Сушеную же рыбу, которую Эрленд достал еще осенью, ни под каким видом нельзя давать гостям: она испортилась и в ней кишат черви.

– Пречистая дева Мария!.. Долго ли мне ждать, когда ты поможешь?.. Ой, как теперь больно, как больно, как больно!

Кристин старалась продержаться еще немного, пока не сдалась и не начала кричать…

Эудфинна сидела у очага, следя за горшками с водой. Кристин так хотелось, чтобы у нее достало смелости попросить

Эудфинну подойти к ней и взять ее за руку. Она не знала, чего бы она не дала за возможность держать в этот миг знакомую и дружескую руку. Но постеснялась просить об этом…

* * *

На следующий день над Хюсабю лежала какая-то растерянная тишина. Был канун Благовещения, и усадебные работы нужно было закончить засветло, но мужчины бродили задумчивые и серьезные, а у испуганных служанок все из рук валилось. Слуги полюбили свою молодую хозяйку, а дела ее, по слухам, шли не важно.

Эрленд во дворе разговаривал с кузнецом и старался сосредоточить все мысли на том, что ему тот говорил. Вдруг фру Гюнна быстро подошла к нему:

– С женой твоей, Эрленд, дело нейдет… Мы уже испробовали все средства. Ты должен зайти к ней… Может быть, ей принесет пользу, если она посидит у тебя на коленях. Ступай в горницу и надень короткую куртку, но поторопись: ей очень плохо. бедняжке!

Эрленд густо покраснел. Он вспомнил, ему говорили, что если женщина не в состоянии разрешиться дитятей, которого она зачала тайно, то будто бы ей поможет, если она посидит на коленях у отца ребенка.

Кристин лежала на полу, прикрытая несколькими одеялами: две женщины сидели около нее. В ту самую минуту, как

Эрленд вошел, он увидел, что Кристин вся съежилась, зарылась лицом в колени одной женщины и вертела головой из стороны в сторону, но не издавала ни единого стона.

Когда схватки прошли, она приподняла голову и огляделась диким, испуганным взором; треснувшие, почерневшие губы ловили воздух. Всякий след молодости и красоты сошел с этого опухшего, пылавшего багровым пламенем лица, – даже волосы, перепутанные с соломой и с шерстью от шкур, сбились в какой-то грязный войлок. Она взглянула на Эрленда, словно не узнала его сразу.

Но когда поняла, для чего женщины послали за ним, сердито замотала головой:

– Там, откуда я родом, не в обычае… чтобы мужчины присутствовали, когда женщина рожает…

– Здесь, на севере, иногда это принято, – сказал Эрленд мягко. – Если это может хоть немного облегчить твои страдания, моя Кристин, то согласись…

– Он… – И когда он опустился на колени рядом с ней, она обвила его за талию руками, прижалась к нему. Вся скорчившись и сотрясаясь от дрожи, она переборола схватку, не вскрикнув.

– Нельзя ли мне сказать два слова моему супругу наедине? – произнесла она быстро, с трудом переводя дух, когда схватка прошла. Женщины отошли в сторону.

– Это во время ее родов ты обещал ей то, о чем она говорила?.. Жениться на ней, когда она овдовеет… В ту ночь,

когда родился Орм… – шепнула Кристин.

У Эрленда перехватило дыхание, словно ему нанесли удар под ложечку. Потом он решительно покачал головой.

– Я был в замке в ту ночь – мой отряд стоял там на страже. А когда я вернулся утром домой, в наше жилище, и мне на руки положили мальчика… Неужели ты лежала здесь и думала об этом, Кристин?..

– Да! – Она опять крепко прижалась к нему, но волна боли захлестнула ее. Эрленд отер пот, струившийся у нее по лицу.

– Теперь ты знаешь, – произнес он, когда она опять лежала тихо. – Не хочешь ли, я побуду у тебя, как говорит фру Гюнна?

Но Кристин отказалась. И в конце концов женщинам пришлось заставить Эрленда уйти.

После его ухода силы, казалось, оставили Кристин, она не могла больше сдерживаться и громко закричала в диком ужасе, чувствуя приближение схватки, и стала жалобно молить о помощи. Однако, когда женщины предложили ей опять позвать к вей мужа, она закричала: «Нет!» Пусть уж лучше ее замучит до смерти…

* * *

Гюннюльф и бывший с ним причетник отправились в церковь отслужить вечерню. Все обитатели усадьбы, не занятые у роженицы, пошли вместе с ними. Но Эрленд незаметно по-

кинул церковь еще до окончания службы и пошел по направлению к домам.

На западе, над горами и лесом, по ту сторону долины, небо стало желто-красным – весенний день уже померк, наступал ясный, светлый и мягкий вечер. Кое-где пробивались звезды, блестя в светлом воздухе. Над чернолесьем у озера плавало легкое облачко тумана, и там, где поля были обращены к солнцу, виднелись проталины, в воздухе стоял душистый запах мокрой земли и тающего снега.

Маленькая горенка находилась в западной части двора. Эрленд подошел к ней, постоял немного, прислонившись к теплым от солнца бревнам стены. Ах, как она кричит!.. Однажды он слышал, как ревела телка в лапах медведя, – это было на их горном выгоне, когда Эрленд был подростком. Арнбьёрн, пастух, и сам он бежали на юг через лес. Эрленд вспомнил косматую глыбу, поднявшуюся на ноги и превратившуюся в медведя с красной, горящей пастью. Копье Арнбьёрна разлетелось пополам под ударом медвежьих лап, – и пастух выхватил копье у Эрленда, потому что тот стоял окаменев от ужаса. Телка лежала живая, но вымя и бедро у нее были выедены… «Кристин моя, о моя Кристин!.. Господи, сжалься, ради своей Пречистой Матери!..» – Он бежал обратно в церковь.

Служанки принесли ужин в большую горницу, – стол они не поставили, а подали все прямо к очагу. Мужчины взяли хлеба и рыбы к себе на скамьи, заняли свои места и тихо

сидели; ели мало – казалось, никому не хотелось есть. После трапезы слуги не приходили я ничего не убирали, никто из мужчин не вставал, чтобы уйти на покой. Все продолжали сидеть, глядя на огонь в очаге и не разговаривая.

Эрленд забился в угол у кровати – он не в силах был вынести, чтобы кто-нибудь видел его лицо.

Магистр Гюннюльф зажег светильник и поставил его на подлокотник почетного сиденья. А сам уселся ниже, на скамью, с книгой в руках, – беззвучно и безостановочно чуть-чуть шевелились его губы.

Раз как-то Ульв, сын Халдора, встал, подошел к очагу и взял там ломоть мягкого хлеба, затем покопался среди поленьев и вытащил одно. Потом перешел в угол около входной двери, где сидел старый Оон. Оба они стали проделывать что-то с хлебом, скрывшись за плащом Ульва. Старый Оон резал и стругал полено. Мужчины время от времени поглядывали туда. Вскоре Ульв и Оон встали и вышли из горницы.

Гюннюльф поглядел им вслед, но ничего не сказал. И опять принялся читать свои молитвы.

* * *

Вдруг какой-то мальчик свалился во сне со скамьи прямо на пол. Потом встал, оглядел всех диким взором. Вздохнул и опять сел на скамейку.

Ульв, сын Халдора, и Оон тихо вошли в горницу и про-

шли на места, где они раньше сидели. Мужчины взглянули на них, но никто ничего не сказал.

Неожиданно Эрленд вскочил на ноги, прошел через горницу к своим домочадцам. Лицо у него было серым, как глина, а глаза провалились.

– Неужели никто из вас не знает никакого средства? – сказал он. – Ну хоть ты, Оон, – шепнул он.

– Не подействовало, – так же тихо ответил ему Ульв. – Видно, так уж суждено, что ей не иметь этого ребенка, – сказал Оон. – Тут уж не помогут ни жертвоприношения, ни руны. Жаль мне тебя, Эрленд, что ты так скоро теряешь любезную жену свою!..

– Ах, ну говори так, словно она уже умерла! – взмолился Эрленд, сломленный отчаянием. Он отошел в свой угол и бросился на скамью, прижавшись головой к доскам в ногах кровати.

Раз только кто-то из мужчин вышел из горницы и когда вернулся, сказал.

– Месяц встал. Скоро утро…

* * *

Вскоре после этого в горницу вошла фру Гюнна и опустилась на скамью нищих странников у двери. Седые волосы у нее растрепались, головная повязка сползла на спину.

Мужчины поднялись с мест и медленно собрались вокруг

нее.

– Одному из вас придется пойти туда и подержать ее, – сказала она плача. – Мы больше не в силах… Тебе надо бы пойти к ней, Гюннюльф… Неизвестно, чем все это может кончиться…

Гюннюльф встал и засунул молитвенник в поясной карман.

– Иди и ты, Эрленд, – сказала фру Гюнна. Хриплый, надтреснутый вой встретил его в дверях… Эрленд остановился и задрожал. Он мельком увидел искаженное, неузнаваемое лицо Кристин среди кучки плачущих женщин, – она стояла на коленях, а те поддерживали ее.

Дальше, у самых дверей, положив головы на скамьи, громко и непрерывно молилось несколько коленопреклоненных служанок. Эрленд бросился на пол рядом с ними и закрыл лицо руками. Она кричала и кричала, и всякий раз Эрленд словно леденел от неверия и ужаса. Так не может быть…

Он набрался храбрости и взглянул туда. Гюннюльф теперь сидел на скамеечке перед Кристин и держал ее под руки. Фру Гюнна стояла на коленях рядом с ней, обхватив Кристин за талию, но Кристин в смертельном страхе боролась со старухой, стараясь отпихнуть ее от себя.

– О нет! О нет! Пусти меня!.. Я больше не могу! Боже, Боже, помоги мне!..

– Теперь уж Господь скоро поможет тебе, Кристин, – всякий раз повторял священник. Какая-то женщина держала таз

с водой, и после каждой схватки Гюннюльф смачивал тряпицу и проводил ею по лицу больной.

Вдруг Кристин склонила голову на руки Гюннюльфа и на мгновение заснула, но боли опять заставили ее очнуться. А священник продолжал говорить:

– Ну, Кристин, сейчас тебе помогут…

Никто уже больше не понимал, какой теперь мог быть час ночи. Но серый рассвет уже заглядывал через дымовую отдушину.

И вот после долгого безумного вопля ужаса наступила полнейшая тишина. Эрленд услышал, что женщины засуетились… Хотел взглянуть, как вдруг услышал, что кто-то громко зарыдал, – и опять скорчился… не посмел узнать, в чем дело…

Тут Кристин опять закричала – громким, диким и жалобным криком, который совершенно не походил на сумасшедшие, нечеловеческие, животные вопли, раздававшиеся раньше. Эрленд вскочил на ноги.

Гюннюльф стоял наклонившись и придерживал ее, еще продолжавшую стоять на коленях. Она в смертельной жути уставилась на что-то, что фру Гюнна держала в овечьей шкуре. Сырая и темно-красная масса походила просто на потроха убитой скотины.

Священник крепко прижал Кристин к себе.

– Моя Кристин! Ты родила самого чудесного и прекрасного сына, за какого мать когда-либо благодарила создате-

ля… И он дышит! – с жаром сказал Гюннюльф, обращаясь к плачущим женщинам. – Он дышит… Господь не пожелал быть суровым и внял нашим мольбам!..

И когда священник говорил это, в усталом мозгу матери мелькнуло полузабытое видение: почка, которую она видела в монастырском саду… Что-то такое, что распустило красные, сморщенные шелковые лепестки… и превратилось в цветок.

Бесформенный кусок мяса – плод – зашевелился… подал голос… потянулся и превратился в крошечного винно-красного ребенка, у него были руки и ноги с настоящими пальчиками… Он барахтался и тихо попискивал.

– Какой маленький, какой маленький, какой он маленький! – закричала Кристин тоненьким, надтреснутым голосом и вся осела от смеха, смешанного со слезами. Женщины, стоявшие кругом, принялись хохотать, вытирая слезы, и Гюннюльф передал Кристин им на руки.

– Заверните его и положите в корыто, чтобы ему было удобнее кричать, – сказал священник и пошел вслед за женщинами, которые понесли новорожденного мальчика к очагу.

Когда Кристин очнулась от продолжительного обморока, она лежала в постели. Кто-то снял с нее ужасную пропотевшую одежду, и теплота и блаженство охватили так чудесно все ее тело… На нее положили мешочки с горячей крапивной кашицей и укутали ее в нагретые одеяла и шкуры.

Кто-то зашикал на нее, когда она хотела заговорить. В горнице было совершенно тихо. И сквозь тишину до Кристин донесся какой-то голос, который она не вдруг смогла узнать:

– Никулаус, во имя отца и сына и святого духа.

Где-то капала вода.

Кристин приподнялась на локте и взглянула. Там, у очага, стоял священник в белой одежде, а Ульв, сын Халдора, вытащил красного барахтающегося голенького ребенка из большого медного котла, передал его крестной матери и принял от нее зажженную свечу.

Она родила ребенка, это он так кричал сейчас, что слова священника почти нельзя было разобрать. Но она так устала. Ей было все равно и хотелось спать…

Тут она услышала голос Эрленда, говорившего быстро и испуганно:

– Голова у него… У него такая странная голова.

– Она опухла, – сказала спокойно какая-то женщина. – В этом нет ничего особенного: ведь мальчику пришлось очень трудно, когда он боролся за свою жизнь.

Кристин вскрикнула. В ней словно что-то проснулось, проснулось в самой глубине ее сердца; это ее сын, и он боролся, как и она, за свою жизнь…

Гюннюльф быстро повернулся смеясь. Схватил маленький белый сверток пеленок, лежавший на коленях у фру Гюнны, отнес его на кровать и положил мальчика на руки матери. Ослабев от нежности и счастья, она коснулась лицом

крошечного, нежного, как шелк, личика среди полотняных ризок.

Она взглянула на Эрленда. Один раз она уже видела у него такое же посеревшее и осунувшееся лицо… Кристин не могла вспомнить когда. У нее был такой сумбур в голове… Но она знала, что ей не надо вспоминать, и это было хорошо. И хорошо было видеть, что он стоит так со своим братом, – священник положил ему на плечо руку. Безмерный мир и покой опустились на нее при взгляде на этого высокого человека в священническом облачении; широкое худощавое лицо под черным венчиком волос было таким волевым, но он улыбался добродушно и ласково.

Эрленд глубоко вогнал кинжал в бревенчатую стену позади матери и ребенка.

– В этом теперь нет необходимости, – сказал священник смеясь. – Ведь мальчик уже окрещен…

Кристин вспомнилось, что сказал однажды брат Эдвин. Только что окрещенное дитя так же свято, как святы ангелы небесные. Родительские грехи смыты с него, а само оно еще ни в чем не погрешило. Испуганно и осторожно она поцеловала маленькое личико.

К ним подошла фру Гюнна. Она измучилась, утомилась и сердилась на отца, у которого не хватило ума поблагодарить повитух хотя бы единым словом. И к тому же священник взял у нее ребенка и отнес к матери, а это должна была сделать фру Гюнна – и потому, что она опростала женщину,

и потому, что она крестная мать ребенка.

– Ты еще не приветствовал сына своего, Эрленд, и даже не брал его на руки! – сказала она сердито.

Эрленд взял из рук матери спеленатого ребенка и на мгновение прижался к нему лицом.

– Пожалуй, я не полюблю тебя по-настоящему, Ноккве, пока не забуду, как ужасно ты мучил свою мать! – сказал он и положил мальчика обратно к Кристин.

– Да, да! Вали на него свою вину! – с раздражением промолвила старуха.

Господни Гюннюльф рассмеялся, а вместе с ним рассмеялась и сама фру Гюнна. Она хотела взять ребенка и положить его в колыбель, но Кристин взмолилась, чтобы ей позволили еще немножко подержать его у себя. Сейчас же вслед за этим она уснула, прижимая сына к груди… Смутно почувствовала, что Эрленд осторожно прикоснулся к ней, словно боялся причинить ей этим боль, и опять уснула.

# V

На десятый день после рождения ребенка Гюннюльф сказал брату, когда они были утром одни в большой горнице:

– Пора бы тебе, Эрленд, послать весть о здоровье твоей супруги ее родным!

– Мне кажется, с этим нечего спешить, – отвечал Эрленд. – В Йорюндгорде едва ли придут в небывалый восторг, узнав, что здесь, в усадьбе, уже есть сын.

– А что же, по-твоему? – спросил Гюннюльф. – Неужели мать Кристин не знала еще осенью о том, что ее дочь нездорова? А теперь, наверное, беспокоится…

Эрленд ничего не ответил.

Но позднее, днем, когда Гюннюльф сидел в маленькой горенке, разговаривая с Кристин, туда вошел Эрленд. На нем была меховая шапка, короткая и толстая верхняя куртка из сермяге, длинные штаны и теплые меховые сапоги. Он наклонился над женой и похлопал ее по щеке.

– Ну, моя милая Кристин! Не хочешь ли послать со мной поклоны в Йорюндгорд, потому что сейчас я отправляюсь туда, на юг, сообщить о нашем сыне…

Кристин густо покраснела – она и испугалась и обрадовалась.

– Твой отец вправе потребовать от меня, – сказал Эрленд серьезно, – чтобы я сам прибыл с этой вестью. Кристин тихо

лежала.

– Скажи нашим дома, – чуть слышно промолвила она, – что с тех пор, как я уехала от них, я каждый день только и думала о том, чтобы упасть к ногам отца и матери и вымолить у них прощение.

Вскоре Эрленд удалился. Кристин не пришло в голову спросить, каким образом он поедет. Но Гюннюльф вышел вслед за братом на двор. Там у дверей в горницу стояли лыжи Эрленда и палка, на которую было насажено острие копья.

– Ты идешь на лыжах? – спросил Гюннюльф. – А кто пойдет с тобой?

– Никто, – ответил смеясь Эрленд. – Ведь тебе же лучше всех известно, Гюннюльф, что нелегко угнаться за мной на лыжах.

– По-моему, это неразумно, – заметил священник. – Говорят, нынче очень много волков в Хёйландском лесу…

Эрленд только рассмеялся и начал подвязывать к ногам лыжи.

– Я рассчитываю быть наверху, у Йейтскарских выгонов, еще засветло. Теперь уже долго не темнеет. Я приду в Йорюндгорд на третьи сутки к вечеру…

– От Йейтскара до проезжей дороги путь тяжелый, а к тому же там скверные провалы с туманами. И ты знаешь, на горных выгонах в зимнюю пору бывает неспокойно.

– Можешь дать мне свое огниво, – сказал Эрленд, продолжая смеяться. – Вдруг мне придется расстаться с моим

собственным… Бросить его в какую-нибудь лешачиху, если она потребует от меня такой куртуазности, какая не подобает женатому человеку. Слушай, брат, сейчас я делаю то, что ты мне советовал: еду к отцу Кристин предложить ему потребовать от меня такую пеню, какую сам он сочтет приемлемой… Так вот, уж предоставь мне самому выбирать, каким образом я поеду.

Этим и пришлось удовольствоваться Гюннюльфу. Но он строго-настрого наказал всем домочадцам скрыть от Кристин, что Эрленд отправился в путь один.

* * *

Небо раскинулось к югу светло-желтым пологом над синеющими снежными шапками гор в тот вечер, когда Эрленд промчался вниз, мимо церковного пустыря с такой быстротой, что только наст хрустел и визжал. Высоко вверху полумесяц светил белым и туманным светом в вечерних сумерках.

В Йорюндгорде темный дым взвивался клубами из дымовых отдушин к бледному, ясному небу. В тишине звенели размеренные и холодные удары топора.

Из ворот усадьбы выскочила с брехом целая стая собак и набросилась на прибывшего. Во дворе топталось стадо лохматых коз, темневших в светлых сумерках, – они пощипывали еловые ветки, сложенные кучей посреди двора. Трое ре-

бятишек, одетых по-зимнему, бегали среди них.

Эта картина странно захватила Эрленда. Он остановился в ожидании тестя, который пошел навстречу незнакомцу. Перед этим Лавранс стоял около дровяного сарая и разговаривал с каким-то человеком, коловшим дранку для изгороди. Узнав своего зятя, он резко остановился и с силой воткнул в снег копье, которое держал в руке.

– Это ты? – спросил он тихо. – И один?.. Или что-нибудь… что-нибудь?.. В чем же дело, что ты пришел так?.. – произнес он немного спустя.

– Вот в чем дело, – Эрленд набрался храбрости и взглянул тестю в глаза. – Я подумал: самое меньшее, что я могу сделать, – это отправиться самому и поведать вам такую весть: Кристин родила сына утром в день Благовещения. Но теперь она чувствует себя хорошо, – поспешил он добавить.

Лавранс стоял молча. Он сильно прикусил нижнюю губу, – подбородок у него слегка дрожал.

– Да, это новость! – произнес он немного погодя. Подбежала маленькая Рамборг и остановилась рядом с отцом.

Она взглянула на него, залившись жгучим румянцем.

– Молчи! – хрипло сказал Лавранс, хотя девочка не произнесла ни слова и только покраснела. – Не стой здесь!.. Убирайся отсюда!..

Больше он ничего не сказал. Эрленд стоял, сильно наклонившись вперед и опираясь на лыжную палку, которую крепко сжимал левой рукой. И смотрел вниз в снег. Правую руку

он сунул себе за пазуху. Лавранс указал пальцем:

– Ты поранил себя?..

– Немного, – ответил Эрленд. – Я сорвался вчера со скал в темноте.

Лавранс взял его за руку повыше кисти и осторожно пощупал.

– Кажется, кость не сломана, – сказал он. – Можешь сам уведомить ее мать.

Он направился к дому, ибо Рагнфрид вышла на двор. Та с изумлением поглядела вслед мужу, потом узнала Эрленда и быстро подошла к нему.

Эрленду пришлось вторично сообщить привезенную им новость. Она слушала, не произнося ни слова. Но глаза у нее заблестели влажным блеском, когда Эрленд в заключение сказал:

– Я подумал, что тебе, быть может, было кое-что известно до того, как Кристин уехала отсюда осенью… и что теперь ты боишься за дочь…

– Это хорошо с твоей стороны, Эрленд… – сказала она нерешительно. – Что ты вспомнил об этом. Я действительно боялась за нее ежедневно с тех самых пор, как ты увез ее от нас…

Лавранс вернулся.

– Вот тебе лисий жир; я вижу, зять, ты отморозил себе щеку. Подожди немного в сенях, пока Рагнфрид не намажет тебя этим и ты не оттаешь… А как твои ноги?.. Сними-ка

потом сапоги и дай мне взглянуть.

* * *

Когда все домочадцы собрались к ужину, Лавранс сообщил им новость и велел подать крепкого пива, чтобы можно было повеселиться. Но настоящего веселья на пиршестве не было, а сам хозяин удовольствовался чашкой воды. Он попросил у Эрленда извинения: дело в том, что еще в юношеские дни он дал обет пить во время поста воду. Поэтому люди сидели довольно тихо и беседа велась вяло, хотя и приправлялась хорошим пивом. Дети время от времени подбегали к Лаврансу, – он обнимал их, когда они прижимались к его коленям, но отвечал на их вопросы рассеянно. Рамборг говорила кратко к резко, когда Эрленд пытался пошутить с ней, – очевидно, старалась показать, что ей не нравится зять. Ей шел теперь восьмой год, она была умненькая и красивая, но на сестер не похожая.

Эрленд спросил: «А кто такие другие дети?» Лавранс ответил, что мальчик – это Ховард, сын Тронда, самый младший ребенок в Сюндбю. Он так скучал дома среди взрослых братьев и сестер, что нынче на Рождество ему захотелось, чтобы тетка забрала его в Йорюндгорд. Девочка – это Хельга, дочь Ролва. Пришлось увезти детей с собой из Блакарсарва после поминок, потому что детям тяжело было бы видеть своего отца, каким он стал теперь. А Рамборг веселее про-

водить время с двоюродными братом и сестрой.

– Ведь мы с Рагнфрид начинаем стариться, – сказал Лавранс. – А Рамборг шаловливее и резвее, чем была Кристин. – Он погладил дочку по кудрявым волосам.

Эрленд подсел к теще, и та стала расспрашивать его о родах Кристин. Он заметил, что Лавранс прислушивается к их разговору. Но потом он поднялся с места, отошел от стола, накинул на себя плащ и взял палку: ему, сказал он, хочется пройти в усадьбу священника – пригласить отца Эйрика прийти к ним выпить.

* * *

Лавранс шел по протоптанной тропке через поля к Румюндгорду. Месяц уже начал заходить за гору, но над белыми вершинами небо искрилось тысячью звезд. Хорошо бы, священник был дома – нет сил сидеть там одному со всеми ними.

Но когда он уже шел меж изгородями, подходя к двору, он увидел приближающуюся ему навстречу свечку. Ее нес старый Эудюн – заметив, что кто-то стоит на дороге, он зазвонил в серебряный колокольчик, Лавранс, сын Бьёргюльфа, упал на колени в сугроб у края дороги.

Эудюн прошел мимо со свечой и колокольчиком, звеневшим нежно и ласково. Позади ехал отец Эйрик верхом. Минуя коленопреклоненного, он высоко приподнял обеими ру-

ками дароносицу, не глядя в его сторону, и тихо проехал мимо. А Лавранс склонился, протянул руки, приветствуя спасителя.

«Тот, что ехал со священником, это сын Эйнара Хнюфы, – значит, старик уж кончается!.. Да, да…» Лавранс прочел молитвы за умирающих, потом встал с колен и пошел домой. Все же эта ночная встреча с Богом очень укрепила и утешила его.

Когда они легли, Лавранс спросил у жены:

– А ты что-нибудь знала об этом… Что так обстоит дело с Кристин?

– А ты не знал? – сказала Рагнфрид.

– Нет, – ответил муж так кратко, что она поняла: такая мысль все же иногда посещала его.

– Было такое время нынче летом, что я побаивалась, – сказала мать нерешительно. – Я видела, она плохо и без удовольствия ест. Но так как потом все прошло, то я подумала, что, наверное, ошиблась. Она казалась такой веселой все то время, что мы готовились к ее свадьбе…

– Ну, у нее была причина радоваться, – сказал отец с легкой насмешкой. – Но что она ничего не сказала тебе… Ведь ты же ее мать…

– Теперь тебе хорошо вспоминать об этом, когда она согрешила, – с горечью ответила Рагнфрид. – Ты ведь знаешь, что Кристин никогда не была ко мне привязана…

Лавранс больше ничего не сказал. Немного погодя он лас-

ково пожелал жене спокойной ночи и тихо улегся рядом с ней. Он чувствовал, что сон еще долго не придет к нему.

…Кристин… Его дочурка Кристин…

Ни разу даже словом одним не касался он того, в чем созналась ему Рагнфрид в ту ночь. Да и она не могла бы сказать по чистой совести, что он дает ей чувствовать, что помнит об этом. Он ничуть не изменился в своем обращении с ней… Напротив, старался проявить по отношению к жене еще больше дружелюбия и любви. Однако не впервой за эту зиму он замечает такую горечь у Рагнфрид или видит, как она силится найти какое-то скрытое оскорбление в невинных словах его. Он не понимает этого… Не знает, как этому помочь… Будь что будет…

– «Отче наш иже еси на небесех…» – Он стал молиться за Кристин и за ребенка ее. Потом помолился за жену и себя самого. И, наконец, попросил дать ему сил терпеть Эрленда, сына Никулауса, доколе он будет вынужден сносить пребывание зятя в своем доме.

* * *

Лавранс ни за что не хотел, чтобы его зять уезжал домой, пока не выяснится, как у него обстоит дело с рукой. Он не желал допустить, чтобы Эрленд отправился в дорогу один.

– Кристин обрадуется, если и вы тоже приедете, – сказал однажды Эрленд.

Лавранс помолчал. А потом нашел много возражений. Наверное, Рагнфрид не захочется остаться одной здесь, в усадьбе. Да и кроме того, если он поедет сейчас так далеко на север, то едва ли успеет вернуться домой к весеннему севу. Но кончилось все тем, что он отправился с Эрлендом. Лавранс не взял с собой слуг, – он поедет домой на корабле до Рэумсдала, а дальше к югу будет нанимать лошадей – его там знают все по дороге.

Они мало разговаривали во время лыжного похода, но, в общем, ладили между собой. Лаврансу было трудновато поспевать за Эрлендом; он не хотел признаваться, что зять ходит на лыжах слишком быстро для него. Однако Эрленд заметил это и сейчас же сбавил шаг, приспосабливаясь к тестю. Он очень старался угодить отцу своей жены, а когда хотел приобрести чью-либо дружбу, он становился скромным и мягким.

На третий день они остановились на ночлег в пустой каменной хижине. Погода была отвратительная – стоял туман, но, по-видимому, Эрленд всегда находил дорогу с одинаковой уверенностью. Лавранс заметил, что Эрленд с изумительной точностью разбирался во всех приметах, знал образ жизни и привычки зверей – и всегда мог сказать точно, где он находится. Казалось, все то, чему сам Лавранс, хотя и привыкший к жизни в горах, научился, стараясь смотреть, замечать и запоминать, его спутник знал просто так, вслепую! Эрленд сам над этим смеялся – такое уж у него чутье.

Они нашли каменную хижину уже в темноте, именно в то самое время, которое было указано Эрлендом. Лаврансу вспомнилась такая же точно ночь, когда ему пришлось зарыться в снег на расстоянии какого-нибудь выстрела из лука от своего собственного горного шалаша на выгоне для лошадей. Хижину совсем занесло снегом, так что путники были вынуждены забираться в нее через дымовую отдушину. Эрленд прикрыл отверстие конской шкурой, лежавшей в хижине, и укрепил ее деревянными распорками, засунув их под стропила. Потом выгреб лыжей набившийся в хижину снег и сумел развести на открытом очаге огонь, пустив в дело лежавшие там замерзшие дрова. Вытащив из-под скамейки трех-четырех куропаток, – Эрленд оставил их тут, когда шел на юг, – он обмазал их глиной с обтаявшего около очага пола и бросил эти комки на раскаленные угли.

Лавранс лежал на земляной завалинке, где Эрленд постарался устроить его поудобнее, подостлав котомки и плащи.

– Вот так ратные люди поступают с краденными курами, Эрленд! – сказал он смеясь.

– Да, я тоже кое-чему научился, когда был на службе у графа! – сказал также со смехом Эрленд.

Сейчас он был настолько же проворным и жизнерадостным, насколько прежде бывал вялым и малоподвижным, – а таким его чаще всего и видел тесть. Усевшись на полу перед Лаврансом, он принялся рассказывать о тех годах, когда служил у графа Якоба в Халланде. Он был тогда начальником

отряда в замке и потом выходил в море с тремя небольшими кораблями – охранял берег. Глаза у Эрленда стали совсем ребяческими, – он не хвастался, а просто дал волю языку. Лавранс лежал, поглядывая па него сверху вниз…

Недавно он молил Бога вооружить его терпением, чтобы снести присутствие мужа дочери в доме своем… А теперь почти готов был сердиться на самого себя, ибо Эрленд нравился ему гораздо больше, чем этого хотелось бы Лаврансу. Он вспомнил, что еще в ту ночь, когда сгорела их церковь, ему понравился зять. Нельзя сказать, чтобы этому долговязому недоставало телесного мужества! Отцовское сердце пронзила боль: жаль Эрленда, он мог бы быть способен на лучшее, чем совращать женщин! Но из него ровно ничего не получилось – так, какие-то мальчишеские выходки! «Будь у нас такие времена, чтобы какой-нибудь вождь мог взять этого человека в руки и использовать его… Но в нашем нынешнем мире, когда каждому приходится во многом полагаться на собственное суждение, а человек в положении Эрленда должен сам заботиться не только о собственном благополучии, но и о судьбе очень многих людей… И это муж Кристин!.»

Эрленд взглянул на тестя. И сам стал серьезным. А потом сказал:

– Я буду просить вас об одном, Лавранс… Прежде чем мы приедем ко мне домой… вы должны поведать мне о том, что, наверное, лежит у вас на сердце.

Лавранс молчал.

– Ведь вы же знаете, – продолжал Эрленд тем же голосом, – что я рад пасть к ногам вашим, чего бы вы ни потребовали, и уплатить вам такую пеню, какую вы сами сочтете достойным для меня возмездием.

Лавранс взглянул в лицо своего молодого собеседника, потом усмехнулся странной усмешкой.

– Пожалуй, было бы трудно, Эрленд… мне высказать, а тебе выполнить… Можешь сделать приличный дар церкви в Сюндлю и тем священникам, которых вы тоже оставили в дураках, – сказал он резко. – Я не хочу больше говорить об этом! Да и на молодость свою тебе не приходится ссылаться… Много было бы честнее, Эрленд, если бы ты пал к ногам моим до того, как я заключил ваш брак…

– Да, – отвечал Эрленд. – Но я не знал тогда, что дела обстоят так, что в один прекрасный день обнаружится, какую обиду я нанес вам.

Лавранс сел на лежанке.

– Так ты не знал, когда женился, что Кристин…

– Не знал, – произнес Эрленд. Вид у него был унылый. – Мы были женаты уже почти два месяца, когда я впервые узнал об этом…

Лавранс посмотрел на него с некоторым изумлением, но ничего не сказал. Тогда Эрленд опять заговорил слабым и неуверенным голосом:

– Я рад, что вы отправились в путь вместе со мной, тесть,

Кристин всю зиму было не по себе… Бывало, едва слово со мной вымолвит. Много раз мне казалось, что ей противны и Хюсабю и я сам.

Лавранс ответил довольно холодно и уклончиво:

– Так бывает со всеми молодыми женами. Теперь она опять здорова, поэтому вскоре вы с ней, наверное, станете такими же добрыми друзьями, какими были раньше, – прибавил он и улыбнулся насмешливо.

Но Эрленд сидел, уставившись неподвижным взором на кучу раскаленных углей. Внезапно ему стало так ясно… хотя он понял это уже в ту минуту, когда впервые увидел маленькое красное личико у белого плеча Кристин. Никогда больше между ними не будет того, что было раньше.

Когда отец вошел в горенку к Кристин, та села на кровати и протянула к нему руки. Крепко обняв отцовскую шею, она залилась слезами и рыдала, рыдала, окончательно перепугав Лавранса.

Одно время она уже вставала с постели, но потом, узнав, что Эрленд отправился через горы без спутников, а между тем с возвращением его дело затянулось, так обеспокоилась, что у нее началась лихорадка.

Было сразу видно, что Кристин еще слаба: она плакала из-за всякого пустяка. Пока Эрленда не было, в усадьбу приехал новый постоянный священник, отец Эйлив, сын Серка. Он взял на себя труд иногда навещать хозяйку дома и читать ей вслух, однако Кристин начинала плакать над такими сущими

пустяками, что вскоре священник пришел в недоумение: да что же наконец можно ей читать?

* * *

Однажды, когда отец сидел у нее, Кристин пожелала сама перепеленать ребенка, чтобы Лавранс увидел, какой это красивый и отлично сложенный мальчик. Ребенок лежал голенький среди пеленок, барахтаясь на одеяльце перед матерью.

– Что это за знак у него на грудке? – спросил Лавранс. Над самым сердцем у ребенка было несколько маленьких кроваво-красных пятнышек, словно окровавленная рука коснулась там мальчика. Кристин сама была очень встревожена, когда впервые увидела этот знак. Но она пыталась утешить себя и потому сказала:

– Наверное, это просто огневой знак; я взялась за грудь, когда увидела, что церковь горит.

Отец вздрогнул. Да! Ведь он же не знает, с каких пор… и сколько… она скрывала. И не понимает, как она в силах была… она, его родное дитя, скрывать от него…

* * *

– Мне все кажется, что вам не нравится мой сын по-насто-

ящему, – много раз повторяла Кристин своему отцу, но Лавранс посмеивался да говорил: «Нет, я люблю его». К тому же он сделал богатые подарки – на ризки новорожденному и самой родильнице. Все же Кристин казалось, что ее сыну оказывают недостаточно внимания – и меньше всего Эрленд.

– Посмотрите-ка на него, отец, – просила она – Глядите, как он улыбается! Ну, видели ли вы, отец, когда-нибудь такого красивого ребенка, как Ноккве?

Она постоянно спрашивала все об одном и том же. Однажды Лавранс сказал, словно задумавшись:

– Твой брат Ховард… второй наш сын… был очень красивым ребенком.

Немного погодя Кристин спросила слабым голосом:

– Это тот из моих братьев, который жил дольше всех?..

– Да. Ему исполнилось два года… Ну, не надо же опять плакать, моя Кристин, – попросил он тихо.

* * *

Ни Лаврансу, ни Гюннюльфу не нравилось, что мальчика называют Ноккве, – ведь его окрестили Никулаусом! Эрленд стоял на том, что это одно и то же имя, но Гюннюльф сказал: «Нет, неверно! В древних сагах повествуется о людях, которых звали Ноккве еще в языческие времена». Все же Эрленд не хотел пользоваться именем, которое носил его отец. А Кристин всегда называла мальчика так, как впервые

назвал их сына Эрленд, когда приветствовал его.

* * *

Итак, по мнению Кристин, всего лишь один человек в Хюсабю, кроме нее самой, полностью оценил, какой замечательный ребенок Ноккве и сколько он подает надежд. То был новый священник, отец Эйлив… В этом вопросе он рассуждал почти столь же здраво, как и сама мать.

Отец Эйлив был маленький, тщедушный человечек с небольшим круглым животиком, придававшим ему немного смешной вид. Он был очень неказист; люди, разговаривавшие с ним много раз, с немалым трудом узнавали потом священника – столь обыкновенно было его лицо. Волосы у нею и кожа были одинакового цвета – красновато-желтого, как песок, – а круглые голубовато-водянистые глаза невыразительны. По характеру своему он был тих и робок, но магистр Гюннюльф говорил, что отец Эйлив так учен, что тоже мог бы сдать экзамен на ученую степень, будь он хоть немного увереннее в себе. Но гораздо больше, чем своей ученостью, был он украшен чистотой жизни, смирением и искренней любовью ко Христу и его церкви.

Происхождения он был низкого и хотя был немногим старше Гюннюльфа, сына Никулауса, однако казался почти старообразным. Гюннюльф знал его с той поры, когда они учились с ним вместе в школе в Нидаросе, и всегда говорил

с большой любовью об Эйливе, сыне Серка. По мнению Эрленда, им в Хюсабю посадили не очень-то важного священника, но Кристин сразу же преисполнилась доверием и любовью к нему.

Кристин продолжала жить с ребенком в Маленькой горенке даже после того, как побывала в церкви и очистилась. Это был тяжелый для нее день. Отец Эйлив взял ее под руку в церковь, но не посмел причастить ее тела Христова. Она исповедалась ему, но за то, что и она была повинна и смерти другого человека без покаяния, отпущения этого греха ей придется искать у архиепископа. В то утро, когда Гюннюльф сидел с ней и душа ее терзалась, он внушил Кристин, что едва для нее минует опасность телесной смерти, она должна будет немедленно искать душевного исцеления. Как только она почувствует себя достаточно здоровой, ей придется исполнить свой обет святому Улаву. Теперь, когда своим заступничеством он спас ее ребенка для света и чистой купели крещения, она должна сходить босая на его могилу и возложить там свой золотой венец, почетное украшение девственницы, которое она берегла столь плохо и носила не по праву. И Гюннюльф посоветовал Кристин подготовить себя к такому делу уединенной жизнью, молитвами, чтением и размышлением, а также поститься, – но умеренно, ради грудного ребенка.

* * *

Эрленд смотрел вслед своей молодой супруге со страстной тоской, когда встречался с ней во дворе. Такой красавицей, как теперь, она никогда еще не была: высокая, стройная, в простом темно-коричневом платье из некрашеной сермяжной ткани. Грубая полотняная косынка, покрывавшая ее волосы, шею и плечи, только еще резче подчеркивала, какой ослепительной белизны стала у нее кожа. Когда лучи весеннего солнца падали на лицо Кристин, свет словно просачивался глубоко в ее тело, – так она была ясна. Глаза и губы у нее как бы просвечивали насквозь. А если Эрленд заходил а горенку взглянуть на ребенка, Кристин опускала большие белые веки, когда он смотрел на нее, – и она казалась такой скромной и целомудренной, что Эрленд не смел коснуться даже руки ее своими пальцами. И когда она держала Нокве у груди, то прикрывала краешком головной повязки едва заметный кусочек своего белого тела. Положительно все задались целью отправить его супругу прямо на небо, отняв у мужа!..

Так шутил Эрленд полусердито, беседуя с братом и тестем, когда по вечерам они сидели в большой горнице – одни лишь мужчины. Хюсабю превратился прямо в соборную церковь. Сейчас тут Гюннюльф и отец Эйлив, да тестя можно считать за полусвященника, а теперь и из него хотят сде-

лать то же. Итого будет три священника в одной усадьбе! Но те только смеялись над ним.

В эту весну Эрленд, сын Никулауса, много занимался хозяйством. Нынче в должное время все изгороди были исправлены и навешены ворота, запашка полей и весенний сев закончены благополучно и своевременно, и Эрленд закупил великолепный рогатый скот, – ему пришлось обречь на убой значительную часть прежнего к Новому году, да и большой беды в этом не было – столько было у него старой и жалкой скотины. Эрленд нашел людей гнать смолу и заготовлять бересту, и дома в усадьбе были исправлены, а крыши починены. Такого порядка в Хюсабю и в заводе не было с тех самых пор, когда старый господин Никулаус потерял способность вести хозяйство. Правда, люди знали, что Эрленд искал совета и поддержки у отца своей жены. Вместе с ним и с братом своим, священником, Эрленд разъезжал по всей округе, гостя у друзей и родственников, когда у него бывал досуг от всех этих работ. Но теперь уж он ездил благопристойно, с двумя-тремя проворными и усердными слугами. А прежде у Эрленда было обыкновение разъезжать повсюду с целой свитой распущенных и буйных головорезов. И вот всякие сплетни и толки среди народа, так долго кипевшего гневом на Эрленда за его бесстыдный образ жизни, запущенность и разрушение в Хюсабю, теперь стали затихать, переходя в добродушную шутку. Люди, улыбаясь, говорили, что молодая супруга Эрленда многого достигла за шесть месяцев.

Незадолго до дня святого Бутолва Лавранс, сын Бьёргюльфа, уехал в Нидарос в сопровождении магистра Гюннюльфа. Священник пригласил его в гости на те несколько дней, которые Лавранс собирался посвятить посещению храма святого Улава и других церквей города, перед тем как ехать домой на юг. Он расстался с дочерью и ее мужем в любви и дружбе.

# VI

Кристин должна была идти в Нидарос через три дня после праздника святых мужей из Селье, – позднее, в последних числах месяца, в городе уже начиналась суета и толкотня в связи с праздником святого Улава, а до этого времени архиепископа не было в городе.

Накануне вечером в Хюсабю приехал магистр Гюннюльф, а на следующее утро спозаранку он отправился вместе с отцом Эйливом в церковь отслужить утреню. Роса серым войлоком покрывала траву, когда Кристин шла в церковь, но солнце золотило лес на вершине холма, а на склоне в зарослях куковала кукушка, – видимо, Кристин ожидала хорошая погода во время ее паломничества.

В церкви никого не было, кроме Эрленда, его жены и священников на освещенных хорах. Эрленд искоса взглянул на босые ноги Кристин – каково ей стоять на холодном как лед каменном полу! Ей придется пройти три мили,[12] и ее будут сопровождать только их молитвы. Он попытался вознести душу свою к Богу, как не пытался уже много лет.

Кристин была одета в пепельно-серую рясу, подпоясанную веревкой. Эрленд знал, что под рясой у нее надета рубашка из грубой мешковины. Туго повязанный сермяжный платок скрывал ее волосы.

---

[12] *Норвежская миля составляет около десяти километров.*

Когда они вышли из церкви на утреннее солнце, их встретила служанка с ребенком. Кристин села на какие-то бревна. Повернувшись спиной к мужу, она стала кормить мальчика грудью, чтобы он наелся досыта, прежде чем она тронется в путь. Эрленд стоял не шевелясь немного в стороне – он был бледен, и щеки у него похолодели от волнения.

Священники вышли немного позднее – они снимали с себя облачение в ризнице. Они остановились около Кристин. Отец Эйлив вскоре пошел по направлению к усадьбе, а Гюннюльф помог Кристин хорошенько подвязать ребенка на спину. В мешке, висевшем на шее Кристин, был золотой венец, деньги и немного хлеба и соли. Она взяла в руки посох, низко присела перед священником и тихо двинулась на север по тропинке, которая шла вверх через лес.

* * *

Эрленд продолжал стоять, лицо его смертельно побледнело. И вдруг пустился бежать. К северу от церкви было несколько высоких пригорков, поросших, редкой травой и объеденной порослью можжевельника и березок – там обычно паслись козы. Эрленд взбежал на пригорок, – отсюда он еще некоторое; время мог видеть Кристин, пока та не скрылась в лесу.

Гюннюльф медленно стал подниматься вслед за братом. Священник казался таким высоким и темным в ясном утрен-

нем; свете. Он тоже был очень бледен.

Эрленд стоял с полуоткрытым ртом, слезы струились по его бледным щекам. Вдруг он рванулся, упал на колени, потом, повалился ничком, головой вперед, в невысокую траву и лежал, рыдая и рыдая, да рвал вереск своими длинными загорелыми пальцами.

Гюннюльф стоял неподвижно. Он смотрел на рыдающего мужчину, потом поглядел вдаль, на лес, где исчезла женщина. Эрленд приподнял голову:

– Гюннюльф… Разве так надо было, что ты наложил на нее это?.. – Разве так надо было? – спросил он снова. – Неужели ты не мог разрешить ее?

Гюннюльф не отвечал. Тогда он опять принялся говорить:

– Ведь я-то же исповедался и искупил грех. – Он сел. – Той я купил тридцать месс, и ежегодное поминовение, и могилу в освященной земле, – я исповедался в грехе перед епископом Хельге и ходил к святой крови в Шверин. Разве это немножко не помогло бы Кристин?

– Хоть ты все это сделал, – сказал тихо священник, – принес к Богу разбитое сердце и примирился с ним, ты все же понимаешь, что следы греха твоего здесь, на земле, все равно ты должен будешь годами стараться изгладить. Что ты причинил своей нынешней супруге, когда втянул ее сперва в распутную жизнь, а потом в человекоубийство, того ты не можешь исправить, это только Бог может. Молись, чтобы он простер над ней свою руку в этом путешествии, где ты не

можешь последовать за нею и защитить ее. И не забудь, брат, сколько вы оба будете жить, что ты видел, как твоя жена вышла вот так со двора твоего – больше ради твоих грехов, чем ее собственных.

Немного погодя Эрленд сказал:

– Я поклялся Богом и моей христианской верой, прежде чем я похитил ее честь, что никогда у меня не будет другой жены, а она обещала, что не возьмет другого мужа, пока мы живем на земле. Сам ты говорил, Гюннюльф, что тогда брак свершен перед Господом: тот, кто после вступит в другой брак, в глазах его станет жить в блуде. Но раз так, не было распутством то, что Кристин стала моей…

– Не то грех, что ты жил с нею, – сказал священник, помолчав. – Если бы это могло произойти так, чтобы ты не нарушил другого права. Но ты вовлек ее в греховное восстание против всех, кого Бог поставил над этим ребенком, и под конец навлек на нее кровавый грех. И ведь в тот раз, когда мы говорили об этом, я сказал и другое: для того церковь установила законы о браке, чтобы могло быть оглашение и чтобы мы, священство, не могли бы венчать против воли родных. – Он опустился на землю, сложил руки на одном колене и вперил неподвижный взгляд вдаль, через освещенный полетнему поселок, где маленькое озерко отливало синевой в глубине долины.

– Тебе следовало бы самому знать, Эрленд: густые заросли терновника и крапивы насадил ты вокруг себя… Как же

мог ты привлечь к себе молодую девушку так, чтобы она не ободралась в кровь и не причинила себе ран?..

– Ты стоял за меня не один раз, брат, в те дни; когда я жил с Элиной, – тихо промолвил Эрленд. – Я никогда не забуду тебе этого…

– Пожалуй, едва ли бы я это сделал, – отвечал Гюннюльф, и голос его задрожал, – если бы мог подумать, что ты не пожалеешь чистой и достойной девушки – ребенка по сравнению с тобой!

Эрленд не отвечал. Гюннюльф спросил тихо;

– Тогда, в Осло… Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что станется с Кристин, если она окажется с ребенком… еще когда она жила в монастыре? И была нареченной невестой другого… А ее отец – гордый и дорожащий своею честью человек… Все ее родичи – люди знатного происхождения, непривычные переносить срам…

– Поверь, я задумывался над этим… – Эрленд отвернулся. – Мюнан пообещал поддержать Кристин… Я об этом ей тоже говорил…

– Мюнан! Как у тебя хватило духу беседовать с таким человеком, как Мюнан, о чести Кристин?

– Он не такой, как ты думаешь, – отрезал Эрленд.

– А тут еще наша родственница фру Катрин. Ведь не собирались же вы везти Кристин в какую-нибудь из его усадеб, где живут его любовницы…

Эрленд ударил кулаком по земле так, что разбил в кровь

суставы пальцев.

– Сам дьявол заботится о муже, когда жена ходит исповедоваться к его брату!

– Она мне не исповедовалась, – сказал священник, – да я и не духовник ее. Она жаловалась мне в своем горьком страхе и терзании… А я пытался помочь ей и преподать ей такой совет и такое утешение, которые казались мне наилучшими.

– Ну хорошо! – Эрленд вскинул голову и взглянул на брата. – Я сам знаю… Я не должен был делать этого… Позволять ей приходить ко мне в дом Брюнхильд…

Священник некоторое время сидел онемев.

– В дом Брюнхильд Мухи?..

– Да! Разве она не говорила тебе этого, раз уж рассказывала все?

– Тяжело будет Кристин и на исповеди рассказать такие вещи о своем законном супруге, – сказал священник немного погодя. – Мне кажется, она скорее умерла бы, прежде чем упомянуть об этом в другом месте… – Гюннюльф некоторое время сидел молча, потом сказал сурово и запальчиво: – А если ты, Эрленд, считал, что ты перед лицом Бога ее супруг, который должен охранять и оберегать ее, тогда твой проступок кажется мне еще худшим! Ты заманивал ее в рощи и сараи, ввел ее через порог блудницы. И в конце концов повез к Бьёрну, сыну Гюннара, и к фру Осхильд…

– Ты не должен так говорить о нашей тетке Осхильд, – мягко сказал Эрленд.

– Да ведь ты же сам говорил раньше, что считаешь ее повинной в смерти нашего дяди… Ее и этого самого Бьёрна.

– Мне до этого нет никакого дела, – сказал Эрленд запальчиво. – Я люблю тетку Осхильд…

– Это и видно, – промолвил священник. Губы его скривились в насмешливую улыбку. – Раз ты предоставил ей встретиться с Лаврансом, сыном Бьёргюльфа, когда сам бежал с его дочерью. Право, Эрленд, если тебя послушать, выходит так, что за дружбу с тобой стоит дорого платить…

– Господи Боже! – Эрленд закрыл лицо руками. Но священник продолжал:

– Если бы ты видел душевные муки жены своей, когда она содрогалась от ужаса перед своими грехами, неисповеданными и неотпущенными… когда она ждала рождения ребенка, а смерть стояла у ее порога… Сама еще ребенок и такая несчастная…

– Я знаю, знаю! – Эрленд дрожал. – Знаю, что она лежала, думая об этом, когда мучилась. Ради Бога, Гюннюльф, замолчи, ведь я брат твой!

Но тот продолжал безжалостно:

– Будь я мужчиной, как ты, а не священником… и соврати я с пути истинного такую юную и хорошую девушку, я освободился бы от другой. Помилуй Господи, скорее я поступил бы так, как тетка Осхильд поступила со своим мужем, и потом горел бы за это в аду в вечном огне, чем допустил бы такие страдания, какие ты навлек на свою непорочную по-

другу…

Эрленд продолжал сидеть, дрожа всем телом.

– Ты говоришь – ты священник… – сказал он тихо. – Такой ли ты хороший священник, что никогда не грешил… с женщиной?

Гюннюльф не глядел на брата. Волна крови залила румянцем его лицо.

– Ты не имеешь права задавать мне подобные вопросы… но все же я тебе отвечу. Тот, кто умер за нас на кресте, знает, как сильно нуждаюсь я в его милосердии. Но я скажу тебе, Эрленд, если на всей круглой плоскости земной у него не было бы ни одного-единственного служителя, чистого и не запятнанного грехом, и если не было бы во всей его святой церкви ни одного-единственного священника вернее и достойнее, чем я, жалкий изменник Господу, – все равно в ней учат завету и закону Господнему. Не может слово его загрязниться устами нечистого священника, оно лишь обожжет и изъест наши губы, – но, может быть, тебе этого не понять. Одно ты знаешь все же не хуже меня и любого грязного раба его, искупленного его кровью: ни закон Бога не может быть поколеблен, ни честь его не может быть умалена. Так точно, как солнце его равно могуче, сияет ли оно над бесплодным морем, или пустынными плоскогорьями, или над этими прекрасными обитаемыми долинами…

Эрленд по-прежнему сидел, закрыв лицо руками. Он долго сидел так, но когда заговорил, голос его звучал сухо и

твердо:

– Священник или не священник… Но раз ты человек не такой строгой и чистой жизни… то разве ты не понимаешь?.. Мог ли бы ты поступить с женщиной, которая спала в твоих объятиях… родила тебе двух детей… мог ли бы ты поступить с ней так же, как наша тетка поступила со своим мужем?

Священник некоторое время молчал. Потом сказал довольно насмешливо:

– Ведь ты же не осуждаешь тетку Осхильд так уж строго…

– Одно дело – мужчина, другое – женщина! Я помню тот последний раз, когда они приезжали сюда, в Хюсабю, и с ними был господин Бьёрн. Мы сидели здесь у очага, с матерью и с теткой, а господин Бьёрн играл им на гуслях и пел… Я стоял у его колен… Вдруг дядя Борд окликнул ее… Он уже лежал в кровати и хотел, чтобы фру Осхильд тоже шла спать… и произнес такие бесстыдные, похабные слова… Тетка встала, и господин Бьёрн тоже; он вышел из горницы, но прежде они переглянулись… Да, я подумал потом, когда настолько вырос, чтобы понимать… очень может быть, что это правда… Я вымолил позволение посветить господину. Бьёрну и проводить его до клети, где он должен был спать, но не посмел… не посмел и спать в большой горнице… Я убежал и улегся со слугами в людской… Боже мой, Гюннюльф… да ведь с мужчиной никогда не может случиться того, что, разумеется, произошло в тот вечер с Осхильд! Нет, Гюннюльф! Убить женщину, которая… Разве только я застал бы ее с дру-

гим…

Но ведь он же убил женщину! Однако это Гюннюльф не был в состоянии сказать своему брату. И вот священник спросил холодно:

– Значит, тогда неправда и то, что Элина была тебе неверна?

– Неверна! – Эрленд резко повернулся к брату и сказал с жаром: – Что же, ты считаешь, я могу упрекать ее за связь с Гиссюром… после того, как то и дело давал ей понять, что теперь между нами все кончено?

Гюннюльф понурил голову.

– Да! Пожалуй, ты прав! – сказал он тихо и устало. Но, получив эту небольшую уступку, Эрленд вскипел. Высоко вскинув голову, он взглянул на священника:

– Что-то ты слишком заботлив к Кристин, Гюннюльф. Как ты ходил за ней по пятам всю весну… Едва ли не больше, чем пристало брату и священнику! Похоже на то, что ты как будто приревновал ее ко мне!.. Не будь она в таком положении, когда ты впервые увидел ее, люди, чего доброго, могли подумать…

Гюннюльф посмотрел на него. Вне себя от взгляда брата, вскочил Эрленд на ноги – и Гюннюльф тоже поднялся. Он по-прежнему не спускал с него взора, и тогда Эрленд кинулся на него со сжатыми кулаками. Священник схватил его за руки. Эрленд хотел было сбить брата с ног, но Гюннюльф даже не шелохнулся.

Эрленд сейчас же остыл.

– Мне следовало бы помнить, что ты священник, – сказал он тихо.

– Как видишь, тебе не придется раскаиваться, – сказал Гюннюльф усмехнувшись. Эрленд стоял, потирая кисти рук.

– Да, у тебя всегда была чертовская силища в руках…

– Это все равно как когда мы были мальчиками. – Голос Гюннюльфа стал удивительно мягким и ласковым. – Я часто вспоминал в те годы, которые провел вдали от дома, о том времени, когда мы были мальчиками. Мы частенько ссорились, но это никогда не длилось долго, Эрленд!

– Теперь, Гюннюльф, – сказал его брат печально, – уже никогда не будет так, как когда мы были мальчиками.

– Да, – тихо ответил священник. – Пожалуй, не будет…

Долго они стояли молча. Наконец Гюннюльф сказал:

– Ну, Эрленд, я уезжаю. Схожу к Эйливу и прощусь с ним, а потом уеду. Да, я съезжу к священнику в Оркедал, но я не поеду в Нидарос, пока она там. – Он усмехнулся.

– Гюннюльф!.. У меня и на уме этого не было… Не уезжай от меня так…

Гюннюльф продолжал стоять. Он вздохнул раза два, потом сказал:

– Ты должен узнать обо мне одну вещь, Эрленд… раз ты уж знаешь, что мне известно все о тебе… Садись!

Священник опять сел. А Эрленд растянулся на земле перед ним, положив подбородок на руку, и смотрел в странно.

застывшее и взволнованное лицо брата. Затем усмехнулся:

– Что такое, Гюннюльф… Ты собираешься исповедоваться мне?..

– Да! – тихо промолвил брат. Но потом опять долго молчал. Эрленд заметил, что один раз губы у него шевельнулись, и он стиснул руки, сложенные на коленях.

– В чем дело? – Мимолетная улыбка скользнула по его лицу. – Неужели же может быть, что ты… Что какая-нибудь прекрасная дама… там, в южных странах…

– Нет, – сказал священник. Голос у него стал каким-то странно грубым. – Дело идет не о любви… Ты знаешь, Эрленд, как это случилось, что меня предназначили в священники?..

– Да. Когда братья наши умерли, а родители думали, что они потеряют также и нас обоих…

– Не то! – сказал Гюннюльф. – Мюнан, как они думали, был здоров, а Гэуте вовсе не болел, он умер только спустя зиму. Но ты задыхался, и тогда моя мать дала обет посвятить меня служению святому Улаву, если он спасет твою жизнь.

– Кто рассказал тебе это? – спросил немного погодя Эрленд.

– Ингрид, моя кормилица.

– Да, я, пожалуй, оказался бы довольно странным подарком для святого У лава! – сказал Эрленд со смехом. – Ему от меня было б мало пользы… Но по твоим же словам, Гюннюльф, ты был очень доволен тем, что тебя прочили в свя-

щенники с самых детских лет!

– Да, – сказал священник. – Но не всегда так было. Я помню тот день, когда ты покидал Хюсабю вместе с Мюнаном, сыном Борда, чтобы явиться к королю, нашему родичу, и поступить к нему на службу. Конь плясал под тобой, и новое оружие твое блестело и сверкало. А мне никогда не носить оружия!.. Красив ты был, брат мой!.. Тебе было только шестнадцать зим, но давным-давно я уже заметил, что женщины и девушки заглядываются на тебя…

– Это великолепие длилось недолго, – сказал Эрленд. – Я научился подстригать себе ногти под самый корень, божиться через каждое второе слово и орудовать кинжалом, чтобы было чем поправить дело, когда балуешься мечом. Потом меня послали на север, и я встретил ее… И был с позором изгнан из дружины, а наш отец запер передо мной свои двери.

– И ты бежал с родины с красивой женщиной, – сказал Гюннюльф все так же тихо. – И мы узнали дома, что ты стал военачальником в замке графа Якоба…

– Ну, это была не такая уж большая должность, как казалось вам дома, – сказал Эрленд смеясь.

– Вы с отцом жили недружно… А на меня он вообще не обращал внимания. Мать любила меня – я знаю. Но сколь важней был для нее ты… это я понял лучше всего тогда, когда ты покинул родину. Ты, брат, был единственным, кто действительно любил меня. И Богу известно, что ты был мо-

им самым дорогим другом здесь, на земле. Но в те дни, когда я был молод и неразумен, случалось, мне приходила в голову мысль, что ты получил от жизни уж слишком много. Теперь я все сказал, Эрленд!

Эрленд лежал, уткнувшись лицом в землю.

– Не уезжай, Гюннюльф, – просил он.

– Нет, я уеду, – сказал священник. – Теперь мы рассказали друг другу слишком уж много. Дай Бог и дева Мария, чтобы мы снова встретились в лучший час. Будь здоров, Эрленд!

– Прощай! – сказал Эрленд, не подымая головы. Когда через несколько часов Гюннюльф, уже одетый подорожному, выходил из дома священника, он увидел, что кто-то едет на коне по полям на юг, по направлению к лесу. За спиной у него висел лук, и три собаки бежали около лошади. То был Эрленд.

* * *

Тем временем Кристин быстро шла по лесной тропинке вверх по склону холма. Солнце стояло теперь высоко в небе, и вершины елей блестели на фоне летнего неба, но в лесу было еще по-утреннему прохладно и свежо. Приятный запах хвои, болотистой почвы и цветущей призорной травы, розовые двойные колокольчики которой усеивали все кочки, наполнял воздух, и поросшая травой тропинка была сыра, мягка, и по ней было приятно ступать босыми ногами, Кри-

стин шла, шептала молитвы и иногда поглядывала на белые облачка – предвестники хорошей погоды, тихо плававшие в синеве над верхушками деревьев.

Все время она думала о брате Эдвине. Вот так и он ходил да ходил из года в год, с ранней весны до поздней осени, по горным тропам, под черными утесами и белыми вечными снегами. Он отдыхал на горных выгонах, пил из ручья и закусывал хлебом, который выносили ему скотницы да конские пастухи, а потом прощался с ними, призывая господний мир и благословение и на людей и на животных. Через шелестящие леса горных склонов спускался монах в долину; высокий и сутулый, понурив голову, брел он большой дорогой мимо усадебных построек и крестьянских домишек, и всюду, где бы он ни проходил, наступало вёдро от его любвеобильных молитв за всех людей.

Кристин не встречалось ни одного живого существа – кроме коров, попадавшихся кое-где: тут, в горах, были выгоны. Но тропинка была широко протоптана, а через болото проложены гати из бревен. Кристин шла бесстрашно, она чувствовала, что монах как бы шел незримо с нею рядом. «Брат Эдвин, если правда что ты святой человек, если ты ныне перед лицом Господа – помолись за меня!»

Господи Иисусе Христе, святая Мария, святой Улав!.. Она страстно хотела скорее достигнуть цели своего паломничества… Страстно хотела скорее сбросить с себя бремя годами скрываемых грехов – тяжесть обеден и церковных служб, ко-

торыми она воспользовалась по-воровски, не исповедавшись и не раскаявшись… Ей страстно хотелось быть свободной и очищенной от зла, – так жадно не стремилась она освободиться от своего бремени, когда носила ребенка нынче весной…

Мальчик сладко и спокойно спал за спиной у матери. Он проснулся, только когда Кристин прошла через лес, спустилась к поселку Снефюгль и перед ней открылся вид на Бюдвик и один из рукавов фьорда у Салтнеса. Тут она села на лужок, перекинула на колени узел с ребенком и расстегнула ворот рубахи. Приятно было прижать к себе мальчика, приятно было сидеть так, блаженная истома охватила все ее тело, и было сладко ощущать, как се твердые, словно камень, набухшие от молока груди опадают оттого, что ребенок сосет.

Внизу, у ног Кристин, мирно лежал, греясь в лучах солнца, поселок с зелеными лугами и светлыми полями среди темного леса. Там и сям над крышами вился дымок. Кое-где уже начался сенокос.

Ей пришлось переправляться на пароме от Салтнесской отмели до Стейнс. Теперь она уже оказалась в совсем незнакомой местности. Дорога через полуостров Бюнес некоторое время шла мимо усадеб, но потом Кристин опять очутилась в лесу – правда, теперь от водного жилья человеческого до другого было уже не так далеко. Она очень устала, но вспомнила о своих родителях, – ведь те прошли босиком весь путь

от Йорюндгорда в Силе, через горы Довре, до самого Нидароса, неся Ульвхильд вдвоем на носилках. Так нечего думать о том, что Ноккве тяжело нести на спине!

…Но к тому же у нее ужасно чесалась голова – от пота под толстой сермяжной косынкой. А вокруг стана, там, где веревка придерживала одежду Кристин, рубаха врезалась в тело, наверное, до ран.

По дороге начали встречаться проезжие. Иной раз Кристин обгоняли или ей попадались навстречу верховые. Она нагнала крестьянскую повозку, направляющуюся с товарами в город на рынок: тяжелые сплошные колеса с визгом и скрипом громыхали и дребезжали по корням и каменьям. Двое мужчин вели на бойню корову. Они поглядели на молодую богомолку, потому что та была красива, – вообще-то жители этих мест привыкли к такою рода прохожим. В одном месте, немного в стороне от дороги, несколько парней рубили из бревен дом, – они окликнули Кристин, а какой-то пожилой человек побежал догонять ее и предложил ей испить пивца. Кристин низко присела, выпила и поблагодарила такими словами, какие ей обычно говорили нищие, когда она подавала им милостыню.

* * *

Вскоре после этого ей пришлось опять остановиться на отдых. Она нашла небольшой зеленый холмик с лужайкой

у дороги; там бежал ручеек. Кристин положила ребенка на траву, он проснулся и начал кричать во весь голос. Поэтому Кристин поспешила скорее закончить чтение положенных молитв и молилась рассеянно. Потом взяла Ноккве к себе на колени и размотала свивальник. Ребенок напачкал в пеленки, а у Кристин мало было сменного белья. Тогда она выполоскала его тряпки и разложила их сохнуть на солнышке, на нагретом голом камне. Мальчика же просто закутала в верхние пеленки. Ему очень нравилось лежать и барахтаться, пока он сосал материнскую грудь. Кристин радостно глядела на его крохотные бело-розовые ручки и ножки, и, кормя ребенка, она зажала одну из его ручонок между грудями.

Мимо проехали быстрой рысью двое мужчин. Кристин мельком взглянула на них, – это был знатный человек со своим слугой. Но вдруг господин резко остановил лошадь, спрыгнул с седла и пошел обратно к тому месту, где сидела Кристин. Это был Симон, сын Андреса.

– Может статься, тебе неприятно, что я здороваюсь с тобой? – спросил он. Он стоял, держа свою лошадь и глядя сверху вниз на Кристин. На нем было дорожное платье – кожаная безрукавка поверх голубого холщового кафтана, а голова была прикрыта шелковой шапочкой; лицо у него раскраснелось и вспотело. – Так странно видеть тебя… Но, может, ты не расположена беседовать со мной?..

– Да что ты!.. Ну, как живешь, Симон?..

Кристин подобрала босые ноги под одежду и хотела от-

нять ребенка от груди. Но мальчик закричал, зачмокал губами и стал искать, поэтому пришлось снова дать ему грудь. Кристин как можно старательнее собрала у груди складки одежды и сидела, опустив глаза в землю.

– Это твой? – спросил Симон, указывая пальцем на ребенка. – Впрочем, что за глупый вопрос! – рассмеялся он. – Конечно, сын? Везет же Эрленду, сыну Никулауса! – Он привязал коня к дереву и сел на камень неподалеку от Кристин. Свой меч он поставил между колен и сидел, сложив руки на рукоятке и роя землю концом ножен.

– Трудно было ожидать встречи с тобой здесь, на севере, Симон, – промолвила Кристин, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Да, – сказал Симон. – У меня раньше не бывало дел в этой части страны.

Кристин вспомнила, что она слышала что-то такое – на пиршестве в день своего приезда, – будто младший сын Арне, сына Яввалда, что из Ранхейма, женится на младшей дочери Андреса Дарре. И потому спросила Симона, не там ли он был.

– Тебе это известно? – спросил Симон. – Да, да, толки об этом, конечно, ходят здесь по округе…

– Значит, так и будет, – сказала Кристин, – что Яввалд получит Сигрид?

Симон быстро взглянул на нее, поджав губы.

– Я вяжу, ты все-таки не знаешь.

– Я не выходила со двора в Хюсабю всю зиму, – сказала Кристин. – И видела мало народу. Я слышала, что об этом браке шли разговоры…

– Ну, тогда можешь с таким же успехом выслушать это из моих уст… Все равно это скоро будет известно. – Он некоторое время сидел молча. – Яввалд умер за три дня до наступления зимней ночи,[13] – он упал с лошади и сломал себе спину. Помнишь, перед самым въездом в Дюфрин дорога поворачивает на восток от реки, и там очень крутой спуск… Да нет, ты, конечно, не помнишь! Мы ехали на празднование их обручения. Арне и сыновья его прибыли на корабле в Осло… – Тут Симон умолк.

– А Сигрид, наверное, радовалась, что выходит замуж за Яввалда, – сказала Кристин робко и боязливо.

– Да, – сказал Симон. – И у нее родился от него сын… Нынче весной, в день святых апостолов…

– О Симон!

Сигрид, дочь Андреса, с темными кудрями, обрамляющими круглое личико… Когда она смеялась, у нее на щеках появлялись глубокие ямочки. Ямочки на щеках и мелкие детские зубы были и у Симона. Кристин вспомнилось, что когда она бывала настроена не очень нежно к своему жениху, ей казалось это немужественным, в особенности после того, как она познакомилась с Эрлендом. Они были ужасно похожи друг на друга, Симон и Сигрид, но ей только шло, что она

---

[13] *Началом зимнего полугодия (зимняя ночь) в Норвегии считали 14 октября.*

была такая пухленькая и хохотунья. Ей было тогда четырнадцать зим… Такого веселого смеха, как у Сигрид, Кристин никогда не слыхала. Симон поддразнивал младшую сестренку и постоянно шутил с ней, – Кристин чувствовала, что он любит ее больше всех своих братьев и сестер.

– Ты знаешь, отец любил Сигрид больше всех, – сказал Симон. – И вот ему хотелось, чтобы она и Яввалд посмотрели, понравятся ли они друг другу, прежде чем он заключил бы эту сделку с Арне. И они познакомились… Мне даже, пожалуй, казалось, несколько ближе, чем надо было… Как встретятся, так подталкивают друг друга, переглядываются да смеются, – это было прошлым летом в Дюфрине. Но они были так молоды… И кто бы мог подумать?.. А Асрид, ты знаешь, была уже помолвлена, еще когда мы с тобой… Ну, правда, она тогда шла охотно, ведь Тургрим – очень богатый и добрый до некоторой степени… Но сейчас нет ничего и никого, что было бы ему по сердцу, и к тому же он считает, будто у него все болезни и немощи, какие только известны людям. Поэтому все мы были рады, что Сигрид так довольна своим будущим замужеством.

И когда мы привезли тело Яввалда в усадьбу… Халфрид, жена моя, так все устроила, что Сигрид могла поехать с нами домой в Мандвик. А потом и оказалось, что она осталась не одна после смерти Яввалда…

Они помолчали. Затем Кристин сказала тихо:

– Невеселая нынче была поездка для тебя, Симон!

– Да уж! – Потом он усмехнулся. – Но вскоре я, наверное, привыкну ездить с печальными известиями, Кристин. Да так уже и подошло, что ехать пришлось мне, – отец был не в силах, и живут они у меня в Мандвике, Сигрид с ребенком. Но мальчик теперь получает отцовское место в роду, и я понял, глядя на них всех там, что нежеланным он не будет, бедный малютка, когда его перевезут нынче туда…

– А сестра твоя? – спросила Кристин, с трудом переводя дыхание. – Где же будет она жить? Симон не поднимал глаз от земли.

– Отек хочет, чтобы она жила теперь дома, в Дюфрине, – произнес он тихим голосом.

– Симон! Это ведь жестоко, как ты можешь в этом участвовать?..

– Но ты же понимаешь, – отвечал он, не поднимая глаз, – какой это выигрыш для мальчика, что он войдет уже с первых же дней в отцовскую семью. Мы с Халфрид, конечно, охотно оставили бы у себя обоих. Родная сестра не могла бы быть более преданной и любящей, чем Халфрид по отношению к Сигрид. Но ты не подумай, никто из тех родичей, не был с ней суров. Даже отец… хотя он стал конченым человеком после этого. Но разве же ты не понимаешь… было бы несправедливо, если бы кто-нибудь из нас восстал против того, чтобы невинному мальчику досталась наследие и имя после отца его!

Ребенок Кристин выпустил грудь. Мать быстро запахну-

ла одежду на груди и прижала малютку к себе. Он удовлетворенно причмокнул несколько раз и срыгнул, измазав себе лицо, а матери руки.

Симон искоса взглянул на них обоих и сказал с усмешкой:

– Тебе больше посчастливилось, Кристин, чем моей сестре.

– Да, тебе, конечно, должно казаться незаслуженным, – тихи сказала Кристин, – что я называюсь мужней женой, а мальчик мой рожден законно. Пожалуй, я заслужила худшую долю: остаться одной с незаконным ребенком, не знающим отца…

– Это было бы самым скверным, что я мог услышать, – сказал Симон. – Я желаю тебе только хорошего, Кристин, – прибавил он более тихим голосом. И сейчас же спросил ее о дороге. Ведь он прибыл на север на корабле из Тюнсберга, пояснил Симон.

– Ну, мне уж пора ехать! Попробую нагнать своего слугу…

– Это Финн сопровождает тебя? – спросила Кристин.

– Нет! Финн теперь женился и больше уже не служит у меня. А ты его еще помнишь? – спросил Симон, и в голосе его прозвучало что-то радостное.

– А что, мальчик у Сигрид – красивый ребенок? – спросила Кристин и поглядела на Ноккве.

– Я слышал, так говорят. А по-моему, все грудные дети выглядят совершенно одинаково, – ответил Симон.

– Значит, у тебя самого нет детей, – сказала Кристин и вдруг улыбнулась.

– Нету! – отвечал он коротко. Потом простился с Кристин и уехал.

* * *

Когда Кристин пошла дальше, она не стала нести ребенка на спине. Она взяла его на руки и несла, прижав его личико к своей открытой шее. Она не могла думать ни о чем другом, кроме Сигрид, дочери Андреса.

Нет, ее отец не мог бы так поступить… Чтобы Лавранс, сын Бьёргюльфа, стал разъезжать, выпрашивая честь и место незаконному ребенку своей дочери среди родичей его отца… Никогда он не был бы способен на это! И никогда, никогда у него не хватило бы духу отнять у нее новорожденного сына… вырвать малютку из объятий матери, оторвать его от груди, когда на его невинных губках еще не обсохло материнское молоко. «Ноккве мой! Нет, этого он, конечно, не в силах был бы сделать… Будь это даже десять раз справедливо, мой отец не поступил бы так!..»

Но Кристин не могла отогнать от себя одну картину. Несколько всадников сорвалось в Роста – там, на севере долины, где она сужается и горы сдвигаются ближе, черные от леса. Веет холодом от реки, которая с грохотом мчится по камням, льдисто-зеленая, вспененная, с темными омутами.

Тот, кто кинется в нее, разобьется о скалы мгновенно, срываясь с уступа на уступ… Иисусе, Мария!

Потом она увидела поля – там, дома, в Йорюндгорде, светлой летней ночью, – увидела себя бегущей вниз по тропинке к зеленой лужайке в ольховой чаще у реки… там, где у них обычно стирали белье. Вода стремительно бежала, однообразно ее журчание по пологому, усеянному большими камнями руслу… «Господи Боже, я не могу иначе…»

«Ах, но у отца не хватило бы духу на это! Как бы ни твердили, что этого требует справедливость. А я бы стала молить, молить, упав на голые колени: „Отец, не отнимай у меня моего ребенка!..“»

* * *

Кристин стояла на Фегинсбрекке,[14] глядя на город, лежавший у ее ног в золотом сиянии вечернего солнца. По ту сторону широкой светлой излучины реки стояли коричневые постройки с зелеными дерновыми крышами, с темными куполами листвы в садах, светлые каменные дома со ступенчатыми коньками, церкви, вздымавшие хребты черных, крытых гонтом крыш, церкви с тускло отсвечивающими свинцовыми кровлями. А над зелеными окрестностями, над великолепным городом поднималось ввысь здание собора, такое

---

[14] *Фегинсбрекка – холм у Нидароса, с которого открывается вид на город.*

могучее и такое ослепительно светлое, что, казалось, все лежало у его подножия.

Освещаемый прямо в грудь вечерним солнцем, сверкающий стеклянными окнами, с башнями, головокружительными шпилями и раззолоченными боковыми приделами, собор стоял, указывая прямо вверх, на светлое летнее небо.

Вокруг лежали по-летнему зеленые долины, несущие на своих склонах почтенные, богатые усадьбы. Дальше, за городом, светло и широко открывался фьорд с пробегавшими по нему стаями больших летних облаков, поднимавшихся над ярко-синими горами на той стороне. Монастырский островок лежал, словно зеленый венец с белокаменными цветами домов, вкрапленными в него, и плескался в море. Сколько корабельных мачт у причалов, сколько красивых домов…

Пораженная, припала, всхлипывая, молодая женщина к подножию придорожного креста, где до нее тысячи паломников, коленопреклоненные, благодарили Бога за то, что руки помощи протянуты к людям на их пути через этот опасный и прекрасный мир.

* * *

Звонили к вечерне в церквях и монастырях, когда Кристин входила в соборный двор. На миг она осмелилась поднять взоры на западный фасад церкви, а потом, ослепленная, опустила долу глаза.

Люди не могли бы собственными силами завершить такое дело – дух Божий руководил святым Эйстейном и теми мужами, что после него строили храм. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле якоже и на небесех», – теперь слова эти стали ей понятны. Отблеск Царствия Господнего свидетельствовал в камне о том, что воля его – во всем прекрасном. Кристин содрогнулась. Да, Бог должен с гневом обратиться от всего безобразного – от греха, и срама, и нечистоты.

В галереях небесного града стояли святые мужи и жены, такие красивые, что ей страшно было взглянуть на них. Неувядающие лозы вечности вились вверх, тихие и прекрасные, взрастали на шпилях и башнях и расцветали каменными священными цветами. Над средней дверью было изображение распятого на кресте Христа, по сторонам его стояли Мария и Иоанн-евангелист, и они были белые, точно изваянные из снега, и на белом блестело золото.

Три раза обошла она с молитвой вокруг церкви. Могучие громады стен с ошеломляющим богатством колонок, арок и окон, едва заметные в вышине огромные скаты крыши, башня, золото шпиля, высоко вздымавшегося в небесное пространство… Кристин поникла под тяжестью своего греха.

Она дрожала всем телом, лобызая обтесанный камень портала. На миг – как при блеске молнии – увидела она темную резьбу дерева вокруг церковной двери там, у них дома, – она лобызала ее своими детскими устами, вслед за отцом и

матерью.

Она окропила святой водой ребенка и себя, вспомнив, как отец это делал, когда она была маленькой. Крепко прижав к груди ребенка, Кристин вошла в церковь.

Она шла точно в лесу; колонны были изборождены морщинами, как старые деревья, но в этот лес сквозь цветные стекла просачивался свет, разноцветный и ясный, как пение. Высоко вверху над Кристин резвились в каменной листве звери и люди, и ангелы играли и пели, а еще выше, на головокружительной высоте, раскинулись стрельчатые своды, вздымая храм ввысь к Богу. В одном из боковых приделов шла служба у алтаря. Кристин опустилась на колени у столба. Пение вызывало боль, как слишком яркий свет. Она почувствовала, как низко во прахе она повергнута.

«Pater noster». «Credo in unum Deum». «Ave Maria, gratia plena».[15] Она заучивала молитвы, повторяя их за отцом и матерью, раньше чем понимала их слова – сколько помнит себя. Господи Иисусе Христе! Есть ли еще такая грешница, как она?..

Высоко под аркой, вознесенный над людьми, висел распятый Христос. Пречистая дева, его мать, стояла, глядя в смертельной муке на своего безгрешного сына, пытаемого до смерти, как пытают злодея…

А сама она, пав на колени, держит здесь в объятиях плод

---

[15] *«Отче наш». «Верую во единого Бога». «Привет тебе, Мария, полная „благодати“ (лат.)*

своего греха! Кристин крепко прижала ребенка к груди – он свеж и здоров, словно яблочко, красен и бел, словно роза. Ребенок теперь не спал и лежал, глядя на мать своими ясными, милыми глазками.

Зачатый в грехе. Выношенный под ее жестоким, злым сердцем. Извлеченный из ее зараженной грехом плоти таким светлым, таким здоровым, таким несказанно восхитительным, свежим и чистым. Незаслуженная милость разрывала ей сердце; подавленная раскаянием, стояла она на коленях, и слезы лились потоком из ее души, как кровь из смертельной раны.

«Ноккве, дитя мое… Бог взыскивает грехи родителей на детях… Разве не знала я этого? Знала. Но не было во мне милосердия к невинной жизни, которая могла пробудиться в моем лоне, – на проклятие и муки из-за моего греха…

Раскаивалась ли я в грехе моем, когда носила тебя, мой любимый, любимый сын? Нет, то было не раскаяние… Сердце мое было ожесточено гневом и злобными мыслями в тот первый час, когда я впервые почувствовала твое движение, маленький, беззащитный… Magnificat anima mea Dominum. Et exultavit spiritus raeus in Deo salucari nieo.[16] Так она молвила, милостивая царица, когда была избрана понести того, кто должен был умереть за грехи наши. Не вспомнила я его, искупителя грехов моих и грехов моего ребенка… Нет, то было не раскаяние… Но я ругала себя, и прибеднялась, и

---

[16] *Славит душа моя Господа. И ликует дух мой но Боже, спаси моем (лат.)*

клянчила, чтобы завет справедливости был нарушен, потому что мне было бы не снести, если Бог соблюл бы закон свой и наказал меня по слову своему, которое я знала все дни моей жизни…»

Кристин так рыдала, что не в силах была подниматься с колен, когда народ вставал во время службы. Она скорчилась кулем над своим ребенком. Около нес стояли на коленях какие-то люди, которые тоже не поднимались, – две хорошо одетые крестьянки, а между ними мальчик-подросток.

Она подняла взоры к хорам. За золоченой решеткой врат во тьме блестела рака святого Улава, высоко поднятая над алтарем. По спине у нее пробежал мороз. Там лежало его святое тело в ожидании для воскресения. Тогда крышка раскроется, и он поднимется. С боевым топором в руке прошествует он по церковному залу. А из-под каменного пола, из земли вокруг храма, с каждого кладбища на норвежской земле выскочат желтые остовы мертвецов, оденутся плотью и соберутся вокруг своего короля. Те, кто пытался идти по его окровавленным следам, и те, кто лишь прибегал к нему, дабы он помог нести их ношу греха, печали и болезней, которую они в жизни своей навязали себе и детям своим. Теперь они теснятся к своему королю и просят напомнить Богу о нужде своей. Господи, внемли, о чем я молю тебя за этот народ, который я так любил, что готов был стерпеть изгнание, и нужду, и ненависть, и смерть, лишь бы ни один муж, ми одна дева не взросли в Норвегии, не узнав, что ты умер

во спасение всем грешникам. Господи, не ты ли велел нам выйти и сделать всех людей учениками твоими? Кровью моей написал я, Улав, сын Харалда, твою благую весть норвежским языком ради этих моих беглых подданных…

Кристин закрыла глаза. У нее кружилась голова, она чувствовала себя больной. Перед нею был лик короля – его пламенеющие очи зрели в глубь ее души – она содрогнулась под взглядом святого Улава.

Там, на севере твоей родной долины, Кристин, на том месте, где я отдыхал, когда мои соотечественники изгнали меня из моей наследственной державы, потому что не могли стерпеть закон Господний, разве там не воздвигли церкви? Разве сведущие люди не пришли туда, не учили вас заповедям Божиим.

Чти отца своего и матерь свою. Не убий. Бог взыщет зло родителей на детях… Я умер, чтобы вы узнали эти истины. Разве тебя не учили им, Кристин, дочь Лавранса?

Учили, Государь, учили!

Церковь святого Улава у них дома – ей виделось ее уютное бревенчатое помещение. Там не было такой устрашающей высоты. Она была надежной, сооружена Господу из темного смоленого дерева, из какого люди рубят себе жилища, клети и хлева для скота. Но бревна были обтесаны, превратились в стройные стволы, и из связи их были воздвигнуты стены дома Божьего. Так точно, – учил отец Эйрик в каждую годовщину освящения церкви, – должны мы орудиями веры

рубить и тесать наше грешное естество, пока не станем верными членами Христовой церкви.

Ты забыла это, Кристин? Где те дела, которые должны свидетельствовать за тебя в судный день, что ты член церкви Божьей, – где добрые дела. свидетельствующие за человека, что Бог им владеет?

Иисусе, ее добрые дела! Она читала те молитвы, которые были ей вложены в уста. Она передавала милостыню, которую отец вкладывал ей в руки, она пособляла матери, когда мать одевала нищих, насыщала голодных и облегчала язвы больных…

Но злые дела были ее собственными.

Она старалась льнуть ко всем, дававшим ей убежище и поддержку. Любящие наставления брата Эдвина, его горе из-за ее греха, его ласковое заступничество принимала она – и бросалась в жгучее вожделение греха, как только уходила из-под его кротких старых очей. Ложилась по хлевам и сараям и едва ощущала стыд от того, что дурачит добрую, достойную фру Груа, принимала дружелюбную заботу благочестивых сестер и монахинь, и у нее даже не хватало ума постесняться, когда они хвалили ее скромность и приличное поведение перед отцом.

Ах, отец! Думать – о нем тяжелее всего… Об отце, который не сказал ей ни одного неласкового слова, когда пришел сюда нынче весною…

Симон не выдал ее, когда застал ее, свою невесту, с муж-

чиной в харчевне для холостых военных. А она позволила ему взять на себя вину за нарушение слова, позволила ему нести вину перед се отцом…

Ах, а с отцом – это хуже всего… Нет, с матерью еще хуже. Неужели Ноккве вырастет и проявит к матери так же мало любви, как она к своей… Нет, этого ей не вынести. Мать, что родила ее и кормила грудью, не смыкала над ней глаз, когда она болела, мыла и расчесывала ее волосы и радовалась, что они красивые. И в первый же раз, как она нашла, что ей нужны материнская помощь и утешение, она принялась ждать, что мать приедет к ней, несмотря на все ее непослушание. «Уж конечно, мать твоя бы отправилась на север и была бы с тобой, если бы знала, что будет тебе в утешение», – сказал отец. Ах матушка, матушка, матушка…

Как-то дома Кристин видела воду, взятую из колодца, она казалась такой чистой и прозрачной, когда была налита в деревянные чашки. Но у отца был стеклянный кубок, и когда воду перелили в него и солнце осветило ее, то оказалось, что она мутна и полна нечистоты…

Да, Государь мой Король, я понимаю, какая я!

Доброту и любовь она принимала от всех людей, словно имела на это право. Она не видела конца всей доброте, и всей любви, которые встречала в своей жизни. Но в первый же раз, когда человек очутился у нее на дороге, она поднялась против него, как взвивается и жалит змея. Тверда и остра, как нож, была ее воля, когда она навлекла смерть на Элину,

дочь Орма…

Так поднялась бы она и против самого Господа Бога, если бы он возложил на ее выю свою справедливую руку. Ах, как могли вынести это отец и мать, – трех маленьких детей они потеряли, они видели, как Ульвхильд таяла и близилась к смерти после всех тех долгих горестных лет, что они старались вернуть ребенку здоровье. Но все испытания переносили они с терпением, никогда они не усомнились, что Бог распорядится к лучшему для детей их. А она причинила им все это горе и позор…

Но если бы что-нибудь случилось с ее ребенком… Если бы его отняли у нее, как отняли дитя у Сигрид, дочери Андреса. Ах, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!..

До самого края бездны адовой добрела она. Если б она потеряла мальчика, она бы кинулась в дымящуюся пропасть, отвратилась бы с насмешкой от всякой надежды соединиться с добрыми и милыми сердцу людьми, которые ее любили, убила б себя, отдалась бы дьяволу во власть…

Что же удивительного, если грудь Ноккве отмечена окровавленной рукой?

Ах, святой Улав, ты, услышавший мои молитвы, когда я просила тебя помочь моему ребенку!.. Я просила тебя обратить кару на меня и пощадить невинного. Я, Государь мой Король, я знаю, как я сдержала свою часть того договора…

Как дикий, языческий зверь она встала на дыбы под пер-

вым же наказанием. Эрленд… Ни одного часа не думала она, что он уже не любит ее больше. Ибо если бы она так думала, то не в силах была бы дольше жить. О нет! Она думала тайно от себя самой, что когда опять станет красивой, здоровой и шаловливой, то снова будет так, что ему позволится просить у нее… Не то, чтобы он был неласков с нею зимой. Но она, слышавшая с самого своего детства о том, что дьявол всегда держится около беременной женщины и соблазняет ее, когда она бывает слаба, охотно подставила свое ухо, внимая сатанинской лжи. Она притворялась, будто думает, что Эрленд уже не питает к ней любви, ибо она больна и безобразна… когда видела – он принимает близко к сердцу, что вызвал толки в народе о ней и себе. Его смущенных и нежных слов она не желала слушать, а когда сама подстрекала его говорить запальчивые и необдуманные речи, то потом подхватывала их и попрекала ими Эрленда. О Боже! Она не только гадкая женщина, но и дурная жена…

Понимаешь ты теперь, Кристин, как нужна тебе помощь?..

Да, Государь мой Король, теперь я понимаю. Велика моя нужда в твоей поддержке, чтобы снова мне не отвратиться от Бога. Будь со мной, вождь народный, когда я приду к тебе с молитвой, молись за меня, святой Улав, молись за меня!

Cor mundurn crea in me, Deus, et. spiritum rectum innova in visceribus meis.

Ne projicias me a facie tua…

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae…[17]

* * *

Служба кончилась. Народ стал выходить из церкви. Две крестьянки, стоявшие на коленях возле Кристин, поднялись на ноги. Но мальчик, бывший с женщинами, не поднялся. Он начал передвигаться по полу, упираясь согнутыми суставами пальцев о плиты, и подпрыгивал, словно неоперившийся вороненок. У него были малюсенькие ножки, кривые, подвернутые под туловище. Женщины шли, стараясь как можно больше загородить калеку своей одеждой.

Когда все трое скрылись из виду, Кристин пала ниц и поцеловала пол в том месте, где они прошли мимо нее.

* * *

Немного растерянная и беспомощная стояла Кристин у входа на хоры, когда какой-то молодой священник вышел из решетчатой двери. Он остановился около заплаканной молодой женщины, и Кристин как могла лучше изложила ему свое дело. Сперва он не понял. Кристин вытащила золотой венец и протянула его священнику.

– А? Вы Кристин, дочь Лавранса, супруга Эрленда из Хю-

---

[17] *Освободи меня от крови, Боже, Боже спасения моего… (лат.)*

сабю? – Он с некоторым изумлением поглядел на нее. У Кристин от слез совершенно опухло лицо. – Да, да! Ваш деверь, магистр Гюннюльф говорил об этом, да, да!

Он провел ее в ризницу, взял венец, развернул полотняные тряпки, в которые тот был завернут, и посмотрел на него, потом сказал с улыбкой:

– Да… Вы, конечно, понимаете… Тут надо бы пригласить свидетелей и всякое такое… Ведь вы же не можете, госпожа, отдать такую драгоценность, словно это просто ломоть хлеба… Но, конечно, я могу взять его пока на хранение, – ведь вам, наверное, не хочется брать его с собой в город. Слушай, попроси господина Арне потрудиться прийти сюда! – сказал он одному из прислужников. – Вашему супругу тоже следовало бы, пожалуй, присутствовать, если действовать по всем правилам. Но, быть может, Гюннюльф привез с собой какое-нибудь письмо от него?.. Вы желаете предстать пред лицом самого архиепископа, не правда ли? А то нынче исповедует Хэук, сын Томаса. Не знаю, говорил ли Гюннюльф с господином архиепископом Эйливом… Вам придется прийти сюда завтра пораньше, к утрене. И можете спросить меня после чтения часов, мое имя Поль, сын Аслака. А его, – он указал пальцем на ребенка, вам нужно будет оставить в гостинице. Вы будете ночевать у монахинь в Бакке? Так говорил, насколько мне помнится, ваш деверь.

Вошел еще один священник, и оба о чем-то заговорили между собой. Первый отомкнул небольшой стенной шкаф-

чик, вынул оттуда весы и взвесил венец, пока второй что-то записывал в книгу. Потом они положили венец в шкафчик и заперли его там на ключ.

Господин Поль пошел проводить Кристин из ризницы и спросил, не пожелает ли она, чтобы он поднял ее сына к раке святого Улава.

Он взял мальчика уверенной, немного равнодушной хваткой священника, привыкшего брать в руки младенцев при крещении. Кристин последовала за ним в церковь, и тогда он спросил, не хочет ли и она приложиться к раке.

«Не смею!» – подумала Кристин, однако поднялась вслед за священником по лесенке на возвышение, где стояла рака. Но когда она приложилась губами к золоченой раке, перед ее глазами словно вспыхнуло большое ослепительно-белое пламя.

Священник испугался, что она упадет в обморок. Но она поднялась на ноги. Тогда он дал ребенку прикоснуться лобиком к святыне.

Господин Поль проводил ее до дверей церкви и спросил, найдет ли она дорогу до переправы. Потом пожелал ей доброй ночи, – он все время говорил с Кристин ровным и сухим голосом, как молодой благовоспитанный придворный.

Накрапывал дождь, приятный живительный запах струился из садов и исходил от улицы, свежей и зеленой, как деревенский двор, кроме тех мест, где тянулись протоптанные и проезженные полосы. Кристин как можно старатель-

ней укрыла ребенка от дождя… Он был теперь так тяжел, так тяжел, что руки у нее просто немели и отнимались. И он непрерывно пищал и плакал – конечно, опять проголодался!

Мать смертельно устала – от долгого странствования, от слез и сильнейшего душевного потрясения, пережитого в церкви. Ей было холодно, а дождь припустил, капли шлепались о ветви деревьев, так что листья дрожали, поблескивая. Кристин плелась своим путем по переулкам и вышла на улицу, где перед ней бежала река, широкая и серая, изрытая, как решето, ямками от падающих капель.

Никакого парома тут не было. Кристин заговорила с какими-то двумя мужчинами, которые забрались от дождя под амбар, стоявший на сваях у самой воды. Те сказали, что ей придется дойти до того места, где причаливают суда, – там у монахинь построен дом и там же живет паромщик.

Кристин поднялась опять на пригорок, усталая, промокшая, с израненными ногами. Она подошла к какой-то серой каменной церковке, позади нее стояло несколько домов, окруженных забором. Ноккве уже просто надрывался от крика, так что ей нельзя было войти в церковь. Но ей слышно было пение, несшееся из незастекленных окон, – она узнала антифон «Laetare, Regina coeli»: «Радуйся, Царица Небесная… Ибо тот, кого ты избрана была принести… восстал из мертвых по слову своему, аллилуйя!»

Это было то, что минориты пели в конце службы. Брат Эдвин научил ее этому акафисту матери Царя Небесного, ко-

гда Кристин сидела с ним по ночам в то время, как он лежал недужный у них в Йорюндгорде. Она незаметно зашла на церковный двор и, остановясь у стены с ребенком на руках, тихо читала про себя эту молитву.

«Что бы ты ни сделала, Кристин, все равно ничто не изменит сердечной любви к тебе твоего отца! Вот почему ты не должна больше причинять ему горе…»

…Как протянуты твои пронзенные руки на кресте, о славный царь солнечного града… Как далеко бы ни сошла душа с правого пути, эти пронзенные руки протянуты с тоскою. Ничего не нужно, кроме одного: чтобы грешные души обратились к раскрытым объятиям – добровольно, как дитя идет к отцу, а не как рабы, гонимые домой к строгому владельцу. Теперь она поняла, как мерзок грех. Опять в груди ее возникла эта боль, как будто сердце разорвалось от раскаяния и стыда перед незаслуженной милостью.

В нише церковной стены можно было немного укрыться от дождя. Кристин опустилась на могильную плиту и стала утолять голод ребенка. Время от времени она нагибалась и целовала покрытое пушком темечко.

Должно быть, она уснула. Кто-то тронул ее за плечо. Перед ней стояли монах-священник и старик-мирянин с могильной лопатой в руках. Босоногий минорит спросил, не нуждается ли она в пристанище для ночлега.

Она встрепенулась: ей гораздо больше хотелось бы провести ночь здесь, у миноритов, собратьев брата Эдвина, и к

тому же до Бакке так далеко идти, а она падает с ног от усталости… И монах велел слуге-мирянину проводить эту женщину в женскую гостиницу. «И дай ей немного камышовой примочки для ног – я вижу, они у нее поранены».

В женской гостинице было душно и темно; находилась она за оградой, в переулке. Брат-мирянин принес Кристин воды для умывания и немного пищи. Кристин села у очага и попробовала убаюкать ребенка. Ноккве чувствовал по своей пище, что мать измучена и пропостилась весь этот день. Он тянул ее за высосанную грудь, пищал и плакал. Кристин хлебнула несколько глотков молока, принесенного ей братом-мирянином. Она пыталась было впрыснуть его из своего рта в рот ребенка, но мальчуган громогласно отверг такой способ кормить его, а старик рассмеялся и покачал головой:

– Сама попей молока, и тогда оно, разумеется, пойдет и мальчику впрок…

Наконец старик ушел. Кристин забралась на одну из нар для спанья, наверху, под самой кровлей. Оттуда она могла дотянуться до отдушины и открыть ее. А в помещении была отвратительная вонь, – там ночевала какая-то женщина, у которой был понос. Кристин открыла отдушину; омытый дождем воздух ясной и прохладной летней ночи повеял на нее. Кристин сидела на короткой лежанке, упираясь затылком в бревна стены. – подушек на постели было так мало. Мальчик спал у нее на коленях. Кристин хотела было закрыть отдушину немного погодя, но нечаянно уснула.

Среди ночи она проснулась. Месяц заглядывал в отдушину, по-летнему медово-желтый и бледный, освещал ребенка и ее, и лучи его падали на стену прямо перед Кристин. И тут она заметила, что какой-то человек стоит среди потока лунного света, паря между полом и крышей.

Он был одет в пепельно-серую рясу, такой высокий и сутулый. И вот он обратил к Кристин свое старое-старое, изрытое морщинами лицо. Это был брат Эдвин. Он улыбался так несказанно нежно, немного плутовато и весело, совсем как в те дни, когда жил на земле.

Кристин ничуть не изумилась. Смиренно, счастливо, полная надежд, смотрела она на него, ожидая, что же он скажет или сделает.

Монах засмеялся ей и протянул ей старую тяжелую кожаную рукавицу, потом повесил ее на лунный луч. Тут он заулыбался еще больше, кивнул ей и исчез.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ
# ХЮСАБЮ

## I

В самом начале нового года в Хюсабю приехали нежданные гости. Это были Лавранс, сын Бьёргюльфа, и старый Смид, сын Гюдлейка из Довре, а с ними – еще двое каких-то господ, не знакомых Кристин. Эрленд был очень удивлен, увидев своего тестя в таком обществе: это были господин Эрлинг, сын Видкгона, из Гискс и Бьяркёя и Хафтур Грэут с острова Гудёй. Эрленд не знал, что Лавранс знаком с ними. Однако господин Эрлинг объяснил, что они все встретились на Рэумсдалском мысу; он заседал там вместе с Лаврансом и Смидом в Судилище шестерых, которое теперь разрешило наконец спор между дальними наследниками Иона, сына Хэука. И вот они с Лаврансом случайно заговорили об Эрленде, и Эрлингу, у которого было какое-то дело в Нидаросе, пришло тогда на ум. что хорошо было бы заехать в Хюсабю и навестить его хозяев, если только Лавранс согласится присоединиться к нему и поплывет с ним на север. Смид, сын Гюдлейка, сказал со смехом, что он почти что сам пригласил себя участвовать в поездке.

– Мне захотелось снова повидать нашу Кристин, прекраснейшую розу родной долины. А потом я еще подумал, что родственница моя Рагнфрид будет мне благодарна за то, что я не спускаю глаз с ее супруга: какие это такие важные совещания он замышляет со столь мудрыми и могущественными людьми! Да, моя Кристин! Нынче зимой у твоего отца иные дела, чем разъезжать с нами по усадьбам да справлять Рождество, пока не наступит пост! Все эти годы мы сидели себе по своим дворам тихо и мирно и берегли каждый свою выгоду. Но теперь Лавранс хочет, чтобы все мы, королевские вассалы – жители долин, скакали толпой в Осло среди самой лютой зимы: мы теперь будем в совете охранять королевскую выгоду. По словам Лавранса, они там правят так скверно за бедного несовершеннолетнего ребенка!..

Господин Эрлинг выглядел озабоченным. Эрленд приподнял брови:

– Вы принимаете участие в этих совещаниях насчет большого съезда дружинников, тесть?

– Нет, нет! – сказал Лавранс. – Я, подобно другим королевским людям нашей местности, еду на собрание, раз уж нас вызвали туда…,

Но Смид, сын Гюдлейка, опять начал: ведь его-то сам Лавранс уговорил ехать. А Херстейна из Крюке, Тронда Иеслинга, Гютторма Снейса и других, кто было не желал ехать?..

– А что же, разве в этой усадьбе нет обычая приглашать приезжих в дом? – спросил Лавранс. – Сейчас мы решим,

умеет ли Кристин варить такое хорошее пиво, как ее мать.

Эрленд поглядел задумчиво, а Кристин удивилась.

* * *

– В чем дело, отец? – спросила она немного позже, когда Лавранс остался с ней в маленькой горенке, куда Кристин перенесла ребенка из-за гостей.

Лавранс сидел, покачивая внука на колене. Ноккве, теперь уже десятимесячный, был крепкий и красивый ребенок. Еще к Рождеству на него надели длинную рубашечку и носочки.

– Я не слыхала, чтобы вы прежде участвовали в таких предприятиях, – сказала опять дочь. – Ведь вы всегда говаривали, что для страны, для военных дел и для всех носящих оружие лучше всего, если распоряжаются король и его приближенные. Эрленд говорит, что этот замысел – дело знатных людей на юге. Они хотят отстранить от правления фру Ингебьёрг и тех людей, которых ей дал в советчики ее отец, а себе силой присвоить такую власть, какая у них была, когда король Хокон и его брат были еще детьми. Но это принесло большой ущерб государству…

Лавранс шепнул, чтобы Кристин выслала из горницы няньку.

– Откуда у Эрленда такие сведения? Небось от Мюнана? Кристин рассказала, что Орм привез с собой письмо от гос-

подина Мюнана, когда приехал домой осенью. Она не сказала, что сама читала это письмо вслух Эрленду, – тот не очень-то хорошо разбирает по-писаному. А в письме Мюнан горько жаловался на то, что нынче всякий мужчина в Норвегии, носящий герб на своем щите, полагает, что он лучше разбирается в делах управления государством, чем те рыцари, которые окружали короля Хокона, когда тот был жив; и вот такие-то люди воображают, что они лучше пекутся о благе молодого короля, чем сама высокородная госпожа – его родная мать. Он предупреждал Эрленда, что если появятся признаки того, что норвежские господа хотят последовать примеру шведских и поступить так же, как поступили те нынешним летом в Скаре – замыслят заговор против фру Ингебьёрг и ее старых, испытанных советников, – тогда родичи ее должны быть наготове, а Эрленду нужно будет съехаться с Мюнаном в Хамаре.

– А он не упоминал, – сказал Лавранс, потрепав Ноккве за кругленький подбородок, – что я один из тех, кто воспротивился незаконному воинскому призыву, которого от имени нашего короля требовал Мюнан, разъезжая по долине?

– Вы?! – воскликнула Кристин. – Разве вы встречались с Мюнаном, сыном Борда, нынче осенью?

– Да, встречался, – отвечал Лавранс. – И большого единодушия у нас не получилось.

– А вы говорили обо мне? – быстро спросила Кристин.

– Нет, моя маленькая! – сказал отец рассмеявшись. – Мне

что-то не вспоминается, чтобы мы в тот раз упоминали о тебе во время беседы. А ты не знаешь, твой муж действительно подумывает о поездке на юг для встречи с Мюнаном?

– Я так полагаю! – отвечала Кристин. – Отец Эйлив недавно составлял письмо для него… И Эрленд говорил, что ему, пожалуй, скоро придется съездить на юг…

Лавранс некоторое время сидел молча, глядя на ребенка, цеплявшегося пальчиками за рукоятку его кинжала и старавшегося откусить вделанный в нее кристалл горного хрусталя.

– Это правда, что фру Ингебьёрг хотят лишить правления? – спросила Кристин.

– Ей примерно столько же лет, сколько тебе, – отвечал отец, не переставая улыбаться. – Никто не собирается отнимать у королевской матери власть, для которой она рождена. Но архиепископ и некоторые из друзей и родичей нашего покойного короля собираются на совет и будут обсуждать, каким образом лучше всего защитить власть и честь королевской матери и благо всего народа.

Кристин сказала тихо:

– Я понимаю, отец, что вы приехали в Хюсабю в этот раз не только для того, чтобы повидать Ноккве и меня.

– Не только для того, – сказал Лавранс. Тут он рассмеялся: – И я понимаю, дочь моя, что это тебе не очень нравится!

Он провел по ее лицу рукой вверх и вниз. Так он постоянно делал еще с тех пор, как Кристин была маленькой девочкой, всякий раз, когда бранил или дразнил ее.

* * *

Тем временем господин Эрлинг и Эрленд сидели наверху в оружейной, – так называлась большая клеть, стоявшая в северо-восточной части двора, у главных ворот. Она была высокая, как башня, и построена в три жилья, в верхнем было помещение с проделанными в стенах бойницами. Здесь хранилось все то оружие, которое не было в каждодневном употреблении в усадьбе. Оружейную эту построил король Скюлё.

Господин Эрлинг и Эрленд были в меховых плащах, потому что в помещении стоял резкий холод. Гость расхаживал кругом, любуясь множеством красивого оружия и доспехами, которые Эрленд унаследовал от своего деда с материнской стороны, Гэуте, сына Эрленда.

Эрлинг, сын Видкюна, был человек небольшого роста, слабого телосложения, со склонностью к полноте, но держал себя непринужденно и красиво. Лицом он не был хорош, хотя черты у него были правильные, но зато его волосы были светло-рыжие, а ресницы и брови белые, да и самые глаза тоже очень светлые – голубоватые. Если все же люди считали господина Эрлинга весьма пригожим, то, вероятно, это объяснялось тем, что он был самым богатым рыцарем в Норвегии. Но, кроме того, он держался спокойно и обладал каким-то особенным обаянием. Он был необычайно разумен,

хорошо образован и много знал, а так как никогда не старался выставлять напоказ свою ученость и всегда охотно выслушивал других, то прослыл за одного из самых умных людей в стране. Он был того же возраста, что и Эрленд, сын Никулауса, и они с ним были в родстве, хотя и довольно далеком, по роду Стувреймов. Они издавна были знакомы, но тесной дружбы между этими двумя людьми не было.

Эрленд сидел на сундуке и рассказывал о корабле, который он велел выстроить себе нынче летом. Он на шестнадцать скамей, и Эрленд считал, что корабль этот будет отличаться особенно быстрым ходом и хорошо слушаться руля. Эрленд привез с собой с севера двух корабельных мастеров и сам вместе с ними руководил работой.

– Корабли – это уж то немногое, в чем я смыслю, Эрлинг, – сказал он, – и ты увидишь, какое будет прекрасное зрелище, когда моя «Маргюгр»[18] будет рассекать морские волны!

– «Маргюгр»… Ну и страшное же языческое имя ты дал своему кораблю, родич! – сказал со смехом господин Эрлинг. – Так это на нем ты собираешься плыть на юг?

– А ты столь же благочестив, как и супруга моя? Она тоже говорит, что это языческое имя. Да ей не нравится и самый корабль мой, – ну, да она горянка и не переносит моря.

– Да, она очень благочестива, изящна и полна прелести, твоя супруга, так мне кажется, – сказал господин Эрлинг вежливо. – Этого и надо было ожидать, судя по тем, от кого

---

[18] *„Морская великанша“*

она ведет род свой.

– Да… – Эрленд засмеялся. – У нас не проходит дня, чтобы она не слушала обедни. И отец Эйлив, наш священник, которого ты видел, читает нам вслух из божественных книг. Уж читать вслух он любит больше всего сейчас же после пива и лакомой пиши! А бедняки приходят сюда к Кристин за советом и помощью… Они, кажется, готовы были бы целовать подол ее платья, право! Я просто не узнаю своих людей. Она больше всего походит на одну из тех женщин, о которых писано в житиях… Помнишь, еще король Хокон заставлял нас сидеть да слушать, как их читает нам вслух священник, в ту пору, когда мы были факелоносцами? Здесь, в Хюсабю, многое изменилось с того времени, как ты гостил у меня в последний раз, Эрлинг… Впрочем, удивительно, что ты вообще пожелал приехать ко мне в тог раз, – сказал он немного погодя.

– Ты вспомнил время, когда мы оба с тобой были факелоносцами, – сказал Эрлинг с улыбкой, которая очень шла ему, – тогда мы были друзьями, не правда ли? Все мы ждали в те дни от тебя, Эрленд, что ты далеко пойдешь в нашей стране…

Но Эрленд только посмеялся:

– Да я и сам этого ожидал!

– Не можешь ли ты, Эрленд, отправиться вместе со мной морем на юг? – спросил его господин Эрлинг.

– Я собирался проехать сухим путем, – отвечал Эрленд.

– Тяжело это для тебя будет… Через горы в такое время года, зимой, – сказал господин Эрлинг. – Гораздо было бы приятнее, если бы ты составил компанию Хафтуру и мне.

– Я уже обещал ехать кое с кем другим, – отвечал Эрленд.

– Ах да! Ты поедешь вместе со своим тестем… Ну конечно, это вполне понятно.

– Да нет!.. Я так мало знаю этих людей из долины, с которыми он поедет вместе. – Эрленд немного помолчал. – Нет, я обещал заглянуть к Мюнану в Сданге, – быстро произнес он.

– Можешь избавить себя от труда искать там Мюнана, – отвечал его собеседник. – Он уехал на юг, в свои поместья в Хисинге, и, должно быть, пройдет порядочно времени, прежде чем он вернется опять на север. А ты давно получал от него известия?

– Около Михайлова дня. Он писал мне тогда из Рингабю.

– А ты знаешь ли, что произошло там в долине этой осенью? – спросил Эрлинг. – Не знаешь? Тебе, конечно, известно, что Мюнан сам разъезжал с письмами ко всем воеводам вокруг озера Мьёсен и дальше, вверх по долине, требуя, чтобы крестьяне выполнили полную повинность для ополчения лошадьми и продовольствием – по одной лошади с каждых шести крестьян, а сыновья господские должны сдавать лошадей, но сами могут сидеть дома. Как, ты об этом не слыхал? И что на севере долины жители отказались выполнить это требование, когда Мюнан приехал с Эйриком Топпом в Вогэ на тинг? Между прочим, во главе воспротивившихся

был Лавранс, сын Бьёргюльфа, – он настаивал, чтобы Эйрик требовал законных повинностей, сколько еще недобрано, а военные поборы с крестьян для оказания помощи датчанину[19] на ведение войны с датским королем назвал злоупотреблением по отношению к народу. Если наш король потребует службы от своих вассалов, то он найдет, что они достаточно быстро соберутся с добрым оружием, конями и вооруженными слугами. Но он, Лавранс, не пошлет из Йорюндгорда даже козла на пеньковом недоуздке, разве только король потребует, чтобы он сам прискакал на нем на смотр! Как, ты ничего этого не знаешь? Смид, сын Гюдлейка, говорит, что Лавранс пообещал своим крестьянам-издольщикам сам покрыть за них пеню за невыполнение повинности, если это будет необходимо…

Эрленд сидел вне себя от изумления…

– Как, Лавранс? Никогда я не слыхал, чтобы мой тесть вмешивался а иные дела, кроме тех, что касаются его собственной недвижимости или недвижимости его друзей…

– Это бывает с ним не часто, – сказал господин Эрлинг. – Но вот что я узнал, когда был на Рэумсдалском мысу; когда Лавранс, сын Бьёргюльфа, высказывает свое мнение, то уж за сторонниками у него дело не станет! Ибо он не будет говорить, если не знает всех обстоятельств так хорошо, что его слова трудно опровергнуть. Ну вот, насчет этих подкрепле-

---

[19] *Имеется и виду рыцарь Кнут Порее, фаворит фру Ингебьёрг, матери короля.*

ний, говорят, он обменялся письмами со своими родичами в Швеции, – ведь фру Рамборг, его бабка с отцовской стороны, и дед господина Эрн-гисле были детьми двух братьев, так что у Лавранса там, в Швеции, большая родня. Тихий и спокойный человек твой тесть, но немалым он пользуется влиянием в тех округах, где его знают… Хотя он и пускает его в ход не часто.

– Ну, я теперь понимаю, почему ты водишь с ним компанию, Эрлинг, – сказал Эрленд смеясь. – А ведь меня порядком удивило, что вы с ним стали такими закадычными друзьями…

– Это тебя удивило? – спокойно заметил Эрлинг. – Нет, удивительным человеком был бы тот, кто не пожелал бы назвать своим другом Лавранса из Йорюндгорда! Для тебя было бы много лучше, родич, если бы ты слушался Лавранса, а не Мюнана!

– Мюнан был для меня вместо старшего брата с того самого дня, как я уехал впервые из дому, – сказал Эрленд довольно запальчиво. – Никогда он не оставлял меня, когда я попадал в беду. А теперь он сам в беде…

– Мюнан сам с ней справится, – сказал Эрлинг, сын Видкюна, по-прежнему спокойно. – Письма, которые он развозил, были скреплены норвежской государственной печатью, хотя и незаконно, – но уж это его не касается. Правда, это не все… Он был еще одним из тех, кто скреплял грамоту личной своей печатью и был свидетелем на помолвке сестры ко-

роля, госпожи Эуфемии, – но это трудно доказать, не затрагивая того, кого мы не можем… Сказать по правде, Эрленд, мне кажется, Мюнан убережет себя без твоей поддержки… Но ты можешь себе навредить…

– Я понимаю, вы хотите погубить фру Ингебьёрг, – сказал Эрленд. – Но я обещал нашей родственнице, что буду служить ей и здесь и за рубежом…

– Я тоже, – отвечал Эрлинг, – И намерен сдержать свое обещание, – так же поступит, разумеется, всякий норвежец, который служил нашему господину королю Хокону и любил его. А фру Ингебьёрг будет оказана наилучшая услуга, если ее разлучат с советниками, которые дают такой молодой женщине советы только в ущерб ей и ее сыну…

– А ты думаешь, – спросил Эрленд, понизив голос, – что вы с этим справитесь?

– Да! – сказал твердо Эрлинг, сын Видкюна. – Я так думаю. И точно так же, наверное, думают все те, кто не хочет прислушиваться, – он пожал плечами, – к злонамеренной… и пустой… болтовне. А нам, ее родичам, и подавно не следует слушать пустого.

Одна из служанок подняла западню лаза в полу и спросила, удобно ли будет, если хозяйка велит теперь же подавать ужин в большую горницу…

* * *

Пока хозяева и гости сидели за столом, беседа то и дело невольно возвращалась к тем важным известиям, которые занимали всех. Кристин заметила, что как ее отец, так и господин Эрлинг, вели себя сдержанно. Они сообщали известия о брачных сделках и о смертных случаях, о спорах из-за наследства и об имущественных разделах среди их родни и знакомых. Кристин волновалась, сама не зная почему. У них есть какое-то дело к Эрленду – это она поняла. И хотя не хотела признаться в том себе самой, но теперь она так хорошо знала своего мужа, что почувствовала: при всем его своеволии, Эрленда, пожалуй, довольно легко повернуть в любую сторону тому, у кого твердая рука в мягкой перчатке, как говорит пословица.

По окончании трапезы мужчины перешли к очагу, уселись там и принялись за питье. Кристин устроилась на скамье, взяла на колени пяльцы и стала плести свое кружево. Вскоре к ней подошел Хафтур Грэут, положил на пол подушку и уселся у ног хозяйки дома. Он нашел гусли Эрленда, положил их себе на колени и сидел, болтая и перебирая струны. Хафтур был совсем молодым человеком с золотистыми кудрявыми волосами, прекраснейшими чертами лица, но весь в веснушках, свыше всякой меры. Кристин сразу же заметила, что он большой болтун. Он только что женился на богатой

женщине, но очень скучал у себя дома, в своих поместьях. Поэтому-то ему и захотелось ехать на сбор королевской дружины.

– Понятно, однако, что Эрленд, сын Никулауса, предпочитает сидеть дома, – сказал он, кладя свою голову на колени Кристин. Та легонько отодвинулась, рассмеялась и сказала, что, насколько ей известно, супруг ее тоже намеревается ехать на юг.

– Не знаю уж для чего! – прибавила она с невинным видом. – Очень неспокойно у нас в стране, в нынешние времена, нелегко простой женщине разобраться в этих вещах.

– Однако именно простотой одной женщины все это главным образом и вызвано, – отвечал со смехом Хафтур и подвинулся вслед за Кристин. – Да, так говорят Эрлинг и Лавранс, сын Бьёргюльфа, – мне хотелось бы знать, что они разумеют под этим. А что думаете вы, Кристин, хозяйка? Фру Ингебьёрг хорошая, простая женщина… Быть может, сейчас она сидит вот так, как вы, плетет шелк своими белоснежными пальчиками и думает: «Жестокосердно было бы отказать верному военачальнику моего усопшего супруга в скромной помощи для улучшения его жизненных обстоятельств…»

Эрленд подошел к ним и сел рядом с женой, так что Хафтуру пришлось немного подвинуться.

– Это все пустая болтовня, которую выдумывают жены на постоялых дворах, когда мужья бывают настолько глупы, что берут их с собой на собрания…

– У нас, откуда я родом, – сказал Хафтур, – говорят, что дыма не бывает без огня.

– Да, такая пословица есть и у нас, – сказал Лавранс; они с Эрлингом тоже подошли к беседующим. – Однако нынче зимой я оказался в дураках, Хафтур… когда думал зажечь фонарь от свежего конского навоза.

Он присел на край стола. Господин Эрлинг взял кубок Лавранса, поднес ему с поклоном и потом сел на скамью с ним рядом.

– Мало вероятности, Хафтур, – сказал Эрленд, – чтобы вы там, на севере, у себя в Холугаланде, могли знать, что известно фру Ингебьёрг и ее советникам о намерениях и предположениях датчан. Не знаю, не были ли вы близоруки, когда воспротивились королевскому требованию о помощи. Господин Кнут, – пожалуй, мы можем свободно назвать его имя, ведь он у всех у нас на уме, – кажется мне человеком, который не позволит захватить себя дремлющим на насесте. Вы сидите слишком далеко от больших котлов, чтобы учуять запах того, что в них варится, И я вам скажу: не узнав броду, не суйтесь в воду…

– Да, – произнес Эрлинг. – Пожалуй, можно было бы сказать, что для нас варят пищу на соседнем дворе… Мы, норвежцы, скоро станем вроде приживальщиков, нам высылают за двери кашу, которую стряпают в Швеции, – на, жри, если хочется есть! Мне кажется, со стороны нашего господина, короля Хокона, было ошибкой перенести поварню на

задворки, сделав Осло главным городом страны. Ибо, если продолжить это сравнение, прежде поварня была посредине двора – в Бьёргвине или Нидаросе, но теперь там распоряжаются только архиепископ да кашггул… А тебе как кажется, Эрленд? Ты ведь здешний житель, и все твое имущество и все твое влияние – здесь, в Трондхеймском округе!

– Да! Черт побери, Эрлинг, так вам хочется притащить котел домой и повесить его над очагом? Тогда…

– Ну да, – сказал Хафтур. – Слишком долго нам, северянам, приходилось довольствоваться только запахом пригорелой каши да хлебать холодное капустное варево…

Лавранс вмешался:

– Дело вот в чем, Эрленд… Я не взялся бы говорить от имени жителей нашей округи, не будь в моем распоряжении писем из Швеции от моего родича, господина Эрнгисле. А из них я узнал, что никто не собирается нарушать мир и соглашение между странами – никто из тех людей, которые по праву стоят у власти, как в датском королевстве, так и в государствах нашего короля.

– Если вы, тесть, знаете, кто сейчас правит в Дании, значит, вам известно больше, чем большинству других людей! – сказал Эрленд.

– Одно я знаю. Существует человек, которого никто не хочет видеть у власти – ни здесь, ни в Швеции, ни в Дании. И потому цель того шведского предприятия нынешним летом в Скаре и цель съезда, который мы устраиваем теперь в Ос-

ло, – разъяснить всем, кто еще этого не понял, что в данном вопросе все благоразумные люди единодушны.

К этому времени все уже так много выпили, что стали разговаривать довольно громко, – кроме Смида, сына Гюдлейка: он клевал носом, сидя в кресле у очага. Эрленд закричал:

– Да, вы так благоразумны, что и сам черт вас не надует! Понятно, вы боитесь этого Кнута Порее! Вы, добрые мои господа, того не знаете – он не таков, чтобы сидеть себе мирно да посиживать, любуясь, как день тащится за днем да трава растет по милости Божьей! Мне хотелось бы снова встретиться с этим рыцарем, ведь я знал его, когда был в Халланде, и ничего не имел бы я против того, чтобы быть на месте Кнута Порее!

– Этого я не посмел бы сказать в присутствии жены, – сказал Хафтур Грэут.

Но Эрлинг, сын Видкюна, тоже уже немного подвыпил. Он де пытался сохранять благопристойность, но наконец его прорвало.

– Эх ты! – сказал он, разражаясь громким хохотом. – Ты, родич мой!.. Ай да Эрленд! – Он хлопал Эрленда по плечу я все хохотал, хохотал.

– Нет, Эрленд! – сказал небрежно Лавранс. – Для этого требуется нечто большее, чем умение обольщать женщин. Если бы Кнут Порее только и умел, что играть в лисицу, забравшуюся в гусятник, тогда знатные норвежцы не поленились бы выйти из дому, чтобы выгнать вон лисицу, даже если

бы гусыней оказалась мать нашего короля. Но кого бы господин Кнут ни соблазнял на глупости ради него – сам-то он безумствует со смыслом. У него есть своя цель, и будь уверен – от нее он не отводит своего взора…

Беседа на мгновение прервалась. Потом Эрленд сказал – глаза у него засверкали:

– Тогда я хотел бы, чтобы господин Кнут был норвежцем!

– Избави Бог от этого!.. Будь у нас, в Норвегии, такой человек, боюсь, не настал ли бы тогда скорый конец мирному житию в стране…

– Мирному житию! – презрительно произнес Эрленд.

– Да, мирному житию! – отвечал Эрлинг, сын Видкюна. – Тебе следовало бы помнить, Эрленд, что не мы одни, рыцарские роды, строим эту страну. Тебе, пожалуй, доставило бы удовольствие, если бы здесь появился такой жадный до приключений и честолюбивый человек, как Кнут Порее. Так бывало и раньше в мире: если здесь, в нашей стране, кто-нибудь собирал мятежный отряд, то ему всегда легко удавалось найти сторонников среди знатных людей. Либо побеждали они – и тогда они получали почетные звания и кормления, – либо побеждали их родичи – и тогда они получали помилование, им оставлялась жизнь и возвращалось имущество… Правда, в книгах написано о тех, кто потерял жизнь, но большинство уцелело, в какую бы сторону дело ни повернулось… Понимаешь, большинство наших предков! Но крестьянская мелкая сошка и горожане, Эрленд, – народ рабочий, от которого

требовали платежа двум господам не один раз в год и который еще должен был радоваться всякий раз, когда какой-нибудь отряд проходил через округу, не сжегши их дворов и не зарезав рогатого скота… Простой народ, которому приходится терпеть столь невыносимые тяготы и насилие, – вон он-то, я уверен, благодарит Бога и святого Улава за старого короля Хокона, за короля Магнуса и сыновей его, укрепивших законы и утвердивших мир…

– Да! Я охотно верю, что ты так думаешь… – Эрленд вскинул голову. Лавранс сидел, глядя на молодого человека. Да, сейчас его не назовешь вялым! Его смуглое взволнованное лицо горело румянцем, гибкая загорелая шея напряглась. Потом Лавранс взглянул на дочь. Кристин опустила работу на колени и внимательно следила за разговором мужчин. – А ты так уверен, что крестьяне и простолюдины думают так и хвалят новый порядок? Правда, для них часто бывали тяжелые времена… прежде, когда короли и лжекороли проходили с мечом всю страну из края в край. Я знаю, что они еще помнят то время, когда им приходилось убегать в горы со своим скотом, с женами и детьми, а по всей округе их дворы стояли объятые пламенем. Я слышал их рассказы об этом. Но я знаю, что они помнят еще одно – что их собственные отцы были в этих отрядах, не мы лишь одни делали ставку на власть, Эрлинг, – крестьянские сыновья тоже играли вместе с нами. И случалось, что им доставались наши наследственные земли. Когда закон правит в стране, не

бывает, чтобы сын какой-нибудь шлюхи из Скидана, не знающий имени отца своего, брал за себя вдову ленного владетеля и получал вдобавок ее имущество, как это было с Рейдаром Дарре, а его потомок был достаточно хорош, чтобы выдать за него твою дочь, Лавранс, теперь же он взял за себя племянницу твоем жены, Эрлинг! Ныне нами правят закон и право. И уж не знаю, как это получается, но я знаю, что крестьянская земля переходит в наши руки, и притом по закону… Чем больше господствует право, тем быстрее все идет к тому, что крестьяне теряют силу и способность участвовать в управлении делами государства и своими собственными. И это, Эрлинг, тоже известно крестьянской мелкой сошке! Нет, нет! Не будьте так уверены, господа, что простой народ не мечтает о возврате к такому времени, когда он мог потерять дворы от пожара и насилия, но зато и мог приобрести силой оружия больше, чем ему досталось бы по праву…

Лавранс кивнул.

– Пожалуй, Эрленд отчасти прав, – тихо произнес он. Но тут поднялся с места Эрлинг, сын Видкюна.

– Я охотно допускаю, что простой народ лучше помнит тех немногих, которые выбились из бедности и стали господами… во время владычества меча… чем бесконечное множество тех, которые погибли в черной нужде и нищете. Хотя еще никто не был более жестоким господином для мелкого люда, чем простолюдин по происхождению… Мне кажется, о них-то и сложилась раньше всего поговорка, что ро-

дич родичу худший враг. Человек должен быть рожден господином, иначе он будет жестоким господином… Но если он рос в детстве среди слуг и служанок, то поймет гораздо лучше, что без маленьких людей мы во многом беспомощны, как дети, во все дни нашей жизни и что не столько ради Бога, сколько ради самих же себя мы обязаны служить народу всеми своими знаниями и оберегать его нашим рыцарством. Никогда еще ни одно государство не могло продержаться без того, чтобы в нем не было знатных людей, способных и готовых защищать своей властью право людей простых…

– Ты мог бы проповедовать взапуски с братом моим, Эрлинг! – сказал Эрленд смеясь. – Но я думаю, моим землякам мы, знатные люди, нравились больше в прежние времена, когда водили их сыновей в поход, когда наша кровь смешивалась с их кровью, обагряя палубы кораблей, когда мы разрубали кольца и делились военной добычей со своими слугами… Ты слышишь, Кристин? Иногда я сплю, оставляя одно ухо открытым, когда отец Эйлив читает нам по своим большим книгам!

– Имущество, приобретенное не по праву, не доходит до третьего по порядку наследника, – сказал Лавранс, сын Бьёргюльфа. – Разве ты не слышал этого, Эрленд?

Еще бы не слышать! – Эрленд громко захохотал. – Да только видеть никогда не видал!..

Эрлинг, сын Видкюна, сказал:

– Дело в том, что немногие рождены на то, чтобы быть

господами, но все рождены для служения. И самое настоящее господство – это быть слугой слуг своих…

Эрленд переплел пальцы на затылке и потянулся с улыбкой:

– Об этом я никогда не задумывался! И не думаю, чтобы у моих издольщиков был повод благодарить меня за услуги. Однако, как это ни странно, я уверен, что они меня любят… – Он ласково потерся щекой о черного котенка Кристин, который вспрыгнул к нему на плечо и теперь ходил вокруг его шеи, мяуча и вздыбив спину… – Но зато моя супруга… женщина самая услужливая… хотя у вас нет причины поверить этому… ибо на столе стоят пустые кувшины и кружки, моя Кристин!

Орм, все время сидевший молча и следивший за беседой мужчин, сейчас же встал и вышел из горницы.

– Хозяйка до того соскучилась, что даже уснула, – сказал Хафтур с улыбкой. – И в этом виноваты мы… Дали бы мне поговорить с ней спокойно, я-то умею беседовать с дамами…

– Да, этот разговор, наверное, слишком затянулся для вас, хозяйка, – начал было извиняться господин Эрлинг, но Кристин ответила с улыбкой:

– Правда, господин, я не все поняла, о чем говорилось здесь сегодня вечером, но запомнила хорошо, поразмыслить об этом потом у меня найдется время…

Вернулся Орм с несколькими служанками, принесшими

еще напитков. Мальчик стал обносить гостей. Лавранс грустно смотрел на красивого ребенка. Днем он попробовал было вступить в беседу с Ормом, сыном Эрленда, но мальчик был неразговорчив, хотя держал себя хорошо и учтиво.

Одна из служанок шепнула Кристин, что Ноккве проснулся там, в маленькой горенке, и ужасно кричит. Кристин пожелала гостям спокойной ночи и покинула горницу вслед за служанками.

Мужчины же принялись опять пить. По временам господин Эрлинг и Лавранс обменивались взглядами, потом первый из них сказал:

– Есть одно дело, Эрленд, о котором я собирался поговорить с тобой. По всей вероятности, будет объявлено о корабельной повинности в местности по берегам здешнего фьорда и в Мере. Дальше к северу народ боится, как бы руссы не появились снова к лету с более крупными силами, ведь тогда северянам не справиться с охраной страны. Вот нам первый барыш от того, что у нас со Швецией общий король…[20] Несправедливо, если все достанется одним северянам! Ну а выходит так, что Арне, сын Яввалда, уже слишком стар и немощен… Поэтому были разговоры о том, не назначить ли тебя начальником крестьянских кораблей на этой стороне фьорда. Как тебе это понравилось бы?..

Эрленд ударил в ладони, все его лицо просияло.

– Как это мне понравилось бы?!..

---

[20] *Швеция воевала в это время с Новгородом.*

– Сколько-нибудь больших сил нам, пожалуй, собрать не удастся, – сказал Эрлинг, несколько охлаждая Эрленда. – Но ты мог бы пока подготовить все с воеводами… Тебя ведь знают в этом краю… Среди господ в государственном совете шли разговоры о том, что, может быть, ты именно тот человек, который мог бы тут кое-чего добиться. Есть люди, которые еще помнят, что ты заслужил немало чести, когда был военачальником у графа Якоба… Да и я сам, помню, слышал, как он говорил королю Хокону, что тот действовал неразумно, поступив столь строго с таким одаренным молодым человеком. Он сказал, что ты предназначен быть опорой своему королю…

Эрленд щелкнул пальцами.

– Ну, уж не ты ли будешь нашим королем, Эрлинг, сын Видкюна? Не это ли вы замышляете? – спросил он с громким хохотом. – Посадить Эрлинга королем?

Эрлинг сказал нетерпеливо:

– Слушай, Эрленд, разве ты не понимаешь, что сейчас я говорю серьезно…

– Господи помилуй! Что же, значит, ты шутил прежде? Я думал, ты говорил серьезно весь вечер… Ну, ну! Ладно, поговорим тогда серьезно… Расскажи мне все об этом деле, родич!..

* * *

Кристин лежала с ребенком у груди и уже спала, когда Эрленд вошел в горенку. Он зажег сосновую лучину об угли на очаге и осветил спящих.

Как она красива! И сын их тоже красивый ребенок. Теперь Кристин всегда бывает такой сонной но вечерам… Едва она ложится в постель и берет к себе мальчика, как оба они сейчас же засыпают. Эрленд засмеялся и бросил лучину обратно в очаг. Медленно снял с себя одежду.

Весной на север с «Маргюгр» и тремя или четырьмя кораблями ополченцев… Хафтур Грэут с тремя кораблями северян… Но у Хафтура нет никакого опыта, им Эрленд будет вертеть как захочет. Да, понятно, ему предоставят самому распоряжаться. А как будто этот самый Хафтур не трус и не размазня… Эрленд потянулся и улыбнулся в темноте. Он думал было о наборе команды для «Маргюгр» где-нибудь с побережья Мере. Но ведь отважных, здоровых парней сколько угодно и здесь у них, да и в Биргси… Можно будет подобрать отличнейшую корабельную ватагу…

Немногим больше года прошло с тех пор, как он женился. Беременность, покаяния да посты, а теперь – все мальчик да мальчик, и днем и ночью… И все же… она и теперь та же милая юная Кристин… Если бы удалось заставить ее забыть хоть на время поповскую болтовню и этого прожор-

ливого сосунка!..

Эрленд поцеловал Кристин в плечо, но она не услыхала. Бедняжка! Нужно ей дать поспать… А у него есть о чем подумать в эту ночь. Эрленд повернулся к Кристин спиной и лежал, пристально глядя перед собой в глубину горницы на маленькую раскаленную точку в очаге. Собственно говоря, следовало бы встать к прикрыть угли золой… Но ему было лень…

Нахлынули отрывочные воспоминания юношеских лет… Дрожащий штевень корабля, замерший на мгновение на гребне надвинувшейся океанской волны… Вал, хлынувший потоком на палубу. Могучий шум бури и моря. Весь корабль сотрясается от напора волн, верхушка мачты описывает сумасшедшую дугу на фоне быстро несущихся туч. Это было где-то у халландского берега. Подавленный воспоминаниями, Эрленд почувствовал, что слезы наполняют его глаза. Он и сам не знал, как эти годы, проведенные в безделье, измучили его.

На другое утро Лавранс, сын Бьёргюльфа, и господин Эрлинг, сын Видкюна, стояли в верхнем конце двора, глядя на лошадей Эрленда, бегавших по ту сторону изгороди.

– Я считаю, – говорил Лавранс, – что если Эрленд примет участие в этом съезде, то по положению и по происхождению – он же родич короля и его матери – он должен будет запять место среди первых. Но тут я не знаю, господин Эрлинг, считаете ли вы возможным полагаться на его суждение в этих

делах, и не приведет ли оно его скорее к другой стороне? Если Ивар, сын Огмюнда, попытается сделать какой-нибудь встречный ход? Эрленд близко связан и с людьми, которые пойдут за господином Иваром.

– Я плохо верю в то, чтобы господин Ивар что-нибудь предпринял, – сказал Эрлинг, сын Видкюна. – А Мюнан… – тут он немного скривил губы, – настолько умен, что будет держаться в стороне… Ему известно, что в противном случае всем станет ясно, как много – или как мало – стоит Мюнан, сын Борда.

Оба засмеялись.

– Дело в том… Да вы, несомненно, знаете это лучше меня, Лавранс, сын лагмана, – вы ведь сами родом оттуда, и у вас там родичи, – шведские дворяне не хотят считать наше рыцарство ровней себе. Поэтому важно, чтобы в наших рядах был каждый из тех, кто принадлежит к числу самых богатых и самых знатных по происхождению… Мы не можем себе разрешить, чтобы такому человеку, как Эрленд, было позволено сидеть дома, балуясь с женой да управляя своими усадьбами… как бы он ими ни управлял, – сказал он, увидев, какое лицо у Лавранса. У него пробежала по губам улыбка. – Но если вы считаете неразумным оказывать на Эрленда давление, чтобы добиться его участия, то я не стану этого делать.

– Я считаю, дорогой господин Эрлинг, – сказал Лавранс, – что Эрленд принесет больше пользы здесь, у себя в округе.

Как вы сами сказали, можно ожидать, что требование о повинности будет встречено враждебно в округах к югу от Намдалского перешейка,[21] где народ считает, что им нечего бояться руссов. Очень может статься, что Эрленд как раз такой человек, который сумеет несколько изменить мнение жителей об этих вещах…

– Уж больно язык у него без костей! – вырвалось у господина Эрлинга.

Лавранс отвечал с улыбкой:

– Зато, быть может, этот язык многие поймут гораздо лучше, чем… речи людей более прозорливых… – Опять они взглянули друг на друга, и оба засмеялись. – Как бы то ни было, он может причинить больше вреда, если отправится на съезд и будет там слишком уж громогласен!..

– Да, если вы не сможете его остановить, то…

– Во всяком случае, если я и смогу, то только пока он не встретит таких птиц, с которыми привык летать в одной стае, – мы с моим зятем люди очень разные.

К ним подошел Эрленд:

– Разве вы получили такую пользу от обедни, что вам не нужно и поесть?

– Я ничего не слышал насчет завтрака, а ведь я отощал как волк… и пить хочу… – Лавранс потрепал грязно-белую лошадь, возле которой стоял. – Слушай, зять! Того конюха, который ухаживает за твоими рабочими лошадьми, я выгнал

---

[21] *Перешеек между Трондхейм-фьордом и морем, севернее Нидарос.*

бы в шею еще прежде чем сесть за стол, будь этот конюх моим слугой.

– Я не смею из-за Кристин, – сказал Эрленд. – Он сделал ребенка одной из ее служанок.

– Ах, в здешних местах это считается таким великим подвигом, – сказал Лавранс, подняв немного брови, – что, по-вашему, он уже становится незаменимым?

– Нет, но вы понимаете, – сказал Эрленд со смехом, – Кристин и священник хотят их поженить… А от меня требуют, чтобы я так устроил этого парня, чтобы он мог прокормиться с женой. Девка не желает, и ее брачный поручитель не желает, да и самому Туре не очень хочется… Но мне не позволяют выгнать его вон. Кристин боится, как бы он тогда совсем не удрал из нашей местности. Но, впрочем, им ведает теперь Ульв, сын Халдора, когда бывает дома…

Эрлинг, сын Видкюна, пошел навстречу Смиду, сыну Гюдлейка. Лавранс сказал зятю:

– Мне кажется, Кристин что-то бледновата нынче.

Да! – с живостью подхватил Эрленд. – Не можете ли вы поговорить с ней, тесть?.. Этот мальчишка прямо высасывает у нее мозг из костей. Кажется, она собирается кормить его грудью до третьего поста, словно какая-нибудь скотница…

– Да, она очень любит своего сынишку, – сказал с улыбкой Лавранс.

– Да, да! – Эрленд покачал головой. – Они сидят по три часа, Кристин и отец Эйлив, и говорят о том, что у ребенка

появилась краснота здесь или там, а уж каждый зуб, который у него прорезается, кажется им просто великим чудом! По-моему, не новость, что у ребят иногда прорезаются зубы, и было бы гораздо большим чудом, если бы наш Ноккве остался без зубов…

# II

Год спустя как-то вечером в конце рождественских праздников к господину Гюннюльфу в его городской дом приехали совершенно неожиданно Кристин, дочь Лавранса, и Орм, сын Эрленда. Уже с самого обеда весь день дул сильный ветер с мокрым снегом, а к вечеру разыгрался настоящий буран. Они были совершенно занесены снегом, когда вошли в горницу, где священник сидел за трапезой вместе со своими домашними.

Гюннюльф спросил испуганно, не случилось ли чего у них дома, в усадьбе. Но Кристин покачала головой. Эрленд поехал в гости, отвечала она на расспросы деверя, а она не в силах была ехать с ним – так она устала.

Священник подумал, как это она ехала всю дорогу до города, – лошади Кристин и Орма были совершенно измучены и последнюю часть пути едва были в состоянии пробиваться вперед против снежных зарядов. Гюннюльф отослал обеих живших у него старух с Кристин – помочь ей переодеться в сухое платье. Это были его кормилица и ее сестра, других женщин в доме священника не жило. А сам занялся племянником. Тем временем Орм стал рассказывать:

– Должно быть, Кристин больна. Я говорил об этом отцу, но он разгневался…

В последнее время она просто сама на себя не похожа, рас-

сказывал мальчик. Он не понимает, что с ней такое. Он не мог припомнить, кому из них – ей ли, ему ли самому – пришла в голову мысль приехать сюда. Ах да! Кажется, Кристин заговорила первая о том, что ей страстно хочется посетить собор в Нидаросе, а тогда он сказал, что поедет с нею. И вот сегодня утром, сейчас же после того, как отец уехал из дому, Кристин сказала, что теперь и она поедет. Орм уступил ей, хотя и видел, что погода грозит испортиться… Но ему не понравились ее глаза.

Когда Кристин вернулась в горницу, Гюннюльф подумал, что и ему ее взгляд не нравится. Она казалась страшно худой в черном платье Ингрид, лицо у нее было белое, как береста, а глаза совсем провалились, под ними были темно-синие круги, а взор какой-то странный и потемневший.

Прошло уже свыше трех месяцев с тех пор, как он видел ее, когда был в Хюсабю на крестинах. У нее был тогда прекрасный вид – Гюннюльф застал ее лежавшей в пышно убранной постели после родов, – и она говорила, что чувствует себя здоровой; на этот раз роды прошли легко. Поэтому Гюннюльф возражал, когда Рангфрид, дочь Ивара, и Эрленд хотели, чтобы ребенка на этот раз дали кормилице. Кристин плакала и умоляла разрешить ей самой кормить Бьёргюльфа, – второй их сын был окрещен по имени отца Лавранса.

Вот почему священник спросил теперь прежде всего о Бьёргюльфе – он знал, что кормилица, которой отдали ре-

бенка, не правится Кристин. Но она сказала, что ребенок чувствует себя прекрасно, а Фрида его любит, печется о нем лучше, чем можно было ожидать.

– Ну, а Никулаус? – спросил дядя. – Все такой же красивый?

По лицу матери пробежала слабая улыбка. Ноккве день ото дня становится все красивее. Нет! Говорит он еще мало, но зато во всем остальном обгоняет свой возраст и так вырос!.. Никто не поверит, что ему пошел только второй год, это и фру Гюнна говорит…

Потом она опять сникла. Гюннюльф поглядел на обоих – жену брата и сына брата, сидевших справа и слева от него, У них был такой утомленный и грустный вид, что у Гюннюльфа просто сердце защемило при взгляде на них.

Орм был теперь всегда какой-то угрюмый. Мальчику исполнилось уже пятнадцать лет, он был бы красивейшим юношей, не будь у него такого слабого и болезненного вида. Он был почти такого же роста, как и его отец, но телосложения слишком хрупкого и узок в плечах. И лицом походил на Эрленда, но синие глаза его были еще темнее, а рот под первым юношеским пушком еще меньше и слабее, и в углах всегда сомкнутых губ появились маленькие печальные складки. Даже узкий смуглый затылок Орма под черными курчавыми волосами имел какой-то странно несчастный вид, когда мальчик сидел за столом, немного ссутулившись, и ел.

Кристин никогда еще не приходилось сидеть за столом

вместе с деверем в его собственном доме. За год перед тем она ездила с Эрлендом в город на весенний тинг, и тогда они останавливались в этом доме, которым Гюннюльф владел после смерти своего отца, но в тот раз священник жил в доме крестовых братьев, где замещал одного из каноников. Теперь же магистр Гюннюльф числился приходским священником в Стейне, но поставил пока вместо себя помощника, а сам ведал работой по переписыванию книг для церквей архиепископства на время болезни церковного регента Эйрика, сына Финна. Поэтому сейчас он жил у себя, в своем доме.

Горница была мало похожа на те жилые помещения, к которым привыкла Кристин. Это был бревенчатый сруб, но посредине одной из коротких стен Гюннюльф приказал сложить из кирпичей большой камин, вроде тех, какие он видел в южных странах; большие поленья горели между чугунными козлами. Стол стоял у одной из длинных стен, а вдоль противоположной стены шли скамьи с пюпитрами. Перед изображением девы Марии горела лампа из желтого металла, а рядом стояли полки с книгами.

Чуждой показалась Кристин эта горница и чуждым показался ей деверь, когда она увидела его здесь за столом, с домочадцами, писцами и слугами, у которых был какой-то странный, полусвященнический вид. Тут было также и несколько бедняков – какие-то старики и мальчик с тонкими, красными, похожими на пленки веками, прилипшими к пустым глазницам. На женской скамье, кроме двух старых

служанок, сидела какая-то девочка с двухлетним ребенком на коленях. Она жадно хлебала похлебку и напихивала едой ребенка так, что у того щеки чуть не лопались.

Было в обычае, что все священники собора кормили бедняков ужином. Но Кристин слышала, что к Гюннюльфу сыну Никулауса, ходило меньше нищих, чем к другим священникам, несмотря на то, что – или именно потому, что – он усаживал их у себя в горнице и встречал каждого странника как почетного гостя. Они получали пищу с собственного блюда священника, а пиво – из его собственных бочек. И вот они приходили сюда, когда считали, что надо поесть мясной пищи, а в иное время охотнее шли к другим священникам, где нищих кормили в поварне кашей и давали жидкое пиво.

Едва лишь писец окончил чтение благодарственной молитвы после трапезы, как все гости-бедняки стали расходиться. Гюннюльф ласково беседовал с каждым в особицу, спрашивал, не хотят ли они сегодня переночевать здесь, но только один слепой мальчик остался. Девочку с ребенком священник особо просил остаться и не выходить с малюткой на улицу в ночное время, но та пробормотала извинение и поспешила уйти. Тогда Гюннюльф наказал слуге приглядеть за тем, чтобы Арнстейну Слепцу дали пива и отвели хорошую постель в помещении для гостей. Затем надел плащ с капюшоном:

– А вы, Кристин и Орм, вероятно, устали и хотите на покой. Эудхильд позаботится о вас; я думаю, вы уже будете

спать, когда я вернусь из церкви.

Но тут Кристин обратилась к нему с просьбой взять ее с собой.

– Ведь для этого же я и приехала сюда, – сказала она, подняв полный отчаяния взор на Гюннюльфа. Ингрид одолжила ей тогда сухой плащ, и они с Ормом присоединились к людям, вышедшим из дома священника на улицу.

Колокола звонили так, словно они были прямо над головами высоко в черном ночном небе, – до церкви было всего несколько шагов. Все шли, тяжело ступая по глубокому, мокрому, только что выпавшему снегу. Буря уже улеглась, лишь отдельные снежинки еще медленно падали, слабо мерцая в темноте.

* * *

Смертельно усталая, пыталась Кристин прислониться к столбу, у которого стояла, но камень леденил ее. Стоя в темной церкви, она устремила свой взор на освещенные хоры. Кристин не могла разглядеть наверху Гюннюльфа. Но он сидел там среди других священников со свечой за своей книгой… Нет, все же она не решится заговорить с ним!..

Сегодня вечером ей казалось, что для нее не может быть помощи ниоткуда. Дома отец Эйлив выговаривал ей за то, что она так близко принимает к сердцу свои будничные грехи, – он сказал, что в этом есть искушение впасть в гордыню,

Кристин должна лишь прилежно молиться да творить добрые дела, тогда у нее не останется досуга для размышлений над всякими такими вопросами.

– Дьявол не так глуп, чтобы не понимать, что в конце концов он все равно потеряет твою душу, и поленится соблазнять тебя!..

Кристин прислушивалась к антифонному пению, и ей вспомнилась церковь женского монастыря в Осло. Там она присоединяла свой маленький, жалкий голос к общему хвалебному хору, – а у выхода из церкви стоял Эрленд, прикрывая лицо плащом, – оба думали лишь о том, представится ли им удобный случай поговорить наедине.

И Кристин думала тогда об этой языческой и пламенной любви, что не такой уж она страшный грех… Ведь они не могли иначе поступить… И к тому же оба не были связаны браком. Скорее это было грехом против людских законов. Ведь Эрленд именно тогда хотел покончить с ужасной, греховной жизнью… А она, Кристин, думала, что он легче обретет силы для освобождения себя от старого бремени, если она отдаст в его руки и свою жизнь, и свою честь, и счастье…

Когда же в прошлый раз она склоняла колени в этой церкви, она полностью поняла: говоря себе это, она просто пыталась обмануть Бога ложью и уловками. Не их добродетель, а их счастье, что остались заповеди, которых они не нарушили, грехи, которых они не совершили – будь она супругой другого, когда встретила Эрленда, разве она пеклась бы за-

ботливее о его душевном здравии и о его чести, чем та, другая, которую она безжалостно осудила? Нет такого греха, – так кажется ей теперь, – на который она в ту пору не позволила бы соблазнить себя в своем безумии и отчаянии. Она чувствовала тогда, что любовь так закалила ее волю, что та стала остра и тверда, как нож, – готова была разрезать все узы – родства, христианской веры, чести. В Кристин не было тогда ничего, кроме одной жгучей жажды видеть его, быть с ним, раскрывать свои губы его жарким устам и свои объятия – тому смертельно-сладкому вожделению, которому он научил ее!..

О нет! Дьявол уже не так уверен, что он утратит ее душу!.. Но когда она стояла здесь на коленях, подавленная горем из-за грехов своих, из-за своего жестокосердия, нечистой жизни и слепоты души своей, тогда она почувствовала, что святой король взял ее под защиту своего плаща. Она схватилась за его сильную, теплую руку, он указал ей на свет, что порождает всякую силу и святость. Святой Улав обратил взор ее к распятому Христу – смотри, Кристин, вот любовь Божья… Да, она начала понимать любовь и долготерпение Господа… Но после – снова отвратилась от света и замкнула пред ним свое сердце, и теперь в душе ее ничего не осталось, кроме нетерпения, гнева и греха.

Она низкая, низкая! Кристин поняла: такая женщина, как она, нуждается в тяжелых испытаниях, прежде чем может быть исцелена от духа нелюбви. А она еще так нетерпелива,

что ей казалось, ее сердце разобьется на части от тех горестей и печалей, которые выпали на ее долю. Небольшие горести… но их было так много… а у нее было так мало терпения. Кристин заметила на мужской стороне церкви высокую, стройную фигуру своего пасынка…

Она ничего не может с собой поделать! Орма она любит, как собственного ребенка, но Маргрет полюбить не может. Она старалась, старалась, хотела силком заставить себя полюбить девочку, с самого того дня зимой прошлого года, когда Ульв, сын Халдора, вернулся с ней домой в Хюсабю. Кристин сама чувствовала, что это ужасно, – как она может питать такую неприязнь и злобу к маленькой, девятилетней девочке? И хорошо знала, что отчасти это происходит из-за того, что ребенок так устрашающе похож на свою мать. Кристин не понимала Эрленда: он только гордится тем, что его маленькая златокудрая черноглазая дочь так красива, но, по-видимому, никогда это дитя не пробуждает в отце никаких жутких воспоминаний. Словно Эрленд совершенно позабыл все про мать этих детей… Впрочем, не только оттого, что Маргрет похожа на ту, другую, Кристин невзлюбила свою падчерицу. Маргрет терпеть не могла, чтобы кто-нибудь учил ее, она была надменна и груба в обращении со слугами, а кроме того, лжива, но перед отцом всегда заискивала. Она не любила отца так, как любил его Орм, и если липла к Эрленду с ласками и нежностями, то всегда надеясь что-нибудь получить. А Эрленд засыпал ее подарками и ис-

полнял все прихоти девочки. Орм тоже не любил сестру – Кристин это знала…

Кристин страдала, считая себя черствой и злой, раз она не может глядеть на поступки Маргрет без неприязни и осуждения. Но гораздо больше страдала она, слыша и видя вечные раздоры между Эрлендом и его старшим сыном. И всего больше страдала оттого, что знала: Эрленд в глубине своего сердца любит этого мальчика так безгранично!.. А поступает с Ормом несправедливо и грубо, потому что не может ума приложить, что ему делать с сыном и каким образом обеспечить его будущее.

Он наделил своих побочных детей землями и всяким добром… Но самая мысль о том, чтобы Орм мог оказаться способным к крестьянской жизни, кажется ему нелепой! И потом Эрленд выходит из себя при виде того, как слаб и бессилен Орм… Тогда он начинает называть сына гнилым, яростно принимается закалять его, целыми часами возится с ним и приучает к пользованию оружием, таким тяжелым, что мальчику не под силу даже держать его в руках, заставляет его мертвецки напиваться по вечерам, губит его здоровье, таская за собой на опасные и утомительные охотничьи выезды. За всем этим Кристин видела боязнь, таящуюся в сердце Эрленда… Он часто безумно горюет, – это знала Кристин, – что такой чудесный, такой красивый сын его пригоден только для одного – быть священником, но и тут ему мешает его происхождение. И таким образом Кристин стала понимать,

как мало у Эрленда бывает терпения, когда ему приходится страшиться за тех, кого он любит.

И Кристин знала: Орму тоже это понятно. И видела, что душа юноши разрывается надвое между любовью к отцу и гордостью за него – и презрением к его несправедливости, когда Эрленд заставляет сына платиться за то, в чем повинен не мальчик, а только сам Эрленд. А Орм привязался к своей юной мачехе, – около нее ему легче дышалось, и он чувствовал себя свободнее и бодрее. Бывая с ней наедине, он мог и шутить и по-своему, тихо, смеяться. Но Эрленду это не нравилось: казалось, он подозревал их обоих в том, что они осуждают его поведение.

Нет, нелегко Эрленду!.. Ничего нет мудреного в том, что он так болезненно принимает к сердцу все, касающееся этих двух детей. И все же…

Кристин содрогнулась от боли при одной мысли об этом. Неделю тому назад у них был полон двор гостей. А Эрленд, когда Маргрет приехала домой, велел привести в порядок чердак, который был в дальнем конце дома, над клетью и сенями большой горницы, – там будет ее девичий терем, сказал он. Там она и спала со своей сенной девушкой, которую Эрленд приставил к Маргрет обслуживать ее и ухаживать за ней. Там же ночевали и Фрида с Бьёргюльфом. Но когда к ним на рождественские праздники съехалось столько гостей, Кристин отвела этот чердак под спальню для молодых людей; обеим же сенным девушкам и грудному ребенку Кри-

стин пришлось спать в помещении для служанок усадьбы. И вот именно потому, что Кристин пришла в голову мысль, как бы Эрленд не рассердился за то, что Маргрет укладывают спать вместе со служанками, она распорядилась постлать ей постель на одной из скамей в большой горнице, где спали приезжие гостьи – замужние женщины и девицы.

Маргрет всегда бывало трудно поднимать по утрам. И вот в это утро Кристин будила ее несколько раз, но каждый раз девочка снова укладывалась, поворачивалась на другой бок и опять засылала, хотя все другие давно уже встали. А Кристин надо было прибрать горницу и привести в порядок: пора было подавать гостям завтрак. Поэтому она наконец потеряла терпение, вытащила подушки из-под головы Маргрет и сорвала с нее покрывало. Но, увидя, что девочка продолжает лежать совершенно нагая на меховой подстилке, Кристин сняла со своих плеч плащ и накинула его на Маргрет. Это был просто кусок некрашеной сермяги; Кристин пользовалась им, только когда ходила взад и вперед в поварню и по клетям, присматривая за приготовлением пищи.

В это время в горницу вошел Эрленд. Он спал в одной из клетей вместе с несколькими другими мужчинами, потому что с Кристин в их супружеской кровати спала фру Гюнна. И тут им овладел припадок ярости. Он так схватил Кристин за руку, что у нее еще до сих пор остались на коже следы его пальцев:

– Что же, по-твоему, моя дочь может лежать на соломе под

сермягой? Маргрет – она моя, хоть она и не твоя, – для нее то хорошо, что хорошо для твоих собственных детей. Но уж если ты надсмеялась над невинной девочкой на глазах у всех этих женщин, так теперь загладь свой поступок на глазах у них же: накрой Маргрет тем, что ты сорвала с нее!

Правда, если Эрленд бывал пьян накануне вечером, он всегда брюзжал на следующее утро. И, конечно, думал, что женщины сплетничают на его счет, глядя на его детей от Элины. И он относился чрезвычайно болезненно ко всему, что касалось их чести…. И все же…

Кристин пыталась заговорить об этом с отцом Эйливом. Но тот не мог ей помочь. Гюннюльф сказал ей, что те грехи, в которых она исповедалась и которые искупила до того, как Эйлив, сын Серка, стал ее приходским священником, она может не упоминать перед ним – разве бы ей самой показалось, что ему нужно знать о них, чтобы судить о ее делах и советовать ей. Поэтому она многого ему не рассказывала, хотя чувствовала, что из-за этого в глазах отца Эйлива выглядит лучше, чем была на самом деле. Но ей было так радостно пользоваться дружбой этого хорошего и чистого сердцем человека. Эрленд подшучивал над этим, но Кристин находила такое утешение в отце Эйливе! С ним она могла разговаривать сколько душе угодно о своих детях. Всякие пустяки, которыми она до того надоедала Эрленду, что он обращался в бегство, священник обсуждал с ней весьма охотно. Он умел обращаться с маленькими ребятами и отлично понимал их

маленькие напасти и болезни. Эрленд смеялся над Кристин, когда она сама шла в поварню и стряпала там лакомые блюда, которые отсылала в дом священника, – отец Эйлив любил вкусно поесть и попить, а Кристин нравилось возиться со стряпней и применять на деле то, чему она научилась у своей матери или что видела в монастыре. Эрленд был совершенно равнодушен к еде, лишь бы его кормили мясом по скоромным дням. А отец Эйлив говорил о ее стряпне, благодарил и хвалил Кристин за ее искусство, когда та посылала ему целый вертел молодых куропаток, запеченных в свином сале, или блюдо оленьих языков во французском вине и в меду. И кроме того, отец Эйлив давал ей советы насчет садоводства, доставляя ей черенки из Тэутры, где его брат был монахом, и из монастыря святого Улава, приор которого был его хорошим другом. И, наконец, читал ей вслух и мог порассказать столько замечательного о жизни на белом свете.

Но именно потому, что отец Эйлив был таким хорошим и сердечным человеком, Кристин часто бывало трудно беседовать с ним о том зле, которое она видела в собственном сердце. Когда она призналась священнику, как ее огорчило поведение Эрленда в тот раз с Маргрет, отец Эйлив внушил сносить все терпеливо, что бы ни делал ее супруг. Но, по-видимому, сам считал, что тут один только Эрленд совершил проступок, обратившись столь несправедливо к своей жене, да еще при посторонних. Правда, и Кристин тоже так думала. Но в тайниках своего сердца чувствовала и свою долю

вины, в которой не могла дать себе отчет, но которая причиняла ей глубокую сердечную боль.

Кристин глядела на раку святого, чуть блестевшую матово отсветом в полумраке позади алтаря. Она с такой уверенностью ждала: стоит ей вновь встать здесь, как опять должно что-то совершиться – какое-то облегчение для ее души. Опять в ее сердце пробьется живой источник и смоет прочь всю тревогу, весь страх, и горечь, и смятение, наполнявшие его.

Но нынче вечером никто не станет слушать ее терпеливо. Разве, Кристин, ты уже не научилась однажды выносить свою немудреную правду на свет правды Божьей, свою языческую и своекорыстную любовь – на свет любви истинной? Ведь ты же хочешь этому научиться, Кристин!

Но в последний раз, когда она преклоняла здесь колена, у нее на руках был Ноккве. Его маленький ротик у ее груди так согревал ее сердце, что оно стало мягким, словно воск, и небесной любви было легко лепить его. Правда, у нее и теперь был Ноккве, он бегал дома по горнице, такой прекрасный и такой милый, что у Кристин ныло в груди при одной мысли о нем. Его мягкие кудрявые волосики начали теперь темнеть – верно он будет черноволосым, как и его отец. И в нем столько буйной жизни и задора… Кристин наделала ему зверей из старых шкур, и мальчик бросал их и бегал за ними взапуски со щенятами. А кончалось все это тем, что меховой медведь падал в очаг на огонь и сгорал со страшным чадом

и вонью, а Ноккве поднимал дикий крик, прыгая и топоча ножками, а потом совал голову в колени матери, – этим пока еще всегда кончались все его приключения. Служанки ссорились, оспаривая друг у друга его милости, мужчины поднимали его на руки и подбрасывали вверх до самой крыши, когда заходили в горницу. Стоило только мальчику увидеть Ульва, сына Халдора, как он бежал к нему и прилипал к его коленям. Ульв иногда брал мальчика с собой, обходя усадебные службы. Эрленд щелкал пальцами перед носиком сына и на мгновение сажал его к себе на плечо. Но во всем Хюсабю отец меньше всех обращал внимание на мальчика. Хотя любил Ноккве, Он был рад, что у него уже два законнорожденных сына.

Сердце матери сжалось.

Бьёргюльфа у нее отняли. Он хныкал, когда ей хотелось взять его на руки, а Фрида сейчас же давала ему грудь – кормилица ревниво следила за мальчиком. Но нового ребенка она ни за что не отдаст! И мать и Эрленд говорили ей, что ей нужно теперь поберечь свое здоровье, и у нее взяли ее новорожденного сына и отдали другой женщине. Кристин почувствовала что-то вроде мстительной радости при мысли, что этим они ничего не достигли. Кроме лишь того, что теперь она ждет появления третьего ребенка, который родится раньше, чем Бьёргюльфу исполнится одиннадцать месяцев!

Она не посмела заговорить об этом с отцом Эйливом. Он, наверное, только подумает, не тем ли она огорчена, что ей

приходится снова переживать все это так скоро. А дело не в этом…

Тот раз она возвращалась домой из паломничества, испытывая ужас в глубине души, – никогда более этот дух своеволия не должен овладеть ею! До конца лета она жила одна с ребенком в старой горенке, взвешивая в уме слова архиепископа и речи Гюннюльфа, бдительно совершала молитвы и покаяние, с трудолюбием работала, пытаясь привести в порядок запущенную усадьбу, чтобы завоевать сердца домочадцев добротой и заботой об их благополучии, усердно старалась помогать и услуживать всем вокруг себя, насколько хватало рук и сил. Ее поддерживали мысли об отце, ее поддерживали молитвы к святым мужам и женам, о которых читал отец Эйлив, и она размышляла о их стойкости и мужестве. Растроганная счастьем и благодарностью, вспоминала она брата Эдвина, который явился ей в лунном сиянии в ту ночь. Конечно, она поняла, что он внушал ей, когда он улыбнулся так ласково и повесил свою рукавицу на столб лунного луча. Только бы ей побольше веры, и она станет хорошей женщиной.

Когда пришел к концу первый год их брачной жизни, Кристин должна была перебраться обратно к своему супругу. Когда она чувствовала неуверенность, то утешала себя: ведь сам архиепископ внушил ей, что в сожительстве с мужем она проявит свое новое душевное настроение. И ведь она пеклась с ревностным тщанием о благе мужа и о его чести. Эр-

ленд сам сказал как-то: «Так все-таки и вышло, Кристин, что ты вернула честь в Хюсабю!» Люди выказывали ей столько доброты и уважения… Казалось, всем хотелось забыть, что она начала свою брачную жизнь немного слишком поспешно. Где бы ни собирались замужние женщины, к советам Кристин прислушивались, люди хвалили ее за установленные ею порядки в усадьбе; ее приглашали в посаженые матери и повитухи в знатные семейства; никто не давал ей почувствовать, что она молода и неопытна и человек здесь чужой. Слуги засиживались по вечерам в большой горнице, совсем как там, у них дома, в Йорюндгорде. У всех находилось о чем спросить хозяйку. Кристин кружило голову, что люди так ласковы с ней, а Эрленд гордится своей женой…

Затем Эрленду пришлось заняться делами по корабельной повинности в морских округах к югу от фьорда. Он разъезжал повсюду, то верхом на коне, то на корабле, возясь с людьми, которые к нему приходили, и с письмами, которые надо было отправлять. Он был так молод, так красив, так радостен… Всякую унылость, мрачность, которые Кристин так часто наблюдала у него раньше, словно ветром сдуло с Эрленда. Он сиял, вновь пробужденный, как раннее утро! У него оставалось теперь мало свободного времени для Кристин, но она просто пьянела от радости и веселья, когда Эрленд приближался к ней с улыбкой на лице и взором, полным жажды неизведанных приключений.

Она хохотала вместе с мужем над письмом, полученным

от Мюнана, сына Борда. Сам рыцарь не был на съезде ратных людей, но насмехался над всем этим делом, а в особенности над тем, что Эрлинг, сын Видкюна, был сделан правителем государства. В первую голову тот занялся выдумыванием для себя титулов – отныне он будет именоваться наместником короля. Писал Мюнан и об отце Кристин: «Горный волк из Силя забрался под камень и сидел там тихонько. Разумею под этим, что тесть твой нашел себе пристанище у священников церкви святого Лаврентиуса, а во время прений что-то не слышно было его сладкозвучного голоса. Были у него с собой письма за печатями господина Эрнгисле и господина Карла, сына Туре: если они еще не зачитаны до дыр, то, стало быть, пергамент их крепче подошвы сапог самого сатаны! Сообщаю тебе также, что Лавранс пожертвовал женскому монастырю Ноннесетер восемь марок чистого серебра. Надо думать, милый человек понял, что Кристин жилось там не так уж скучно, как полагалось бы по правилам…»

Правда, при чтении этих строк Кристин почувствовала острую боль стыда, но все же не могла не смеяться вместе с Эрлендом. Зима и весна прошли для нее в опьянении весельем и счастьем. Иногда лишь какая-нибудь буря из-за Орма, – Эрленд все не знал, брать ли ему мальчика с собой на север. На Пасхе это кончилось взрывом: ночью Эрленд плакал в объятиях жены, – он не смеет взять с собою Орма на борт корабля, боится, что Орм не оправдает себя во время военного похода. Кристин утешала мужа, и себя тоже… да и

мальчика. Быть может, с годами мальчик станет сильнее.

В тот день, когда Кристин ехала вместе с Эрлендом к причалам в Биргси, она не чувствовала ни страха, ни подавленности. Она была словно пьяна им, его радостью, его гордыней.

Тогда Кристин еще сама не знала, что она снова беременна. Почувствовав себя нездоровой, она решила: Эрленд столько шумел, дома было столько хлопот и попоек, да и Ноккве совсем ее высосал. Но когда почувствовала в себе движение новой жизни… Она было так радовалась при мысли о том, как будет разъезжать зимой по всей округе со своим красивым, смелым мужем, сама молодая и красивая. Она уже подумывала о том, что надо будет к осени отнять мальчика от груди… Хлопотливо было возить с собой повсюду ребенка с нянькой, куда бы они ни поехали. И Кристин была так уверена, что в военном походе против руссов Эрленд сумеет показать, что он способен не только наносить ущерб своему имени и своему добру. Нет! Она не обрадовалась ребенку… Так она и сказала отцу Эйливу. А тот очень сурово выговаривал Кристин за ее ожесточение и суетность. И целое лето она изо всех сил старалась быть веселой и благодарить Бога за новое дитя, которое должно было у нее родиться, и за добрые вести, которые доходили до нее об отважных подвигах Эрленда на севере.

Потом он приехал домой перед самым Михайловым днем. И Кристин поняла, что Эрленд не очень обрадовался, уви-

дев, что им предстоит вскоре. А вечером он сказал:

– Я думал, когда наконец ты достанешься мне… то это будет все равно, что каждый день напиваться, как на Рождество. Но, по-видимому, скорее всего предстоят долгие посты…

Всякий раз, как Кристин вспоминала эти слова, волна крови заливала ее лицо, такая же жаркая, как в тот вечер; тогда она отвернулась от мужа, багрово покраснев и без слез. Эрленд пытался загладить это любовью и лаской. Но Кристин не могла побороть себя. Тот огонь в ней, которого не в состоянии были погасить все пролитые ею слезы раскаяния, не могла заглушить боязнь греха. Эрленд как будто затоптал ногами, произнеся эти слова.

* * *

Поздно ночью все они сидели у камина в доме Гюннюльфа – сам Гюннюльф, Кристин и Орм. На краю каменной кладки очага стояли кувшин с вином и несколько небольших кубков. Гюннюльф уже не раз намекал, что пора бы гостям и на покой. Но Кристин просила позволения посидеть еще.

– Помнишь ли, деверь, – сказала она, – как я говорила тебе однажды, что священник у нас дома советовал мне поступить в монастырь, если отец не даст своего согласия на мой брак с Эрлендом?

Гюннюльф невольно взглянул на Орма. Но Кристин заме-

тила со слабой, больной улыбкой:

– Неужели, по-твоему, такой взрослый мальчик не знает, что я слабая и грешная женщина? Господин Гюннюльф ответил тихо:

– Лежало ли тогда у тебя сердце к монашеской жизни, Кристин?

– Но ведь Господь мог открыть мне глаза, как только я поступила бы на служение ему!

– Быть может, он считал, что твоим глазам нужно открыться для того, чтобы ты могла уразуметь, что ты должна служить ему повсюду, где бы ты ни была. Супруг твой, дети, домочадцы в Хюсабю, наверное, нуждаются в верной и терпеливой служанке Божьей, которая была бы среди них и пеклась об их благе…

Конечно, в лучший брак вступают те девушки, которые избирают себе Христа в женихи и не отдаются во власть грешного мужа. Но когда дитя уже согрешило…

– «Я хотел, чтобы ты пришла к Богу с девичьим венцом», – прошептала Кристин. – Так он сказал мне, брат Эдвин, сын Рикарда, о котором я так много тебе рассказывала. И ты так считаешь?..

Гюннюльф, сын Никулауса, кивнул.

– …Хотя было немало женщин, сумевших восстать из юдоли греха с такою силой, что мы теперь просим их заступничества у Бога. Но это чаще случалось в прежние времена, когда, быть может, им угрожали мучения и раскаленные

щипцы, если они назовут себя христианками. Я часто думал, Кристин, что в те времена легче было вырваться из сетей греха, когда можно было это сделать насильственно, одним рывком. Хотя мы, люди, столь испорчены, однако мужество живет у многих в груди, по самому естеству их, и мужество чаще всего и заставляет душу искать путей к Богу. Так что мучения, наверное, подвигли стольких же к сохранению верности, скольких и устрашили, доведя до отступничества. Но юная заблудшая девушка, которую вырвут из пут греховного вожделения, прежде чем она познает, что оно приносит душе, – когда ее поместят в сестринское содружество с чистыми девами, давшими обет бодрствовать и молиться за тех, кто охвачен сном в миру…

– Ах, если бы поскорее настало лето! – вдруг сказал он, вставая со своего места.

Кристин и Орм с удивлением взглянули на него.

– Мне вспомнилось, как кукует кукушка на лесистых склонах холмов у нас дома, в Хюсабю. Всегда мы слышали ее сперва на востоке, в горах за домами, а потом ей вторили далеко-далеко из леса внизу, вокруг Бю… Ее звонкий голос так красиво разносился над озерком в утренней тишине. Разве не красиво в Хюсабю, как тебе кажется, Кристин?

– Кукушка с востока – слезы недалёко! – тихо сказал Орм. – По-моему, красивее Хюсабю нет ничего на свете.

Священник на мгновение положил свои руки на узенькие плечи племянника.

– Так думал и я, родич! – Для меня это тоже был отчий дом. Младший сын в семье стоит к наследству не ближе тебя, мой Орм!

– Когда отец жил с моей матерью, ты был ближайшим наследником, – сказал юноша все так же тихо.

– Мы тут не виноваты, ни я, ни дети мои, Орм, – промолвила грустно Кристин.

– Ты, конечно, заметила, что я не питаю к вам обиды, – отвечал он спокойно.

– Там такой широкий и открытый кругозор, – сказала Кристин немного погодя. – Из Хюсабю открывается такой вид во все стороны, а небо такое… такое широкое. Там, откуда я родом, оно лежит словно крыша над обрывами гор. А долина расположена внизу, недоступная для ветра и такая круглая, зеленая, свежая. Мир становится таким уютным – не слишком большим и не слишком тесным. – Она вздохнула, перебирая руками, сложенными на коленях.

– Там жил тот человек, за которого твой отец хотел выдать тебя замуж? – спросил священник. Кристин утвердительно кивнула. – Бывает ли, что ты жалеешь, что не стала его женой? – спросил он опять, но Кристин покачала головой.

Гюннюльф отошел и снял с полки книгу. Потом снова уселся у огня, отстегнул застежки переплета и начал перелистывать страницы. Но не стал читать вслух, а сказал, опустив книгу на колени:

– Когда Адам и жена его поступили наперекор Божьей во-

ле, они ощутили во плоти своей силу, поступавшую наперекор их воле. Бог создал их, мужчину и женщину, молодых и прекрасных, чтобы они жили в супружестве и производили наследников, сопричастных дарам доброты его – красе райского сада, плоду древа жизни и вечному блаженству. Им не нужно было стыдиться своего естества, ибо, доколе они были послушны Богу, все их тело и все их члены были во власти их воли, подобно тому, как руки и ноги.

Залившись кроваво-багровым румянцем, Кристин сжала руки крестом на груди. Священник наклонился к ней; она ощущала взгляд его сильных желтых глаз на своем опущенном лице.

– Ева похитила то, что принадлежало Богу, а муж ее принял, когда она дала ему то, что по праву было собственностью их Отца и Создателя. Отныне они захотели быть равными Богу, и тогда они заметили, что стали прежде всего равны ему вот в чем: как они предали его власть в большом мире, так была предана их власть над малым миром – над плотью, обиталищем души. Как они изменили своему Господу Богу, так отныне их тело стало изменять госпоже своей, душе.

Тогда эти тела показались им столь безобразными и ненавистными, что они сделали себе одежды, чтобы спрятать их. Сначала только короткие штаны из фиговой листвы. Но по мере того как они постигали сущность своего плотского естества, они стали натягивать одежду на грудь, против сердца; и на спину, не желавшую сгибаться. И так продолжалось до

этих последних времен, когда мужи одеваются в сталь до кончиков пальцев и утаивают лицо свое под забралом шлема – столь сильно вырос-, ли вражда и предательство в мире.

– Помоги мне, Гюннюльф, – просила Кристин. Она побледнела до самых губ. – Я… я не знаю, в чем моя воля…

– Так скажи: «Да будет воля твоя», – ответил священник тихо. – А Божья воля в том, – ты знаешь, – чтобы сердце твое открылось его любви. Ты должна вновь полюбить его всеми силами души…

Кристин внезапно повернулась к деверю:

– Ты не знаешь, как я любила Эрленда. А детей!

– Сестра моя, всякая иная любовь – не более как отражение небес в лужах на грязной дороге. Если ты туда погрузишься, ты испачкаешься. Но если ты всегда будешь помнить, что это лишь отражение света из иного мира, то будешь радоваться его красе и не станешь разрушать ее, поднимая ту муть, что на дне…

– Да. Но ты ведь священник, Гюннюльф… Ты обещал самому Богу, что станешь избегать этих… трудностей…

– И ты тоже, Кристин, когда ты обещала оставить дьявола и его деяния. Дело сатаны – это то, что начинается сладким наслаждением, а кончается тем, что два человека становятся подобны змее и жабе, жалящим друг друга. Это познала Ева, – она хотела дать своему мужу и потомкам то, чем Бог владел, а не принесла им ничего, кроме изгнания, и кровавой вины, и смерти, которая вошла в мир, когда брат убил брата

на том первом крошечном поле, где терн и репейник росли на кучах камней вокруг маленьких расчищенных делянок…

– Да. Но ты священник, – повторила она снова, – Тебе не нужно каждый день стараться прийти к согласию с другим отцом, – тут она разрыдалась, – чтобы быть терпеливыми.

Священник сказал, улыбнувшись:

– Об этом тело и душа в несогласии у каждого, кто рожден от женщины. На то и установлены венчание и свадебная служба, чтобы мужчине и женщине была помощь, чтобы могли они жить, – будь то супруги, родители, дети, сожители под одним кровом, – как верные и готовые к взаимопомощи товарищи на пути к обители мира…

Кристин тихо сказала:

– Мне кажется, должно быть легче бодрствовать и молиться за тех, кто объят мирским сном, чем биться со своими собственными грехами.

– Это так, – сказал священник резко. – Но не думаешь ли ты, Кристин, что жил на свете хоть один человек, получивший посвящение, которому не пришлось бы оборонять себя самого от дьявола в то самое время, как он должен был стараться охранить и ягнят своих от волка?..

Кристин сказала тихо и смущенно:

– А я думала… те, кто общаются со святынями и владеют всеми могучими словами и молитвами…

Гюннюльф наклонился вперед, поворочал угли на очаге и так и остался сидеть, опершись локтями о колени:

– На днях будет ровно шесть лет с тех пор, как мы четверо – Эйлив, я и двое шотландских священников, с которыми мы познакомились в Авиньоне, – пришли в Рим. Всю дорогу мы шли пешком…

Мы прибыли в город перед самым началом Великого Поста. В эту пору народ в южных странах устраивает большие пиры и празднества, это называется «carne vales».[22] Тогда вино – красное и белое – льется в тавернах рекой, народ пляшет ночью на улицах, а на открытых местах зажигают огни и костры. В это время в Италии весна, все луга и сады в цветах, женщины себя ими украшают, бросают розы и фиалки гуляющим по улицам, – они сидят у окон, а шелковые ковры и парча спускаются с подоконников, прикрывая камень стен. Потому что все дома там каменные, и замки рыцарей и укрепленные жилища их строятся внутри поселений. В том городе, вероятно, нет ни городового права, ни закона о сохранении мира и порядка, ибо рыцари и их слуги дерутся на улицах так, что кровь течет рекой…

Вот один такой замок стоял на той же улице, где мы жили, и рыцаря, который им правил, звали Эрмесом Малавольти. Замок этот затенял всю узкую улочку, на которой стоял наш постоялый двор, и помещение наше было темным и холодным, как темница в какой-нибудь каменной крепости. Часто, когда мы выходили из дому, нам приходилось прижиматься к стене, пока мимо нас проезжал рыцарь с серебряными ко-

---

[22] *Карнавал (итал.)*

локольчиками на одежде и с целым отрядом вооруженных слуг. И навоз и нечистоты брызгали из-под конских копыт, ибо в этой стране народ просто выбрасывает из дома перед самыми дверями всякий сор и грязь. Улочки там холодные, темные и узкие, как горные ущелья, – они мало похожи на широкие зеленые улицы наших городов. Но этим улочкам во время carne vales устраиваются скачки – пускают скакать наперегонки диких арабских лошадей…

Священник немного помолчал, потом опять начал:

– В доме этого господина Эрмеса жила одна его родственница. Изоттой звали ее, и она вполне могла бы называться самой Изольдой Прекрасной. Кожа и волосы у нее были почти что такого цвета, как мед, но глаза, разумеется, черные. Я не раз видел ее у окна.

…А за пределами города страна более пустынна, чем самые пустынные нагорья у нас в Норвегии, которых никто не посещает, кроме оленей да волков, и где слышен орлиный клекот. Все же в горах вокруг города есть и другие поселения и замки, а дальше на зеленых равнинах повсюду видны следы того, что люди жили здесь когда-то, – тут пасутся большие стада овец и белых быков. Пастухи, вооруженные длинными копьями, гоняют стада верхом на конях. Эти люди опасны для проезжих, ибо они убивают, грабят и потом бросают трупы в провалы в земле… Но там-то, на этих зеленых равнинах, и расположены церкви для паломников.

Магистр Гюннюльф помолчал.

– Быть может, тот край кажется столь несказанно пустынным потому, что к нему примыкает град Рим, который был царицей всего языческого мира и стал невестой Христовой. И стражи покинули город, и Рим среди всего этого праздничного, пьяного шума кажется покинутой женой. Распутники поселились в замке, где нет хозяина, и они соблазнили жену на кутежи, чтобы она разделяла с ними их вожделения, и кровопролития, и вражду…

Но под землей там сокровища, дороже всех сокровищ, на которые сияет солнце. Это гробницы святых мучеников, высеченные в скале под землей, и их там столько, что голова кружится, как вспомнишь. Когда подумаешь, как их много, мучениями своими и смертью свидетельствовавших за дело Христово, то кажется, что каждая пылинка, которую возносят копыта лошадей тех распутников, должна быть святой и достойной поклонения…

Священник вынул из-под одежды тонкую цепочку и открыл висевший на ней серебряный крестик. В нем было что-то черное, похожее на трут, и маленькая зеленая кость.

– Однажды мы пробыли в этих подземных ходах целый день и читали наши молитвы в пещерах и молельнях, где встречались для божественной службы ученики апостолов Петра и Павла. Тогда монахи, которым принадлежала та церковь, где мы спустились, дали нам эти святыни. Это кусочек такой губки, которой благочестивые девы имели обыкновение вытирать мученическую кровь, чтобы она не пропала, и

сустав пальца святого человека, имя же его один Бог ведает. Тогда мы четверо дали обет ежедневно призывать этого святого, слава которого неизвестна людям, и мы взяли этого неведомого мученика во свидетели, что мы никогда не забудем, сколь мало мы достойны награды от Бога и почести от людей, и всегда будем помнить, что ничто в мире не достойно вожделения, кроме его милости…

Кристин благоговейно поцеловала крест и передала его Орму, который также поцеловал его. Тогда Гюннюльф вдруг сказал:

– Я тебе отдам эту святыню, родич. Орм преклонил колено и поцеловал руку дяде. Гюннюльф повесил крест на шею юноше.

– А тебе не хотелось бы, Орм, взглянуть самому на все эти места?

Черты лица мальчика осветились улыбкой:

– Да! И теперь я знаю, что когда-нибудь попаду туда.

– А тебе никогда не хотелось стать священником? – спросил дядя.

– Хотелось! – отвечал мальчик. – Когда отец проклял вот эти слабые руки мои. Но я не знаю, понравилось ли бы ему, если бы я стал священником. А потом есть еще то, о чем ты сам знаешь, – тихо добавил он.

– Наверное, можно будет достать разрешительную грамоту насчет твоего рождения, – отвечал священник ровным голосом. – Быть может, Орм, когда-нибудь мы с тобой вместе

поедем на юг путешествовать по свету…

– Расскажи еще, дядя, – тихо попросил Орм.

– Расскажу. – Гюннюльф взялся за подлокотники и поглядел в огонь. – Когда я бродил там и только и встречал, что воспоминания о мучениках, тогда, памятуя те нестерпимые страдания, которые они вынесли Христа ради… я впал в тяжелый соблазн. Я подумал о тех часах, что Господь висел, прибитый к кресту. А свидетели его были терзаемы немыслимыми мучениями в течение многих дней – женщины, на чьих глазах были замучены их дети, юные хрупкие девочки, которым счесывали тело с костей железными гребнями, юные мальчики, которых выбрасывали хищникам и диким быкам. Тогда мне пришло на ум, что многие из них вынесли больше, чем сам Иисус…

Я думал и думал об этом так, что, мне казалось, сердце мое и мозг разорвутся. Но наконец мне был явлен свет, о котором я молил. И я понял, что как те пострадали, так все мы должны бы были иметь мужество пострадать. Кто же будет столь неразумен, что не примет охотно труды и мучения, если это путь к верному и стойкому жениху, что ждет с раскрытыми объятиями, с сердцем, окровавленным и горящим от любви?

Но Бог любил людей. И потому он умер, как жених, который вышел спасти невесту из рук разбойников. И они его связывают и предают его смерти, а он видит, как его милая садится за стол с его палачами, шутит с ними и насмехается

над его страданиями и верной его любовью…

Гюннюльф, сын Никулауса, закрыл лицо руками.

– Тогда я понял, что эта огромная любовь поддерживает собою все в мире – даже огнь преисподней. Ибо Бог, если бы хотел, мог бы взять душу насильно – тогда мы были бы совсем беспомощны в руке его. Но так как он любит нас, как жених любит невесту, то он не хочет принуждать ее, и если она не желает встретить его добровольно, то он должен терпеть, что она избегает его и дичится. Однако я подумал также, что, быть может, ни одна душа не может быть погублена на вечные времена. Ибо мне представляется, что каждая душа не может не алкать этой любви, но только ей кажется слишком дорогою ценой за нее – отступиться от всех других вещей. Но когда огонь пожрет в ней всю иную, противоборствующую и богопротивную волю, тогда наконец воля к Богу, – хотя бы она была в человеке не больше, чем гвоздик в целом доме, – останется в душе, как железо на пожарище…

– Гюннюльф… – Кристин приподнялась. – Мне страшно… Гюннюльф взглянул на нее пламенным взором.

– И мне стало страшно. Ибо я понял, что мучению этой божественной любви не будет конца до тех пор, пока на земле родятся мужи и девы, и что Бог должен страшиться потерять их души… до тех пор, пока он ежедневно, ежечасно отдает свое тело и свою кровь на тысячах алтарей… и есть люди, отвергающие его жертву…

И я страшился себя самого, служившего нечистым у его

алтаря, читавшего божественную службу нечистыми устами… И я казался сам себе подобным тому, кто привел свою невесту в постыдное место и предал ее.

Он подхватил Кристин в объятия, когда она поникла, и вместе с Ормом они отнесли ее без чувств на постель.

Немного погодя она открыла глаза, села и закрыла лицо руками. Она разразилась диким, жалостным рыданием:

– Я не могу, я не могу! Гюннюльф… Когда ты так говоришь, я понимаю, что никогда не смогу…

Гюннюльф взял ее за руку. Но она отвернулась от его исступленного и бледного лица.

– Кристин! Не можешь ты довольствоваться меньшей любовью, чем любовь между Богом и душой человеческой…

Кристин, оглянись вокруг себя, посмотри, что такое мир. Ты родила двоих детей – а ты никогда не думала о том, что каждое дитя, когда родится, получает крещение в крови, и первое, что человек вдыхает на этой земле, есть запах крови? Разве ты не думаешь, что ты, их мать, должна приложить все усилия к тому, чтобы твои сыновья не вернулись к тому первому крещению, что соединило их с миром, но держались завета, который был ими заключен с Богом у купели очищения?..

Она все рыдала и рыдала.

– Я боюсь тебя, – сказала она снова. – Гюннюльф, когда ты так говоришь, то я понимаю, что никогда не сумею найти дорогу к миру и покою…

– Бог найдет тебя, – тихо сказал священник. – Будь тихой, не беги его, ибо он искал тебя еще раньше, нежели ты создана была в утробе матери.

Он посидел немного на краю кровати. Потом спокойно, ровным голосом спросил, не нужно ли разбудить Ингрид и попросить, чтобы она помогла ей раздеться. Кристин покачала головой.

Тогда он трижды перекрестил ее. Затем пожелал Орму спокойной ночи и ушел к себе в чулан, где спал.

Орм и Кристин стали раздеваться. Мальчик, по-видимому, был погружен в глубочайшее раздумье. Когда Кристин улеглась, он подошел к ней. Глядя на ее заплаканное лицо, он спросил, не посидеть ли около нее, пока она не заснет.

– Ох да… Нет, Орм! Ты, наверное, очень устал, ведь ты такой юный. Должно быть, уже очень поздно… Орм немного постоял.

– Не кажется ли тебе странным?.. – вдруг сказал он. – Отец и дядя Гюннюльф… Как они не похожи друг на друга… но и похожи в чем-то…

Кристин лежала, думая:

«Да, пожалуй… они не похожи на других людей…» Вскоре затем она заснула, и Орм отошел к другой кровати. Он разделся и забрался в постель. Она была застлана полотняной простыней, а на подушках были полотняные наволочки. Мальчик с удовольствием растянулся на гладком прохладном ложе. Сердце его билось от волнения при мысли о всех

этих новых приключениях, к которым ему показали путь речи дяди. Молитвы, посты, все то, что он совершал, потому что был приучен к этому, стало вдруг чем-то новым: оружием в прекрасной войне, к которой он стремился. Может быть, он станет монахом – или священником, если получит разрешительную грамоту, как рожденный в прелюбодеянии.

* * *

Ложем Гюннюльфу служила деревянная скамья с меховой подстилкой, положенной на тонкий слой соломы, и с единственной подушечкой для головы, так что приходилось лежать, вытянувшись во весь рост. Священник снял рясу, лег в нижней одежде на скамью и натянул на себя тонкое сермяжное одеяло.

Маленький фитилек, навитый на железный прут, он оставил гореть. Он был подавлен тоской и тревогой из-за своих же собственных слов.

Он чувствовал себя ослабевшим от страстной тоски по тем временам, – неужели никогда больше ему не обрести той свободной радости сердца, которая наполняла все его существо в ту весну в Риме? Вместе со своими тремя собратьями шел он по зеленым, усеянным звездами цветов лугам под яркими лучами солнца. Он трепетал, глядя на то, как прекрасен мир… И знать, что все это совсем ничто по сравнению с богатством мира иного! Хотя и этот мир приветство-

вал их тысячью маленьких, радостных и сладких напоминаний о женихе. Полевые лилии и птицы небесные напоминали о словах его; о таких вот ослятах, каких они встречали, о таких колодцах, как эти каменные цистерны, говорил он. Они питались у монахов при тех церквах, которые посещали, и когда пили кроваво-красное вино и обдирали золотистую корку с пшеничного хлеба, то они, четыре священника из ячменных краев, поняли, почему Христос почтил вино и пшеницу, чистейшие из плодов земли, пожелав являться под видом их в таинстве жертвы во время богослужения…

В ту весну он не ведал ни беспокойства, ни страха. Он чувствовал себя настолько отрешенным от соблазнов мира сего, что когда он ощущал на коже теплые солнечные лучи, ему лишь становилось легко понятным то, над чем прежде он размышлял в страхе: как это тело его может очиститься огнем, став телом просветления. Облегченный, свободный от земных забот, он нуждался во сне не больше, чем кукушка весенними ночами. Сердце пело в его груди… Он чувствовал, что душа его – как невеста в объятиях жениха.

Но он знал сам: это не может длиться. На земле никто из людей не может долго жить так. И принимал каждый час этой светлой весны как залог – милостивое обещание, которое должно укрепить его, когда тучи потемнеют над ним, а дорога поведет его вниз в тёмные ущелья, через бурные реки и холодные вечные снега…

* * *

Но только когда он вернулся в Норвегию, беспокойство впервые по-настоящему овладело его душой.

Там много было причин для этого. Его богатства, огромное наследие отцов… и богатый приход. Вот путь, открывавшийся перед ним. Его место в соборном клире… Гюннюльф знал, что оно предназначено ему от рождения. Если только он не расстанется со всем своим имуществом… не поступит в монастырь братьев-проповедников, не станет монахом и не подчинится уставу. Это была жизнь, к которой он стремился… но не от всего сердца.

И вот, когда он состарился бы и достаточно закалился в борьбе… Под норвежской державой живут мертвые люди – отъявленные язычники или же введенные в заблуждение лживыми учениями, которые распространяются руссами под именем христианства. Финны[23] и другие полудикие народы, о которых Гюннюльф постоянно думал… Разве не Бог пробудил в нем это стремление – отправиться в их поселения со словом и светом?..

Но Гюннюльф отгонял от себя такие мысли, оправдываясь тем, что нужно слушаться архиепископа. А архиепископ, господин Эйлив, отговаривал его от этого. Господин Эйлив

---

[23] *Финнами в Норвегии назывались саами (лопари).*

беседовал с ним, слушал его доводы, давая ясно понять, что он разговаривает с сыном своего старого друга, господина Никулауса из Хюсабю. «Ведь вы, дети дочерей Гэуте из Скугхейма, вы же никогда не знаете меры ни в добром, ни в злом, что вам только взбредет в голову». Спасение душ народа финнов сам архиепископ тоже принимал близко к сердцу… Но финнам не нужен законоучитель, который умеет писать и говорить по латыни не хуже, чем на родном языке, и обучен науке права не хуже, чем арифметике и алгоризму. Верно, что Гюннюльф приобрел свои знания, чтобы пользоваться ими. «Но я не уверен, что ты обладаешь даром вести беседы с бедными и простодушными людьми, обитающими на севере».

Ах, в ту сладостную весну его ученость казалась ему не более почтенной, чем знания, приобретаемые каждой маленькой девочкой от матери: как прясть, варить пиво, печь хлеб, доить коров, – обучение, в котором нуждается каждый ребенок, чтобы делать в мире свое дело.

Гюннюльф жаловался архиепископу на беспокойство и тревогу, которые овладевали им, когда он думал о своем богатстве и о том, как ему нравится быть богатым. Для потребностей своего собственного тела Гюннюльфу надо было немного: он жил как бедный монах. По ему нравилось видеть у себя за столом множество людей, нравилось заранее удовлетворять нужды бедных, делая им подарки. И он любил своих лошадей и свои книги…

В ответ господин Эйлив говорил с ним серьезно о славе церкви. Одни призваны прославить ее величавым и достойным поведением, как другие призваны добровольной бедностью явить миру, что богатства сами по себе – ничто. Он напоминал о тех архиепископах, прелатах и священнослужителях, которые претерпели насилие, изгнание и оскорбления от царствовавших в старину за то, что они отстаивали права церкви. Не раз показывали они, что, когда это потребуется, норвежские церковники могут отказаться от всего на свете и следовать Богу. Но Бог сам даст нам знамение, когда это потребуется, поэтому нужно только всегда помнить об этом, и тогда можно не страшиться, что богатства будут враждебны душе.

Гюннюльф постоянно замечал, что архиепископу не нравится, что он так много думает и размышляет про себя. Ему казалось, что и сам архиепископ Эйлив и его священники походят на людей, все выше и выше возводящих стены дома. Честь церкви, власть церкви, право церкви. Ведает Бог, и у него не меньше прилежания в делах церкви, чем у любого другого священника, и не станет он уклоняться от работы – таскать кирпичи и штукатурку для ее строения. Но они все словно боятся войти в построенный ими дом и отдохнуть в нем. Они все словно боятся сбиться с пути, если будут слишком много размышлять….

Гюннюльф боялся не этого. Тот не может впасть в ересь, чьи очи неотрывно устремлены на крест, кто непрестанно от-

дает себя под покровительство святой девы. Для него не в этом опасность…

Опасность – она в неугасимом стремлении его души приобрести восхищение и дружбу людей…

А ведь он было прочувствовал до самой глубины своего существа: «Бог любит меня, душа моя дорога Богу и любима им так же, как всякая душа на земле…»

Но здесь, дома, в нем опять ожило воспоминание о том, что мучило его, когда он был подростком и юношей. Что мать не любит его так, как она любит Эрленда. Что отцу даже и в голову не приходит беспокоиться о нем, хотя он не оставляет в покое Эрленда. Потом у Борда в Хестнесе только и было разговора, что об Эрленде: Эрленд молодчина, Эрленд провинился, Гюннюльф же просто состоял там при брате. Эрленд, Эрленд был вожаком всех мальчишек-подростков. Эрленда бранили все девочки-служанки и тут же смеялись над ним… И Эрленда сам Гюннюльф любил больше всех на свете. Если бы только Эрленд захотел полюбить его… Но Гюннюльф не мог насытиться взаимностью Эрленда. Его любил один лишь Эрленд… Но Эрленд стольких любил!

А теперь он увидел, каким образом брат распоряжается всем тем, что досталось ему на долю. Одному лишь Богу известно, что в конце концов станется с богатством Хюсабю! Уже достаточно болтают в Нидаросе о неразумном ведении хозяйства Эрлендом. И Эрленд не понимает, что Господь даровал ему четверых прекрасных детей… Ведь его дети, рож-

денные им в распутстве, тоже прекрасны. Но он не считает это Божьей милостью, а принимает как должное…

И вот наконец он приобрел любовь чистой, прекрасной молодой девушки из хорошего рода. Гюннюльфу казалось: ну уж так, как Эрленд поступил с нею… после того, как Гюннюльфу стало известно это, он уже не может больше уважать брата за что бы то ни было. Гюннюльф становился невыносимым сам себе, когда обнаруживал у себя какую-нибудь особенность, свойственную и его брату. Эрленд, невзирая на свей возраст, то бледнел, то краснел так легко, как молоденькая девушка… И Гюннюльф безумно сердился, зная, что и у него тоже краска легко заливает лицо и снова пропадает потом. Оба они унаследовали это от матери – у той цвет лица изменялся от одного слова.

А. теперь Эрленд считает совершенно обычной вещью, что жена его – хорошая женщина, образец для всех жен… И это после того, как из года в год он прилагал все силы к тому, чтобы испортить это дитя и привести его к погибели. Но он, по-видимому, считает, что иначе и быть не может… Теперь, когда он женился на той, которую сам упражнял в сладострастии, обмане и лжи, он не считает, что ему есть за что почтить супругу свою, которая, несмотря на свое падение, все еще правдива, верна, добра и достойна уважения.

И все же, когда нынче летом и осенью до него дошли вести о походе Эрленда на север… у Гюннюльфа было одно-единственное страстное желание – быть с братом! Эрленд – ко-

ролевский военачальник, а он, Гюннюльф, проповедник слова Божия в пустынных, полуязыческих странах на берегах Гандвикского моря.[24]

Гюннюльф поднялся. На короткой стене чулана висело большое распятие, а перед ним на полу лежал большой плоский камень.

Он опустился на колени на камень и вытянул в стороны руки. Он закалил уже свое тело настолько, что мог находиться в таком положении часами, неподвижно как скала. Устремив взор на распятие, он ждал, когда придет утешение и он сможет собрать свои мысли для проникновения лицезрения креста.

Но первая мысль, которая пришла ему в голову, была – нужно ли будет расстаться с этим распятием? У святого Франциска и его братии самодельные кресты из веток деревьев. Следует отдать этот прекрасный крест – можно будет подарить его церкви в Хюсабю. Быть может, крестьяне, дети и женщины, собирающиеся там к божественной службе, укрепятся от столь зримой картины любвеобильной кротости Спасителя посреди страданий. Простые души вроде Кристин… Самому ему в этом нет надобности.

Ночь за ночью стоял он так на коленях, отрешенный, с бесчувственными членами, пока ему не явилось видение. Холм, а на нем три креста на фоне неба. Тот крест в сере-

---

[24] *Гандвикским морем, или Гандвиком, назывался Ледовитый океан с Баренцевым и Белым морями.*

дине, что предназначен нести на себе Царя Небес и земли, сотрясался и дрожал. преклонялся, как дерево в бурю, страшился нести непомерно драгоценную ношу – жертву за грехи всего мира. Владыка гор и бури принудил его, как рыцарь принуждает боевого коня, властитель солнечного града шел с ним на битву. Тогда свершилось чудо, бывшее как бы ключом ко все более глубоким чудесам. Кровь, стекавшая с креста во искупление всех грехов и во утешение всех скорбей, – то было знамение явное. Этим первым чудом раскрывались очи для лицезрения более темных: Бог сошел на землю, стал сыном девы и братом рода человеческого, попрал преисподнюю и повел свое воинство освобожденных душ в то ослепительное море света, из коего вышел мир и коим поддерживается мир. И мысли тянулись к этой бездонной, вечной глуби и света и исчезали в том свете, как стая птиц в сиянии вечерней зари.

* * *

Лишь когда в соборе зазвонили к заутрене, Гюннюльф поднялся. Все было тихо, когда он проходил через горницу, – они спали, и Кристин и Орм.

На дворе не видать было ни зги. Священник помедлил. Но никто из его домочадцев не вышел, чтобы пойти с ним вместе в церковь. Он не требовал, чтобы они слушали более двух служб в сутки. Однако его кормилица Ингрид почти

всегда ходила с ним к заутрене. Но в это утро, видно, и она спала. Да и правда, она поздно вчера уснула.

* * *

Весь следующий день трое родичей мало говорили между собой, и больше о пустяках. Гюннюльф выглядел усталым, но шутил напропалую. Раз он сказал: «Какие глупые мы были вчера вечером – сидели печальные, как трое сирот без отца». Столько смешного случается здесь, в Нидаросе, с паломниками, о чем священники пошучивают между собой У одного старика из Херьедала было множество поручений от его односельчан, так он перепутал все молитвы, а потом сообразил: худо будет у них в долине, если святой Улав поймает его на слове.

* * *

К вечеру приехал Эрленд, насквозь вымокший, – он приплыл в город на корабле, а на море опять бушевала непогода. Он был в отвратительном настроении и сейчас же напал на Орма и стал его ожесточенно бранить. Гюннюльф некоторое время слушал молча.

– Когда ты разговариваешь так с Ормом, Эрленд, ты походишь на нашего отца… Таким он всегда бывал, когда раз-

говаривал с тобой…

Эрленд сразу же замолчал. Затем круто повернулся.

– Одно знаю: так безрассудно я никогда не вел себя, когда был мальчиком… Убежать из дому – больной женщине и мальчишке-щенку, в метель! Мужеством своим Орму как будто бы не очень пристало хвастаться, но вот, видишь ли, отца своего он боится!

– Ты тоже не боялся отца своего, – сказал, улыбаясь, брат. Орм стоял перед отцом навытяжку, ничего не говоря и стараясь сохранить равнодушный вид.

– Ну, можешь идти! – сказал Эрленд. – Мне скоро осточертеет вся эта канитель в Хюсабю! Но вот что: нынче летом Орм поедет вместе со мной на север, а там мы приберем к рукам этого баловня моей Кристин! Не такой уж он неуклюжий, – поспешил он сказать брату. – Стреляет без промаха, могу тебя заверить… ничего не боится… но всегда упрям и угрюм и как будто у него не течет кровь по жилам…

– Если ты часто ругаешь своего сына вот так, как сейчас, то ничего удивительного в том, что он угрюм, – сказал священник.

Эрленд утих, рассмеялся и сказал:

– Мне часто приходилось терпеть от отца и похуже. И все же, клянусь Богом, я не стал от этого таким уж, угрюмым. Ну ладно! Уж если я приехал сюда, так давайте праздновать Рождество, раз у нас Рождество. Где Кристин? О чем ей надо было опять говорить с тобой?

– Не думаю, чтобы у нее была какая-нибудь надобность в беседе со мной, – сказал священник. – Ей захотелось послушать здесь рождественскую обедню…

– Мне кажется, ей могло бы хватить и того, что она получает дома… – сказал Эрленд. – Но жаль ее, вся ее молодость слетит с нее, если так будет продолжаться. – Он ударил рукой об руку. – Не понимаю, почему это Господь Бог решил, что нам требуется каждый год по новому сыну!..

Гюннюльф посмотрел на брата.

– Н-да!.. Я, конечно, не знаю, что, по мнению Господа Бога, вам требуется, но только Кристин, вероятно, больше всего требуется, чтобы ты был с нею добрым…

– Да, пожалуй, что так! – тихо произнес Эрленд.

На следующее утро Эрленд отправился с женой к обедне.

Они пошли в церковь святого Григория – Эрленд всегда слушал там обедню, когда бывал в городе. Они шли одни, вниз по улице, и в тех местах, где тяжелый и мокрый снег нанесло сугробами, Эрленд изящно и учтиво вел жену за руку. Он не сказал ей ни слова о ее бегстве и был ласков с Ормом.

Кристин шла бледная и безмолвная, понурив голову. Длинный черный меховой плащ с серебряными застежками, казалось, тяжелил ее хрупкое и худое тело.

– Хочешь, я поеду с тобой домой верхом? А Орм может вернуться на корабле, – заговорил муж. – Ведь тебе, конечно, не захочется переезжать через фьорд?..

– Да, ты знаешь, я не люблю плавать по морю… Погода

была теперь тихая и оттепельная, с деревьев то и дело осыпались комья тяжелого, мокрого снега… Снег отливал зеленовато-серым оттенком талости, а бревенчатые стены домов, изгороди и стволы деревьев казались черными во влажном воздухе. Никогда еще она не видела мир таким холодным, бледным и выцветшим, – так думалось Кристин.

# III

Кристин сидела с Гэуте на коленях, глядя с вершины холма, что от усадьбы на север. Вечер был так хорош. Озеро лежало внизу зеркально-ясное и тихое, и в нем отражались горы, дворовые постройки Бю и золотые облака на небе. После дождя, выпавшего днем, поднимался такой сильный дух от листвы и земли. Трава на лугах, должно быть, доходила уже до колен, и нивы топорщились колосьями.

Звуки разносятся далеко сегодня вечером. Вот опять заиграли дудки, барабаны и виолы на лужайке у Виньяра – так приятно сюда наверх доносится их напев.

Кукушка замолкала надолго, а потом призывно куковала несколько раз; подряд далеко-далеко, где-то в лесу с южной стороны. И птицы щебетали и распевали во всех рощах вокруг усадьбы, – но недружно и негромко, ибо солнце стояло еще высоко в небе.

С блеянием, мычанием и позвякиванием колокольчиков возвращался с пастбища не отправленный в горы скот, направляясь в ворота усадьбы.

– А вот сейчас моему Гэуте дадут молочка! – залепетала Кристин ребёнку, поднимая его. Мальчик, как всегда, склонил свою тяжелую головку на плечо матери. А сам то и дело прижимался к ней покрепче, – Кристин приняла это за знак того, что он все-таки понимает ее лепечущий разговор

и ласковые словечки.

Она стала спускаться к домам. У дверей в жилой дом резвились Ноккве и Бьёргюльф, подманивая к себе кота, который, спасаясь от них, забрался на крышу. Потом мальчуганы взялись опять за сломанный кинжал, принадлежавший им обоим, и принялись рыть дальше яму в земляном полу сеней.

В горницу вошла Дагрюн, неся подойник, и Кристин стала поить Гэуте из ковшика парным козьим молоком. Мальчик сердито пофыркивал, когда служанка заговаривала с ним, отбивался от нее и прятался у материнской груди, когда женщина хотела взять его на руки.

– А все же мне кажется, что он поздоровел, – сказала скотница.

Кристин приподняла ладонью маленькое личико: оно было желтовато-белым, как свечное сало, а глаза глядели всегда утомленно. У Гэуте большая, тяжелая голова и тоненькие, бессильные ручки и ножки. Ему исполнится два года через неделю после дня святого Лавранса, но он еще не может держаться на ногах, у него всего лишь пять зубов, и он не говорит ни одного слова.

Отец Эйлив сказал: это не худосочие; ни напрестольные покровы, ни церковные книги не помогли, а их возлагали на ребенка, Всюду, где бы ни был священник, он спрашивал совета, как лечить эту болезнь, свалившуюся на Гэуте. Кристин знала, что священник поминает ее ребенка во всех своих молитвах. Но ей он мог сказать лишь одно: она должна терпе-

ливо склониться перед Божьей волей. И еще давать ребенку пить парное козье молоко…

Бедный, несчастный ее малютка! Кристин прижимала его к себе и целовала, когда служанка ушла. Какой он красивый! Ей казалось, что ребенок как будто бы вышел в род ее отца, – глаза у него были темно-серые, а волосы светлые, точно лен, густые и шелковистые.

– Ну вот, он опять начал пищать! Кристин поднялась с места и принялась расхаживать с ним взад вперед по горнице. Хоть он так мал и слаб, но все же долго носить его тяжело… А между тем Гэуте хочет быть только на руках у матери. И потому Кристин расхаживала взад и вперед по окутанной сумерками горнице, нося ребенка на руках и тихонько напевая ему.

Кто-то въехал во двор. Голос Ульва, сына Халдора, отдался эхом среди построек. Кристин подошла к дверям из сеней с ребенком на руках.

– Тебе придется сегодня самому расседлать своего коня, Ульв: все слуги ушли плясать. Очень досадно, что тебе придется с этим возиться, но уж прости, пожалуйста…

Ульв что-то ворчал сердито, расседлывая коня. Тем временем Ноккве и Бьёргюльф приставали к нему, прося прокатить их на лошади до огороженного луга.

– Нет, милый мой Ноккве, останься-ка с Гэуте… Поиграй с братцем, чтобы он не плакал, пока я схожу на поварню.

Мальчик надул было губы. Но сейчас же стал на четве-

реньки, замычал и начал бодать малютку, которого Кристин посадила на подушку у дверей в сени. Мать наклонилась и погладила Ноккве по голове. Он такой добрый и так ласково обращается со своими младшими братцами.

* * *

Когда Кристин снова вернулась в жилую горницу с большим блюдом в руках, Ульв сидел на скамейке и играл с детьми. Гэуте любил быть с Ульвом, пока не увидит матери: сейчас он захныкал и потянулся к ней. Кристин поставила блюдо на скамью и взяла Гэуте на руки.

Ульв сдул пену с только что нацеженного пива, отпил и стал рыться в маленьких чашках, стоявших на блюде.

– А что, все твои служанки ушли сегодня со двора?

Кристин сказала:

– Там и виола, и барабан, и дудки… Целая ватага игрецов приехала из Оркедала после свадьбы. Можешь себе представить, когда мои служанки узнали об этом… Ведь они же молодые девушки…

– Ты позволяешь им гонять и шляться, Кристин. Словно боишься, не будет ли трудно найти кормилицу осенью…

Невольно Кристин расправила складки одежды на своей тонкой талин, густо покраснев при словах Ульва. А тот рассмеялся коротко и сухо.

– Если ты будешь постоянно таскать на себе Гэуте, то как

бы не случилось с тобой как в прошлом году… Иди сюда к своему крестному, мальчик, поешь со мной вместе с моего блюдца!

Кристин ничего не сказала. Она посадила всех трех сыночков рядышком на скамью у другой стены, принесла чашку с молочной кашей и пододвинула поближе табуретку. Потом, усевшись там, принялась кормить ребят, хотя Ноккве и Бьёргюльф капризничали: они требовали, чтобы им дали ложки, и хотели есть сами. Старшему мальчику было уже четыре года, а другому должно было исполниться три.

– Где Эрленд? – спросил Ульв.

– Маргрет захотелось поплясать, он и пошел с ней.

– Хорошо еще, что у него хватает ума стеречь свою дочь. – сказал Ульв.

Опять Кристин ничего не ответила. Она раздела детей и уложила спать: Гэуте – в колыбельку, а двух остальных – в супружескую кровать. Эрленд примирился с тем, что они спали там с тех пор, как Кристин оправилась после своей прошлогодней тяжелой болезни.

Наевшись досыта, Ульв растянулся на скамейке. Кристин придвинула чурбанчик к колыбели, принесла корзинку с шерстью и принялась мотать из нее клубки для тканья, потихоньку покачивая ногой колыбель.

– А ты не пойдешь спать? – спросила она немного погодя, не поворачивая головы. – Ведь ты, наверное, устал, Ульв?

Тот поднялся с места, помешал огонь, потом подошел к

хозяйке. Сел на скамью прямо против нее. Кристин заметила, что он не был так изнурен с похмелья, как бывало, когда ему случалось провести в Нидаросе несколько дней.

– Ты даже не спрашиваешь, Кристин, о городских новостях, – сказал он и взглянул на нее, наклонившись вперед и упершись локтями в колени.

Сердце у нее тревожно забилось от страха – она поняла по выражению лица Ульва и по его поведению, что он опять привез недобрые вести. Но ответила со спокойной и ласковой улыбкой:

– Так расскажи, Ульв, что ты узнал нового.

– Хорошо…

Но прежде всего он принес свою котомку и достал из нее разные вещи, привезенные для Кристин из города. Кристин поблагодарила его.

– Как я понимаю, ты узнал в городе какие-то новости? – просила она немного погодя.

Ульв взглянул на молодую хозяйку, потом перевел свой взор на бледного ребенка, спящего в колыбели.

– У него всегда так потеет головка? – спросил он, тихо и осторожно касаясь потемневших от испарины волос. – Кристин… – когда ты выходила замуж за Эрленда… не была ли запись об условиях владения вашим имуществом составлена так, что ты имеешь право сама распоряжаться теми землями, которые муж принес тебе в подарок?

Сердце у Кристин забилось еще сильнее, но она заговори-

ла спокойно:

– Ведь дело обстоит так, Ульв, что Эрленд всегда спрашивал моего совета и искал моего согласия на все сделки, касавшиеся моих земель. Речь идет об усадебных участках в Вердале, которые Эрленд продал Виглейку из Люнга?

– Да, – ответил Ульв, – Нынче он купил «Хюгрекк» у Виглейка. Итак, теперь он будет содержать два корабля. А что же останется тебе, Кристин?

– Эрлендова часть в Шервастаде, два месячных кормления в Ульвкельстаде и то, что ему принадлежит в Орхаммаре, – сказала она. – Ведь ты же не думаешь, что Эрленд продал мое владение помимо моей воли, не возместив мне его стоимости!..

– Гм!.. – Ульв немного помолчал. – А все же ты будешь получать меньше доходов, Кристин. Шервастад… Это не там ли Эрленд взял зимой сено и освободил крестьянина от платежей на три года?..

– Эрленд не виноват в том, что мы не собрали в прошлом году сухого сена… Я знаю, Ульв, ты делал все, что мог… Но со всеми нашими бедами прошлым летом…

– Из орхаммарской части он продал больше половины монахиням в Рейне еще тогда, когда готовился бежать вместе с тобой за границу… – Ульв усмехнулся. – Или же заложил, что одно и то же, когда речь идет об Эрленде. Причем без военной повинности… Все тяготы лежат на Эудюне, сидящем на том участке, который ныне будет называться твоей

собственностью!

– А разве он не может нанять землю, отошедшую к монастырю? – спросила Кристин.

– Монастырский кортомщик с соседнего хутора уже нанял ее, – сказал Ульв. – Трудно издольщикам сводить концы с концами, да и неверное это дело, когда участки раздроблены так, гак старается их дробить Эрленд.

Кристин замолчала. Ей было это прекрасно известно.

– Плодить семью и расточать имущество, – промолвил Ульв, – это у Эрленда идет быстро.

Так как Кристин не отвечала, он начал опять:

– У тебя скоро будет много детей, Кристин, дочь Лавранса.

– И ни одного нельзя потерять! – отвечала она, и голос у нее дрогнул.

– Не бойся так за Гэуте… Он еще окрепнет, – тихо сказал Ульв.

– Как будет Богу угодно… Но так томительно ждать. Он услышал скрытое страдание в голосе матери… Какая-то странная беспомощность овладела этим тяжелым, мрачным человеком.

– Так будет мало пользы, Кристин… Многого достигла ты здесь, в Хюсабю, но вот Эрленд пойдет в плавание с двумя кораблями… Я не очень-то верю, что на севере будет мир, а муж твой столь мало изворотлив, – он не умеет обернуть в свою пользу того, что приобрел за эти два года. Плохие это

были годы… А ты у нас постоянно больна. Если так будет продолжаться, то в конце концов ты, молодая женщина, будешь сломлена. Я помогал тебе здесь, у вас в усадьбе, чем мог… Но тут дело другое… Неразумие Эрленда…

– Видит Бог, – перебила его Кристин, – ты был… ты был для нас самым лучшим родичем, друг мой Ульв, и никогда я не сумею отблагодарить тебя полностью или вознаградить тебя…

Ульв поднялся с места, зажег свечу от очага, вставил ее в подсвечник на столе и остался стоять там, повернувшись спиной к хозяйке. В конце разговора Кристин опустила было руки на колени – теперь она снова принялась мотать шерсть и качать колыбель.

– А ты не можешь ли послать весть домой, к родителям? – тихо спросил Ульв. – Чтобы Лавранс тоже приехал сюда осенью, когда мать твоя приедет к тебе.

– Я не хотела беспокоить мать нынче осенью. Она начинает стареть… А рожаю я что-то уж слишком часто – я не могу просить ее приезжать ко мне всякий раз…

Она улыбнулась немного принужденно.

– Попроси ее на этот раз, – ответил Ульв. – И попроси, чтобы твой отец с ней приехал… Тогда ты сможешь посоветоваться с ним об этих делах…

– В этом я не стану спрашивать у отца совета, – сказала она спокойно и твердо.

– Ну, а у Гюннюльфа? – спросил Ульв немного погодя. –

Разве ты не можешь поговорить с ним?

– Не пристало тревожить его теперь такими делами, – сказала Кристин все так же спокойно.

– Ты хочешь сказать – потому, что он удалился в монастырь? – Ульв насмешливо засмеялся. – Никогда я не замечал, чтобы монахи хуже других людей разбирались в том, как надо управлять имуществом! Если ты не хочешь ничьего совета, Кристин, то тебе следует самой потолковать с Эрлендом, – продолжал он, так как Кристин не отвечала. – Подумай о сыновьях твоих, Кристин.

Кристин долю сидела молча.

– Ты так добр к нашим детям. Ульв, – сказала она наконец, – что мне кажется, было бы куда лучше, если бы ты женился и обзавелся своими собственными заботами… чем вот так… докучать себе… всякими неприятностями Эрленда… и моими…

Ульв повернулся к женщине. Упираясь руками в край стола позади себя, он стоял, глядя на Кристин, дочь Лавранса. Она все еще была статной и красивой. Платье на ней было из темной домотканой материи, и ее спокойное бледное лицо обрамляла тонкая мягкая полотняная косынка. Пояс, на котором висела связка ключей, был усажен мелкими серебряными розами. На груди блестели две цепочки с крестами: большая, из позолоченных звеньев, спускалась почти до пояса, это был отцовский подарок; поверх нее лежала вторая – тоненькая серебряная цепочка с крестиком: Орм просил пе-

редать ее мачехе и сказать, что она должна всегда носить ее.

Она все еще после каждых новых родов поднималась с постели по-прежнему красивая – только немного более тихая, с более тяжелой ответственностью на юных плечах. Чуть худее лицо, чуть темнее, серьезнее глаза под высоким белым лбом, не такие красные и полные губы. Но красота ее, наверно, поблекнет еще раньше, чем она состарится, если все будет продолжаться в таком же роде…

– Разве тебе не кажется. Ульв, что тебе было бы лучше, если бы ты устроился у себя, на своей собственной усадьбе? – начала она опять. – Эрленд говорил мне, что ты прикупил участок земли в Шолдвиркстаде, дающий доход в три эре, скоро тебе будет принадлежать там пол-усадьбы. А у Исака всего одно дитя, к тому же Осе и красивая и добрая… Она дельная женщина, и ты ей как будто нравишься…

– И все же мне ее не надо, если я должен на ней жениться! – грубо перебил Ульв и захохотал. – Да и кроме того, Осе, дочь Исака, слишком хороша для… Голос его изменился. – Я, Кристин, никогда не знал иного отца, кроме крестного… И мне кажется, таков уж мой жребий: тоже не иметь иных детей, кроме крестников.

– Я стану молить деву Марию, чтобы тебе было даровано больше счастья, родич!

– И потом не так уж я молод. Тридцать пять зим, Кристин… – Он рассмеялся. – Малого не хватает, чтобы я мог быть твоим отцом…

Но тогда ты был бы из молодых, да ранним! – отвечала Кристин, стараясь, чтобы в голосе ее звучали смех и непринужденность.

– Ну, а ты не идешь разве спать? – спросил Ульв вскоре после этого.

– Да, сейчас! Но ты, конечно, устал, Ульв, тебе надо идти на покой!

Ульв спокойно пожелал Кристин доброй ночи и вышел из горницы.

* * *

Кристин взяла со стола подсвечник со свечой и осветила внутренность закрытой со всех сторон кровати-ящика, где спали оба мальчика. У Бьёргюльфа больше нет гноя на ресницах – благодарение Богу! Вот уж некоторое время погода держится хорошая. Но стоит только подуть резкому ветру или если погода бывает такая, что детям приходится сидеть в горнице у очага, у него сейчас же начинают гноиться глаза. Долго стояла Кристин, глядя на обоих детей. Потом склонилась над Гэуте в колыбели.

Они были такими здоровенькими, как птенчики, все ее трое сыночков… пока у них в округе не появилось поветрие в прошлом году летом. Багряница… Она косила детей по всем дворам вокруг фьорда, просто горе было смотреть и слышать! Кристин удалось сохранить своих… своих соб-

ственных…

Пятеро суток просидела она у южной кровати, где они лежали, все трое, с красными пятнами по всему телу и больными, боящимися света глазами, – жаром пылали маленькие тельца. Она сидела, держа руку под покрывалом, и похлопывала Бьёргюльфа по подошвам ножонок, а сама все пела и пела, пока ее тоненький голосок не превратился в хрип:

Как ратнику станем ковать коня,
«Какие подковы?» – ты спросишь меня.
Железо годится ему для коня!
Как станем ярлу ковать коня,
«Какие подковы?» – ты спросить меня.
Годится ему серебро для коня!
Как станем ковать королю коня,
«Какие подковы?» – ты спросишь меня.
Лишь злато годится ему для коня!

Бьёргюльф был болен легче всех и беспокоился больше всех. Стоило ей перестать петь хоть на одно мгновение, как ребенок сейчас же сбрасывал с себя покрывало. Гэуте было всего лишь десять месяцев, он был так плох, – она думала, он не выживет. Он лежал у ее груди, закутанный в тряпки и шкуры, и уже не мог сосать. Она держала его одной рукой, а другой рукой похлопывала Бьёргюльфа по подошвам.

По временам, когда случалось, что все трое ненадолго засыпали, она ложилась к ним с краю кровати, не раздеваясь.

Эрленд приходил и уходил, беспокойно глядя на своих трех сыночков. Он пытался петь им, но детям не нравился приятный голос отца, – пусть поет мать, хоть у нее не было никакого голоса.

Служанки толпились тут же, умоляя хозяйку пожалеть себя, мужчины приходили, спрашивая, какие новости, Орм пытался забавлять маленьких братьев. По совету Кристин, Эрленд отослал Маргрет в Эстердал, но Орм пожелал остаться – ведь он же теперь взрослый! Отец Эйлив сидел у постели детей, когда не посещал больных. От трудов и печалей со священника сошел весь жир, который он нажил в Хюсабю, – тяжело ему было видеть смерть такого множества прекрасных детишек. Умерло также и несколько взрослых.

На шестой вечер всем детям стало гораздо лучше, и Кристин пообещала мужу, что сегодня ночью она разденется и ляжет в постель. Эрленд предложил, что он будет бодрствовать вместе со служанками и позовет Кристин, если понадобится. Но за ужином она увидела, что у Орма полымем пылает лицо, – глаза у него блестели от жара. Он сказал – это ничего, но вдруг вскочил с места и выбежал вон. Мальчик стоял во дворе, и его рвало, когда Эрленд и Кристин вышли туда вслед за ним.

Эрленд крепко обнял юношу:

– Орм… сын мой… ты болен?

– У меня ужасно болит голова. – пожаловался мальчик и тяжело склонил ее на плечо к отцу.

И вот они просидели над Ормом всю эту ночь. По большей части он лежал и бредил в беспамятстве, громко вскрикивал и размахивал в воздухе своими длинными руками – вероятно, ему чудилось что-то страшное. Что он говорил – они не могли понять.

А утром свалилась и Кристин. Оказалось, она была опять беременна; и вот она выкинула, а потом погрузилась в какое-то забытье и лежала, как мертвая; у нее началась тяжелая горячка. Орм лежал в могиле уже больше двух недель, когда Кристин узнала о смерти пасынка.

Она была так слаба, что не могла ощутить горя по-настоящему. Она была так малокровна и истощена, что ничто не могло расшевелить ее, – ей самой казалось, что она чувствует себя хорошо вот так, лежа здесь в каком-то полуживом состоянии. Бывало ужасное время, когда женщины едва решались прикасаться к ней или следить за ее чистотой, – но все это сливалось у нее с горячечным бредом. Теперь же было так приятно наслаждаться заботливым уходом. Вокруг ее кровати висело множество душистых венков из горных цветов, чтобы не налетели мухи. Цветы были присланы пастухами с горных выгонов, и в горнице так сладко пахло, особенно в те дни, когда бывал дождь. Однажды Эрленд принес к ней детей; Кристин увидела, что они исхудали от болезни, а Гэуте не узнал матери, но даже и это ее не огорчило. Она лишь ощущала, что Эрленд, казалось, всегда с нею.

Каждый день он ходил к обедне и простаивал на коленях,

молясь у могилы Орма. Кладбище было у приходской церкви в Виньяре, но несколько маленьких детей из их рода нашли место последнего успокоения в домашней церковке в Хюсабю: два брата Эрленда и маленькая дочь Мюнана, Епископского сына. Кристин часто жалела этих малых детей, лежащих в одиночестве под каменными плитами. Теперь Орм, сын Эрленда, упокоился среди этих младенцев.

В то время как все боялись за жизнь Кристин, толпы нищих, направлявшихся в Нидарос на храмовый праздник, проходили через Хюсабю. По большей части то были все те же странники и странницы, которые появлялись в Нидаросе каждый год, – паломники всегда щедрой рукой одаряли бедных, ибо считалось, что их молитвы особенно доходчивы. И нищие привыкли заходить в Скэун за те годы, что Кристин жила в Хюсабю, – им было известно, что здесь, в усадьбе, они получат пристанище для ночлега, обильную пищу и милостыню, прежде чем пойдут дальше своим путем. Но на этот раз слуги хотели было прогнать их, потому что хозяйка лежала больная. Однако когда Эрленд, проведший два предшествующих лета на севере, услыхал, что его супруга всегда очень ласково принимала нищих, он приказал приютить их и обслужить точно так же, как это бывало при Кристин. А утром сам лично обходил убогих, помогал обносить их питьем и едой и оделял всех щедрой милостыней, смиренно прося помолиться за его супругу. Многие из нищих плакали, услышав, что добрая молодая женщина лежит при смерти.

Это рассказал Кристин отец Эйлив, когда ей стало лучше. Но лишь перед самым Рождеством она окрепла настолько, что смогла взять в свои руки ключи от хозяйства.

Эрленд послал известить ее родителей, как только она заболела, но они были в ту пору в отъезде – уехали на свадьбу в Скуг. Потом они приехали в Хюсабю. Тогда ей было уже лучше, но она была так утомлена, что не в силах была долго разговаривать с ними. Ей хотелось лишь одного – чтобы Эрленд был всегда у ее изголовья.

Слабая, вечно мерзнущая, малокровная, она жалась к мужу, набираясь от него здоровья. Былой пожар в крови потух, потух настолько, что Кристин не могла даже вспомнить, как это бывает, что любишь с такой страстью, – но вместе с тем исчезли и беспокойство и горечь последних лет. Кристин казалось, что ей сейчас хорошо, хотя печаль об Орме тяжелым бременем лежала на них обоих и хотя Эрленд не мог понять, до чего страшно ей было за малютку Гэуте, – все же ей было теперь так хорошо с мужем. Он так боялся потерять ее, – это она поняла!

Трудно и больно было бы заговорить с ним теперь… коснуться того, что может нарушить и покой их и радость…

* * *

Была светлая летняя ночь, и Кристин стояла во дворе перед дверью в сени, когда домашние вернулись с танцев. Мар-

грет висела на руке отца. Она была одета и разукрашена так, что ее наряд больше был бы пригоден для брачного торжества, чем для плясок на лужайке у церкви, куда собирался всякий народ. Но мачеха совершенно перестала вмешиваться в воспитание девочки. Эрленд может поступать со своей дочерью как хочет.

Эрленду и Маргрет очень хотелось пить, и Кристин пошла за пивом для них. Девочка немного посидела, болтая, – они с мачехой были теперь добрыми друзьями, ибо Кристин больше не делала попыток учить ее. Эрленд смеялся всему, что рассказывала дочка о танцах. Но наконец Маргрет и ее служанка ушли к себе на чердак спать.

Муж продолжал расхаживать по горнице, потягивался, зевал, но сказал, что не устал. Он запустил пальцы в свои длинные черные волосы.

– Не хватило времени на это, когда мы пришли из бани… Собирались плясать… Пожалуй, ты бы подстригла мне волосы, Кристин… Не могу же я ходить в таком виде в праздник…

Кристин стала было возражать: ведь темно. Но Эрленд только рассмеялся и указал пальцем на дымовую отдушину – на дворе уже был белый день. И вот Кристин опять зажгла свечу, попросила Эрленда сесть и накинула холстину ему на плечи. Пока она его стригла, он поеживался от щекотки и хохотал, когда ножницы касались его затылка.

Она тщательно собрала обстриженные волосы и сожгла

их, стряхнув над огнем также и холстину. Затем гладко причесала волосы Эрленда, начиная с макушки, и подправила там и сям ножницами, где края не были ровными.

Эрленд схватил ее за руки, когда она стояла сзади него, положил их себе на горло и взглянул на жену, улыбаясь и закинув голову как можно дальше назад.

– Ты устала, – сказал он потом, отпустил ее и поднялся с легким вздохом.

Эрленд отплыл из Бьёргвин сейчас же после летнего солнцеворота Он был очень огорчен, что его жена опять не могла ехать вместе с ним, – она улыбнулась устало: ведь ей же нельзя уехать от Гэуте.

И вот Кристин осталась одна в Хюсабю и на это лето. Хорошо еще, что нынче она не ждала ребенка раньше Матвеева дня – а то было бы тяжело и для нее самой и для соседок, которым пришлось бы жить у нее в самое страдное время.

Она задавалась вопросом: да вечно ли так будет? Времена были теперь совсем иные, не такие, как в ее детстве. Рассказ о войне с датчанами она слышала от своего отца и помнила, как тот уезжал из дому в поход против герцога Эйрика. Отуда-то он и вывез большие рубцы на теле. Но у них дома, в долине словно и вовсе не было войны, – туда она, верно, никогда больше не придет, – так, видимо, все думали. Чаще всего был мир, и отец сидел дома, управляя своими владениями, и думал, и заботился о них всех.

А теперь всегда неспокойно, все говорят о раздорах, об

ополчении, об управлении государством. В представления Кристин это сливалось с картиной моря и берега, какими она видела их в тот единственный раз, когда переезжала сюда на север. Вдоль берега приплывали они, эти мужи, головы у которых были полны замыслов, и противозамыслов, и предположений, и соображений, – духовные и светские вельможи. К этой же знати принадлежал и Эрленд по своему высокому рождению и богатству. Но Кристин чувствовала, что все-таки он стоит наполовину за пределами их круга.

Она размышляла и думала… В чем же причина того, что муж ее стоит так особняком? За кого же, собственно говоря, они его считают, эти равные ему люди?

Когда он был только любимым ею человеком, она никогда об этом не спрашивала. Правда, она видела, что он был нетерпелив и порывист, действовал необдуманно, обладал особым даром вести себя неразумно. Но тогда она находила оправдание всему, никогда не ломала себе голову над мыслью, что принесет его нрав им обоим. Когда они получат разрешение пожениться, все будет совершенно иначе, – так она утешала себя. По временам ей самой смутно казалось, что задумываться она стала с того именно часа, как узнала о том, что между ними встал ребенок: кто такой Эрленд, которого люди называли легкомысленным и неразумным человеком, на кого никто не может положиться?..

А она положилась на него. Ей вспомнилась светличка в доме Брюнхильд, ей вспомнилось, как связь между Эрлен-

дом и той, другой, была в конце концов разорвана. Ей вспомнилось его поведение после того, как она стала его нареченной невестой. Но Эрленд держался за нее крепко, несмотря на все унижения и удары; она видела, что он и теперь не захочет ее потерять за все золото мира…

Невольно она подумала о Хафтуре из Гудёя. Он всегда приставал к ней со всякими глупостями при встречах, но Кристин никогда не обращала на это никакого внимания. Вероятно, у него просто такой обычай шутить. Ничего иного ей и теперь не приходило в голову. Кристин нравился этот веселый, пригожий молодой человек, – да он еще и теперь ей нравится. Но чтобы можно было принимать за шутку такие вещи… Нет, этого она не понимала!

Она встречалась с Хафтуром Грэутом на королевских пирах в Нидаросе, и он приставал к ней и там по своему обыкновению. Как-то вечером он повел ее с собой в какую-то светлицу, и Кристин легла вместе с ним на уже постланную постель, стоявшую там. У них дома ей и в голову не пришла бы мысль о подобном поступке – там у них не водилось такого обычая на пирах, чтобы мужчины и женщины разбредались в разные стороны вот так, по двое. Но здесь это делали все, по-видимому, никто не находил в этом ничего непристойного: якобы так принято по рыцарским обычаям в заморских странах! Когда они вошли, на другой кровати лежала фру Элин, жена господина Эрлинга, с каким-то шведским рыцарем; Кристин расслышала, что они говорили об ушной

болезни короля… Швед, по-видимому, обрадовался, когда фру Элин пожелала встать и вернуться в оттаяную горницу.

Когда Кристин поняла, что Хафтур самым серьезным образом помышляет о том, о чем он просил у нее, пока они лежали на кровати, болтая между собой, она до такой степени удивилась, что даже не могла ни испугаться, ни по-настоящему рассердиться. Ведь они же оба состоят в браке, у них обоих есть дети от законных супругов. Пожалуй, она никогда не верила всерьез, что такие вещи случаются на самом деле. Даже несмотря на то, что сама делала и пережила… Нет, она думала, что таких вещей не бывает! Хафтур был таким смешливым, таким веселым и баловным… Кристин не могла заставить себя подумать, что он хотел соблазнить ее, – для этого он был слишком несерьезен. Однако он захотел вовлечь Кристин в самый худший грех…

Он слез с кровати, едва лишь Кристин сказала ему, чтобы он уходил, – он вел себя очень смиренно, но казался больше изумленным, чем пристыженным. И спросил, просто не веря ушам своим, действительно ли Кристин думает, что люди женатые никогда не бывают неверны… Но должно же ей быть известно, что немногие мужья могут сказать, что у них не было любовниц. Женщины, пожалуй, чуть получше, но все ж таки…

– Что же, вы верили во все, что проповедуют священники насчет греха и всякого такого, и в те дни, когда были молодой девушкой? – спросил он. – Тогда я не понимаю, Кри-

стин, дочь Лавранса, каким же образом могло случиться, что Эрленд добился от вас своего?..

Он взглянул в лицо Кристин, и взор ее, должно быть, сказал многое, хотя сама она ни за какие блага в мире не заговорила бы с Хафтуром об этом. Потому что в голосе у него прозвенело чистейшее изумление, когда он сказал:

– А я-то думал, что о таких вещах только сочиняют… в песнях!..

* * *

Кристин никому об этом не рассказала, даже Эрленду. Тому нравился Хафтур. И хотя ужасно, что некоторые люди могут быть такими легкомысленными, как Хафтур Грэут, но она словно не чувствовала, что это касалось ее. Впрочем, с тех пор он больше не пытался навязываться ей; теперь он только пристально глядел на нее своими широко открытыми, полными изумления глазами цвета морской воды.

Нет, если Эрленд был легкомыслен, то, во всяком случае, не в этом смысле. «Да и так ли уж он неразумен?» – думала она. Она видела, что люди поражались тому, что он говорил, а потом совещались между собой. Бывало много верного и правильного в замечаниях Эрленда, сына Никулауса. Но только он никогда не понимал того, что другие знатные люди не упускают из виду, – той осторожной трезвости, которая позволяла им следить друг за другом. Эрленд называл это

кознями и заливался своим вызывающим смехом, который несколько раздражал людей, но в конце концов их обезоруживал. Те тоже хохотали, хлопали его по плечу и говорили, что ум у Эрленда острый, да неглубокий.

А потом он сводил на нет свои же собственные речи озорными и дерзкими шутками. И люди терпели многое в таком роде от Эрленда. Смутно Кристин догадывалась, – и ее унижало это, – почему все сносили его распущенный язык. Эрленд позволял себя запугать, как только встречался с человеком, твердо державшимся своего мнения, – и даже когда это мнение не могло не казаться ему глупым, он все же отказывался от собственного понимания любого вопроса и лишь прикрывал свое отступление дерзкими речами об этом же человеке. И людям было по нраву, что Эрленд отличался такой трусостью ума, хоть он и был так беспечен насчет собственного благополучия, так жадно стремился к приключениям, так отчаянно влюблялся во всякую опасность, которую можно было встретить силой оружия. В конце концов они могли не тревожиться насчет Эрленда, сына Никулауса.

За год перед тем, поздней зимой, в Нидаросе побывал королевский наместник и привозил с собой малолетнего короля. Кристин присутствовала на большом пиршестве в королевской усадьбе. Спокойно и чинно сидела она в шелковой головной повязке, со своими лучшими украшениями на красном подвенечном платье, среди самых высокородных женщин в собрании. Внимательным взором наблюдала она

за поведением своего мужа среди других мужчин, следя за ним, прислушиваясь и размышляя, – как она всегда следила, прислушивалась и размышляла всюду, где бывала с Эрлендом и где замечала, что люди говорят об Эрленде.

Кое-что она поняла. Господин Эрлинг, сын Видкюна, хотел приложить все силы, чтобы укрепить власть норвежского государства на севере до Гандвикского моря, защищать и охранять Холугаланд. Но советники и рыцари выступали против него и не желали идти ни на какое стоящее предприятие. Сам архиепископ и священники его епархии ничего не имели против того, чтобы оказать денежную поддержку, – это ей было известно от Гюннюльфа, – но зато все другие церковники по всей стране противились этому, хотя дело касалось войны с Божьими недругами, еретиками и язычниками. И знатные люди тоже работали против наместника – во всяком случае, здесь, в Трондхеймской области. Они привыкли не очень-то обращать внимание на слова книги законов и на права короны, и им не нравилось, что господин Эрлинг во всем этом так решительно действует в духе своего покойного родича, короля Хокона. Однако, – насколько понимала теперь Кристин, – Эрленд вовсе поэтому не желал, чтобы наместник короля находил ему применение сообразно своим замыслам. У Эрленда все объяснюсь лишь тем, что важное и чинное обхождение Эрлинга надоело ему, и он в отместку понемножку насмехался над своим могущественным родичем.

Кристин казалось, что она теперь понимает поведение господина Эрлинга по отношению к Эрленду. Дело в том, что Эрлинг питал некоторое пристрастие к Эрленду с их юных дней и потому, наверное, думал, что если ему удастся привлечь на свою сторону знатного и доблестного хозяина Хюсабю, обладавшего к тому же кое-каким опытом в военном искусстве, приобретенном в ту пору, когда он служил у графа Якоба, – во всяком случае, большим, чем у прочих домоседов, – то это может принести пользу как замыслам самого Эрлинга, так и благосостоянию Эрленда. Но ничего из этого не вышло.

Два лета провел Эрленд на море, до поздней осени носясь по волнам вдоль длинного северного побережья и гоняясь с четырьмя корабликами, следовавшими за его значком, за разбойничьими ладьями. Он прибыл за свежей пищей в одно только что построенное норвежское селение на самом севере, в Тане, как раз в то время, когда карелы занимались там грабежом. И с горсточкой людей, с которыми высадился на берег, он взял в плен восемнадцать разбойников и повесил их на стропилах полусгоревшего сарая. Он изрубил отряд руссов, пытавшихся скрыться в горах, истребил и сжег несколько вражеских судов где-то в шхерах у выхода в открытое море. На севере пошла молва о быстроте и отваге Эрленда, его люди из Трондхеймской области и из Мере любили своего начальника за его выносливость и готовность делить все трудности и невзгоды со своей корабельной дружи-

ной. Он приобрел друзей как среди простолюдинов, так и среди младших сыновей из усадеб знатных людей на севере, в Холугаланде, где народ уже было привык, что ему приходится самому охранять свои берега.

Но все же Эрленд ни в чем не помог королевскому наместнику в его замыслах о большом крестовом походе на север. В Трондхеймской области народ похвалялся его подвигами во время похода на руссов, – едва лишь заходила речь об этом, как все сейчас же вспоминали, что Эрленд – их земляк! Да, это показало, что в молодых ребятах с берегов здешнего фьорда есть еще добрая старая закваска! Но то, что Эрленд из Хюсабю говорил, и то, что он делал, не могло никаким образом обязывать взрослых и разумных людей.

Кристин видела, что Эрленда еще продолжают причислять к молодым людям, хотя он и был на год старше наместника. Она понимала: многих очень устраивает, что Эрленд таков, что его слова и его поступки можно расценивать как речи и дела молодого, беззаботного человека. Поэтому его любили, баловали и хвастались им, но не считали полноправным мужем. И Кристин видела, как охотно соглашался Эрленд быть тем, кем хотели его сделать равные ему люди.

Эрленд говорил в пользу войны с руссами, он говорил о шведах, подвластных их общему королю. Но они не желают признавать норвежских господских сыновей и рыцарей за дворян, равноценных их собственным. Слыхано ли в какой-либо стране, покуда мир стоит, чтобы, выполняя воин-

ские повинности, дворяне не выезжали сами на своих собственных конях и не выносили сами свой щит на поле битвы? Кристин знала, что примерно то же самое говорил в тот раз и ее отец на тинге в Вогэ и развивал ту же мысль перед Эрлендом, когда тому не хотелось отойти от советов Мюнана, сына Борда. Нет, говорил теперь Эрленд и упоминал могущественных родичей своего тестя в Швеции, ему отлично известно, за кого нас почитают шведские вельможи. «Если мы не покажем им, на что мы способны, то вскоре нас можно будет считать просто приживальщиками при шведах…»

Да, говорили люди, в этом есть доля правды. Но затем опять начинали говорить о наместнике короля. У Эрлинга есть-де свои особые соображения насчет севера: однажды карелы сожгли Бьяркёй под самым носом у его управителя и разорили его крестьян. Тут Эрленд круто повернул и стал насмехаться:

Эрлинг, сын Видкюна, не помышляет о своем собственном благе, в этом Эрленд уверен. Он такой благородный, изысканный и великолепный рыцарь. Ей-Богу, Эрлинг столь же почтенен и достоин уважения, как самая великолепная золотая заглавная буква в книге законов! Все рассмеялись, но меньше запомнили хвалебное слово Эрленда о прямоте наместника, чем то, что Эрленд сравнил его с позолоченной буквой.

Нет, они не относились к Эрленду всерьез – даже и теперь, когда он все же до некоторой степени был в чести. Но

в то время, когда он, молодой, строптивый и отчаявшийся, жил с непотребной женщиной и не желал отсылать ее от себя вопреки приказу короля и церковному запрещению, тогда все относились к нему всерьез, отвернулись от него в бурном негодовании на его безбожную и постыдную жизнь. Теперь это забыто и прощено, и Кристин понимала, что вот именно как бы из благодарности за это ее супруг и подчинялся столь охотно и был таким, каким людям хотелось его видеть… Ведь он жестоко страдал в те дни, когда был словно извергнут из среды людей, равных ему, здесь, у себя на родине. Было, правда, одно лишь… Она невольно вспомнила о своем отце, как он прощал каким-нибудь неспособным к работе людям их вину или долг, едва заметно пожимая плечами. Такова обязанность христианина – снисходительно относиться к тем, кто не может отвечать за свои поступки. Не так ли и Эрленду простили его юношеские грехи?

Но ведь заплатил же Эрленд за свое поведение, когда жил с Элиной! Он ответил за все свои грехи до самого того дня, когда встретился с ней, Кристин, и она послушно пошла вслед за ним на новый грех. Значит, это она…

Нет! Теперь она испугалась собственных своих мыслей.

И изо всех сил старалась она изгнать из своей души все заботы о том, во что не в состоянии была вмешаться. Ей хотелось думать только о таких вещах, где она могла хоть что-нибудь совершить своими собственными силами. Все остальное нужно передать в руку Божью. Бог помогал ей повсюду,

где могло помочь ее собственное рвение. Хозяйство в Хюсабю ведется теперь так, что усадьба превратилась в хорошее поместье, каким оно было раньше, – несмотря на плохие урожаи. Бог сподобил ее родить трех здоровых, красивых сыновей, – каждый год он снова дарует ей жизнь, когда ей приходится встречаться со смертью во время родов; он соизволяет, чтобы она в полном здравии поднималась с постели после каждых родов Всех ее троих милых малюток ей позволено было сохранить в прошлом году, когда болезнь унесла столько прекрасных детишек в их местности. А Гэуте… Гэуте выздоровеет, в это Кристин упорно верила.

Должно быть, правильно говорит Эрленд: ему необходимо так вести себя и делать такие большие траты. Иначе ему не удалось бы утвердить свое положение среди равных себе и добиться таких прав и таких доходов под властью короля, которые подобают ему в силу его рождения. Кристин приходилось верить, что Эрленд понимает в этом больше ее.

Безумием было бы думать, что ему было сколько-нибудь лучше в те дни, когда он жил в сетях греха с той, другой женщиной… да и с ней самой тоже. Одно видение вставало за другим, и перед Кристин появлялось лицо Эрленда того времени – измученное заботой, искаженное страстью. Нет, нет! Все хорошо именно так, как вот сейчас!.. Только он немножко слишком беззаботен и неблагоразумен.

* * *

Эрленд вернулся домой перед самым Михайловым днем. Он надеялся застать Кристин в постели, но она еще ходила. Кристин вышла на дорогу его встречать. На этот раз ее походка была ужасно тяжела, но Гэуте был, как всегда, у нее на руках. Двое старших сыновей бежали впереди матери.

Эрленд спрыгнул с коня и посадил на него мальчиков. Потом взял от жены меньшого и хотел понести его. Бледное, изможденное лицо Кристин просияло, когда Гэуте не испугался отца, – значит, он его узнал! Она не стала ничего расспрашивать о путешествии мужа, но говорила только о четырех зубах, прорезавшихся у Гэуте, – ребенок был так болен из-за этого!

Но тут мальчик расплакался: он оцарапал себе щеку до крови об отцовскую нагрудную застежку. Он снова захотел к матери, и Кристин взяла его на руки, как Эрленд ни возражал.

* * *

Лишь вечером, когда они сидели вдвоем в большой горнице, а дети спали, Кристин спросила мужа о его поездке в Бьёргвин, – словно только теперь она вспомнила об этом.

Эрленд украдкой взглянул на жену: «Бедный мой дружок! Какой у нее жалкий вид!» Потом начал прежде всего выкладывать всякие мелкие новости, Эрлиш просил кланяться ей и велел передать вот это – то был бронзовый кинжал, позеленевший и разъеденный патиной. Он был найден под кучей камней около Гиске. Говорят, очень хорошо класть такие вещи в колыбель, если у Гэуте худосочие.

Кристин снова завернула кинжал в тряпку, с трудом поднялась с кресла и подошла к колыбели. Она сунула туда сверток, присоединив его ко всему тому, что уже давно лежало под постельным бельем: найденный в земле каменный топор, бобровое сало, крестик из волчеягодника, наследственное серебро и стальное огниво, корешки растений, называемых «рукой Богородицы» и «бородой Улава».

– Ложись же теперь, моя Кристин! – ласково попросил ее Эрленд. Он подошел к жене и стал снимать с нее башмаки и чулки. А тем временем рассказал ей:

– Хокон, сын Огмотнда, вернулся, и мир с руссами и карелами заключен и скреплен печатями. Самому ему придется поехать на север нынче осенью. Наверно, едва ли будет так, что порядок и тишина установятся сейчас же. Поэтому нужно, чтобы в Варгёе сидел кто-нибудь знакомый со страной. Да, Эрленд получил все полномочия королевского военачальника в тамошней крепости, – ее нужно будет укрепить еще больше для защиты и поддержания мира в новых государственных границах.

Эрленд с волнением взглянул в лицо жены. Кристин казалась немного испуганной, но не расспрашивала мужа подробно. Было ясно, что она не понимала как следует, что означали привезенные им известия. Он видел, как устала Кристин, и потому не стал больше разговаривать с ней об этом, а лишь немного посидел около нее на краю кровати.

Сам Эрленд прекрасно знал, что он взял на себя. Он беззвучно засмеялся, расхаживая и не спеша раздеваясь. Да, это не то, что сидеть с серебряным поясом на брюхе, бражничать с друзьями и родичами и заниматься чисткой и подстриганием ногтей, рассылая во все стороны своих ленсманов[25] и дружинников, как сидят королевские военачальники в своих крепостях в южной части страны. Замок в Варгёе – это крепость совершенно особого рода!

Финны, руссы, карелы, всякая помесь – нечисть, колдуны, поганые язычники, любимые чада самого дьявола, которых нужно научить опять платить дань норвежским сборщикам и оставить в покое норвежские дворы, – настолько разбросанные, что между ними так далеко, как, например, отсюда докуда-нибудь в Мере. Покой… Быть может, когда-нибудь там и будет мир в стране, но при его жизни в этой области будет мирно только в те часы, когда черт ходит в церковь к обедне. И, кроме того, ему придется держать в узде и своих собственных головорезов. В особенности этак вот к весне, когда все ополоумеют от темноты, и бури, и адского шума

---

[25] *Ленсманы – местные представители воеводы (сюссельмана).*

моря, и холода… когда будет нехватка в муке, масле и напитках, люди станут драться из-за женщин и нелегко будет влачить жизнь на острове. Он навидался всего этого, когда был там, еще юношей, вместе с Гиспором Галле. Ух ты! Это не то что полеживать себе на боку!..

Инголф Пейт, который сейчас сидит там, – парень хоть куда. Но Эрлинг прав. В этой области бразды правления должен взять кто-нибудь из рыцарства, а то никто не поймет, что норвежский король твердо решил утвердить свою власть по всей стране. Ха-ха! В стране, где ему придется торчать иголкой в ковре! Ни одного норвежского поселения до самого Маланга, где-то у черта на куличках!

Инголф – дельный человек, когда кто-нибудь есть над ним. Надо бы передать Инголфу начальство над «Хюгрекком». «Маргюгр» – превосходный корабль, это теперь ясно. Эрленд рассмеялся тихим счастливым смехом. Он часто говаривал Кристин: ей придется терпеть, что он имеет и содержит такую ее соперницу…[26]

* * *

Он проснулся от детского плача в темноте и услышал, что Кристин возится в кровати у другой стены, что-то ласково приговаривая, – это жаловался Бьёргюльф. Случалось,

---

[26] *Названия кораблей по-норвежски всегда женского рода.*

что мальчик просыпался ночью и не мог открыть глаз из-за гноя, – тогда мать смачивала их языком. Эрленду всегда казалось, что это противное зрелище.

Кристин тихонько напевала, убаюкивая ребенка. Тоненький ее голосок раздражал его.

Эрленд вспомнил свой сон. Он гулял где-то по морскому берегу, было время отлива, и он прыгал с камня на камень. Море лежало вдали, бледное и блестящее, и лизало водоросли, – была как будто бы тихая, пасмурная летняя ночь, без солнца. На фоне серебристо-светлого выхода из фьорда он увидел стоявшее на якоре судно, черное и стройное, чуть-чуть покачивающееся на волнах, – пахло так безбожно хорошо морем и смолой…

Сердце заныло у него от тоски. Лежа так в ночной темноте в кровати для гостей и слушая, как однообразные звуки колыбельной песни вгрызаются ему в уши, он понял теперь, до какой степени ему тоскливо. Подальше от дома и от детей, которыми наводнен дом, подальше от разговоров о домашнем хозяйстве, слугах, издольщиках и работниках… и от надрывающей сердце боязни за нее, вечно больную, которую ему вечно нужно жалеть…

Эрленд прижал стиснутые руки к сердцу. Казалось, оно перестало биться, а только трепетало от страха в груди. Он тоскует и хочет покинуть ее! Когда он думал о том, через что ей: придется пройти теперь, такой слабой и бессильной, – а он знал: это может случиться каждое мгновение, – его душил

ужас. Но если он потеряет Кристин… Он не понимал, как у него хватит тогда сил жить. Но у него не хватает и сил жить с ней… во всяком случае, сейчас. Уйти от всего этого и вздохнуть свободно! Для него это тоже вопрос жизни и смерти…

Господи Боже! О, что же он за человек! Он понял это сегодня ночью… «Кристин, милая моя, дорогой мой друг…» – Настоящую, глубокую, сердечную радость он знавал с ней только в те дни, когда вводил ее в грех…

А он-то думал с такой уверенностью: в тот день, когда возьмет за себя Кристин, чтобы обладать ею перед Богом и людьми, все дурное будет навсегда вычеркнуто из его жизни, – он даже забудет о том, что оно когда-то было…

Должно быть, уж он такой, что не может выносить ничего действительно хорошего и чистого около себя. Ведь Кристин… Да, с тех самых пор, как она избавилась от греха и нечистоты, в которые он поверг ее… Она была ангелом небесным! Нежная, верная спокойная, прилежная, достойная уважения. Она снова вернула. честь в Хюсабю! Она снова стала той, какой была в ту летнюю ночь, когда целомудренная юная девическая кровь заговорила в ней под его плащом в монастырском саду и он подумал, чувствуя рядом с собой ее прекрасное молодое тело, что сам дьявол не в силах будет обидеть этого ребенка или же причинить ей горе…

Слезы текли по лицу Эрленда.

Наверное, правду они говорят, попы, что грех разъедает душу человека, как ржа, – вот, нет ему ни мира, ни покоя

здесь, при его милой, любимой… Его тянет прочь от нее и всего, что ей дорого…

Он плакал и плакал, пока не погрузился в дремоту, но вдруг услышал, что Кристин встала и ходит взад и вперед, убаюкивая ребенка и напевая ему.

Эрленд выпрыгнул из кровати, бросился к жене, наткнувшись в темноте на детские башмачки, валявшиеся на полу, и взял из рук Кристин ребенка. Гэуте закричал, и Кристин сказала жалобно:

– Ну вот! А я почти угомонила его! Отец встряхнул плачущего ребенка, несколько раз шлепнул его по заду и, когда мальчик заревел еще громче, зашипел на него так грозно, что испуганный Гэуте внезапно замолчал. Такого о ним еще никогда не случалось в его жизни!

– Послушай, Кристин, да пошевели же ты мозгами! – Порыв ярости совершенно лишил его сил, и он стоял испуганный, голый, дрожа от холода в кромешной тьме горницы, со всхлипывающим ребенком на руках. – Нет, с этим пора кончать, я тебе говорю. Для чего у тебя няньки? Дети должны спать с ними, ты больше не выдержишь…

– Неужели ты не хочешь позволить, чтобы мои дети проводили со мной то время, которое мне еще осталось? – спросила тихо и жалобно жена.

Эрленд не захотел понять, что она хотела этим сказать. – На то время, которое тебе еще осталось, тебе нужен отдых! Ложись же, пожалуйста, Кристин! – попросил он ее более

ласковым голосом.

Он взял Гэуте к себе в постель, немножко побаюкал его и нашёл в темноте свой пояс на ступеньке кровати. Маленькие серебряные пластинки, которыми пояс был усажен, позванивали и бренчали, когда мальчик играл с ним.

– А кинжал к нему не подвешен? – боязливо спросила Кристин со своей кровати, и тут Гэуте испустил новый вопль, услышав голос матери. Эрленд пошикал на него, побрякивая поясом, и в конце концов мальчик замолк и успокоился.

Несчастный мальчуган! Пожалуй, едва ли стоит желать, чтобы он выжил, – неизвестно, обладает ли Гэуте человеческим рассудком.

О нет! О нет! Приснoблаженная дева Мария! Этого он не хотел, сказать, – он не мог желать смерти собственному маленькому сыночку. Нет, нет! Эрленд взял ребенка к себе на руки и прижался лицом к тонким теплым волосикам.

Красивые у них сыны… Но так утомительно слушать разговоры о них с раннего утра до поздней ночи; натыкаться на них, где бы ни ступил у себя дома. Он не понимал, как это три маленьких мальчугана могут одновременно оказываться повсюду в большой усадьбе. Но вспомнил, как яростно гневался он на Элину за то, что она не обращала внимания на своих детей. Видно, на него не угодишь, – ибо точно так же сердится он, что никогда больше не видит Кристин без виснущих на ней ребят.

Никогда, беря на руки своих законных сыновей, он не переживал больше того, что почувствовал, когда ему впервые положили на руки Орма! «Ах, Орм, Орм, сын мой!..» Он уже так устал от Элины в то время… Ему надоели ее своенравие, ее вспыльчивость, ее не знающая удержу любовь. Он уже понял, что она слишком стара для него. И начал понимать, во что ему может обойтись это безумие. Но ему казалось, что бросить ее он тоже не может, раз она все потеряла из-за него. Рождение мальчика давало ему основание выдерживать жизнь с матерью, так он думал. Он был еще так молод, когда стал отцом Орма, что не понимал как следует положения ребенка… если мать его – законная жена другого.

Слезы опять подступили к его горлу, и он еще крепче прижал Гэуте к себе, Орм… Ни одного из своих детей не любил он так, как этого мальчика; ему так недостает его, и он так горько раскаивается в каждом грубом или необдуманном слове, которое он сказал ему. Конечно, не мог Орм знать, как горячо любил его отец! Все это было от ожесточения и отчаяния, после того как Эрленду стало совершенно ясно, что никогда не будут считать Орма его законным сыном, никогда не сможет Орм унаследовать от своего отца его герба на щите! И еще от ревности, ибо Эрленд видел, что сын его больше льнет к своей мачехе, чем к нему, да и кроме того, ровное, ласковое, доброе отношение Кристин к юноше казалось Эрленду похожим на упрек.

Потом настали дни, о которых он не в силах был вспоми-

нать. Орм лежал на смертном одре в светёлке, а женщины приходили и говорили, что им не верится, чтобы Кристин выжила. Люди вырубали могилу для Орма в церкви и спрашивали, будет ли Кристин лежать тут же, или же ее повезут в церковь святого Григория и похоронят там, где лежат его родители?

Да, но… Он задержал дыхание от ужаса при мысли об этом: позади него лежала вся его жизнь, и вся она состояла из воспоминаний, от которых он бежал, ибо не в силах был думать о них. Нынче ночью он это понял… Среди дневных забот он может как-то забывать все это. Но не может защитить себя так, чтобы это не всплывало перед ним в то или иное мгновение, или как сегодня… И тогда все его мужество словно по какому-то колдовству оставляет его…

Те дни, проведенные в Хэуге… Ему почти удалось забыть о них среди повседневных дел. Он не был в Хэуге с той самой ночи, когда уехал оттуда, и не видал ни Бьёрна, ни Осхильд со дня своей свадьбы. Он боялся встречаться с Бьерном. А теперь он подумал и о том, что ему рассказывали! Говорят, они являются там по ночам. В Хэуге столько привидений, что дома стоят в запустении, народ не хочет там жить, хотя бы даже усадьба отдавалась даром.

Бьёрн, сын Гюннара обладал тем родом мужества, какого у Эрленда – он сам это сознавал – никогда бы недостало. У того не дрогнула рука убить свою супругу… Прямо в сердце, – сказал Мюнан.

Зимой исполнится два года с тех нор, как Бьёрн и фру Осхильд умерли. Народ не видел дыма из домов в Хэуге в течение, целой недели; поэтому несколько мужчин набрались храбрости и отправились туда. Господин Бьёрн лежал в постели с перерезанным горлом и держал в своих объятиях труп жены. На полу прямо перед кроватью лежал его окровавленный кинжал.

Все поняли, как и что тут произошло, но Мюнан, сын Борта, и его брат похоронили оба трупа в освященной земле, должно быть, там побывали разбойники, так было сказано, хотя сундук с добром Бьёрна и Осхильд остался нетронутым. Трупы не были тронуты ни мышами, ни крысами, – впрочем, такой мерзости не водилось в Хэуге, – и народ счел это за верный знак того, что фру Осхильд занималась колдовством.

Мюнан, сын Борда, был страшно потрясен кончиной своей матери. Вскоре после этого он отправился на богомолье к святому Иакову Компостельскому…[27]

Эрленду вспомнилось утро после той ночи, когда умерла его родная мать. Они стояли на якоре у входа в пролив Молде, но кругом лежал такой белый и такой густой туман, что только по временам на самый короткий миг бывало чуть-чуть видно скалистую стену, под которой стоял их корабль. Но от нее отдавался приглушенным эхом тихий звук весел, когда шлюпка со священником отваливала к берегу. Эрленд стоял в носовом помещении, глядя, как гребцы отплывают

---

[27] *То есть в город Сантьяго-де-Компостела (на северо-западе Испании).*

от корабля. Все было мокро от тумана, к чему бы Эрленд ни прикасался: влага жемчугом оседала в его волосах и на платье, а незнакомый священник и его причетник сидели в лодке на носу и, приподняв высоко плечи, нахохлились над святыми дарами, которые были у них на коленях. Они походили на соколов в дождливую погоду. Удары весел, и скрип уключин, и эхо, доносившееся от горы, смутно слышались еще долго-долго после того, как лодка исчезла в тумане.

Тогда и он тоже дал себе обещание отправиться на богомолье. У него была тогда одна-единственная мысль – нужно, чтобы он еще раз смог увидеть милое, прелестное лицо матери, каким оно было прежде, – с нежной, гладкой смугловато-бледной кожей. Теперь же она лежала там, внизу, мертвая, с лицом, пораженным ужасными ранами… при жизни ее мокнувшими и сочившимися мелкими прозрачными каплями какой-то жидкости, когда мать, бывало, пыталась улыбнуться ему…

Его ли была вина, что отец так поступил с ним? И что ему пришлось обратиться к той, кто был изгнан, подобно ему самому?.. И вот он выбросил из головы мысли о паломничестве и больше не стал тревожиться воспоминаниями о своей матери.

Ей так плохо жилось тут, на земле, что теперь, разумеется, она находится там, где мир и покой… А ему самому жилось не очень-то мирно с тех пор, как он опять связался с Элиной…

Мир и покой… Право, он знал их всего один раз за всю свою жизнь!.. В ту ночь, когда сидел за каменной оградой у опушки леса там, в Хофвине, и держал Кристин, которая спала в его объятиях доверчивым, сладким, глубоким, детским сном. Недолго он удерживался и не нарушал ее покоя! И не мир и не покой обрел он у нее с тех пор, да и теперь не находит. Хотя и видит, что все другие в его доме обрели мир у его юной супруги.

А теперь он мечтает только о том, чтобы уйти отсюда к раздорам и распрям. Он исступленно мечтает об этом скалистом острове в открытом море, о грохоте морских волн, омывающих там, на севере, врезающиеся в океан мысы, о бесконечных берегах и могучих фьордах, таящих в себе всевозможные ловушки и козни, о племенах, чью речь он едва-едва понимает, об их чародействе, непостоянстве, лукавстве, о войне, о море и о поющем звоне своего оружия и оружия своих людей…

Наконец Эрленд уснул, но снова проснулся… Что это такое снилось ему сейчас?.. Ах да! Что он лежит в кровати и по обе стороны с ним лежит по черномазой финской девке. Нечто полузабытое, что случилось с ним в тот раз, когда он был с Гиссюром на севере… Безумная ночь, когда они перепились и у всех голова шла кругом. Сейчас он уже почти ничего не мог вспомнить, кроме резкого, звериного запаха женщин.

И вот он лежит, держа в объятиях своего маленького боль-

ного сына, и ему снятся такие сны!.. Эрленд так испугался себя самого, что не посмел больше снова заснуть. Но у него не было и сил лежать бодрствуя… Да, должно быть, он приносит несчастье! Застыв от страха, он лежал не шевелясь и чувствуя, как сердце сжимается у него в груди, и ждал с тоской, когда утренняя заря освободит его.

* * *

Он уговорил Кристин не вставать с постели на следующий день. Ибо ему казалось, что он не в силах дольше видеть, как она с трудом бродит по дому – такая жалкая. Он сидел около нее, перебирая пальцы ее руки. У Кристин когда-то были замечательно красивые руки – изящные, но такие округлые, что тоненькие косточки в гибких сочленениях не были видны. Теперь же они выступали узлами на исхудалой руке, а кожа на нижней ее поверхности была иссиня-белой.

На дворе дул ветер и лил дождь, так что вода разлеталась брызгами от земли. К концу дня Эрленд, выходя у оружейной, услышал, что Гэуте отчаянно кричит и плачет где-то во дворе.

В узком закоулке между двумя строениями он нашел всех своих трех сыновей сидящими под самой капелью с крыши. Ноккве крепко держал малыша, а Бьёргюльф пытался запихнуть ему в рот живого земляного червяка, – у мальчугана была полная горсть извивавшихся и корчившихся розовых

червей.

Ребята стояли с оскорбленными лицами, пока отец пробирал их. Это Оон Старый, сообщили они, рассказал им, что у Гэуте будут без боли резаться зубки, если дать ему укусить живого червяка.

Они были насквозь мокры все трое – с головы до самых пят. Эрленд в ярости крикнул не своим голосом нянек, – те прибежали со всех ног, одна – из мастерской, другая – из конюшни. Хозяин разругал их на чем свет стоит, сунул себе под мышку Гэуте, словно поросенка, и погнал перед собой в большую горницу двух других мальчиков.

Немного погодя сухие и довольные малыши в синих праздничных кафтанчиках сидели на ступеньках перед кроватью матери. Отец пододвинул туда табуретку, шумел и баловался, со смехом прижимая к себе ребят, чтобы заглушить в своей душе последние остатки ночного страха. А мать радостно улыбалась, глядя, как Эрленд играет с их детьми. У него есть финская ведьма, рассказывал Эрленд, ей от роду двести зим, и она так высохла, что стала совсем-совсем маленькой – вот такой! Он хранит ее в меховом мешке в большом ящике, который стоит у него в корабельном сарае. Ну конечно, ее кормят! Каждую рождественскую ночь дают по человечьей ноге – ей хватает на целый год. И если они не будут сидеть тихо и смирно и станут приставать к своей больной матери, то тоже попадут в этот меховой мешок…

– Мать больна, потому что она хочет родить нам сестру! –

сказал Ноккве, гордый тем, что он понимает, в чем тут дело. Эрленд притянул мальчика за уши к своему колену.

– Да, да! И когда ваша сестра родится, я прикажу моей старухе-финке заколдовать вас всех троих, и вы превратитесь в белых медведей и будете бродить в дремучем лесу, а дочь моя получит в наследство все мое имущество.

Дети закричали и повалились в кровать к матери; Гэуте ничего не понял, но кричал и барахтался, подражая братьям. Кристин посетовала: не надо их пугать так гадко! Но Ноккве опять начал возиться; в восторге и страхе, он со смехом набросился на отца, повис на его поясе и с дикими криками и радостными воплями хватал Эрленда за руки.

* * *

Однако у Эрленда и на этот раз родилась не дочь, которую он так ждал. Кристин родила ему двух больших, красивых сыновей, но они едва не стоили ей жизни.

Эрленд окрестил их, назвав одного в честь Ивара Иеслинга, а второго – в честь короля Скюле. Имя того до сих пор не поддерживалось в роду. Рагнрид, дочь Скюле, говорила, что отцу ее не везло и потому не следует называть детей его именем. Но Эрленд божился, что никто из его сыновей не носил более гордого имени, чем вот этот, самый младший.

Осень уже настолько продвинулась, что Эрленду пришлось уезжать на север сейчас же, как только для Кристин

миновала наибольшая опасность. И он решил про себя, что, пожалуй, даже лучше будет уехать до того, как жена его встанет с постели. Пять сыновей за пять лет – этого вполне достаточно, и не хватало ему беспокоиться, что Кристин умрет во время родов, пока он будет сидеть там, в Варгёе.

Он знал, что и у Кристин приблизительно такие же мысли. Она уже больше не жаловалась, что он уезжает от нее. Она принимала каждого рождавшегося у нее ребенка как драгоценный Божий дар, а страдания – как бремя, под которым ей нельзя роптать. Но на этот раз ей пришлось уж так тяжело, что, как чувствовал Эрленд, все ее мужество точно сдуло с нее. Она лежала с лицом желтым, словно глина, и смотрела на два маленьких свертка пеленок, лежавших рядом с ней, и в глазах ее не светилось того счастья, которое она испытывала при рождении других детей.

Эрленд сидел около нее, мысленно проделывая все свое путешествие на север. Наверное, сейчас, в такую позднюю осень, морской переход будет тяжелым, да и странно будет приехать туда к началу долгой зимней ночи! Но он тосковал невыразимо! Только что пережитый им страх за жену совершенно сломил всякое сопротивление в его душе, – безвольно отдавался он своему страстному стремлению, уйти прочь, подальше от дома.

# IV

Эрленд, сын Никулауса, сидел в качестве королевского военачальника в крепости Варгёй почти два года. За все это время он не ездил на юг дальше Бьяркёя – у него было там свидание с Эрлингом, сыном Видкюна, На второе лето со дня отъезда Эрленда умер наконец Хеминг, сын Алфа, и Эрленд получил после него воеводство в долине Оркедал. Хафтур Грэут отправился на север, чтобы сменить Эрленда в Варгёе.

Весело отплывал Эрленд на юг через несколько дней после осеннего праздника девы Марии. Для него получение воеводства, где когда-то сидел его отец, было восстановлением в правах, о котором он мечтал все эти годы. Не то чтобы оно было целью, для достижения которой он когда-либо тратил силы. Нет, но Эрленду всегда представлялось, что именно это ему надо, чтобы занять место, какое ему подобает, как в своих собственных глазах, так и в глазах равных ему людей.

А по дому он тосковал. В Финмарке оказалось спокойнее, чем он ожидал. Уже первая зима измотала его – он сидел без дела в крепости и не мог ничего добиться для улучшения укреплений. Они были приведены в хорошее состояние семнадцать лет тому назад, но теперь пришли в полнейший упадок.

Затем настали осень и лето с оживлением и беспокойством, свидания там и сям по фьордам с норвежскими и

полунорвежскими сборщиками дани и с толмачами племен, живущих на глубинных нагорьях. Эрленд бродил с места на место со своими двумя кораблями и развлекался напропалую. На острове были улучшены постройки и усилены укрепления. Но на следующий год было уж совсем тихо.

Хафтур, конечно, позаботится о том, чтобы там снова было неспокойно. Эрленд рассмеялся. Они плавали с ним вместе на восток почти до Трянемы, и там Хафтур захватил женщину-терфинку,[28] которую и увез с собой. Эрленд упрекал его за это. Он должен помнить: надо заставить язычников понять, что мы здесь господа, а значит, надо вести себя так, чтобы не раздражать никого без толку, когда у нас всего какая-нибудь горсточка людей! Не вмешиваться, если финские племена дерутся между собой и убивают друг друга; пусть спокойно доставляют себе эти радости. Но надо соколом носиться над руссами, и колбягами, и прочим сбродом, черт их знает, как они там называются! И оставить их женщин в покое; во-первых, они ведьмы все подряд, а во-вторых, и без них там много есть, кто предлагается… Впрочем, юноша с Гудёя может вести себя как ему заблагорассудится, пока его не проучат!

Хафтуру хотелось уехать от своих поместий и от жены. А Эрленду хотелось теперь домой к своим. Он ужасно скучал по Кристин и по Хюсабю, по своим родным местам и по всем

---

[28] *Терфинами норвежцы называли коренных жителей побережий у горла Белого моря.*

своим детям – по всему, что дома, у Кристин.

В Люнгфьорде он узнал, что здесь стоит корабль с несколькими священниками из монахов; говорили, что это братья-проповедники из Нидароса, отправлявшиеся на север. Они намеревались насадить истинную веру среди язычников и еретиков в пограничных областях.

Эрленд почувствовал уверенность, что Гюннюльф окажется среди этих монахов. И спустя три ночи действительно уже сидел один на один со своим братом в землянке, принадлежавшей какой-то маленькой норвежской усадьбе.

* * *

Эрленд был странно тронут. Он прослушал службу и причастился вместе со своей корабельной ватагой – единственный раз за все время, что он пробыл здесь, на севере, если не считать его посещения острова Бьяркёй. Церковь на Варгёе стояла без священника; в крепости оставался один дьякон, который пытался высчитывать для них праздничные дни, но вообще-то со спасением душ норвежцев там, на крайнем севере, дело обстояло так себе. Приходилось утешаться тем, что они участвуют в своего рода крестовом походе, так что, пожалуй; на их грехи посмотрят не столь уж строго.

Он сидел, разговаривая с Гюннюльфом об этом, а брат слушал с какой-то рассеянной и непонятной улыбкой на тонких губах большого рта. Казалось, Гюннюльф вечно втяги-

вал свою нижнюю губу, как это часто бывает с человеком, когда тот глубоко задумывается о чем-либо, вот-вот сейчас поймёт, но еще не достиг полной ясности в своих мыслях…

Была уже ночь. Все другие обитатели усадьбы спали выше на берету, в сарае; братья знали, что сейчас одни они бодрствуют. И оба были взволнованы: им было странно, что вот они сидят здесь вдвоем, одни…

Шум морского прибоя и вой бури доносились до них сквозь земляные стены мягко и приглушенно. Время от времени порыв ветра врывался, раздувал угли, тлеющие на очаге, и колыхал пламя жировой светильни. В землянке не было ничего, – братья сидели на низенькой земляной завалинке, шедшей вдоль трех сторон помещения, а между ними лежал письменный прибор Гюннюльфа с чернильницей из рога, гусиными перьями и свернутым и трубочку пергаментом. Гюннюльф записывал кое-что из того, что ему рассказывал брат, – о местах сходбищ и о поселенческих усадьбах, о морских знаках и о признаках, предвещавших погоду, а также слова на саамском языке, – то есть все, что только приходило Эрленду в голову. Гюннюльф сам управлял кораблем – он назывался «Сюннива», ибо братья-проповедники избрали святую Сюнниву покровительницей своего начинания.

– Только бы вас не постигла доля мужей из Селъе! – Сказал Эрленд, и Гюннюльф снова улыбнулся.

– Ты называешь меня непоседливым, Гюннюльф, – начал он опять. – Но как же тогда назвать тебя? Все эти годы ты

бродил по южным странам, а потом, едва успев приехать домой, поспешил отказаться от своего священнического места и доходов, чтобы ехать куда-то на север и проповедовать там самому черту и его детям! Их языка ты не знаешь, а они не понимают твоего. Мне кажется, ты еще более непостоянен, чем я.

– У меня нет ни имения, ни родных, за которых мне нужно нести ответ, – сказал монах, – Ныне я разрешил себя от всех уз, а ты связал себя, брат.

– О да! Разумеется, тот свободен, кто ничем не владеет. – Гюннюльф ответил:

Все, чем человек владеет, держит его гораздо крепче, чем он свое имущество.

– Гм! Ну нет, не всегда, клянусь смертью Христовой. Допустим, что Кристин держит меня… Но я не желаю, чтобы мое имение и дети владели мной…

– Не рассуждай так, брат! – тихо произнес Гюннюльф. – Ибо тогда легко может статься, что ты утратишь это…

– Нет, я не хочу уподобляться иным добрым людям, которые погрузились в Землю по самую шею, – сказал со смехом Эрленд, брат его тоже улыбнулся.

– Никогда я не видел детей красивее Ивара и Скюле, – промолвил он. – Мне кажется, ты вот так же выглядел в этом возрасте… Нет ничего удивительного, что наша мать так сильно любила тебя.

Оба брата положили руки на доску для писания, лежав-

шую. между ними. Даже при слабом свете жировой светильни было видно, как непохожи руки этих двух мужчин. Обнаженная рука монаха, без колец, белая и мускулистая, меньше размером, но гораздо крепче сколоченная, чем рука другого брата, казалась на вид более сильной, хотя рука Эрленда на ладони была теперь жестка, как рог, а сизый рубец от раны стрелой проходил по ней выше запястья бороздой, исчезавшей под рукавом. Но пальцы узкой, смуглой, как выдубленная кожа, руки Эрленда были сухи и узловаты в суставах, как сучья, и унизаны золотыми перстнями – гладкими и с каменьями.

Эрленду хотелось взять брата за руку, но он постеснялся… Поэтому он только выпил за его здоровье, немного поморщившись над скверным пивом.

– Итак, она показалась тебе теперь совсем здоровой и бодрой, моя Кристин? – снова спросил Эрленд.

– Да, она цвела, словно роза, когда я был летом в Хюсабю, – сказал, улыбаясь, монах. Он помолчал немного, а потом сказал уже серьезным голосом: – Хочу просить тебя об одном, брат. Думай немного больше о благе Кристин и детей, чем раньше. Внимай ее советам и утверди сделки, о которых она и отец Эйлив договорились. Они только и ждут твоего согласия, чтобы заключить их.

– Мне, по совести говоря, не очень-то нравятся эти ее замыслы, о которых ты упомянул… – сказал Эрленд нерешительно. – А теперь к тому же мое положение совсем меняет-

ся…

– Твои владения станут ценнее, когда ты округлишь их, собрав воедино, – ответил монах. – Доводы Кристин показались мне разумными, когда она ознакомила меня с ними.

– Наверное, сейчас во всей норвежской земле нет ни одной женщины, которая распоряжалась бы всем свободнее Кристин! – сказал Эрленд.

– И все же последнее слово будет всегда оставаться за тобой, – опять ответил Гюннюльф. – А ты… Ты теперь распоряжаешься и самою Кристин, как хочешь! – сказал он каким-то странным, слабым голосом.

Эрленд тихо засмеялся глубоким гортанным смехом, потянулся и зевнул. А потом вдруг произнес серьезно:

– Ты ведь тоже распоряжался ею, давая ей советы, брат мой! И не без того бывало, что твои советы иной раз мешали нашей дружбе.

– Хочешь ли ты сказать о той дружбе, которая была между тобой и твоей женой, или же о дружбе между нами, братьями? – медленно спросил монах.

– И о той и о другой! – отвечал Эрленд, словно такая мысль впервые явилась у него лишь теперь. – Столь благочестивой женщине-мирянке быть не нужно, – сказал он уж не так напряженно.

– Я подавал ей такие советы, которые считал наилучшими. Они и есть наилучшие, – поспешил он поправиться.

Эрленд взглянул на монаха в грубой светло-серой рясе

братьев-проповедников с черным капюшоном, откинутым назад так, что он лежал толстыми складками вокруг шеи и сзади на плечах. Макушка головы была выбрита настолько, что теперь широкое, худощавое и побледневшее лицо оттенялось только узким венчиком волос, но они были все такие же густые и черные, как и в юные годы Гюннюльфа.

– Да, ты ведь теперь не столько мой брат, сколько брат каждого человека, – сказал Эрленд и сам удивился, какая глубокая горечь прозвучала в его голосе.

– Этого нет… Хотя так это должно было бы быть.

– Помоги мне Боже! Я думаю, поэтому-то ты и едешь на север к финнам! – сказал Эрленд.

Гюннюльф понурил голову. Что-то тлело в его золотисто-карих глазах.

– Да, до некоторой степени тоже и поэтому, – сказал он негромко и торопливо.

Они разостлали шкуры и покрывала, которые у них были с собой. В помещении было слишком холодно и сыро, чтобы можно было раздеться хотя бы не полностью, поэтому братья пожелали друг, другу спокойной ночи и улеглись на земляной завалинке, устроенной совсем низко, у самого пола, – из-за дыма.

Эрленд лежал, думая о вестях, полученных из дому. За все эти годы он мало что слышал, – он получил два письма от жены, но они уже устарели, когда попали в его руки. Их писал за Кристин отец Эйлив, – она и сама умела выписы-

вать буквы хорошо и красиво, но не любила писать, ибо такое занятие казалось ей не вполне пристойным для неученой женщины.

Наверное, она станет теперь еще благочестивее с тех пор, как завелась святыня в соседней долине, – да еще в память человека, которого она сама знала при его жизни. Зато теперь Гэуте поправился от своей болезни и к ней самой вернулось здоровье, а то она все прихварывала с самого рождения близнецов. Гюннюльф рассказал, что хамарским братьям проповедникам пришлось в конце концов выдать тело Эдвина, сына Рикарда, его братьям в Осло, а те велели записать все о житии брата Эдвина и о тех знамениях, которые, говорят, он творил и при жизни и после смерти. Тогда несколько крестьян из Гэульдала и Медалдала[29] отправились на юг и свидетельствовали о чудесах, совершенных в этих долинах по заступничеству и молитвам брата Эдвина и с помощью распятия, вырезанного им и ныне хранящегося в Медалхюсе. Они принесли обет построить церковку на горе Ватсфьелль, где он несколько раз жил отшельником летом и где после него остался целебный источник. Тогда им отдали руку от его тела для хранения в этой церкви.

Кристин пожертвовала две серебряные чаши и большую застежку для плаща с голубыми каменьями, доставшуюся ей

---

[29] *Гэульдал и Медалдал – долины в Трондхеймской области, недалеко от Нидароса и от Сюупа, где жили Эрленд и Кристин. В Мдалдале находился поселок Медалхюс (ныне Мельхюс).*

после ее бабки Ульвхильд, дочери Ховарда, и велела Тидекену Паусу изготовить в городе серебряную раку для хранения мощей брата Эдвина. И когда архиепископ освящал церковь на Ватсфьелле летом, около Иванова дня, на другой год после отъезда Эрленда на север, Кристин прибыла на гору с отцом Эйливом, с детьми и большой свитой.

После этого Гэуте быстро поздоровел, научился ходить и разговаривать и был теперь как все дети его возраста. Эрленд потянулся, – что Гэуте поправился, это, наверное, самое большое счастье, какое могло для них случиться. Этой церкви он прирежет немного земли. По словам Гюннюльфа, Гэуте светловолос и красив лицом – похож на мать. Тогда жалко, что он не девочка, назвали бы его Магнхильд. Да… По своим красивым сыновьям он теперь тоже соскучился…

Гюннюльф, сын Никулауса, лежал и думал о том весеннем дне, три года тому назад, когда он подъезжал верхом на коне к Хюсабю. По дороге туда он встретил кого-то из усадьбы. «Хозяйки нет дома, – сказали ему, – она у одной больной женщины».

Он ехал по узкой, заросшей травою дорожке между старыми плетнями. Глинистые склоны холмов поросли молодым лиственным лесом, – и над ним и ниже его, до самой реки, по-весеннему шумно и полноводно бежавшей в долине. Он ехал против солнца, и нежная зеленая листва поблескивала на ветвях золотыми язычками пламени, но дальше в глубь леса холодная и густая тень уже ложилась на покрытую тра-

вой землю.

Так он ехал, пока впереди не мелькнул кусочек озера, темно отражавшего другой берег с синим небом и изображением больших летних туч, расплывчатым и прерывистым от ряби, образуемой течением. Далеко внизу под конской тропой лежала на зеленых, пестрых от цветов полянах небольшая усадьба. Толпа замужних женщин в белых косынках стояла там на дворе, но Кристин среди них не было.

Проехав немного дальше, он увидел ее лошадь, которая паслась на выгоне за изгородью вместе с другими лошадьми. Тропа круто спустилась перед ним в лощину зеленых теней, и там, где она взбегала вверх на следующую волну глинистых холмов, стояла у изгороди под листвой она сама, прислушиваясь к пению птиц. Он увидел ее тоненькую черную фигурку, склонившуюся над оградой в сторону леса; видны были ее белая косынка и белая рука. Гюннюльф придержал лошадь и стал шаг за шагом приближаться к Кристин. Но, подъехав ближе, увидел, что это стоит старый березовый ствол.

На следующий вечер, когда слуги Гюннюльфа везли его морем в город, священник сам сел за руль. Он чувствовал, что сердце у него в груди окрепло и родилось вновь. Теперь ничто не могло поколебать его намерения.

Он знал теперь: то, что до сих пор привязывало его к миру, – это неугасимое стремление, которое он носил в себе с отроческих лет. Ему хотелось завоевать восхищение людей.

Чтобы быть любимым, он был щедрым, ласковым и веселым с людьми малыми; ему приятно было блеснуть своей ученостью среди священников города, но с умеренностью и смирением, чтобы они любили его; он приспосабливался к господину Эйливу Кортину, ибо тот дружил с его отцом, и, кроме того, Гюннюльфу было известно, каких людей любит архиепископ. Он был ласков и мил с Ормом, чтобы отнять у его изменчивого отца хоть немного любви этого мальчика. И был строг и требователен к Кристин, ибо знал, что ей необходимо что-то такое, что не выскользало бы из рук, когда она ищет поддержки; что не уводило бы на ложный путь, когда она готова следовать.

Но теперь он понял: он больше добивался ее доверия к самому себе, чем старался укрепить ее доверие к Богу. Сегодня Эрленд нашел настоящее слово. «Ты брат мне не больше, чем всем другим людям!» Ему придется идти окольными путями, прежде чем его братская любовь принесет хоть кому-либо пользу.

Две недели спустя он разделил все свое имущество между родичами и церковью и принял постриг в монастыре братьев-проповедников. А нынче весной, когда все умы были глубоко потрясены страшным несчастьем, обрушившимся на страну – молния зажгла собор в Нидаросе и наполовину повергла обитель святого Улава в запустение, – архиепископ поддержал старый замысел Гюннюльфа. И вот вместе с братом Удавом, сыном Иона, рукоположенным священником,

как и сам Гюннюльф, и тремя молодыми монахами – одним из Нидароса и двумя из монастыря братьев-проповедников в Бьёргвине – он ехал теперь на север нести свет учения несчастным язычникам, живущим и умирающим во тьме в пределах границ христианской страны.

«Христе распятый! Я откупился ныне от всего, что могло связать меня. Сам я предался в руки твои, если ты соизволишь жизнью моей выкупить чад сатанинских. Возьми меня так, чтобы я ведал – я твой раб, ибо тогда у меня будет доля в тебе…» И тогда, быть может, когда-нибудь, когда-нибудь сердце снова запрыгает и запоет в груди, как оно пело и билось, когда он бродил по зеленым равнинам около Рима-града, от одной церкви паломников к другой. «Я принадлежу возлюбленному моему, и к нему обращено желание мое…»

Братья лежали, все думая и думая, пока не заснули каждый на своей завалинке в маленькой землянке. В очаге между ними чуть тлел огонек. Их мысли все дальше и дальше уводили братьев друг от друга. И на следующий день один поехал на север, а другой на юг.

* * *

Эрленд обещал Хафтуру Грэуту зайти на остров Гудёй и захватить на юг его сестру Сюнниву. Она была замужем за Бордом, сыном Осюльва, что из Ленсвика, – он тоже был родичем Эрленда, но очень дальним.

В то первое утро, когда «Маргюгр» разрезала воды, выходя из пролива Гудёй, и парус ее раздувался на фоне синих гор от славного бриза, Эрленд стоял на мостках на корме корабля. Ульв, сын Халдора, правил рулем. И вот к ним поднялась Сюннива. Капюшон ее плаща был откинут назад, и ветер срывал повязку с ее золотистых, как солнце, курчавых волос. У нее были такие же точно блестящие глаза цвета морской волны, как у ее брата, и, подобно ему, она была красива лицом, но только вся в веснушках; веснушками были покрыты и ее маленькие пухлые ручки.

С первого же вечера, когда Эрленд увидел ее на Гудёе, – взоры их встретились: затем оба взглянули в сторону и както незаметно улыбнулись, – он понял, что она его раскусила, да и он ее раскусил. Сюннива, дочь Улава… Ее он мог взять голыми руками, а она только и ждала того!

И вот, стоя с ней и держа ее за руку, – Эрленд помогал ей подняться на палубу, – он невольно взглянул в грубое и мрачное лицо Ульва. Ульву все это тоже было понятно. Эрленда почему-то смутил взгляд Ульва, и ему стало стыдно. В одно мгновение он вспомнил все, чему был свидетелем этот его родич и оруженосец, – каждое свое сумасбродство, в котором он погрязал, начиная с самых юных своих лет. Нечего Ульву смотреть на него с таким презрением, – он вовсе не собирается подходить к этой даме ближе, чем то допускают честь и добродетель, утешал себя Эрленд. Он теперь настолько стар, да и так поумнел от разных бед, что его можно

свободно отпускать на север в Холугаланд, не боясь, что он запутается в безумствах с чужой женой. У него самого есть теперь жена… Он был верен Кристин с самого первого дня, как увидел ее, и доныне… То или иное, случившееся там, на севере, не примет во внимание ни один разумный человек. Но, вообще говоря, он даже не глядел ни на одну женщину – так! Он и сам знал… что с норвежкой, да еще вдобавок с равной ему по происхождению… Нет, у него никогда не будет и на час душевного покоя, если он так изменит Кристин. Однако путешествие на юг с этой женщиной на корабле… может оказаться довольно опасным!

Несколько помогло то, что по пути на юг погода была все больше бурная, поэтому Эрленд был слишком занят, чтобы заигрывать с дамой. Около одною из островов он вынужден был зайти в гавань и отстаиваться там в течение нескольких дней. Пока они стояли там, произошло нечто, сделавшее фру Сюнниву гораздо менее привлекательной в глазах Эрленда.

Эрленд с Ульвом и еще двумя-тремя людьми из его ватаги спали в том же сарае, где помещалась фру Сюннива со своими служанками. Вдруг она его окликнула и сказала, что потеряла у себя в постели золотой перстень: пусть Эрленд подойдет сюда и поможет ей искать, – фру Сюннива ползала на коленях по постели и была в одной сорочке. И тут они оба то и дело поворачивались друг к другу лицами, и всякий раз в глазах у них обоих появлялась вороватая улыбка. Потом фру Сюннива схватила его… Конечно, нельзя сказать,

чтобы и сам Эрленд вел себя слишком уж пристойно, – время и место были неподходящими для этого, – но она была так нагла и с таким бесстыдством отдавалась, что Эрленд в одно мгновение совершенно остыл. Покраснев от стыда, он отвернулся от этого лица, расплывшегося от игривого смеха, без всяких дальнейших объяснений вырвался из ее объятий и ушел. А затем прислал к ней ее служанок.

Нет, черт возьми! Не такой уж он юный мышонок, чтобы дать себя поймать в постельной соломе! Одно дело – соблазнять, другое – позволить соблазнить себя. Но как не рассмеяться – вот так штука, он убежал от красивой женщины, уподобившись Иосифу Прекрасному! Да, мало ли чего не случится на море, да и на суше.

Нет, фру Сюннива!.. Он должен помнить об одной женщине… об одной, которую он знал. Она ходила к нему на свидание в непотребный дом… и приходила чуда такой добродетельной и достойной, как юная королевская дочь, когда та идет в церковь к обедне. В рощах и на гумнах принадлежала она ему, – прости ему Боже, что он, Эрленд, забыл о ее происхождении и чести. Она тоже забывала об этом ради него, и все же ее род сказывался в ней, даже когда она не думала об этом.

«Благослови тебя Боже, моя Кристин! И пусть Господь мне поможет, – верность свою, в которой я клялся тебе тайно и перед церковными вратами, я буду хранить, иначе не буду мужчиной! Так да будет!»

И вот он высадил фру Сюнниву на берег у Эрьяра, где у нее были родственники. Самое замечательное, что она, по-видимому, не очень сердилась на Эрленда, когда они расставались. Так что вешать голову и быть мрачным Эрленду было, видимо, ни к чему, – просто они поиграли с огнем, как говорится. На прощание он подарил даме несколько драгоценных мехов на плащ, и она пообещала, что Эрленд увидит ее в этом плаще. Они еще когда-нибудь встретятся. Бедняжка! Муж у нее уже немолод и, кроме того, болен…

Но Эрленд был счастлив, ибо он ехал домой к своей жене и у него не было ничего на душе, что ему нужно было бы скрывать от нее. Он гордился своим испытанным постоянством. И совершенно пьянел и с ума сходил от тоски по Кристин, – ведь она все-таки самая чудесная и самая прекрасная роза и лилия – и принадлежит ему!

* * *

Кристин была у причалов и встречала его, когда Эрленд подходил к Биргеи. Рыбаки привезли в Вигг весть о том, что «Маргюгр» видели у Эрьяра. Кристин ваяла с собой двух старших сыновей и Маргрет, а дома у них, в Хюсабю, было все приготовлено для пиршества с друзьями и родичами, которые должны были праздновать возвращение Эрленда домой.

Кристин стала такой красивой, что у Эрленда дух захва-

тило, когда он увидел ее. Но она сильно изменилась. То девическое, что еще возвращалось к ней после каждых новых родов, нечто хрупкое и нежное, похожее на что-то монашеское под ее белым платком замужней женщины, – теперь исчезло. Она была молодой, цветущей женой и матерью. Щеки у нее были круглые, со свежим румянцем, обрамленные складками белого плата, грудь высокая и крепкая, и на ней блестели цепи и застежки. Бедра округлились, что особенно подчеркивал пояс с ключами и позолоченным футляром для ножниц и ножа. Да, да! Она только еще похорошела, у нее уже не было такого вида, что вот-вот ее унесет порывом ветра. Даже большие узкие руки стали теперь полнее и белее.

Они остались в Вигге на ночь в доме аббата. И когда возвращались на следующий день домой, то с Эрлендом на этот раз ехала на пир в Хюсабю юная, розовая и веселая Кристин, ласковая и ослабевшая от счастья.

Столько было важных вопросов, о которых ей надо было поговорить с мужем, когда он приедет домой! Тысячи всяких мелочей, касающихся ребят, огорчений из-за Маргрет, планы насчет устройства и приведения в порядок поместий. Но все это исчезало в похмелье пиров и празднеств.

Они разъезжали но гостям с одного пиршества на другое, и Кристин следовала повсюду за воеводой в его разъездах. Эрленд держал теперь в Хюсабю еще больше людей; то гонцы, то письма беспрестанно шли от него и к нему от его ленсманов и управляющих. Он был всегда беспечен и весел:

неужто ему не осилить воеводства? Ему, который ушибался головой чуть ли не о каждую статью государственных законов и церковного права. Такому выучиваешься крепко и забываешь нелегко! Эрленд запоминал легко и быстро и прошел хорошую выучку в юности. Теперь все это ему пригодилось. Он приучился сам читать получаемые письма, а в писцы взял одного исландца. Прежде, бывало, Эрленд прикладывал свою печать подо всем, что ему читали другие, и неохотно разбирался в писаном, – в этом Кристин убедилась за те два года, когда ей пришлось познакомиться со всем, что находилось в его ларцах с письмами.

Но теперь Кристин овладело легкомыслие, какого она никогда не знавала прежде. Она стала гораздо более живой и не такой неразговорчивой, когда бывала среди чужих людей, ибо чувствовала, что она теперь очень красива и, кроме того, совершенно здорова – впервые с тех пор, как вышла замуж. А по вечерам, когда они с Эрлендом лежали вместе в чужой кровати в какой-нибудь светличке в одной из больших усадеб или в крестьянской горнице, они смеялись, перешептывались и шутили, вспоминая людей, с которыми встречались, и вести, которые слышали. Эрленд никогда еще не был так несдержан на язык, как теперь, и, по-видимому, нравился людям гораздо больше, чем когда-либо раньше.

Кристин видела это на своих собственных детях: они просто с ума сходили от восторга, когда отец иной раз обращал на них внимание. Ноккве и Бьёргюльф играли теперь толь-

ко с такими вещами, как луки и стрелы, копья и топоры. И бывало, что отец, проходя по двору, останавливался, смотрел на детей и поправлял их: «Не так, сыночек, вот как надо держать!» – изменял хватку маленького кулачка, придавал пальцам правильное положение. Тут дети из кожи вон лезли от рвения.

Двое старших сыновей были неразлучны. Бьёргюльф был самым рослым и крепким из детей, одного роста с Ноккве, который был старше его на полтора года и плотнее. У него были жестковатые, курчавые, совершенно черные волосы, широкое личико, но красивое, глаза иссиня-черные. Однажды Эрленд спросил боязливо мать, знает ли она, что Бьёргюльф не так хорошо видит на один глаз и, кроме того, чуть-чуть косит. Кристин сказала, что, как ей кажется, тут нет ничего страшного, – с возрастом это пройдет. Как-то уж так повелось, что она всегда меньше всего занималась этим ребенком, – он родился в то время, когда она совершенно измучилась, возясь с Ноккве, а Гэуте подоспел слишком скоро за братьями. Он был самым сильным из детей, пожалуй также и самым умным, хотя говорил мало. Эрленд больше всего любил именно этого сына.

Не отдавая себе в том ясного отчета, Эрленд питал некоторую неприязнь к Ноккве, потому что мальчик появился на свет не вовремя и, кроме того, потому, что его назвали именем деда. А Гэуте был не таким, как он ожидал… У мальчика была большая голова – и не удивительно, ведь два года,

казалось, у него только и росло, что голова, – но теперь он развивался правильно. Смышлености у него вполне хватало, но говорил он очень медленно, так как стоило ему только заговорить быстро, как он начинал пришепетывать или заикаться, и тогда Маргрет издевалась над ним. Кристин питала большую слабость к этому мальчику, хотя Эрленд понимал, что все же до известной степени ее любимцем является самый старший; но Гэуте был сначала таким слабеньким, и, кроме того, немного походил на ее отца своими светлыми, как лен, волосами и темно-серыми пазами. И всегда ужасно тосковал без матери. Он был несколько одинок, находясь между двумя старшими, которые всегда держались вместе, и близнецами, которые были еще маленькими и не разлучились с кормилицами.

У Кристин было теперь меньше досуга возиться с детьми, и ей приходилось гораздо чаще, чем прежде, поступать как другим женщинам и поручать служанкам уход за ребятами, – впрочем, двое старших охотнее бегали за мужчинами по усадьбе. Она уже не дрожала над ними с прежней болезненной нежностью, но зато больше играла и смеялась с ними, когда у нее бывало время собирать их всех около себя.

Около Нового года в Хюсабю было получено письмо за печатью Лавранса, сына Бьёргюльфа. Оно было написано его собственной рукой и отправлено с оркедалским священником, проезжавшим сначала на юг, так что было уже двухмесячной давности. Величайшей новостью в этом письме было

то, что Лавранс просватал Рамборг за Симона, сына Андреса, из Формо. Свадьба состоится весной.

Кристин была изумлена выше всякой меры. Но Эрленд сказал: он всегда думал, что так может случиться, с тех самых пор, как услышал, что Симон Дарре овдовел и обосновался в своей усадьбе в Силе по смерти старого Андреса, сына Гюдмюнда.

# V

Когда отец сосватал ему дочь Лавранса, Симон Дарре принял это как должное.

У них в роду всегда был обычай, что такими делами распоряжаются родители. Симон обрадовался, увидев, что невеста так красива и полна прелести. Впрочем, он никогда не сомневался в том, что с женой, которую ему выберет отец, они будут добрыми друзьями, – ему и в голову не могло прийти ничего иного. Кристин и он подходили друг к другу и по возрасту, и по богатству, и по рождению – если Лавранс был несколько более знатного происхождения, то отец Симона был рыцарем и стоял близко к королю Хокону, тогда как Лавранс всегда жил тихо и спокойно в своих усадьбах. И Симон никогда не замечал, чтобы люди, вступившие между собой в брак, не уживались, если бывали во всем равны друг другу.

Затем настал тот вечер в доме родителей Арне в Финсбреккене… когда люди хотели извести непорочную девушку. С того часа он понял, что любит свою невесту гораздо больше, чем принято. Над этим он особенно не раздумывал – был рад. Он видел, что девушка стыдлива и застенчива, однако не задумывался и над этим. Потом началась та пора в Осло, А тогда ему пришлось задумываться над многим… а потом тот вечер на чердаке у Мухи.

Он наткнулся на нечто такое, чего, он думал, не бывает на

свете… среди людей почтенных, из хорошего рода и в наше время. Ослепленный, потрясенный, он вырвался из своего обручения очертя голову, – но внешне был хладнокровен, спокоен и ровен, когда говорил об этом со своим отцом и с отцом Кристин.

Выйдя за пределы свычаев и обычаев своего рода, он совершил еще поступок, неслыханный в их роду: даже не посоветовавшись с отцом, посватался к молодой богатой вдове из Мандвика. Он был поражен, поняв, что нравится фру Халфрид, – она была гораздо богаче и знатнее Кристин, будучи дочерью сына барона Туре, сына Хокона из Тюнсберга, и вдовой рыцаря Финна, сына Аслака. Была она красива и обладала такой изящной и благородной внешностью, что, по мнению Симона, все женщины его собственного круга были по сравнению с ней просто крестьянскими бабами. Черт возьми! Он покажет им всем, что сможет получить самую лучшую! По своему богатству и всему прочему она не чета тому выходцу из Трондхеймской области, которому Кристин позволила замарать себя! И то, что она вдова, – отлично, знаешь, в чем тут дело, а девушкам пусть теперь сам дьявол доверяет!..

Симону пришлось узнать, что жить на свете не так-то легко и просто, как это ему казалось дома, в Дюфрине. Там во всем и всецело правил отец, и его мнение считалось непреложным. Правда, Симон служил в дружине, был одно время факелоносцем, кое-чему учился у отцовского домового свя-

щенника, поэтому иногда случалось, что он находил иные замечания отца несколько устаревшими. Иной раз он даже возражал, по лишь в шутку, и это и принималось как шутка. «Ну и умная же голова у Симона», – смеялись отец и мать и его братья и сестры, которые никогда ни в чем не перечили господину Андресу. Но всегда все оставалось так, как сказал отец. Да и сам Симон считал это правильным.

За те годы, что он был женат на Халфрид, дочери Эрлинга, и жил в Мандвике, он ежедневно узнавал все основательнее, что жизнь может быть гораздо более сложной и нелепой, чем когда-либо снилось господину Андресу, сыну Гюдмюнда.

Что ему не удастся жить счастливо с такой женой, какая ему досталась, этого он никогда не мог бы себе представить… Она была так мила и хороша: ласковые глаза, уста такие прелестные, когда они были сомкнуты… Симон не видел ни единой женщины, которая носила бы с большим изяществом одежду и драгоценности. А во мраке ночи отвращение к жене убивало в нем всю молодость и свежесть – она была болезненна, у нее дурно пахло изо рта, а ласки ее мучили его. И она была так добра; что он чувствовал отчаянный стыд, но все же не мог побороть свою неприязнь к ней.

И к тому же они еще были недавно женаты, когда Симон понял: она никогда не родит ему живое, выношенное дитя! Он понимал, что она горюет об этом гораздо больше, чем он сам. Словно нож вонзался в его сердце, когда он задумывался над ее судьбой. Кое-что долетало до его ушей: это у нее

оттого, что господин Финн бил ее ногами и колотил, так что она несколько раз выкидывала, когда была да ним замужем. Он совершенно без ума ревновал свою молодую красивую жену. Родичи хотели ее увезти от него, но Халфрид считала, что обязанность жены-христианки – продолжать жить со своим супругом, каким бы он ни был.

Но раз она не рожала Симону детей, то выходило так, что он должен был все свои дни помнить о том, что они живут на ее земле, что он управляет ее богатствами. Он управлял разумно и заботливо. Однако все эти годы в душе его росла тоска по Формо, родовом поместье его бабки, которое всегда предназначалось в наследство Симону после отца. В конце концов ему стало казаться, что его настоящий дом скорее там, в северной части Гюдбрандсдала, чем в округе Рэумарике, где был расположен Дюфрин.

Люди продолжали называть его жену фру Халфрид, как при жизни ее первого мужа, рыцаря. От этого Симон в еще большей мере чувствовал себя в Мандвике просто управляющим жены.

* * *

И вот однажды они сидели вдвоем в горнице, Симон и жена его. Одна из служанок только что заходила сюда по какому-то делу. Халфрид посмотрела ей вслед:

– Хотелось бы мне знать… Боюсь, что нынче Йурюнн хо-

дит с ребенком…

Симон сидел, держа на коленях самострел, и исправлял замок. Он переменил винт, заглянул в механизм пружины и ответил, не поднимая глаз:

– Да. И притом – от меня.

Жена ничего не сказала. Когда он спустя немного поглядел на нее, она сидела и шила, столь же прилежно занимаясь своей работой, как Симон занимался своей.

Симон пожалел о своих словах. Ему было от всего сердца жаль, что он так оскорбил свою жену, жаль, что он спутался с этой девушкой, и он досадовал, что взял на себя отцовство. Он и сам был далеко не уверен: Йурюнн была покладистой. Собственно говоря, она никогда ему не нравилась; она была безобразна, но остра на язык, и с ней было весело болтать, и ей всегда случалось поджидать его, когда он минувшей зимой поздно возвращался. Он ответил чересчур поспешно, ибо ждал, что жена начнет плакаться и винить его. Глупо было так думать, ему следовало бы, конечно, знать, что Халфрид не унизится до этого. Но теперь дело сделано, отступаться от своих собственных слов он не хотел. Итак, придется называться отцом ребенка своей служанки, все равно, был ли он им или же нет.

Целый год Халфрид не заговаривала об этом, а затем однажды спросила, известно ли Симону, что Йурюнн выходит замуж и переезжает в Борг. Разумеется, Симон знал об этом – он сам выдал девушке приданое.

– Где же будет ребенок? – спросила жена.

– У родителей матери, там же, где и сейчас, – отвечал Симон.

Тогда Халфрид сказала:

– Мне кажется, было бы пристойнее, если бы твоя дочь воспитывалась здесь, в усадьбе твоей.

– В твоей усадьбе, ты хочешь сказать? – спросил ее Симон. По лицу Халфрид пробежала легкая дрожь.

– Ты отлично знаешь, супруг мой, что, пока мы оба живы, ты правишь здесь, в Мандвике, – сказала она.

Симон подошел к ней и положил обе руки ей на плечи.

– Если ты думаешь, Халфрид, что тебе не будет тяжело видеть этого ребенка здесь, у нас, то я приношу тебе большую благодарность за твое великодушие!

Это ему не нравилось. Он видел ребенка несколько раз, девочка была довольно безобразная, и он не нашел, чтобы она походила на него самого или на кого-нибудь из его родни. Меньше чем когда-либо он был уверен в том, что это он отец ребенка. И очень разгневался, узнав, что Йурюнн, не испросив у него разрешения, назвала дочку при крещении Арньерд – по имени его матери.[30] Но теперь он предоставил Халфрид распоряжаться. Та перевезла девочку в Мандвик, взяла ей кормилицу и сама приглядывала за тем, чтобы малютка ни в чем не терпела нужды. Если ребенок попадался на глаза, она часто сама брала его на руки и возилась с ним

---

[30] *Арньерд – иное произношение имени Ангерд, которое носила мать Симона.*

любовно и ласково. И по мере того как Симон присматривался к девочке, он в конце концов полюбил ее: он очень любил детей. Теперь ему даже казалось, что он видит некоторое сходство между маленькой Арньерд и своим отцом. Очень может быть, что у Йурюнн хватило ума соблюдать себя после того, как сам хозяин усадьбы сошелся с ней… В таком случае Арньерд и взаправду его дочь, и тогда то, что заставила его сделать Халфрид, было лучше и честнее всего.

Когда они прожили в браке пять лет, Халфрид родила своему супругу вполне доношенное дитя – мальчика. Она просто вся сияла от счастья, ко сразу же после родов ей стало так плохо, что вскоре всем сделалось ясно, что она умрет. И все же она была полна надежд в тот последний раз, когда на некоторое время пришла в сознание.

– Ну вот, Симон, теперь ты будешь править здесь, в Мандвике, имуществом твоего и моего рода, – так сказала она мужу.

После этого у нее поднялся такой жар, что сознание к ней больше не возвращалось, и потому она, будучи еще на земле, уже не услышала горестной вести о том, что мальчик умер – за сутки до смерти матери. «А на том свете ей, конечно, не придется над этим печалиться, – подумал Симон, – она будет только рада, что маленький Эрлинг там с нею!»

Симон потом вспоминал, что в ту ночь, когда оба тела лежали наверху в светелке, он стоял, опершись об изгородь вокруг какого-то поля, расстилавшегося в сторону моря. Это

было перед самым Ивановым днем, и ночь была так светла, что полный месяц почти не светил. Вода блестела бледным отсветом, и на берег с легким плеском набегали мелкие волны. Симон спал урывками, не больше часа подряд, с той самой ночи, когда родился мальчик, – ему казалось теперь, это было уже очень давно, и он чувствовал себя таким усталым, что даже не ощущал горя. Ему было в это время двадцать семь лет.

* * *

В конце лета, после того как закончился раздел наследственного имущества, Симон передал Мандвик Стигу, сыну Хокона, двоюродному брату Халфрид. А сам переехал в Дюфрин и остался там на зиму.

Старый господин Андрес лежал в постели, больной водянкой и со многими другими болестями и немощами. Дело с ним шло ныне к концу, и он горько жаловался: жизнь и для него была нелегкой в его последние годы. Его красивым и многообещавшим детям не повезло, и жизнь их сложилась не так, как он хотел и ждал. Симон сидел около отца, изо всех сил стараясь обрести ровный и шутливый тон былых дней, но старик не переставая брюзжал: Хельга, дочь Саксе, на которой женился Гюрд, – такая важная особа, что просто не знает, какие еще несообразности ей выдумать. Гюрд не смеет даже рыгнуть в своей собственной усадьбе без разрешения

жены! А этот Тургрим, который вечно ноет и жалуется на свой живот, – никогда Тургрим не получил бы его дочери, знай он, что тот такой хилый, что не может ни жить, ни помереть. Пока жив муж, Астрид не в радость, что она молода и богата. Сигрид же бродит, подавленная и опечаленная, – смех и веселые песни она совершенно забыла, милое его дитя! Ведь надо ж это – у нее родился ребенок, а у Симона нет детей! Господин Андрес горько плакал, несчастный, старый и больной. Гюдмюнд возражает против всех брачных предложений, о которых заговаривает отец, а сам он стал таким старым и никуда не годным, что позволил мальчишке совсем отбиться от рук…

Но несчастье началось с того, что Симон и эта горянка-деревенщина воспротивились воле родителей. И виноват в этом Лавранс – он такой смелый человек среди мужчин, а перед бабами у него поджилки трясутся! Девчонка, разумеется, распустила нюни и ревела, а он сейчас же сдался и послал гонцов за этим раззолоченным блудливым козлом из Трондхеймской области, который не мог даже подождать, пока его обвенчают с невестой. Да, будь Лавранс мужчиной у себя дома, тогда он, Андрес Дарре, конечно, показал бы, что в состоянии научить своего безбородого мальчишку-сына разумному поведению! Вот у Кристин, дочери Лавранса, дети небось рождаются… Он слышал, что она через каждые одиннадцать месяцев приносит по живехонькому сыну!

– Это обойдется дорого, отец, – сказал Симон смеясь. –

Наследство будет здорово раздроблено! – Он подхватил Арньерд и посадил ее к себе на колени, девочка только что прибежала в горницу, топоча ножками.

– Зато вон из-за нее наследство после тебя особенно не раздробится, кто бы ни делил его, – сказал господин Андрес сердито. Он все же любил свою внучку, но его злило, что у Симона дитя рождено в блуде. – А ты не подумываешь, Симон, о новом браке?

– Хоть дайте сперва Халфрид застыть в могиле, отец! – сказал Симон, поглаживая белокурые волосы ребенка. – Конечно, я опять женюсь, но торопиться-то не к чему.

И он брал самострел и лыжи и отправлялся на прогулку в лес – подышать немного. Рыскал с собаками за лосем по снежному насту и стрелял тетеревов на вершинах деревьев, проводил ночи в лесной сторожке, принадлежащей Дюфрину, и наслаждался одиночеством.

По снежному насту заскрипели лыжи, собаки повскакали с мест, им ответили из-за двери другие собаки. Симон распахнул Дверь в лунно-синюю ночь, и к нему вошел Гюрд, стройный, высокий, красивый и молчаливый. На вид он теперь казался моложе Симона, который всегда был несколько тучен и еще значительно отяжелел за годы, проведенные в Мандвике.

Братья сидели, положив между собой котомку с едой, ели, пили и поглядывали па огонь в очаге…

– Ты, наверно, понимаешь, – сказал Гюрд, – что Тургрим

поднимет шум, когда отец умрет… И он перетянул на свою сторону Гюдмюнда. И Хельгу. Они не дадут Сигрид ее полной сестринской доли наравне с нами…

– Я это понял. Но она свою долю получит, уж этого мы с тобой, разумеется, сможем добиться, брат!

– Конечно, было бы лучше, если бы сам отец все это уладил, пока он еще не умер, – высказал свое мнение Гюрд.

– Нет, оставь уж отца умирать в покое! – сказал Симон. – Неужели мы с тобой не можем защитить свою сестру; им не удастся ощипать ее потому лишь, что с ней случилось такое несчастье!..

* * *

И вот таким образом наследники рыцаря Андреса Дарре разъехались в разные стороны с горьким недоброжелательством друг к другу. Гюрд был единственным, с кем Симон распростился, уезжая из дому, – он знал, что для Гюрда наступят теперь несладкие денечки с его женой. Сигрид Симон увез с собой в Формо, – она поведет там его дом, а он будет управлять ее землями.

Он въехал к себе во двор в один серо-голубой день, когда кругом таял снег и ольховый лес у реки Логена стоял бурый от цветения. Симон хотел было уже войти в дверь горницы, неся на руках Арньерд, как вдруг Сигрид спросила:

– Почему ты так улыбаешься, Симон?

– Я улыбаюсь?..

Он подумал: как не похож этот приезд домой на то, чего он ожидал когда-то… когда должен был наступить тот день, в который ему предстояло обосноваться здесь, в бабушкиной усадьбе… Обольщенная сестра и незаконный ребенок – вот кто принадлежит ему теперь!..

В первое лето он мало встречался с обитателями Йорюндгорда, старательно избегая их.

Но в воскресенье после последнего осеннего Марииного дня он случайно оказался в церкви рядом с Лаврансом, сыном Бьёргюльфа, так что им пришлось облобызаться, когда отец Эйрик провозгласил: «Мир всем!» И, почувствовав на своей щеке тонкие сухие губы своего пожилого соседа и услышав, как тот шептал слова молитвы о мире, он был странно взволнован. Он понял, что Лавранс хочет выразить этим нечто большее, чем простое соблюдение церковного обычая.

Он поторопился уйти, когда служба окончилась, но у коновязей встретил Лавранса, который пригласил его поехать с ним в Йорюндгорд и там откушать. Симон ответил, что у него больна дочь и с ней сидит его сестра. Тогда Лавранс пожелал ребенку скорейшего выздоровления и пожал Симону руку на прощание.

Спустя несколько дней у них в Формо шла спешная работа: убиралось необмолоченное зерно, потому что погода казалась ненадежной. К вечеру большая часть зерна была уже

свезена под крышу, как вдруг хлынул первый ливень. Симон бежал через двор под проливным дождем, и потоки желтого солнечного света, прорвавшиеся сквозь тучи, заливали жилой дом и крутой горный склон позади него, – и тут он увидел какую-то девочку, стоявшую перед дверью в парадную горницу под дождем и в солнечном свете. Около нее была любимейшая собака Симона, – она вырвалась и бросилась к нему, и тканый женский поясок, привязанный к ее ошейнику, потащился за ней.

Симон увидел, что девочка – дитя из знатного семейства: она была без плаща и простоволосая, но ее винно-красное платье было сшито из покупной материи, вышито и застегнуто на груди позолоченной застежкой. Шелковый шнурок не давал падать на лоб вьющимся крупными завитками, потемневшим от дождя волосам. У девочки было живое личико с высоким лбом и острым подбородком, большие сияющие глаза, а щеки у нее рдели густым румянцем, словно она очень быстро бежала.

Симон догадался, что это за девочка, и поздоровался с ней, назвав ее по имени – Рамборг.

– Что заставило тебя оказать мне такую честь и прийти сюда к нам?

– Это собака, – сказала она, идя вслед за Симоном в дом, чтобы укрыться от дождя. У собаки появилась привычка забегать в Йорюндгорд, и вот теперь она привела ее обратно. Да, она знала, что это его собака: она видела, как та бежала

за ним, когда он ехал верхом.

Симон слегка побранил девочку за то, что она пришла сюда одна, и сказал, что велит оседлать лошадей и сам отвезет ее домой. Но сперва она должна поесть. Рамборг тотчас же подбежала к кровати, где лежала больная Арньерд. И ребенок и Сигрид были рады гостье, потому что Рамборг была живой и резвой. «Она не похожа на своих сестер», – подумал Симон.

Симон доехал с Рамборг до самых ворот усадьбы и хотел было уже повернуть обратно, но встретился тут с Лаврансом, которому только что стало известно, что девочки нет у ее сверстниц в Лэугарбру. И вот Лавранс собрал людей и поспешил на розыски, – он очень испугался. Симону пришлось остаться и быть гостем. И как только его пригласили сесть в верхней горнице, всякое смущение покинуло его, и вскоре он почувствовал себя хорошо с Рагнфрид и Лаврансом. Они долю засиделись за пивом, и так как погода окончательно испортилась, Симон согласился остаться там на ночь.

В верхней горнице было две кровати. Рагнфрид красиво убрала одну для гостя, и тут встал вопрос, где спать Рамборг – с родителями или же в другом доме.

– Нет, я хочу спать в собственной постели, – сказала девочка. – Разве нельзя мне будет спать с тобой, Симон? – спросила она.

Отец сказал, что. гостю будет неудобно с ребятишками в кровати, но Рамборг продолжала приставать – ей хочется

лечь с Симоном! В конце концов Лавранс строго сказал, что она слишком велика, чтобы делить постель с посторонним мужчиной.

– Нет, отец! Я еще маленькая, – упрямилась она. – Разве я слишком большая, Симон?

– Ты слишком маленькая, – сказал Симон смеясь. – Предложи мне через пять лет спать с тобой – и тогда я, наверное, не скажу «нет»! Но тогда у тебя, конечно, уже будет иного сорта муж, а не такой уродливый, толстый, старый вдовец. Так-то, моя маленькая Рамборг!

По-видимому, Лаврансу не понравилась шутка. Он резко сказал девочке, что она должна замолчать, уйти прочь, лечь в кровать к родителям. Но Рамборг еще раз крикнула:

– Ну вот, Симон Дарре, ты посватался ко мне, и мой отец это слышал.

– Ладно, ладно, – отвечал, со смехом Симон, – только я боюсь, Рамборг, что он ответит мне отказом!

После этого дня обитатели Формо и семья из Йорюндгорда стали постоянно встречаться. Рамборг навещала соседнюю усадьбу, как только ей представлялся для этого удобный случай, возилась с Арньерд, словно ребенок был ее куклой, бегала с Сигрид и помогала по хозяйству, садилась Симону на колени, когда все собирались в горнице. У него вошло в привычку шалить с девочкой и баловать ее, как в былые дни, когда они с Ульвхильд были для него вместо сестер.

Симон прожил в долине два года, когда Гейрмюнд, сын

Херстейна из Крюке, посватался к Сигрид. Семья из Крюке была старого зажиточного крестьянского рода, держала землю свою, а не наемную, но хотя кое-кто из мужчин и служил в королевской дружине, однако род их был мало известен за пределами округи. Все же для Сигрид это был такой брак, лучше которого нельзя было и ждать, и она сама охотно шла замуж за Гейрмюнда. Братья дали свое согласие, и Симон отпраздновал свадьбу сестры у себя.

Как-то вечером перед самой свадьбой, когда в доме шла самая невероятная суматоха и все готовились к брачному пиру, Симон сказал в шутку, что он не знает, как же у него пойдут теперь в доме дела, когда Сигрид уедет от него. Тут Рамборг сказала:

– Уж как-нибудь постарайся обойтись два года, Симон. В четырнадцать лет девушка достигает брачного возраста, и тогда ты можешь привезти меня к себе в дом.

– Нет, тебя мне не надо, – сказал Симон со смехом. – Я не надеюсь взнуздать такую своевольную девицу, как ты.

– В тихом омуте черти водятся, говорит мой отец! – воскликнула Рамборг, – Я дикая и необузданная. А сестра моя была кротка и тихая. Ты теперь забыл Кристин, Симон?

Симон вскочил со скамьи, схватил девочку в свои объятия и посадил ее к себе на плечо, так крепко поцеловав ее в шею, что на коже у нее осталось красное пятно. Испугавшись своего поступка и сам себе удивляясь, он отпустил Рамборг, схватил Арньерд и стал так же тискать ее и подбрасывать,

чтобы скрыть свое смущение. Потом принялся шалить и гоняться за девочками – подростком и ребенком, а те пустились от него в бегство, прыгая по столу и скамейкам. В конце концов он посадил их на одну из поперечных балок у самой двери и выбежал вон.

…В Йорюндгорде имя Кристин почти никогда не упоминалось – при нем.

Рамборг, дочь Лавранса, подросла и похорошела. Все соседи кругом только и говорили о том, за кого ее выдадут замуж. Одно время упоминался Эйндриде, сын Хокона из Йеслингов валдерсских.[31] Они были родственниками в четвертом колене, но Лавранс и Хокон были так богаты оба, что у них хватило бы средств послать письмо папе в Валланд[32] и получить разрешение на этот брак. А таким образом был бы положен конец старым судебным тяжбам, тянувшимся с той самой поры, когда старшие Йеслинги служили герцогу Скюле, а король Хокон Старый отнял у них поместье в Вогэ и подарил его Сигюрду Эльдьярну. Ивар Младший Йеслинг, вступив в брак, получил снова Сюндбю по обмену, но все эти дела повлекли за собой бесконечное количество всяких свар и дрязг. Лавранс сам смеялся над этим: та часть добычи, которую он мог потребовать для своей жены, не стоит даже телячьей кожи и воска, потраченных на судебную волокиту, не

---

[31] *Валдерс – долина западнее Гюдбрандсдала.*

[32] *Валланд – древненорвежское обозначение романских стран. В данном случае речь идет о Франции: папа жил тогда и Авиньоне.*

говоря уж о хлопотах и разных поездках. Но он уже возился с этим делом столько времени, сколько был женат, и потому приходилось вести его до конца.

Однако Эйндриде Йеслинг женился на другой девушке, и семья из Йорюндгорда, по-видимому, не очень тужила из-за этого. Они побывали на свадебном пиру, а Рамборг по возвращении домой горделиво рассказывала, что целых четверо мужчин заговаривали с Лаврансом о ней, либо от своего имени, либо от имени своих родичей, Лавранс ответил им, что он не будет заключать никаких соглашений насчет дочери, пока та не подрастет настолько, чтобы самой высказаться об этом.

Так дело не подвигалось до весны того года, когда Рамборг исполнилось четырнадцать зим. Однажды вечером она была в Формо и зашла в хлев вместе с Симоном – поглядеть на новорожденного теленка. Он был белый с бурой отметиной, и Рамборг показалось, что эта отметина совсем похожа на церковь. Симон сидел на краю ясель, девочка облокотилась ему на колени, и он тянул ее за косы.

– Это предвещает, что очень скоро ты поедешь в церковь невестой, Рамборг!

– Ну да! Ты ведь знаешь, что отец мой не откажет тебе в тот день, когда ты посватаешься ко мне, – сказала она. – Я теперь уже такая взрослая – я вполне могу выйти замуж этим летом.

Симон немного смутился, но все же пытался рассмеяться.

– Ты опять начинаешь нести прежнюю чепуху!

– Ты хорошо знаешь, что это не чепуха, – сказала девочка, обратив на него взор своих больших глаз. – Я уже давно знаю, что мне больше всего хотелось бы переехать сюда, к тебе в Форме. Зачем же ты тогда не раз целовал меня и сажал к себе на колени все эти годы, если не хочешь жениться на мне?

– Конечно, я с радостью женился бы на тебе, моя Рамборг. Но я никогда и не помышлял о том, что такая прелестная и юная девушка предназначена мне. Я на семнадцать лет старше тебя… Ты, конечно, и не задумываешься над тем, что у тебя будет старый, подслеповатый, толстобрюхий муж, тогда как ты сама будешь женщиной в самом расцвете лет.

– Вот сейчас у меня расцвет, – сказала она, сияя от счастья, а ведь ты еще не очень дряхлый, Симон!

– И к тому же я безобразен – тебе скоро будет противно целовать меня!

– У тебя нет причин так думать, – отвечала она, весело рассмеявшись, и протянула ему свои губы. Но Симон не поцеловал ее.

– Я не стану пользоваться твоим неразумием, моя радость. Лавранс собирается взять тебя с собой на юг нынче летом. Если ты не переменишь своего намерения до приезда домой, тогда я возблагодарю Бога и Святую Деву за счастье, какого я не мог ожидать… Но связывать тебя я не хочу. моя красавица.

Он взял собак, копье и лук и отправился в горы в тот

же вечер. На нагорьях было еще много снега. Симон прошел к своему сетеру, надел там лыжи, расположился лагерем у озерка к югу от «Кабанов» и охотился там на оленей целую неделю. Но в тот вечер, когда он уже направился обратно в долину, им снова овладели беспокойство и страх. Было бы очень похоже на Рамборг, чтобы она все-таки заговорила об этом со своим отцом. Спускаясь по горному склону мимо Йорюндгордского сетера, Симон увидел, что над крышей поднимается дым и летают искры. Он решил, что, может быть, там сейчас сам Лавранс, и потому повернул к хижине.

Ему казалось, что он сейчас же узнает о правильности своей догадки по обращению Лавранса. Но нет! Оба долго сидели, беседуя о минувшем плохом лете и о том, когда нынче можно будет начать перегонять скот в горы, об охоте и о новом соколе Лавранса, который, похлопывая крыльями, сидел на полу над потрохами птиц, жарившихся на вертеле над огнем. Лавранс приехал сюда поглядеть на свой шалаш на выгоне для лошадей в Ильмандсдале, – кто-то из местных жителей, проезжавших тут днем, рассказывал, будто он завалился. В таких разговорах прошла большая часть вечера. Наконец Симон решился заговорить:

– Не знаю, говорила ли тебе что-нибудь Рамборг об одном деле, которое мы с ней обсуждали тут как-то вечером. Лавранс сказал медленно:

– Мне думается, тебе следовало сперва поговорить со мной, Симон… Ты ведь мог предполагать, какого рода ответ

ты получишь… Да, да… я понимаю, могло сложиться так, что тебе случилось заговорить об этом прежде с девушкой… а для меня тут разницы не будет… Я очень рад, что мне придется отдать моего ребенка в руки хорошему человеку.

«Тогда тут не о чем больше и говорить», – подумал Симон. Все же удивительно – вот сидит он, кому никогда и в голову не приходило мысли сближаться с какой-нибудь честной девушкой или женщиной, а честь обязывает его жениться на той, которую он предпочел бы не брать за себя! Однако он сделал попытку:

– Ведь, Лавранс, тут не то чтобы я обольщал твою дочь за твоей спиной… Я считал себя таким старым, что когда я так много болтал с ней, то думал, она примет все это просто за братские чувства – еще с прежнего времени. И если ты полагаешь, что я для нее слишком стар, то меня твое мнение не удивит, да и не нарушит дружбы между нами.

– Не часто, Симон, встречал я человека, которого мне хотелось бы охотнее назвать своим сыном, чем тебя, – сказал Лавранс. – И я был бы рад выдать Рамборг замуж сам. Ведь ты знаешь, кто будет ее посаженным отцом, когда меня не станет! – Впервые в разговоре между ними обоими был сделан намек, на Эрленда, сына Никулауса. – Во многих отношениях мой зять оказался лучше, чем я считал, когда впервые с ним познакомился. Но я не уверен, что он будет способен действовать разумно, выдавая замуж молодую девушку. И к тому же я вижу по Рамборг, что ей самой этого хочется.

– Это она сейчас так думает, – сказал Симон. – Но ведь она едва вышла из детского возраста! Поэтому я не намерен торопить и настаивать, если тебе кажется, что надо будет повременить еще…

– А я, – сказал Лавранс, слегка наморщив лоб, – не намерен навязывать тебе свою дочь… Можешь быть в этом уверен.

– А ты можешь быть уверен в том, – быстро произнес Симон, – что нет в норвежской земле ни единой девушки, которую я взял бы за себя с большей радостью, чем Рамборг. Понимаешь, Лавранс, мне кажется слишком уж большим счастьем получить такую красавицу, такую юную, такую хорошую невесту, богатую и по рождению из знатнейших родов. А тебя – тестем! – прибавил он немного застенчиво.

Лавранс смущенно рассмеялся.

– Ну, ты знаешь, какого я мнения о тебе! И ты будешь так обращаться с моим ребенком и с ее наследством, что у нас никогда не будет причины раскаиваться в этой сделке, ни у матери, ни у меня…

– Это я обещаю – с помощью Бога и всех его святых! – сказал Симон.

Тут они подали друг другу руки. Симону вспомнился тот первый раз, когда они с Лаврансом скрепили рукобитием такую же сделку. Сердце сжалось и заболело у него в груди.

Но Рамборг, и в самом деле, была для него гораздо лучшей невестой, чем он мог ожидать. После смерти Лавранса

его наследство будет разделено только между двумя дочерьми. А он, Симон, будет теперь заместо сына у человека, которого он всегда уважал и любил больше всех, кого знал… И Рамборг свежа, мила и здорова…

И пора уже поступать разумно, как взрослому человеку. Если бы он сидел да раздумывал, что вот, он мог бы жениться, когда она овдовеет, на той, которой не получил, когда она была девушкой… после того как тот, другой, насладился ее молодостью… И взять с нею еще с десяток пасынков… Нет, тогда он был бы достоин, чтобы братья объявили его недееспособным и отстранили от управления собственными его делами. Эрленд долговечен, как камень в горах… Такие молодцы всегда долговечны…

Да, значит, теперь они будут называться свояками. Они не видались друг с другом с того самого вечера в том доме в Осло. Н-да! Пожалуй, вспоминать об этом еще менее приятно тому, другому, чем самому Симону.

Он будет для Рамборг добрым мужем – без обмана. Хотя, сказать по правде, она, такой ребенок, поймала его в ловушку…

– Чего ты смеешься? – спросил Лавранс.

– Смеюсь? Мне пришла в голову одна мысль…

– Ты должен сказать, Симон, в чем дело… чтобы и я мог посмеяться вместе с тобой.

Симон, сын Андреса, устремил острый взгляд своих маленьких глаз на собеседника.

– Я думал… о женщинах. Я хотел бы знать, существует ли такая женщина, которая станет уважать мужскую верность и законы вот как… как мы, мужчины, между собой… если она сама или ее близкие могут приобрести что-нибудь, переступив через них. Халфрид, моя первая жена… Видишь ли, об этом я не рассказывал ни одной живой душе до тебя, Лавранс, сын Бьёргюльфа, и не расскажу никому другому. Халфрид была столь доброй, благочестивой и справедливой женщиной, что, пожалуй, другой такой еще не живало на свете… Я говорил тебе, как она отнеслась к рождению Арньерд. Но в тот раз, когда мы узнали, что случилось с Сигрид… так она хотела, чтобы мы спрятали где-нибудь мою сестру, а она притворится, будто сама беременна, и выдаст ребенка Сигрид за своего. И вот тогда у нас будет наследник, ребенку будет хорошо, а Сигрид поселится у нас, и ей не придется разлучаться с ребенком. Мне кажется, она даже не понимала, что такой поступок будет обманом по отношению к ее собственным родичам…

Лавранс сказал немного погодя:

– Тогда ты мог бы сохранить Мандвик…

Да. – Симон Дарре горько рассмеялся. – И, быть может, по такому же точно праву, по какому многие сидят на той земле, которую они считают наследием своих отцов. Раз нам приходится в подобных делах полагаться только на женскую честь…

Лавранс надвинул колпачок на голову сокола и посадил

его к себе на руку.

– Это странная речь для человека, который подумывает о женитьбе, – произнес он тихо.

– О твоих дочерях, разумеется, никто не думает ничего такого, – отвечал Симон.

Лавранс глядел на сокола, почесывая его палочкой.

– Даже о Кристин? – прошептал он.

– Да! – твердо сказал Симон. – Со мной она поступила не очень красиво, но никогда я не замечал, чтобы она говорила неправду. Она сказала честно и откровенно, что встретила другого человека и полюбила его больше, чем меня.

– А ты отказался от нее так легко, – тихим голосом спросил отец, – не потому ли, что… слышал о ней… разные слухи?

– Нет! – по-прежнему твердо произнес Симон, – Я не слыхал о Кристин никаких слухов.

* * *

Было условлено, что обручение состоится тем же летом, а свадьба будет сыграна после Пасхи на следующий год, когда Рамборг исполнится пятнадцать лет.

* * *

Кристин не видала своего родного дома с того самого дня, как покинула его невестой, – этому уже исполнилось восемь зим. Теперь она возвратилась туда с большой свитой – со своим мужем, Маргрет, пятью сыновьями, няньками, служанками, слугами и лошадьми с дорожными вещами. Лавранс выехал им навстречу – они съехались на плоскогорье Довре. Кристин уже не плакала так легко, как в дни своей юности, но все же, когда увидела отца, подъезжавшего к ней на коне, глаза у нее наполнились слезами. Она остановила своего коня, соскользнула с седла и побежала навстречу отцу. Когда они встретились, она схватила его руку и смиренно поцеловала ее. Лавранс тотчас же спрыгнул с коня и заключил дочь в объятия. Потом пожал руку Эрленду, который, как и все, тоже спешился и пошел навстречу тестю с почтительным поклоном.

На следующий день в Йорюндгорд приехал Симон приветствовать своих новых родичей. Гюрд Дарре и Гейрмюнд из Крюке сопровождали его, но их жены остались в Формо. Симон хотел справлять свою свадьбу у себя, и потому женщины были там очень заняты.

При встрече случилось так, что Симон и Эрленд приветствовали друг друга свободно и непринужденно. Симон владел собой, а Эрленд был так весел и жизнерадостен, что тот

подумал: вероятно, он забыл, где они в последний раз виделись! Потом Симон подал руку Кристин. Тут оба были несколько неуверены в себе, и взоры их встретились на одно лишь мгновение.

Кристин показалось, что Симон очень сильно сдал. В молодости он был довольно хорош собой, хотя уже тогда был слишком тучным и короткошеим. Его серо-стальные глаза казались маленькими между опухшими веками, рот был слишком мал, а ямочки на щеках и подбородке чересчур велики для его ребячески круглого лица. Но у него был тогда свежий цвет кожи и молочно-белый высокий лоб под красивыми темно-русыми кудрявыми волосами… Волосы у него еще и теперь вились и были все такими же темными, как орех, и густыми, но все лицо покрывал красно-коричневый загар, под глазами были морщины, а щеки и двойной подбородок тяжело отвисали. И телом он стал тяжел – уже обзавелся брюшком. Не походил он сейчас на человека, который дал бы себе труд прилечь на край постели – пошептаться со своей невестой. Кристин стало жаль свою юную сестру. Та была так свежа, полна прелести и по-детски рада тому, что выходит замуж! В первый же день она показала Кристин все свои сундуки с приданым, со свадебными подарками Симона. И сообщила ей новость, которую слышала от Сигрид, дочери Андреса, будто в свадебной светлице в Формо стоит позолоченный ларец. В нем двенадцать дорогих головных платков, и их она получит от своего мужа в первое же утро. Бедная

крошка! Она еще не понимает, что такое брак! Кристин было грустно, что она так мало знает свою сестричку, – Рамборг приезжала в Хюсабю два раза, но всегда была там не в духе и неласкова: ей не нравились ни Эрленд, ни Маргрет, которая была ей ровесницей.

Симон думал и, пожалуй, даже надеялся на то, что Кристин будет выглядеть постаревшей, раз она народила столько детей. Но она цвела молодостью и здоровьем, держалась все так же прямо, и походка ее была все так же полна прелести, хоть она и ступала теперь немного тяжелее. Она была красавицей матерью в окружении своих красивых маленьких сыновей.

На ней было платье из домотканой шерстяной материи ржаво-бурого цвета с вытканными на ней темно-синими птицами, – Симону вспомнилось, что он стоял, облокотясь на ткацкий станок, когда Кристин ткала вот эту самую ткань.

* * *

Когда стали садиться за стол в верхней горнице, произошла некоторая суматоха. Скюле и Ивар подняли рев, им хотелось сидеть между матерью и своей кормилицей, к которой они привыкли. Лавранс решил, что не подобает Рамборг сидеть ниже служанки и детей сестры, поэтому он приказал дочери сесть на почетное место рядом с собой, раз она теперь скоро покинет свой родной дом.

Мальчуганы из Хюсабю сидели неспокойно и, видно, не умели держать себя за столом. До конца трапезы было еще далеко, как вдруг из-под стола вынырнул маленький белокурый мальчик и остановился у колен Симона, сидевшего на скамейке.

– Можно посмотреть на этот странный футляр, который висит у тебя на поясе, родич мой Симон? – сказал он. Ребенок говорил медленно и очень важно. Он обратил внимание на большой, отделанный серебром футляр для ложки и двух ножей.

– Можно, родич! Как зовут тебя, свояк?

– Меня зовут Гэуте, сын Эрленда, свояк! – Он положил кусок свинины, который был у него в руке, прямо на колени к Симону, одетому в костюм из фламандского серебристо-серого сукна, вынул из футляра нож и стал внимательно рассматривать его. Потом взял нож, которым ел Симон, и ложку и положил вещи на место, чтобы посмотреть, как это все выглядит, когда прибор вложен в футляр. Он был очень серьезен и сильно измазал себе жиром пальцы и лицо. Симон с улыбкой глядел на красивое озабоченное личико.

Вскоре после этого у мужской скамьи появились и двое старших, а близнецы соскользнули под стол и подняли там возню среди ног гостей, то вылезая из-под стола к собакам, лежавшим у очага, то опять заползая под стол. Взрослые не могли есть без помехи. Правда, мать и отец выговаривали детям и приказывали им сидеть тихо и прилично, но те не

обращали на это никакого внимания. Надо сказать, что и родители все время хохотали над ними и, по-видимому, не относились особенно серьезно к их дурному поведению, – даже когда Лавранс довольно резко приказал одному из своих слуг убрать собак в нижнюю горницу, иначе здесь просто нельзя услышать своих собственных слов!

Семья из Хюсабю должна была спать в верхней горнице, и потому после обеда, пока мужчинам подавали еще разные напитки, Кристин и ее служанки отвели детей в угол и стали их там раздевать. Дети до такой степени перепачкались едой, что мать захотела их немного обмыть. Но малыши не желали мыться, а старшие расплескивали воду, и все пятеро бегали взад и вперед по горнице, пока женщины стаскивали с них на ходу одежду по частям. Наконец все забрались в одну из постелей, но там принялись шалить, возиться, спихивать друг друга, хохотать, визжать, а подушки, покрывала, простыни сдергивались то в одну сторону, то в другую, так что пыль столбом летела и вся горница пропахла сенной трухой. Кристин хохотала и заметила равнодушно: «Они потому так возбуждены, что ночуют в чужом месте».

Рамборг вышла из горницы проводить жениха и, пользуясь весенней ночью, немного прошлась с ним по дороге между изгородями. Гюрд и Гейрмюнд проехали вперед, а Симон остановился проститься с невестой. Он уже поставил ногу в стремя, как вдруг опять повернулся к девушке, схватил ее в свои объятия и стиснул нежного ребенка так сильно, что

Рамборг тихонько застонала, полная счастья.

– Благослови тебя Боже, моя Рамборг, какая ты чудесная и красивая… Слишком чудесная и красивая для меня! – пробормотал он в ее растрепавшиеся кудри.

Рамборг стояла, глядя ему вслед, когда он уезжал от нее в дымке лунного света. Потом потерла себе плечо, – Симон так схватил ее, что рука ныла. Пьяная от радости, она подумала: осталось всего лишь трое суток до того дня, когда она выйдет за него замуж!..

* * *

Лавранс стоял с Кристин перед детской кроватью, глядя, как дочь укладывает сыновей. Старшие были уже большими мальчиками, худощавыми, со стройными тонкими руками и ногами, но двое малышей были пухлыми и бело-розовыми, со складками на теле и ямочками на всех сгибах. Прекрасное зрелище, подумал он, видеть, как они лежат тут, раскрасневшиеся и разгоряченные, с пышными волосами, влажными от пота, и тихо дышат во сне. Здоровые, красивые дети, – но никогда еще он не видел столь дурно воспитанных ребят, как его внуки. Хорошо еще, что не было здесь сегодня сестры и невестки Симона! Но, уж верно, не ему говорить о воспитании детей… Лавранс тихонько вздохнул и перекрестил детские головки.

* * *

И вот Симон, сын Андреса, отпраздновал свою свадьбу с Рамборг, дочерью Лавранса, и свадьба их была красивой и пышной. У жениха и невесты были радостные лица, и многим показалось, что Рамборг была прекраснее в свой торжественный день, чем когда-то ее сестра, не так поразительно красива, как Кристин, но радостнее и ласковее той. Все могли убедиться, глядя в ясные, невинные глаза невесты, что она со всей честью носит сегодня золотой родовой венец Йеслингов.

И радостно и гордо сидела она с убранными и заколотыми волосами в кресле перед своей брачной постелью, когда гости пришли к молодым в первое утро. Со смехом и игривыми шутками смотрели они, как Симон надевал женскую повязку на голову своей молодой жены. От приветственных криков и звона оружия сотрясались стены, когда Рамборг поднялась с места и подала своему мужу руку, выпрямившись во весь рост, со щеками, рдевшими румянцем под белой косынкой.

Не так часто случается, чтобы двое детей знатного рода из одной местности сочетались браком, – если проследить род во всех его ветвях, то чаще всего бывает, что открывается слишком близкое родство. Поэтому все сочли этот брак великим и радостным праздником.

# VI

Приехав в Йорюндгорд, Кристин почти сразу же заметила, что все старые деревянные человеческие головы, стоявшие на крышах домов в виде коньков над скрещением причелин кровли, были убраны. Вместо них там появились шпицы с листвой и птицами и на новом стабюре – позолоченный флюгер. Точно так же прежние столбы почетного места в старой жилой горнице с очагом были заменены новыми. Прежние были вырезаны в виде двух мужей, правда довольно безобразных, по зато они стояли там с тех пор, как дом был построен, и в торжественных случаях их обычно смазывали салом и обмывали пивом. На новых столбах отец вырезал двух мужей со щитами и в шлемах со знаком креста. Это не сам святой Улав, – так говорил отец, ибо ему казалось непристойным, чтобы всякий грешник имел в своем доме изображения святых, разве только для того, чтобы читать перед ними молитвы, – собственно говоря, столбы как бы изображали двух воинов из стражи Улава. Все старые деревянные резные изображения Лавранс сам изрубил на куски и сжег, слуги не посмели это сделать. Им едва разрешили носить еду накануне праздников на большой камень у Йорюндова кургана, – но Лавранс все же счел, что было бы нехорошо лишать подношений того, кто спит в этом кургане и привык получать дары с тех самых пор, как люди живут здесь в усадьбе. Он

умер задолго до введения христианства в Норвегии, так уж не его вина, что он остался язычником!

Людям не нравились эти затеи Лавранса, сына Бьёргюльфа. Хорошо ему, раз у него есть средства купить себе защиту в ином месте. А она, видно, столь же действенна, ибо прежняя крестьянская удача не покидает Лавранса. Но еще вопрос, не отомстит ли за себя тот народ, когда здесь, в усадьбе, появится новый хозяин, менее благочестивый и не такой щедрый ко всему церковному. И маленьким людям было много дешевле отдавать прежним[33] то, что те привыкли получать, чем вступать с ними в ссоры и всецело держаться священников.

Впрочем было еще не ясно, как обернется дело с дружбой между Йорюндгордом и церковной усадьбой, когда отца Эйрика не станет. Священник стал теперь стар и плох, так что ему пришлось завести себе помощника. Сперва он говорил с епископом о своем внуке Бентейне, сыне Иона, но и Лавранс тоже поговорил с епископом, который был его другом еще с прежних времен.

Люди сочли это неправильным. Правда, молодой священник немного приставал к Кристин, дочери Лавранса, в тот вечер и, быть может, напугал девчонку, – однако, кто знает, не сама ли она вызвала парня на такую дерзость? Ведь впоследствии обнаружилось, что Кристин вовсе уж не была такой застенчивой, какой казалась. Но Лавранс всегда слиш-

---

[33] *То есть языческим Богам, не называемым из суеверия.*

ком доверял своей дочери, просто на руках ее носил, словно она была какой-то святыней!

Поэтому на некоторое время между отцом Эйриком и Лаврансом пробежал холодок. Но потом появился отец Сульмюнд, и он немедленно затеял раздоры с приходским священником из-за какого-то земельного участка, который не то принадлежал к церковным угодьям, не то составлял личную собственность Эйрика. Лавранс лучше всех жителей прихода знал о сделках, совершенных на землю с незапамятных времен, и его свидетельство решило судьбу спора. С тех пор они с отцом Сульмюндом не были друзьями, но зато отец Эйрик и старый дьякон Эудюн теперь, можно сказать, почти что жили в Йорюндгорде, ибо они являлись туда ежедневно и вечно сидели с Лаврансом, жалуясь на всякие несправедливости и докуку, которые им приходилось терпеть от нового священника, и притом их обслуживали так, словно это были два епископа.

Кристин кое-что слышала об этом от Боргара, сына Тронда из Сюндбю; жена его была из Трондхеймской области, и Боргар неоднократно гостил в Хюсабю. Тронд Йеслинг умер несколько лет тому назад; его смерть никого особенно не огорчила, ибо он был скорее всего как бы выродком в старом роду – жадным, упрямым и болезненным. Один лишь Лавранс уживался с Трондом, потому что жалел шурина, а еще больше Гюндрид, жену его. Теперь обоих их не было на свете, и все четверо сыновей их жили вместе в отцовской

усадьбе; они были способные, отважные и красивые люди, так что народ считал это изменением к лучшему. Между ними и мужем их тетки в Йорюндгорде была большая дружба, – Лавранс ездил в Сюндбю раза два каждый год и вместе с молодыми людьми охотился в западных горах. Но Боргар говорил, что прямо неестественно, до чего Лавранс и Рагнфрид мучат себя теперь покаянием да благочестием. «Воду он хлещет в посты все так же лихо, отец твой, но с ковшами, полными пива, уже не беседует с прежним добрым и сердечным расположением, как раньше когда-то», – рассказывал Боргар. Никто не может это понять, – ведь нельзя же предполагать, что Лаврансу нужно искупить какой-то тайный грех, и, насколько людям известно, ни одно дитя Адама, верно, не прожило такую христианскую жизнь, как он, – кроме разве господних святых!

Глубоко в душе Кристин шевельнулась смутная догадка, почему ее отец прилагает такое старание, чтобы подойти все ближе и ближе к Богу. Но она не посмела продумать эту мысль до конца.

Ей не хотелось признаться, что она заметила, как изменился отец. Не потому, что он так уж состарился: он держался все так же прямо, и осанка его по-прежнему была стройной и красивой. Волосы сильно поседели, но это не бросалось в глаза, потому что Лавранс был всегда таким светловолосым. И все же… В ее памяти вставал образ молодого, ослепительно красивого человека… Здоровая округлость щек на

узком, продолговатом лице, чистый румянец кожи под солнечным загаром, красные, полные губы и глубокие уголки рта. А теперь его мускулистое тело высохло и от него остались только жилы да кости, лицо побурело и заострилось, а в уголках рта образовались складки. Да, теперь он уже перестал быть молодым человеком, хотя, с другой стороны, был не так еще стар.

Спокойным, рассудительным и задумчивым Лавранс был всегда, и Кристин знала, что он с самых своих детских дней с особым рвением следовал христианским заветам, любил церковные службы и молитвы на языке римлян и посещал церковь как место, где получал удовольствие. Но все чувствовали, что смелый дух и радость жизни широкими и спокойными волнами вздымаются в душе этого тихого человека. А теперь что-то как будто унесло из его души отливом.

Кристин видела его пьяным единственный раз с тех пор, как приехала домой, – в один из вечеров на свадьбе в Форме. Тогда он пошатывался и с трудом ворочал языком, но не был особенно весел. Она помнила со времен своего детства, как на пирах по большим праздникам или в гостях ее отец хохотал во все горло и хлопал себя по ляжкам при каждой шутке, предлагал тянуть канат или бороться всем мужчинам, известным своей физической силой, испытывал лошадей, пускался в пляс и если держался на ногах нетвердо, то сам смеялся больше всех, сыпал подарками и излучал на всех потоки добродушия и дружелюбия. Она понимала, что

ее отец нуждается в сильном опьянении в промежутки между упорной работой, строгими постами, которые он держал, и тихой домашней жизнью со своими родными, видевшими в нем лучшего своего друга и поддержку.

Она чувствовала также, что у ее мужа не было никогда такой потребности напиваться допьяна, потому что он мало обуздывал себя, даже бывая совершенно трезвым, и неизменно следовал любым своим побуждениям, не раздумывая долго над тем, что правильно и что неправильно, что люди сочтут добрым обычаем и какое поведение назовут разумным. Эрленд был самым умеренным человеком в питье крепких напитков, какого только знала Кристин, – он пил для утоления жажды или ради общества, не придавая этому значения.

Ныне Лавранс, сын Бьёргюльфа, потерял прежнее свое доброе расположение духа за чашей с добрым пивом. Больше в нем уже не было того, что требовало выхода в опьянении. Никогда прежде не приходило ему в голову топить свое горе в хмельном, не появлялось у него такой мысли и теперь, ибо для него дело обстояло так, что за пиршественный стол человек должен нести радость.

Для своих горестей и печалей Лавранс искал иного места. В дочерней памяти всегда смутно вставал полузабытый образ: отец в ту ночь, когда горела церковь. Он стоял под распятием, им спасенным, держа крест и сам опираясь на него. Не продумывая этой мысли до конца, Кристин угадывала,

что боязнь за ее будущее и будущее ее детей с человеком, которого она выбрала, и чувство его собственного здесь бессилия – они-то отчасти и изменили Лавранса.

Сознание это тайно грызло ее сердце. И она приехала домой к своим усталой от суматошности последней зимы, от того легкомыслия, с каким она сама примирилась с беспечностью Эрленда. Она знала, что он был и остается мотом, что у него не хватает ума управлять своим имуществом, – оно тает под его управлением медленно и непрерывно. Кое в чем она добилась, чтобы он поступил по ее совету или по совету отца Эйлина, но у нее не хватало сил говорить с ним об этом вечно и беспрестанно. Да и соблазнительно было предаваться радости вместе с ним. Она так устала сражаться и бороться со всем, что было вокруг нее и в ее собственной душе. Ни ibkoh уж она была, что боялась также и беспечности и утомлялась от нее.

Здесь, дома, она надеялась опять обрести мир и покой дней своего детства под защитой отца.

…Но нет! Она чувствовала такую неуверенность. Эрленд получал теперь хорошие доходы со своего воеводства, но зато начал жить с еще большей пышностью, поставил дом на более широкую ногу, завел себе свиту, как у военачальника. И совсем устранил Кристин от всего в своей жизни, что не касалось их самого близкого общения. Она понимала, что ему нежелательно, чтобы за его поведением следили ее внимательные взоры. С мужчинами он достаточно охотно бол-

тал обо всем, что видел и переживал на севере, – с ней же не заговаривал об этом никогда. И было еще и другое. Несколько раз за эти годы он встречался с фру Ингебьёрг, матерью короля, и господином Кнутом Порее. Ныне господин Кнут стал датским герцогом, а дочь короля Хокона связана с ним брачными узами. Это вызвало горькую обиду в сердцах многих норвежских мужей; были предприняты шаги против фру Ингебьёрг, значения которых Кристин не понимала. А епископ бьёргвинский тайно прислал несколько ящиков в Хюсабю; они были теперь погружены на «Маргюгр», и корабль стоял на якоре у Рэумсдалского мыса. Эрленд получил какие-то письменные известия и собирался отплыть этим летом в Данию. На этот раз он непременно хотел взять Кристин с собой, но она воспротивилась. Она знала, что Эрленд вращается среди этой знати как человек равный и дорогой родственник, и потому побаивалась: все же так ненадежно, когда человек столь неосторожен, как Эрленд. Но не отважилась ехать вместе с ним – все равно ей не придется давать ему там советы. И, кроме того, ей не хотелось обрекать себя на общение с такими людьми, с которыми ей, обыкновенной женщине, будет трудно держаться на равной ноге. Да и к тому же еще она боялась моря, – морская болезнь ей гораздо хуже всяких родов, даже самых тяжелых.

И она жила дома в Йорюндгорде с постоянным беспокойством в душе.

* * *

Однажды она была со своим отцом в усадьбе Шенне. И вновь увидела ту замечательную драгоценность, которая хранилась там. Это была шпора из чистейшего золота, огромная, старинная на вид, со странными украшениями. Кристин, как и каждому ребенку в их округе, было известно, откуда она взялась.

Это случилось вскоре после того, как святой Улав окрестил жителей долины и Эудхильд Прекрасная из Шенне исчезла, заключенная в гору. Втащили церковный колокол на нагорье и звонили в него в поисках девушки; на третий вечер она появилась и уже шла по горному лугу, так украшенная золотом, что сверкала, как звезда. Но гут веревка лопнула, колокол скатился вниз по каменной осыпи, и Эудхильд пришлось вернуться в гору.

Но много лет спустя, однажды ночью, к священнику явились двенадцать витязей, – это был первый священник здесь, в Силе. На них были золотые шлемы, серебряные кольчуги, и они сидели верхом на темно-гнедых жеребцах. То были сыновья Эудхильд от горного короля, и они просили, чтобы их мать погребли по христианскому обряду и в освященной земле. Живя-де в горе, она старалась сохранить свою веру и соблюдала все праздники, поэтому слезно молит об этой милости. Но священник отказал; в народе рассказывалось, что

за это он теперь сам не знает себе покоя в могиле: осенними ночами бывает слышно, как он бродит по роще выше церкви и плачет, раскаиваясь в своей жестокости. В ту же ночь сыновья Эудхильд отправились в Шенне с поклоном от своей матери ее старым родителям. Наутро во дворе была найдена золотая шпора. И тамошний народ, видно, до сих пор считает себя в родстве с потомками семьи из Шенне, ибо им всегда сопутствует особенное счастье в горах.

Когда они ехали светлой летней ночью домой, Лавранс сказал дочери:

– Эти сыновья Эудхильд читали христианские молитвы, которым научились у матери. Им нельзя было поминать имя Божье и имя Христа, потому «Отче наш» и «Верую» они читали так: «Верую в того всемогущего, верую в сына единородного, верую в духа пресильного». И еще они читали: «Привет тебе, госпожа, благословенна ты среди жен… благословен плод чрева твоего, утешение мира…»

Кристин посмотрела застенчиво в худое, обветренное лицо отца. В свете летней ночи оно казалось таким изможденным заботами и тяжкими размышлениями, каким ей еще никогда не приходилось его видеть.

– Этого вы мне раньше не рассказывали, – сказала она.

– Разве нет? Наверное, мне казалось, от этого у тебя могут появиться не по возрасту тяжелые мысли. Отец Эйрик говорит, у святого Павла апостола написано: не один мир людской вздыхает от мук…

* * *

Как-то Кристин шила, сидя на самой верхней ступеньке лестницы, ведущей в верхнюю горницу, как вдруг во двор усадьбы въехал Симон и остановился внизу, не замечая Кристин. Родители ее вышли из дому. Но Симон не спрыгнул с коня: Рамборг просто наказала ему спросить, когда он будет проезжать тут мимо, насчет ее любимой овечки, – ее не отправили на горный выгон? Рамборг хотелось бы взять ее себе.

Кристин видела, что отец ее почесал в затылке. Да-а, овечка Рамборг! Он сердито рассмеялся. Очень досадно, он надеялся, что Рамборг забудет про нее. Дело в том, что он подарил двум старшим внукам по ручному топорику. И первое, что они сделали, пустив топорики в ход, – это зарубили насмерть овечку Рамборг.

Симон усмехнулся:

– Да уж, эти молодцы из Хюсабю – настоящие разбойники… Кристин, сбежав по ступенькам вниз, сняла с цепочки на поясе свои серебряные ножницы.

– Вот, отдай их Рамборг как пеню за то, что сыновья мои. зарезали ее овцу! Я знаю, ей с самых малых лет хотелось получить такие ножницы. Пусть никто не говорит, что мои сыновья…

Она говорила запальчиво, но вдруг сразу умолкла. Она

увидела лица своих родителей, – Лавранс и Рагнфрид глядели на нее неодобрительно и изумленно.

Симон не взял ножниц и, по-видимому, был смущен. Тут он заметил Бьёргюльфа, подъехал к нему, наклонился и, подхватив мальчика, посадил его перед собой на седло.

– А, ты, викинг, совершаешь здесь набеги на наши поселки? Ну, ты теперь мой пленник! Пусть завтра твои родители приедут ко мне, и мы поторгуемся с ними насчет выкупных денег…

С этими словами он, со смехом обернувшись, помахал рукой в знак привета и ускакал с мальчиком, который хохотал и барахтался у него в руках. Симон очень подружился с сыновьями Эрленда. Кристин вспомнила, что он всегда питал склонность к детям; ее младшие сестренки тянулись к нему. Ей бывало ужасно обидно, что Симон так любит детей и умеет занимать их играми, тогда как ее собственный муж столь мало обращает внимания. на болтовню малышей.

Впрочем, день спустя, когда они были в Формо, она узнала, что жена не поблагодарила Симона за то, что он привез с собой домой такого гостя.

– Нечего и ожидать от Рамборг, чтобы ее уже теперь занимали дети, – сказала Рагнфрид. – Ведь она еще сама-то едва вышла из детского возраста. Конечно, будет совсем иное, когда она станет старше.

– Пожалуй! – Симон и его теща обменялись взглядом и чуть заметной улыбкой.

«Ах, вот что! – подумала Кристин. – Ведь скоро уже два месяца со времени их свадьбы…»

* * *

Возбужденная и неспокойная душой, – такой была сейчас Кристин, – она вымещала свое настроение на Эрленде. Он относился к пребыванию в усадьбе родителей жены спокойно и с удовлетворением, точно был праведником. Он дружил с Рагнфрид и ясно показывал, что ему чрезвычайно нравится тесть, да, по-видимому, и Лавранс любил своего зятя. Но Кристин стала теперь такой болезненно-впечатлительной, что чувствовала в добром отношении отца к Эрленду многое от той снисходительности, которую Лавранс всегда питал к каждому живому существу, казавшемуся ему не очень способным справляться с невзгодами самостоятельно. Не такова была его любовь к мужу второй дочери: Симона он встречал как друга и товарища. И хотя Эрленд по своему возрасту стоял гораздо ближе к тестю, чем Симон, однако Симон и Лавранс говорили друг другу ты. Эрленду же, с того самого времени, как он сделался женихом Кристин, Лавранс говорил ты, а тот обращался к отцу на вы. Лавранс никогда не предлагал изменить это, обращение.

Симон и Эрленд тоже держались по-приятельски, когда встречались, но не искали общества друг друга. Кристин продолжала испытывать тайное смущение перед Симоном

Дарре, – из-за того, что он знал о ней, и еще больше – из-за сознания, что в тот раз он вышел из положения с честью, а Эрленд – со срамом. Ее просто бесило, когда она думала о том, что, видимо, даже это Эрленд смог позабыть! Поэтому она не всегда бывала обходительна с мужем. Если Эрленд бывал в хорошем настроении и сносил ее раздражительность добродушно и кротко, то Кристин злило, что он не принимает близко к сердцу ее слов. Другой раз случалось, что у него не хватало терпения, и тогда он выходил из себя, но Кристин отвечала ему язвительно и холодно.

Как-то вечером они сидели в Йорюндгорде в старой горнице – Лаврансу больше всего нравилось это помещение, в особенности в дождливую погоду и при таком тяжелом воздухе, как, например, сегодня, ибо в новой горнице под верхними покоями был плоский потолок, и дым от печи там очень мешал, а в старой горнице дым уходил над очагом вверх под стропила крыши, даже когда приходилось закрывать из-за непогоды дымовую отдушину.

Кристин шила, сидя у очага; она была в дурном настроении и скучала. Напротив нее дремала над своим шитьем Маргрет, время от времени позевывая. Дети возились и шумели в горнице. Рагнфрид была в Формо, а большинство слуг и служанок ушло из дому. Лавранс сидел на почетном месте, а Эрленд – около него, на внешней скамье; между ними стояла шахматная доска, и они молча, после долгого раздумья, передвигали фигуры. Один раз, когда Ивар и Скюле стара-

лись разорвать какого-то щенка на две части и тянули его в разные стороны, Лавранс встал и отнял у них визжавшее маленькое животное. Он ничего не сказал и снова сел за игру, держа щенка на коленях.

Кристин подошла и стала следить за игрой, положив руку на плечо мужа. Эрленд играл в шахматы гораздо хуже тестя, поэтому чаще всего он проигрывал, когда они по вечерам садились за доску, но относился к этому спокойно и равнодушно. В этот вечер он играл очень плохо. Кристин все время пилила его за это – не очень-то ласково и нежно. В конце концов Лавранс сказал довольно сердито:

– Не может Эрленд сосредоточить свои мысли на игре, раз ты торчишь тут и его беспокоишь! Чего тебе надо здесь, Кристин? Ведь ты же ничего не понимала в шахматах!

– Ну конечно, по-вашему я вообще ничего не понимаю!

– Одного, по-моему, ты, во всяком случае, не понимаешь, – сказал резко отец, – а именно, как подобает жене разговаривать со своим мужем. Лучше уйди отсюда и уйми детей: они совсем ошалели.

Кристин отошла от играющих, посадила всех детей в один ряд на скамью и сама села с ними.

– Сидите теперь тихо, сыночки! – сказала она. – Ваш дедушка не хочет, чтобы вы тут играли и забавлялись.

Лавранс взглянул на дочь, но промолчал. Немного погодя в горницу вошли няньки, и Кристин, служанки и Маргрет отправились укладывать детей спать. Эрленд сказал, когда

они с тестем остались одни:

– Мне хотелось бы, тесть, чтобы вы не выговаривали Кристин. Если она находит для себя утешение в том, что пилит меня, когда у нее бывает вот такое дурное настроение… то ведь разговоры с ней не помогут. И она терпеть не может, чтобы кто-нибудь говорил плохо о ее детях!..

– А ты, – спросил Лавранс, – ты намерен терпеть, чтобы твои сыновья росли такими невежами? Где же это они, все те служанки, которые должны пестовать их и наблюдать за ними?

– Я думаю, с вашими слугами в людской! – сказал Эрленд со смехом и потянулся. – Но я не смею и слова молвить Кристин об ее девушках-служанках. А то она разгневается и доведет до моего сведения, что ни она, ни я не были образцом для людей!..

* * *

День спустя Кристин бродила по лужку к югу от усадьбы, собирая землянику. Вдруг отец окликнул ее из дверей кузницы и велел зайти к нему.

Кристин пошла с неохотой – наверное, опять что-нибудь насчет Ноккве: в это утро он открыл ворота, и все коровы, не отправленные в горы, забрели в ячменное поле.

Отец вынул из горна кусок раскаленного докрасна железа и положил его на наковальню. Дочь сидела, дожидаясь, и

долгое время не слышно было иных звуков, кроме ударов молота по брызгавшему искрами будущему крюку для подвешивания котла и ответного звонкого гудения наковальни. Наконец Кристин спросила, что ему от нее нужно.

Железо уже остыло. Лавранс отложил в сторону клеши и кувалду и подошел к дочери. С сажей на лице и на волосах, с почерневшими руками и одеждой, в большом кожаном переднике, он казался более строгим, чем обычно.

– Я позвал тебя сюда, дочь моя, ибо хочу сказать тебе вот что. Здесь, в моем доме, ты обязана оказывать своему супругу то уважение, которое приличествует жене. Я не желаю слушать, чтобы дочь моя отвечала своему мужу так, как ты отвечала и разговаривала с Эрлендом вчера!

– Это для меня новость, отец, что вы начали считать Эрленда человеком, которому люди должны, оказывать уважение!

– Он твой муж, – сказал Лавранс. – Ведь я не применял к тебе насилия, чтобы состоялся этот брак. Тебе следует это помнить.

– У вас с ним такая горячая дружба, – отвечала Кристин. – Если бы вы знали его тогда вот так, как теперь, то, наверное, выдали бы меня замуж насильно.

Отец посмотрел на нее серьезно и огорченно.

– Ты сейчас отвечаешь, Кристин, слишком поспешно и говоришь, как сама знаешь, неправду. Я не пытался принуждать тебя, когда ты захотела бросить своего законного жени-

ха, хотя ты знаешь, что я сердечно люблю Симона…

– Да… Но ведь Симон тоже не хотел тогда брать меня замуж…

– А-а? Он был слишком благороден, чтобы упорно настаивать на своем праве, раз ты не хотела. Но я еще не знаю, очень ли противился бы он в глубине души, поступи я так, как хотел Андрес Дарре… то есть, чтобы мы не обращали внимания на дурачества таких вот двух молодых людей, как вы оба! И вскоре я буду, пожалуй, думать: а не прав ли был рыцарь? Когда вижу теперь, что ты не можешь жить благопристойно с супругом, которого сама же во что бы то ни стало желала получить!..

Кристин засмеялась нехорошим, громким смехом.

– Симон! Никогда вам не удалось бы принудить Симона жениться на женщине, которую он застал с другим мужчиной в таком доме…

У Лавранса перехватило дыхание.

– Доме? – невольно произнес он.

– Да… В таком, какой вы, мужчины, называете борделью. Та, что владела им, – это была любовница Мюнана, – она сама предупреждала меня, чтобы я туда не ходила. Я сказала: «Мне надо встретиться с моим родичем». Я и не знала, что он был ее родичем…

Она опять засмеялась нехорошим, озлобленным смехом…

– Замолчи! – крикнул отец.

Он постоял немного. Дрожью подернулось его лицо… внезапно словно поблекло от улыбки. Кристин невольно подумала про лес на горном склоне… Так тот белеет, когда порыв бури вывертывает каждый лист, – блистающий и бледный отсвет.

– Многое узнает тот, кто не расспрашивает… Кристин бессильно поникла, сидя на скамейке, облокотилась на одну руку, а другою прикрыла глаза. Впервые за всю свою жизнь она испугалась отца – испугалась смертельно.

Лавранс отвернулся от нее, отошел, взял кувалду, поставил ее на место среди других. Потом собрал напильники и мелкие инструменты и принялся раскладывать их в порядке на поперечной балке между стен. Он стоял спиной к Кристин; руки у него странно дрожали.

– А ты никогда не задумывалась, Кристин… Ведь Эрленд молчал об этом. – Он остановился перед ней, глядя сверху вниз в ее белое, испуганное лицо. – Я ответил ему: «Нет» – наотрез, когда он приехал ко мне в Тюнсберг со своими богатыми родичами и посватался к тебе… Я не знал тогда, что мне следовало бы благодарить его за то, что он хотел восстановить честь моей дочери… Многие мужчины в подобном случае поспешили бы дать мне это понять…

Но он приехал снова и сватался к тебе со всей честью. Не всякий проявил бы такое усердие, чтобы взять за себя замуж ту, которая уже… которая была… такой, какой ты была тогда!

– Этого ни один мужчина, мне кажется, не посмел бы рассказать вам…

– Не холодного булата боялся когда бы то ни было Эрленд!.. – Вдруг в лице Лавранса появилась какая-то невыразимая усталость, голос его был мертв и беззвучен. Но вот он снова заговорил спокойно и твердо. – Как это все ни скверно, Кристин… но, по-моему, еще хуже то, что ты говоришь так теперь, когда он стал твоим мужем и отцом твоих сыновей…

Если все обстоит так, как ты говоришь, значит ты знала о нем самое худшее еще до того, как столь упрямо стремилась выйти за него замуж. И все же он готов был приобрести тебя дорогой ценой, словно ты еще была честной девушкой. Большую свободу предоставил он тебе распоряжаться всем и править… Поэтому ты должна искупить свой грех тем, что будешь править разумно и исправлять там, где у Эрленда не хватает предусмотрительности… Это твой долг перед Богом и перед твоими детьми!

Я сам говорил, да и другие тоже, что, пожалуй, Эрленд способен только обольщать женщин. И ты виновата в том, что такие вещи говорились: это ты сама сейчас засвидетельствовала. Однако потом он показал, что у него есть способности и на другое… Твои муж приобрел себе доброе имя своей доблестью и быстротой действий во время войны. Твои сыновья могут гордиться, что их отец заслужил славу смелостью, и отвагой, и умением владеть оружием. Что он был…. неразумен… об этом тебе должно быть известно лучше, чем

всем нам. Ты скорее искупишь свой срам, если будешь оказывать уважение и помогать тому супругу, которого ты сама себе выбрала.

Кристин низко склонилась к самым коленям, обхватив голову руками. При этих словах она взглянула на отца, бледная, в полном отчаянии.

– Жестоко с моей стороны было рассказать вам это. Ох!.. Симон просил меня… Только об этом он меня и просил!.. Чтобы я пожалела вас и не сообщала вам самого худшего…

– Симон просил тебя пожалеть меня?.. – Она услышала страдание в его голосе. И поняла: было тоже жестокостью с ее стороны сказать ему, что чужой человек счел необходимым напомнить ей о жалости к отцу.

Тут Лавранс присел к ней, взял в свои руки ее руку и положил ее себе на колено.

– Это было жестоко, моя Кристин! – сказал он ласково и печально. – Ты добра со всеми, дитя мое хорошее, но я понял давно уже, что ты можешь быть жестокой с теми, кого любишь слишком сильно. Ради бога, Кристин, избавь меня от того, чтобы мне нужно было бояться за тебя! Не принесла бы эта твоя необузданность еще большего горя тебе и твоим. Ты брыкаешься, как молодая лошадь, которую впервые привязали к столбу, а ведь ты привязана корнями сердца своего.

Рыдая, приникла она к нему, и отец крепко обнял ее и прижал к себе. Так они долго сидели, но Лавранс больше ничего не говорил. Наконец он приподнял ее голову.

– Ты совсем черная, – сказал он с легкой улыбкой. – Вот там, в углу, лежит тряпка… Только ты об нее еще больше испачкаешься. Ступай домой и умойся… А то, глядя на тебя, все подумают, что ты сидела на коленях у кузнеца!

Он нежно вытолкал дочь за дверь, закрыл ее и немного постоял. Потом, шатаясь, сделал несколько шагов к скамейке, рухнул на нее и остался сидеть, упершись затылком в бревна стены, и закинул кверху искаженное лицо. Изо всех сил он прижимал руку к тому месту, где билось сердце.

Сколько же это может продолжаться? Не хватает воздуху, слабость и темнота перед глазами, боль, распространившаяся в руку от сердца, которое боролось и трепетало, отбивало несколько ударов и потом опять останавливалось трепеща. Кровь стучала в жилах на шее.

Ничего, скоро пройдет. Это всегда проходит, стоит только ему спокойно посидеть. Но опять возвращается все чаще и чаще.

* * *

Эрленд назначил людям со своего корабля местом встречи остров Веэй, а временем – канун дня святого Иакова, но сам немного задержался в Йорюндгорде, отправившись с Симоном на охоту на матерого медведя, причинявшего много вреда скоту, пасшемуся на горном выгоне. Когда он вернулся с охоты домой, его ждало там известие, что его люди по-

дрались с горожанами, и ему пришлось поспешить на север, чтобы выручать своих. У Лавранса было там какое-то дело, и поэтому он поехал верхом вместе с зятем.

Время шло уже к осеннему празднику святого Улава, когда они прибыли на остров. Там уже стоял на якоре корабль Эрлинга, сына Видкюна, а за вечерней в церкви святого Петра они встретили и самого наместника. Он отправился вместе с ними на монастырское подворье, где остановился Лавранс, отужинал там с ними и послал своих людей на корабль принести оттуда особо хорошего французского вина, которое он достал в Нидаросе.

Но беседа за вином проходила вяло. Эрленд сидел, погруженный в свои собственные думы, с веселым огоньком в глазах, который у него всегда появлялся, когда предстояло что-то новое, слушал рассеянно речи других; Лавранс только прихлебывал вино, и господин Эрлинг молчал.

– У тебя усталый вид, родич! – сказал ему Эрленд. Оказывается, в прошлую ночь при переходе через залив они были застигнуты бурей и Эрлингу пришлось все время быть наверху…

– И тебе придется скакать сломя голову, если ты хочешь добраться до Тюнсберга ко дню святого Лаврентия! К тому же большого удовольствия или покоя себе ты и там не найдешь. Если магистр Поль сейчас с королем…

– Да. А ты не зайдешь в Тюнсберг по пути?

– Разве только, чтобы осведомиться, не пошлет ли король

своей матери ласкового сыновнего привета. – Эрленд рассмеялся. – Или не отправит ли епископ Эудфинн какого-нибудь известия фру Ингебьёрг.

– Многих изумляет, что ты отплываешь в Данию в такое время, когда все военачальники направляются на совещание в Тюнсберг, – сказал господин Эрлинг.

– Не странно ли, что люди всегда изумляются мне? Но ведь может же у меня явиться желание посмотреть немного на добрые обычаи, каких я не видел с тех самых пор, как был в последний раз в Дании. Снова принять участие в турнире… Да еще если наша родственница пригласила нас. Ведь с ней теперь никто не хочет знаться из ее родных здесь, в Норвегии, кроме Мюнана и меня!

– Мюнана… – Эрлинг наморщил брови. Потом рассмеялся. – Разве в этом – я чуть не сказал старом… кабане еще осталось столько жизни, что он в состоянии передвигать свою тушу? Итак, значит, герцог Кнут собирается устраивать турниры! Конечно, и Мюнан выедет на ристалище?

– Да… И жаль мне тебя, Эрлинг, что ты не хочешь поехать с нами и взглянуть на это зрелище. – Эрленд тоже засмеялся. – Я замечаю, что ты боишься, не для того ли пригласила нас фру Ингебьёрг к себе на эти крестины, чтобы мы заварили там пиво совсем для другого пиршества. Но ты же сам прекрасно знаешь, что у меня слишком неловкие лапы и слишком легкомысленное сердце, чтобы меня можно было использовать для тайных целей. А Мюнану вы уже повыдер-

гали все зубы!..

– Ну нет, мы с этой стороны вовсе не так уж боимся заговоров. Ведь теперь Ингебьёрг, дочь Хокона, должна бы вполне уяснить себе, что она потеряла всякие права в своей родной стране, с тех пор как вышла замуж за этого Порее. Трудно было бы ей ступить хотя бы одной ногой на наш порог, раз она вложила свою руку в руку человека, даже мизинца которого мы не хотим видеть в пределах своих границ…

– Да, с вашей стороны было умно разлучить мальчика с его матерью… – мрачно сказал Эрленд. – Еще он ребенок… а уже у нас, норвежцев, есть основания высоко держать голову, когда подумаем о короле, которому мы клялись в верности…

– Замолчи! – сказал Эрлинг тихо и сокрушенно. – Это… несомненно, неправда…

Оба собеседника поняли по его виду, что он сам знает, что это правда. Хотя король Магнус, сын Эйрика, не вышел еще из детского возраста, но он уже был заражен грехом, о котором не приличествует упоминать среди людей крещеных. Один шведский клирик, приставленный к нему для обучения его чтению и письму, когда он жил в Швеции, сбил его с пути совершенно несказуемым образом…

Эрленд сказал:

– Люди шепчутся в каждой усадьбе и в каждой хижине у нас на севере, что собор в Нидаросе сгорел, потому что наш король недостоин сидеть на престоле святого Улава.

– Ради Бога, Эрленд!.. Я говорю, еще неизвестно, правда ли это! А это дитя, король Магнус, безгрешно в глазах Господа, мы должны тому верить… Он может очистить себя… Ты говорил, мы разлучили его с матерью! А я говорю: да накажет Господь мать, которая изменяет своему ребенку, как Ингебьёрг изменила своему сыну… Таким нельзя доверять, Эрленд! Помни: люди, на свидание с которыми ты теперь едешь, вероломны!

– Мне думается, друг другу они были достаточно верны… Но вот ты говоришь так, словно послания с неба падают тебе в полу плаща каждый день… Не потому ли ты позволяешь себе быть столь отважным, что готов грызться с князьями церкви?..

– Довольно, Эрленд! Говори о том, любезный, в чем ты смыслишь, или молчи! – Господин Эрлинг поднялся с места. Оба они с Эрлендом стояли злые, с раскрасневшимися лицами.

Эрленд скривил рот – так ему стало противно.

– Животное, с которым осквернился человек, мы убиваем и бросаем его тело в водопад…

– Эрленд! – Наместник схватился за край стола обеими руками. – У тебя самого есть сыновья… – сказал он тихо. – Как можешь ты произносить такие слова… Следи за своим языком, Эрленд! Подумай, прежде чем сказать что-нибудь там, куда ты едешь, и. двадцать раз подумай, прежде чем сделать что-нибудь…

– Если так поступаете вы, правящие делами государства, то меня не удивляет, что все у нас идет вкривь и вкось! Но, разумеется, тебе нечего опасаться. – Он скривил рот. – Я… Я… конечно, ничего не стану делать. Однако великолепно жить в нашей стране!.. Ну, тебе ведь надо рано вставать завтра. А мой тесть устал…

Двое других, не говоря ничего, остались еще посидеть после того, как Эрленд пожелал им спокойной ночи. Эрленд ночевал у себя на корабле. Эрлинг, сын Видкюна, сидел, вертя в руках кубок.

– Вы кашляете? – сказал он, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Старые люди постоянно кашляют да отхаркиваются. У нас столько немощей, дорогой господин мой, о которых вы, молодежь, ничего не знаете! – сказал улыбаясь, Лавранс.

Так они еще посидели. Наконец Эрлинг, сын Видкюна, произнес как бы про себя:

– Да, вот так все думают… что плохи дела нашего государства. Шесть лет тому назад в Осло мне показалось, что твердое намерение поддержать королевскую власть обнаружилось совершенно ясно… среди мужей из тех родов, которые предназначены для таких деяний. Я… Я основывал на этом свои расчеты.

– Мне кажется, вы видели тогда это совершенно правильно, господин. Но вы сами сказали, что мы привыкли сплачиваться вокруг своего короля. Нынче он еще дитя… и поло-

вину всего времени проводит в другой стране…

– Да. Иной раз я думаю… нет худа без добра. В прежние времена, когда наши короли скакали, как дикие жеребцы… Бывало, ставь на любого из отличнейших жеребят. Народу только требовалось выбрать того, кто мог лучше огрызаться…

Лавранс засмеялся:

– Да, да!

– Мы беседовали с вами три года тому назад, Лавранс, Сын лагмана, когда вы вернулись после своего паломничества в Скёвде и повидались со своими родичами в Гэутланде…[34]

– Я помню, господин, вы почтили меня тогда своим посещением…

– Нет, нет, Лавранс! Не надо говорить любезностей… – Его собеседник довольно нетерпеливо махнул рукой. – Вышло так, как я говорил, – произнес он мрачно. – Никто не может объединить сыновей господских у нас в стране. Лезут вперед те, кому хочется послаще поесть, – кое-что еще осталось в корыте. Но те, кто мог бы стремиться к приобретению власти и богатства таким путем, которым следовали с честью прежде, во времена наших отцов, те не выходят вперед.

– Похоже на то. Да ведь и то сказать, что честь следует за знаменем вождя.

– Тогда люди должны считать, что за моим знаменем сле-

---

[34] *Гэутланд – часть Швеции.*

дует мало чести, – сказал Эрлинг сухо. – Вот вы теперь держитесь в стороне от всего, что может прославить ваше имя, Лавранс, Сын лагмана…

– Я поступаю так с того времени, как стал женатым человеком, господин. А я женился рано… Моя супруга недомогала, и ей трудно было общаться с людьми. Да, видно, и роду нашему не процвесть здесь, в Норвегии. Мои сыновья умерли рано, и только один из моих племянников дожил до взрослых лет.

Ему стало неприятно, что он вынужден был сказать это. Ведь Эрлинг, сын Видкюна, пережил то же самое. Дочери его были здоровыми и все выросли, но ему удалось сохранить в живых всего одного сына, и то, говорят, мальчик слаб здоровьем. Но господин Эрлинг только спросил:

– У вас, насколько я припоминаю, и со стороны матери нет близких родичей?

– Да, самые близкие – это дети сестер деда по матери. У Сипорда, сына Лодина, было только две дочери, и те умерли при первых же родах… Моя тетка по матери сошла в могилу вместе со своим ребенком.

Они опять немного посидели молча.

– Такие, как Эрленд, – тихо произнес наместник короля, – это самые опасные люди, – те, которые думают чуть дальше собственной корысти… но недостаточно далеко. Разве Эрленд не похож на ленивого мальчишку? – Он сердито двигал кубком по столу. – Что, он мало одарен? Или незнатного ро-

да? Или не отважен? Но никогда он не потрудится выслушать о каком-либо деле столько, чтобы понять его основательно!.. А если бы он и потрудился дослушать человека, так он, конечно, забыл бы начало, прежде чем тот дойдет до конца!..

Лавранс взглянул на своего собеседника. Господин Эрлинг сильно постарел с тех пор, как они виделись, в последний раз. Он выглядел усталым и измученным, казалось, стал как-то меньше занимать места. У Эрлинга были тонкие, красивые черты лица, но, пожалуй, чересчур мелкие, и, кроме того, какой-то, словно выцветший оттенок кожи, – таким он и прежде был. Лавранс почувствовал, что этот человек, хоть он и был рыцарем прямодушным, умным, готовым служить без лукавства и не щадя себя, но во всем он немного слишком мал, чтобы быть первым. Будь он хотя бы на голову выше – конечно, ему легче было бы найти себе сторонников. Лавранс тихо сказал:

– Такой умный человек, как господин Кнут, не может не видеть… если они там что-то замышляют… что в тайных делах ему не много пользы будет от Эрленда.

– Вам этот ваш зять чем-то нравится, Лавранс, – сказал его собеседник почти сердито. – Хотя, по правде сказать, причины любить его у вас как будто нет…

Лавранс сидел, обмакивая палец в винную лужицу на столе и рисуя на нем узоры. Господин Эрлинг заметил, что кольца на его пальцах сидят теперь совсем свободно.

– А у вас есть? – Лавранс взглянул на него и улыбнулся

милой своей улыбкой. – И все же мне кажется, вам он нравится тоже!

– Да… Один Бог знает!.. Но вы прекрасно понимаете, Лавранс, какие мысли могут посещать господина Кнута… Ведь его сын приходится внуком королю Хокону!..

– Однако даже Эрленд должен понимать, что у отца этого ребенка слишком уж широкая спина для того, чтобы маленький принц смог когда-либо выйти из-за нее. А против его матери весь наш народ из-за этого ее брака.

Немного спустя Эрлинг, сын Видкюна, встал и подвесил к поясу меч. Лавранс учтиво снял с крюка плащ гостя и стоял, держа его в руке, – и вдруг покачнулся и едва не рухнул на пол, но господин Эрлинг успел подхватить его. С трудом он отнес Лавранса на кровать – тот был такой большой и тяжелый. Это не был удар… Лавранс лежал белый, с посиневшими губами, с бессильными, обмякшими руками и ногами. Господин Эрлинг опрометью перебежал двор и велел разбудить монаха-управителя.

По-видимому, Лавранс был смущен чрезвычайно, когда сознание вернулось к нему. Это у него слабость, которая появляется по временам… А началось с того времени, как он был на охоте на лося две зимы тому назад, – он заблудился тогда в метель. «Такие вещи нужны, чтобы человек понял, что молодость покинула тело», – улыбнулся он как бы в извинение.

Рыцарь подождал, пока монах пустит больному кровь, хо-

тя Лавранс и просил господина Эрлинга не беспокоиться, – ведь ему на рассвете нужно отправляться в дорогу.

Яркий месяц стоял высоко над горами, и у берега вода казалась черной, но вдали, при выходе из фьорда, блики луны лежали на ней серебряными хлопьями. Ни дымка из дымовых отверстий; трава на крышах домов блестела от росы в лунном сиянии. Ни души на единственной улочке местечка, когда господин Эрлинг быстро проходил те несколько шагов, которые отделяли его от королевской усадьбы, где он ночевал. Он казался до странности хрупким и маленьким в большом плаще, в который плотно закутывался, – его била легкая дрожь. Двое-трое заспанных слуг, дожидавшихся его прихода, выскочили во двор с фонарем. Наместник короля взял фонарь, отослал слуг спать и, дрожа и поеживаясь, стал подниматься по лестнице в светличку стабюра, где он спал.

# VII

Вскоре после Варфоломеева дня Кристин отправилась в обратный путь со всей своей огромной свитой из детей, служанок и слуг с их скарбом. Лавранс доехал с ней верхом до Йердкинна.[35]

В то утро, когда Лаврансу нужно было возвращаться домой в долину, отец с дочерью прохаживались по двору, беседуя. Горы были залиты ярким солнцем, болота уже покраснели, а пригорки пожелтели от золотой березовой поросли. Вдали, на плоскогорье, то поблескивали, то опять темнели озерки, по мере того как тени больших светлых облаков, предвещавших хорошую погоду, проходили над ними. Они безостановочно наплывали и потом спускались в далекие расщелины и узкие долины среди серых пиков и синих гор с полосами свежевыпавшего снега и в старых снежных шапках, обступивших дальний окоем. Маленькие серо-зеленые хлебные поля, принадлежавшие постоялой избе, резко выделялись по цвету среди этого по-осеннему сверкающего мира гор.

Дул свежий и резкий ветер… Лавранс натянул на голову Кристин капюшон плаща, сорванный ветром и спустившийся ей на плечи, и заправил пальцем краешек ее полотняной повязки.

---

[35] *Йердкинн – в те времена постоялая изба на плоскогорье Допре.*

– Ты что-то побледнела и похудела у меня дома! – сказал он, – Разве мы плохо ухаживали за тобой, Кристин?..

– Нет, хорошо! Это не оттого…

– Видимо, утомительно путешествовать с такой кучей детей, – высказал предположение отец.

– О да! Хотя не из-за этих пятерых у меня бледные щеки… – Она улыбнулась мимолетной улыбкой, и когда отец взглянул на нее испуганно и вопрошающе, Кристин кивнула ему и снова усмехнулась.

Отец отвернулся в сторону, но спустя немного времени спросил:

– Итак, насколько я понимаю, может статься, ты не так скоро сможешь опять приехать домой, в долину?

– Восемь лет на этот раз, наверное, не придется ждать, – сказала она, продолжая улыбаться. Тут она увидела, какое у отца лицо. – Отец! Ах, отец мой!

– Тс! Тс! Дочь моя! – Он невольно схватил ее за плечи и остановил. Кристин уже готова была кинуться к нему в объятия. – Да Кристин же…

Он крепко сжал ей руку и пошел, ведя дочь за собой. Они оставили постройки позади и шли теперь по тропинке через пожелтевший березняк, не думая, куда бредут. Лавранс перепрыгнул через ручеек, перерезавший тропинку, обернулся к дочери и подал ей руку.

Она заметила, что даже в этом простом движении не было его прежней упругости и ловкости. Она и раньше видела, хо-

тя и не задумывалась над этим, что отец уже не вспрыгивает в седло и не соскакивает с лошади с былой легкостью, не взбегает по лестнице на чердак, не подымает таких тяжестей, как раньше. Все его тело утратило прежнюю подвижность, и он стал как-то более осторожным, словно носил в своем теле какую-то вечно дремлющую боль и передвигался тихо, чтобы не разбудить ее. Когда он входил в горницу после поездки верхом, видно было, как кровь бьется у него в жилах на шее. Иногда Кристин замечала, что под глазами у него опухало или отекало… Ей вспомнилось, что однажды утром она вошла в горницу, а отец лежал полуодетый на постели с босыми ногами, перекинутыми через край кровати: мать сидела перед ним на корточках и растирала ему щиколотки.

– Если ты будешь горевать о каждом, кого валит с ног старость, тебе придется о многом печалиться, дитя мое, – заговорил он ровным и спокойным голосом. – У тебя у самой теперь большие сыновья, Кристин, и потому, конечно, для тебя не может быть неожиданностью, когда ты видишь, что твой отец скоро станет старым хрычом. Когда мы расставались, а я еще был молодец… Ведь мы тогда тоже знали не больше, чем теперь, суждено ли нам будет когда-либо встретиться снова здесь, на земле. А я еще могу прожить долго… Уж это как будет Богу угодно, Кристин!

– Вы больны, отец? – спросила она беззвучно.

– С годами приходят разные немощи, – беспечно отвечал Лавранс.

– Ведь вы же не стары, отец! Вам пятьдесят два года…

– Моему отцу и того не было. Иди-ка посиди здесь со мной!..

Под скалистой стеной, нависшей над ручьем, было нечто вроде невысокой полки, поросшей травой. Лавранс отстегнул плащ, сложил его и посадил на него дочь с собою рядом. Ручеек с журчанием струился по камешкам перед ними, покачивая ивовую ветку, лежавшую в воде. Отец сидел, обратив свой взор на белые и синие горы далеко-далеко за расцвеченным осенними красками плоскогорьем.

– Вам холодно, отец, – сказала Кристин, – возьмите мой плащ… – Она отстегнула его, и Лавранс накинул полу себе на плечи, так что оба они сидели укрывшись. Под плащом одной рукой Лавранс обнял Кристин за талию.

– Ты ведь отлично знаешь, моя Кристин, что неразумен тот, кто оплакивает уход человека из нашего мира, – ты ведь слышала, что говорят: «Пусть будет Господу, а не мне». Я твердо уповаю на Божье милосердие. Не так долог тот срок, на который друзья разлучаются. Может быть, он тебе иной раз и покажется долгим, пока ты еще молода, но ведь у тебя есть твои дети и твой муж. Когда ты доживешь до моих лет, тебе будет казаться, что немного прошло времени с тех пор, как ты видела нас, ушедших, и удивишься, когда начнешь считать, сколько зим пролетело… Вот сейчас мне кажется, еще совсем недавно я сам был мальчиком… А ведь прошло столько зим с тех пор, как ты была моей белокурой девочкой,

бегавшей за мной по пятам, куда бы я ни пошел… Ты с такой любовью следовала за своим отцом… Да вознаградит тебя Бог, моя Кристин, за ту радость, что ты дала мне…

– Да, если он вознаградит меня так, как я вознаградила тебя!.. – Она опустилась перед ним на колени, схватила его за руки и стала покрывать поцелуями его ладони, пряча в них свое заплаканное лицо. – Ах, отец, дорогой мой отец… Не успела я стать взрослой девушкой, как уже отблагодарила вас за вашу любовь тем, что причинила вам злейшее горе…

– Нет, нет, дитя! Не плачь так. – Он отнял у нее свои руки, поднял Кристин с колен, притянул ее к себе, и они опять сидели по-прежнему.

– И радости ты дала мне много в эти годы, Кристин. Мне привелось увидеть, как около тебя подрастают красивые и многообещающие дети, ты стала прилежной и разумной женой, и я понял, что ты все более приучаешься искать помощи там, где ее лучше всего можно найти, когда у тебя неприятности. Кристин, золото мое бесценное, не плачь так горько! Ты можешь этим повредить тому, кого прячешь под поясом, – шепнул он. – Не печалься же так!

Но ему никак не удавалось остановить ее слезы. Тогда он взял дочь на руки и посадил ее к себе на колени. Теперь она сидела совсем так, как в былые дни, когда была маленький: руками она обняла отца за шею, а лицо спрятала у него на плече.

– Есть одно, о чем я не говорил ни единой живой душе,

кроме своего священника… И вот теперь я хочу рассказать это тебе. В ту пору, когда я еще подрастал… дома, у нас в Скуге, и первое время, когда я был в дружине, у меня на уме было желание уйти в монастырь, как только состарюсь. Правда, я не давал обета, даже в глубине души. Многое влекло меня также и на другой путь… Но когда я рыбачил на берегу Ботнфьорда и слышал звон колоколов в монастыре на Хуведёе… мне казалось, это все же влечет меня больше всего…

Потом, когда мне было шестнадцать зим, отец заказал для меня этот мой панцирь из испанских стальных пластин, спаянных серебром, – Рикард-англичанин из Осло собрал его, – и мне подарили меч – тот, который я всегда ношу, – и панцирь для коня. В те времена в стране не было так мирно, как в ту пору, когда ты подрастала, – мы вели войну с датчанами, и я знал, что вскоре мне придется пустить в ход прекрасное свое оружие. И я не в силах был отказаться от него… Я утешался тем, что моему отцу не понравится, если его старший сын станет монахом, и что мне негоже противиться воле родителей.

Но я сам избрал для себя мирское поприще и старался думать, когда мир шел против меня, что недостойно мужчины роптать на ту долю, которую я сам же себе выбрал. Ибо с каждым годом моей жизни я понимал все яснее: нет упражнения более достойного того человека, кого Бог сподобил уразуметь его милосердие, чем служить ему, и бодрствовать над теми, кому мирское еще застилает зрение, и молиться за них.

А все же я должен сказать, моя Кристин, тяжело мне было бы пожертвовать для Бога жизнью, которую я вел в своих усадьбах, – с заботами о преходящих вещах и с мирской радостью… с твоей матерью, живущей бок о бок со мной, и со всеми вами, детьми моими. Так уж, видно, предначертано: раз человек рождает потомство от плоти своей, то должен терпеть, если сердце его разрывается от боли, когда он теряет детей или жизнь их в мире складывается несчастливо. Бог, даровавший им душу, владеет ими, а не я…

Рыдания сотрясали тело Кристин; и вот отец стал тихонько покачивать ее у себя на коленях, словно малого ребенка.

– Многого я не понимал, когда был молод. Отец любил и Осмюнда, но не так, как меня. Это было, понимаешь, из-за моей матери… Ее он не забывал никогда, а женился на Инге, потому что так пожелал его отец. Сейчас мне хотелось бы, чтобы я мог встретиться со своей мачехой еще здесь, в этом мире, и выпросить у нее для себя прощение за то, что я так мало ценил ее доброту…

– Ты же так часто говорил, отец, что твоя мачеха не делала тебе ни зла, ни добра, – сказала Кристин сквозь рыдания.

– Помоги мне, Боже, я тогда не понимал этого как следует. Но сейчас мне кажется немаловажным, что она не питала ко мне ненависти и никогда не сказала мне ни единого дурного слова. Как это понравилось бы тебе, Кристин, если бы ты видела, что твой пасынок во всем решительно и всегда ставится впереди сына твоего?

Кристин немного успокоилась. Она лежала теперь на руках у отца, повернув голову прочь, и глядела прямо перед собой в сторону гор. Стало темнее от большой серо-синей тучи, проходившей под солнцем… Сквозь нее пробилось несколько желтых лучей, вода в ручье ярко заблестела.

Тут Кристин снова разрыдалась.

– Ах нет!.. Отец, отец мой, неужели я уж больше никогда в жизни не увижу вас!..

– Ну, Господь да будет с тобой, Кристин, чтобы мы все встретились в оный день – все, кто дружил с нами в жизни, – всякая душа человеческая… Христос и Мария дева, и святой Улав, и святой Томас да хранят тебя во все дни твои… – Он взял ее голову в руки и поцеловал ее в губы. – Будь милостив к тебе Господь, да светит он тебе в этом мире, а в мире том да засветит он тебе свет великий…

Спустя несколько часов, когда Лавранс, сын Бьёргюльфа, уезжал из Йердкинна, дочь провожала его, идя рядом с конем. Слуга уже уехал довольно далеко вперед, но Лавранс придерживал своего коня и ехал шагом. Было так больно смотреть на заплаканное, полное отчаяния лицо Кристин. Такой она сидела и на постоялом дворе все время, пока Лавранс ел, беседовал с ее детьми, шутил с ними и сажал их поочередно к себе на колени.

Лавранс медленно произнес:

– Не печалься больше, Кристин, о том, в чем ты должна раскаиваться передо мной. Но вспоминай об этом, когда под-

растут твои дети и тебе, быть может, будет казаться, что они относятся к тебе или к отцу своему не так, как вы считали бы нужным. Вспомни тогда и о том, что я рассказывал тебе о своей молодости. Я знаю, крепка твоя любовь к ним, но ты всего строптивее, когда любишь всего больше, а в твоих молодцах живет своеволие – это я видел, – сказал он, улыбнувшись.

Но вот наконец Лавранс попросил ее оставить его и идти обратно.

– Мне не хочется, чтобы ты заходила так далеко от жилья и потом возвращалась одна.

Они оказались к этому времени в лощине между небольшими пригорками, с березняком понизу и кучами камней по скатам. Кристин прижалась к отцовской ноге в стремени и хваталась за его одежду, за руки, за седло, за шею и круп лошади, тычась головой из стороны в сторону и рыдая с такими глубокими и жалобными стонами, что Лаврансу казалось, у него разорвется сердце при виде того, в какое она погружена глубокое горе.

Он спрыгнул с коня, обнял дочь и в последний раз крепко прижал ее к себе. Потом долго крестил ее, поручая милости Божьей и всех его святых. И наконец сказал, что теперь она должна отпустить его.

Так они расстались. Но когда Лавранс отъехал немного, Кристин увидела, что он придержал коня, и поняла, что отец плачет, уезжая от нее.

Она кинулась в березовый лес, торопливо пробралась через него и начала карабкаться на ближайший пригорок по поросшему золотистым лишайником каменистому склону. Но он был усыпан крупными камнями, и подниматься по нему было тяжело, и горушка оказалась выше, чем она думала. Наконец она поднялась на вершину, но Лавранс уже скрылся за холмами. Кристин повалилась на мох и кустики красной толокнянки, которые росли на вершине холма, и долго лежала так, плача, закрыв лицо руками.

* * *

Лавранс, сын Бьёргюльфа, приехал к себе домой в Йорюндгорд поздно вечером. Приятное чувство какой-то теплоты охватило его, когда он увидел, что в старой горнице кто-то ждет его возвращения – за крохотным стеклянным оконцем, выходившим на крыльцо, слабо мерцал свет огня на очаге. В этой горнице он всегда больше всего чувствовал себя дома.

Рагнфрид сидела там одна за шитьем какой-то большой вещи, лежавшей перед ней на столе. Около стояла сальная свеча в подсвечнике желтой меди. Рагнфрид тотчас же встала, приветливо поздоровалась с мужем, подкинула дров в очаг и пошла сама хлопотать насчет еды и питья. Нет, она давно уже отослала служанок на покой; сегодня у них был тяжелый день, но зато теперь они напекли столько ячменно-

го хлеба, что хватит до самого Рождества. Поль и Гюнстейн поехали в горы собирать мох. Кстати, раз уж заговорили о мхе, – хочет ли Лавранс, чтобы ему сшили зимнюю одежду из той ткани, которая окрашена красильным мхом, или же из зеленой, верескового цвета? Здесь был сегодня утром Орм из Муара и спрашивал, не продадут ли ему крученых кожаных ремней? А она взяла те ремни, что висели в сарае ближе к двери, и сказала, что он может получить их в подарок. Да, а дочери его теперь немного получше – рана на ноге хорошо заживает…

Лавранс отвечал и утвердительно кивал головой, а тем временем оба они со слугой ели и пили. Но хозяин очень быстро покончил с едой. Он поднялся с места, вытер нож о штаны сзади и поднял клубок ниток, лежавший около места Рагнфрид. Нитка была намотана на палочку, на обоих концах которой было вырезано по птице, – у одной из них отломился кусочек хвостика. Лавранс закруглил излом и немного подрезал его, так что птичка стала кургузой. Как-то, давным-давно уже, он наделал для своей жены целую кучу таких палочек для мотков шерсти.

– Ты сама собираешься шить? – спросил он, глядя на работу Рагнфрид. Это была пара его кожаных штанов. Рагнфрид сажала заплаты на внутреннюю сторону штанов – там, где они стерлись о седло. – Это тяжелая работа для твоих пальцев, Рагнфрид.

– Ну, что ты! – Она наложила куски кожи край к краю и

стала протыкать дырки шилом.

Слуга пожелал хозяевам спокойной ночи и ушел. Муж и жена остались одни. Лавранс стоял у очага и грелся, поставив ногу на край кладки и взявшись рукой за шест от дымовой отдушины. Рагнфрид поглядела на него. И вдруг она заметила, что у него на пальце нет колечка с рубинами – обручального кольца его матери. Лавранс увидел, что Рагнфрид заметила это.

– Я подарил его Кристин, – сказал он. – Оно ведь всегда ей предназначалось… И мне казалось, что она с тем же успехом может получить его уже сейчас.

После этого кто-то из них сказал другому: «А не пора ли уже ложиться спать?» Но Лавранс продолжал стоять в прежней позе, а Рагнфрид все так же сидела за своей работой. Они обменялись несколькими словами о поездке Кристин, о работе, которой предстояло заняться в усадьбе, о Рамборг и о Симоне. Потом опять заметили вскользь, что вот пора бы, пожалуй, пойти спать, но никто из них не шелохнулся.

Тут Лавранс снял с пальца правой руки золотой перстень с сине-белым камнем и подошел к жене. Робко и смущенно взял ее за руку и стал надевать ей на палец кольцо, – пришлось несколько раз снимать его, прежде чем Лавранс нашел подходящий палец, на который оно наделось. А наделось оно на средний палец, поверх венчального кольца.

– Я хочу, чтобы теперь ты его носила, – тихо произнес он, не глядя на жену.

Рагнфрид сидела тихо и совершенно неподвижно, щеки у нее залились краской.

– Зачем ты это делаешь? – прошептала она наконец. – Ты думаешь, мне стало завидно, что наша дочь получила кольцо?.. Лавранс покачал головой и улыбнулся:

– Ты понимаешь, зачем я это делаю!

– Ты говорил прежде, что это кольцо возьмешь с собой в могилу, – произнесла она опять шепотом. – Чтобы после тебя его никто не носил…

– Вот почему и ты никогда не должна снимать его со своей руки, Рагнфрид, – обещай мне это! Я не хочу, чтобы после тебя его носил кто-нибудь….

– Зачем ты это делаешь?.. – опять спросила она, задерживая дыхание.

Муж взглянул ей в лицо.

– Нынешней весной было тридцать четыре года, как мы поженились. Я был тогда несовершеннолетним мальчиком; всю мою жизнь взрослого мужчины ты провела рядом со мной – и когда у меня бывало горе, и когда все шло хорошо.

Помоги мне Боже, я слишком плохо понимал, какое тяжелое бремя ты носила, когда мы жили вместе! Но теперь мне думается, все эти дни я чувствовал: как хорошо, что ты была со мной!..

Не знаю, так ли это, но, может, ты думала, будто я люблю Кристин больше, чем тебя. Она была мне величайшей радостью и причинила мне самое тяжелое горе – это так… Но ты

была матерью им всем. И вот теперь мне кажется, что тебя мне будет тяжелее всех покидать, когда меня не станет…

Вот почему ты никогда никому не должна отдавать моего кольца… даже ни одной из наших дочерей…

Быть может, ты считаешь, жена моя, что ты видела со мной больше горя, чем радости?.. Не сладилось у нас с тобой кое в чем, но все же мне кажется, мы были друг другу верными друзьями! И я подумал, что потом мы опять встретимся гак, что худого между нами уже не будет больше, а былую нашу дружбу Господь восстановит, и она будет даже еще крепче.

Жена подняла свое бледное, изрытое морщинами лицо… Ее большие впалые глаза горели, когда она взглянула на мужа. Он все еще держал ее руку. Рагнфрид увидела, как ее рука лежит в мужней руке, и пальцы ее немного согнуты. Три кольца сверкали одно над другим, – ниже всех обручальное кольцо, поверх него – венчальное и, наконец, вот это…

И таким странным показалось ей это! Она вспомнила, как Лавранс надевал ей на палец первое кольцо: перед шестом от дымовой отдушины в горнице, там у них дома, в Сюндбю; отцы их стояли с ними рядом. Лавранс был такой бело-розовый, круглощекий, едва лишь вышедший из детского возраста… и немного неловкий, когда он выступил вперед со стороны господина Бьёргюльфа.

Второе кольцо он надел ей на палец перед церковными вратами в Гердарюде, во имя Бога-Троицы, под рукою свя-

щенника.

Она почувствовала: этим последним кольцом Лавранс сызнова венчался с ней. И если вскоре ей сидеть над его бездыханным телом, то он хочет теперь, чтобы она знала: этим кольцом он сочетал ее с той могучей и живой силой, которая обитала в нем…

Словно сердце ее разорвалось на части в груди и истекало кровью, юное и буйное. Из-за печали по горячей и живой страсти, утрату которой она все еще оплакивала втайне, из-за полного страхом счастья от этой бледной, светящейся любви, увлекающей ее за собой до самых крайних пределов земной жизни. За грядущей кромешной тьмой ей виделось сияние иного, более ласкового солнца, ей чуялось благоухание цветов из сада на краю света…

Лавранс опустил ее руку снова к ней на колени и сел на скамейку недалеко от жены, повернувшись спиной к столу и положив локоть на столешницу. Он глядел не на Рагнфрид, а на огонь очага.

Все же голос Рагнфрид звучал спокойно и тихо; когда она опять заговорила.

– Я и не думала, супруг мой, что была так дорога тебе…

– Именно так, – отвечал он таким же ровным и спокойным голосом.

Оба помолчали. Рагнфрид переложила свою работу с колен на скамейку рядом с собой. Немного погодя она тихо спросила:

– А то, что я рассказала тебе тогда ночью?.. Ты забыл это?..

– Такое забыть в здешнем мире, пожалуй, никто не смог бы! И сказать по правде, я и сам чувствовал – нам стало не легче друг с другом после того, как я узнал об этом. Хотя, бог свидетель, Рагнфрид, я так старался, чтобы ты никогда не замечала, как много я думал об этом…

– Я не знала, что ты так много думал об этом… Он резко повернулся к жене и взглянул на нее. Тогда Рагнфрид сказала:

– Я виновата, что нам стало тяжелее друг с другом, Лавранс. Мне казалось, что если ты мог относиться ко мне совершенно так же, как прежде… после той ночи… то, значит, ты любишь меня еще меньше, чем я думала. Если бы после этого ты стал для меня жестоким мужем, побил бы меня, хотя бы только один-единственный раз, напившись пьяным… я переносила бы легче свое горе и раскаяние. Но то, что ты принял это так легко…

– Ты думала, я принял это легко?..

Слабая дрожь в его голосе заставила ее обезуметь от страстной тоски. Казалось, с самого дна, из взбаламученной глубины души волной изошел этот голос, с таким напряжением, с таким усилием! Она вспыхнула пламенем:

– Да, если бы ты взял меня хоть один раз в свои объятия не потому, что я была законной христианской супругой, которую люди положили в постель рядом с тобой, но женою,

которой ты страстно добивался, за которую дрался, чтобы ею завладеть… не мог бы ты тогда быть со мною таким, будто эти слова не были сказаны!..

Лавранс задумался:

– Да!.. Пожалуй… не мог бы… Нет, не мог бы…

– Если бы ты так полюбил свою нареченную, тебе данную невесту, как Симон полюбил нашу Кристин?..

Лавранс не ответил. Немного погодя он сказал, как бы против своей воли, тихо и боязливо:

– Почему ты назвала Симона?

– Не могла же я сравнивать тебя с тем, другим, – отвечала жена, сама смущенная и испуганная, хотя и пытаясь улыбнуться. – Вы с ним слишком разные.

Лавранс поднялся с места, сделал несколько шагов в тревоге и потом сказал еще тише:

– Бог не покинет Симона.

– А тебе никогда не казалось, – спросила его жена, – что Бог тебя покинул?

– Нет.

– Что думал ты в ту ночь, когда мы сидели с тобой там, в сарае… и ты узнал в один и тот же час, что мы, кого ты любил так преданно и кто был тебе дороже всех на свете, – мы обе изменили тебе так, что уж худшей измены, кажется, не может и быть?..

– Я в тот раз, кажется, мало думал… – ответил муж.

– Ну, а после? – настаивала жена. – Когда ты думал об

этом… как ты говоришь, все время?..

– Я думал, как часто я изменял Христу… – сказал он тихим голосом.

Рагнфрид поднялась с места, немного постояла, прежде чем решилась подойти к мужу и положить свои руки ему на плечи. Когда он обнял ее, она склонила голову к нему на грудь. Лавранс почувствовал, что она плачет. Он еще крепче привлек ее к себе и прижался щекой к ее темени.

– Ну, Рагнфрид, теперь пойдем на покой! – сказал он немного погодя.

Вместе подошли они к распятию, преклонили колено и Перекрестились. Лавранс прочел вечерние молитвы – он читал их на языке церкви, тихо и отчетливо, а жена повторяла слова за ним.

Затем они разделись. Рагнфрид легла подальше от края постели, на которой подушки в изголовье стелились теперь гораздо ниже, потому что в последнее время муж часто страдал головокружением. Лавранс закрыл дверь на засов и на замок, подгреб угли в очаге, задул свет и лег в постель к жене. Они лежали в темноте, прикасаясь друг к другу руками. Немного погодя пальцы их сплелись.

Рагнфрид, дочь Ивара, думала: словно опять брачная ночь, и какая-то странная брачная ночь! Счастье и несчастье нахлынули на нее разом и понесли ее на своих волнах с такою мощью, что она почувствовала: вот теперь начали обрываться первые корни души в ее плоти… вот рука смерти

протянулась и к ней… в первый раз.

Да, так и должно быть… раз все это началось, как оно началось. Рагнфрид вспомнила тот первый раз, когда она увидела своего жениха. Тогда он радовался ей… немного смущался, но ему хотелось любить свою нареченную невесту. А ее раздражало даже то, что юноша был так ослепительно красив, что волосы его, такие густые, блестящие и светлые, спускались на бело-розовое, покрытое золотистым пушком лицо. А ее сердце было одной сплошной жгучей раной от думы о человеке, который не был красив, не был молод, не был бел и румян, как кровь с молоком. И она погибала от страстного желания спрятаться в его объятиях и в то же время вонзить нож ему в горло… И в первый раз, когда ее нареченный жених вздумал было приласкать ее, – они сидели вдвоем у них дома на лесенке стабюра, и он намотал себе на руку ее косы, – она вскочила, повернулась к нему, побелев от гнева, и ушла.

Ах, ей вспомнилась ночная поездка, когда она ехала верхом вместе с Тровдом и Турдис через Йермдал к той волшебнице в горах Довре. В ногах у нее она валялась, кольца и браслеты срывала она со своих рук и бросала их на пол перед фру Осхильд, тщетно молила дать ей хоть какое-нибудь средство, чтобы ее жених ничего не смог от нее добиться… Ей вспомнился долгий путь с отцом, родичами, подружками и со всеми поезжанами вниз по долине, через поселки, лежащие среди низких холмов, туда, в Скуг, на свадьбу. И

вспомнилась первая ночь… и потом все ночи… когда она принимала неловкие ласки мальчика-молодожена, холодная как камень, ничуть не скрывая, что это нимало не радует ее.

Нет, Бог не покинул ее. Милосердный, он услышал ее вопль отчаяния, когда она призывала его, утопая все глубже и глубже в своем несчастье… даже когда она звала его, не веря, что ее услышат. Словно темное море обрушилось на нее… И вот теперь волны вознесли ее к дивному и сладкому блаженству, – Рагнфрид чувствовала, они унесут ее из жизни…

– Заговори со мной, Лавранс, – тихо взмолилась она. – Я так устала…

Муж прошептал:

– Venite ad me, omnes qui laborate et onerati estis. Ego reficiam vos,[36] – сказал господь.

Он подсунул руку под плечи жены и привлек ее совсем к себе. Так они пролежали немного, щекой к щеке. Потом Рагнфрид произнесла тихим голосом:

– Сейчас я молилась Божьей Матери и просила у нее порадеть за меня, чтобы мне не надолго пережить тебя, супруг мой!..

Его губы и ресницы слегка коснулись в темноте ее щеки, словно крылья бабочки:

– Моя Рагнфрид, дорогая моя Рагнфрид!..

---

[36] *Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас (лат.)*

# VIII

Кристин сидела этой осенью и зимой в Хюсабю и не хотела никуда ездить, ссылаясь на то, что ей нездоровится. Но она просто устала. Такой усталой она еще никогда не бывала за всю свою жизнь, – устала веселиться, устала горевать, а больше всего устала размышлять.

Будет лучше, когда у нее родится вот этот новый ребенок, думала она; ей так ужасно хотелось его, как будто от него зависело ее спасение. И если родится сын, а отец ее умрет еще до его рождения, тогда он будет носить имя Лавранса. И Кристин думала о том, как она будет любить это дитя и вскормит его сама у своей груди, – давно уж у нее не было грудных детей, и она начинала плакать от томления при мысли, что вот скоро она опять будет держать в своих объятиях сосунка.

Она снова стала собирать около себя всех своих сыновей как бывало прежде, и старалась внести побольше порядка и строгости в их воспитание. Она чувствовала, что поступает так по желанию отца, и это как бы вносило некоторое успокоение в ее душу. Отец Эйлив начал теперь обучать Ноккве и Бьёргюльфа буквам и латинскому языку, и Кристин часто присутствовала на уроках в священническом доме, когда дети приходили туда учиться. Но они были не очень жадными до знаний учениками, и все дети не слушались и буяни-

ли, кроме Гэуте, который продолжал оставаться матушкиным баловнем, как называл его Эрленд.

Эрленд вернулся домой из Дании около дня всех святых в очень приподнятом настроении духа. Он был принят с величайшими почестями герцогом и своей родственницей фру Ингебьёрг; она очень благодарила его за привезенные им в подарок меха и серебро; он участвовал в турнирах, охотился да оленя и на лань, а когда они расставались, господин Кнут подарил ему черного, как уголь, испанского жеребца, фру Ингебьёрг же послала с ним Кристин свой самый сердечный привет и двух серебристо-серых борзых собак. Кристин решила, что у этих заморских собак какой-то предательский и коварный вид, и боялась, как бы они не причинили ее детям вреда. А окрестные жители заговорили о кастильском коне. Эрленд отлично выглядит на этом высоконогом, стройном, ладном скакуне, но такие лошади малопригодны в нашей стране, и один Бог знает, как этот жеребец покажет себя в горах. Но пока что Эрленд закупал самых великолепных вороных кобыл, куда бы ему ни приходилось приезжать в воеводстве, и теперь у него был табун, на который по крайней мере смотреть было приятно. В былые дни Эрленд, сын Никулауса, давал своим верховым коням красивые заморские имена: Бельколор, Баярд и тому подобное, но про этого коня он сказал, что он так прекрасен, что не нуждается в таких украшениях, – этот конь назывался просто Сутен.[37]

---

[37] *Сутен – по-норвежски сажа.*

Эрленд очень сердился, что жена не хотела никуда с ним выезжать. Больна она не была, насколько он мог заметить, – в этот раз у нее не было ни обмороков, ни рвоты, и вообще еще не видно было никаких признаков… А больна она и утомлена, конечно, оттого, что вечно сидит дома да раздумывает, размышляет о его проступках и прегрешениях. На Рождество между ними произошло несколько жарких стычек. Но теперь Эрленд не приходил к Кристин просить у нее прощения за свою вспыльчивость, как всегда бывало раньше. До сих пор он всегда думал, что когда у них бывают разногласия, то виноват он. Кристин добра, она всегда права, и когда ему бывает не по себе и он скучает дома, то такая уж у него натура, что он устает от доброты и от правоты, если на его долю их достается слишком много. Но этим летом он не раз замечал, что тесть держит его руку и, по-видимому, считает, что Кристин недостает мягкости и сдержанности, какие подобают супруге. Тогда ему пришло на ум, что она слишком близко принимает все к сердцу и с трудом прощает ему мелкие грешки, которые он совершил без всякого злого умысла. Всегда он раньше просил у жены прощения, когда немного придет в себя и одумается, – и она говорила, что прощает его; но после он все-таки видел, что прощено, да не забыто.

Вот почему он часто отлучался из дому и почти всегда брал с собой Маргрет. Воспитание девочки было источником разногласий между супругами. Говорить об этом Кристин никогда не говорила, но Эрленд отлично знал. что она

– и другие люди – думают. Тем не менее он всегда относился к Маргрет как к своему законнорожденному ребенку, и когда девочка появлялась где-нибудь со своим отцом и мачехой, люди принимали ее так, словно она действительно была его законной дочерью. На свадьбе Рамборг она была одной из подружек невесты и носила золотой венец на своих распущенных волосах. Многим женщинам это не нравилось, но Лавранс поговорил с ними, и Симон тоже сказал, что никто не должен перечить в этом Эрленду или упоминать о чем-либо самой девушке. Прекрасное дитя нисколько не повинно в том, что оно родилось так несчастливо. Но Кристин понимала, что Эрленд лелеет мысль выдать Маргрет замуж за какого-нибудь молодого человека, носящего оружие, и что он думает, будто при том положении, которое он теперь занимает, ему удастся добиться своего, хотя девочка рождена в блуде и для нее трудно будет найти совершенно надежное, непоколебимое положение. Быть может, это дело и увенчалось бы успехом, если бы люди были действительно уверены в том, что у Эрленда хватит способностей удержать и еще более увеличить свою власть и богатство. Но хотя Эрленда в известной мере и любили и уважали, однако никто не питал полной уверенности в том, что благосостояние в Хюсабю продержится долго. Поэтому Кристин боялась, что, пожалуй, ему едва ли удастся осуществить свои замыслы насчет Маргрет. И хотя не очень любила падчерицу, жалела ее и страшилась того дня, когда высокомерие девочки будет, быть

может, сломлено, – если Маргрет придется удовольствоваться гораздо более скромным браком, чем тот, к мысли о котором ее постоянно приучал отец, и совсем иными условиями жизни, чем те, в каких Эрленд воспитал ее.

Но вот вскоре же после Сретения из Формо в Хюсабю прибыло трое мужчин. Они перешли через горы на лыжах и принесли Эрленду спешную весть от Симона, сына Андреса. Симон писал, что их тесть болен и трудно ждать, чтобы он прожил очень долго. Лавранс просит, чтобы Эрленд прибыл в Силь, если только он может. Ему хотелось поговорить с обоими зятьями о том, как все устроить после его смерти.

Эрленд расхаживал по горнице, незаметно поглядывая на жену. Беременность зашла уже далеко, Кристин была очень бледна и похудела в лице… У нее такой удрученный вид, слезы готовы брызнуть из глаз каждое мгновение. И Эрленд пожалел о том, как он вел себя с нею этой зимой… Болезнь отца не явилась для нее неожиданностью, и раз Кристин жила здесь с тайным горем, то ему следовало бы прощать ей, когда она поступала несправедливо.

Один он мог бы совершить поход в Силь довольно быстро, если бы пошел через горы на лыжах. Если же взять с собой жену, это будет долгое и тяжелое путешествие. И тогда пришлось бы дожидаться, пока закончится смотр оружия[38] в Ве-

---

[38] *Имеется в виду периодический смотр оружия и проверка того, все ли вооружены так, как им полагается быть вооруженными по закону, в соответствии с положением, состоянием и знанием каждого.*

ликом Посту, и сперва устроить совещание со своими ленсманами. Кроме того, есть еще несколько встреч и народное собрание, на которых он должен быть обязательно. Прежде чем они смогут тронуться с места, уже будет, наверно, опасно близок срок, когда Кристин ждет своего разрешения, – а она еще и моря не выносит, даже когда совершенно здорова! Но он не смел и подумать о том, чтобы жена его больше не увидела своего отца в живых. И вечером, когда они улеглись спать, Эрленд спросил у Кристин, решится ли она на путешествие.

Он счел себя вознагражденным, когда она разрыдалась в его объятиях, полная благодарности и раскаяния в своей несправедливости к нему зимой. Эрленд размяк и стал нежен, как всегда, когда он причинял женщине горе и был вынужден глядеть, как она изливает это горе у него на глазах. Поэтому он довольно терпеливо сносил выдумки Кристин. Он сразу же сказал, что детей он не хочет брать с собой. Но мать заговорила о том, что ведь Ноккве теперь такой большой, что ему пойдет на пользу, если он увидит, как душа его дедушки отойдет. Эрленд сказал: «Нет». Потом она высказала мнение, что Ивар и Скюле слишком малы, чтобы оставаться на попечении служанок. «Нет», – сказал отец. А Лавранс так любил Гэуте! «Нет», – ответил Эрленд: если принять во внимание ее положение, то и без того уж очень трудно для Рагнфрид иметь у себя в доме женщину на сносях, когда у нее муж лежит на одре болезни, а для них самих – воз-

вращаться домой с новорожденным. Поэтому или она должна будет отдать ребенка на воспитание какой-нибудь кормилице из усадеб Лавранса, или же дождаться в Йорюндгорде наступления лета, но тогда ему придется уехать домой раньше. Все это он излагал жене, повторяя не один раз, причем старался говорить спокойно и вразумительно.

Потом ему вспомнилось, что надо будет захватить с собой и то и другое из Нидароса, что может понадобиться теще для погребальной трапезы: вина, воску, пшеничной муки, сарацинского пшена и тому подобного. Но в конце концов они все же выехали из дому и прибыли в Йорюндгорд за день до праздника святой Яртрюд.

* * *

Пребывание в родительском доме сложилось для Кристин совершенно иначе, чем она думала.

Хорошо, что ей удалось еще раз повидать своего отца. Вспоминая, как он встретил ее, Кристин благодарила Бога за то, что смогла доставить отцу эту последнюю радость. Но ей было больно, что она слишком мало могла для него сделать…

До родов оставался едва месяц, поэтому Лавранс совершенно запретил ей пособлять в уходе за ним. Не позволяли ей и бодрствовать около него по ночам наравне с другими, а мать не хотела и слышать, чтобы она хоть пальцем шевельну-

ла, помогая во всех домашних хлопотах. Кристин просиживала у отца целыми днями, но редко бывало, чтобы они когда-либо оставались одни. Почти ежедневно в усадьбу приезжали гости – всё друзья, желавшие еще раз увидеть Лавранса, сына Бьёргюльфа, в живых. Это радовало его, хотя он очень уставал. Он разговаривал весело и сердечно со всеми – женщинами и мужчинами, бедными и богатыми, молодыми и старыми, благодарил их за дружбу, просил помолиться о его душе – дай Бог нам опять свидеться на том свете! А по ночам, когда внизу с Лаврансом оставались только одни его близкие, Кристин лежала в верхней горнице, уставившись неподвижным взором в темноту, и не могла заснуть, потому что все думала и думала о кончине отца и порочности своего ничем не довольного сердца.

Лавранс быстро угасал. Он еще держался на ногах, пока у Рамборг не родился ребенок и Рагнфрид уже не нужно было проводить столько времени в Формо. Он даже приказал свозить себя туда как-то днем и повидал свою дочь и внучку. Девчурка была названа при крещении Ульвхильд. Но потом он слег, и, по-видимому, ему уже не суждено было встать.

Он лежал в большом помещении под верхней горницей. Ему устроили там на скамье почетного места нечто вроде кровати, потому что он не мог выносить, чтобы голова у него лежала высоко на изголовье, – тогда у него тотчас же делались головокружение, припадки слабости и сердечные схватки. Пускать ему кровь уже больше не решались. Это прихо-

дилось делать так часто в течение всей осени и зимы, что теперь Лавранс стал совсем малокровным и ел и пил очень мало и с трудом.

Тонкие и красивые черты отца теперь заострились, и смуглость выцвела на лице, раньше таком свежем от чистого воздуха; оно стало желтым, как кость, а обескровленные губы и уголки глаз побелели. Густые светлые, тронутые сединой волосы были бессильно разбросаны – нестриженые и увядшие – по синей вышивке накидки на подушке, – но больше всего его изменяла жесткая и седая щетина, которая росла теперь на нижней части лица и на длинной широкой шее, где жилы выступали натянутыми толстыми струнами. Раньше Лавранс всегда старательно брился перед каждым праздничным днем. Тело исхудало так, что от него оставался почти один остов. Но Лавранс говорил, что чувствует себя хорошо, если лежит вытянувшись и не шевелится. И он всегда был весел и радостен.

В усадьбе резали скот, варили пиво и пекли для погребальной трапезы, выносили на двор постели и осматривали их, – все, что можно было сделать, делалось теперь, чтобы повсюду была тишина, когда настанет час последней борьбы. Лавранс сильно оживлялся, когда слышал, как идут эти приготовления, – его последнее пиршество не должно было быть самым худшим из всех, что устраивались в Йорюндгорде: почетно и достойно следует ему расстаться со своими обязанностями хозяина дома. Однажды ему захотелось взглянуть

на тех двух коров, которых поведут за его гробом, в дар отцу Эйрику и отцу Сульмюнду, и буренок ввели к нему в горницу. Им задавали двойную дачу корма всю зиму, и они стали такими красивыми и жирными, как коровы, пасущиеся летом на горных выгонах, хотя сейчас было еще самое тяжелое время весенней нехватки. Сам Лавранс больше всех хохотал, когда одна из них уронила кое-что на пол горницы. Но он боялся, что жена его измучится вконец. Кристин считала себя искусной хозяйкой, – такой она слыла у них дома в Скэуне, – однако теперь ей казалось, что если сравнивать ее с матерью, так она совершенно никуда не годится. Никто не мог понять, каким образом Рагнфрид удается поспевать всюду и во всем, и к тому же как будто она никогда не отходит от мужа; она и бодрствовала около него каждую ночь наравне с другими.

– Не думай обо мне, супруг мой, – говорила она, вкладывая в его руку свою. – Ты ведь знаешь, что, когда ты умрешь, я совершенно отдохну от всяких таких забот.

Уже много лет тому назад Лавранс, сын Бьёргюльфа, купил себе у монахов в Хамаре место для своего последнего упокоения, и Рагнфрид, дочь Ивара, должна была проводить его тело туда и остаться там. Ей предстояло поступить монастырской постоялицей в дом, принадлежавший этим монахам в городе. Сперва гроб Лавранса будет внесен в церковь здесь, дома, и будут сделаны крупные подарки и самой церкви и священникам; его жеребца поведут за гробом с доспехами и оружием, и их должен будет выкупить Эрленд за со-

рок пять марок серебром. Один из его и Кристин сыновей получит эти доспехи и оружие – скорее всего тот ребенок, с которым Кристин ходит сейчас, если у нее родится сын. Быть может, когда-нибудь опять появится Лавранс из Йорюндгорда, улыбнулся больной. На пути в Хамар по Гюдбрандской долине тело тоже нужно будет вносить в различные церкви и оставлять там на ночь. Эти церкви были оговорены в завещании Лавранса с указанием денежных подарков и восковых свечей.

Однажды Симон сообщил, что у тестя сделались пролежни, – он помогал Рагнфрид поднимать и убирать больного.

Кристин приходила в отчаяние из-за своего ревнивого сердца. Для нее невыносимо было видеть, что родители оказывают Симону, сыну Андреса, такое родственное доверие. В Йорюндгорде он был дома, чего никогда не бывало с Эрлендом. Почти ежедневно его рослый буланый конь стоял на привязи у дворовой изгороди, а Симон сидел в горнице у Лавранса, не снимая ни шапки, ни плаща, – он-де приехал ненадолго. Но вскоре появлялся в дверях и кричал, чтобы его коня отвели все-таки на конюшню. Ему были известны все отцовские дела, он приносил ларец с грамотами, доставал расписки и записи, выполнял разные поручения Рагнфрид и беседовал с приказчиком об управлении имением. Кристин подумала, что ей всегда хотелось больше всего на свете, чтобы ее отец любил Эрленда… А в первый же раз, когда отец стал на его сторону против нее, она сейчас же сде-

лала самое дурное…

Симон, сын Андреса, чрезвычайно горевал, что ему так скоро придется расстаться со своим тестем. Но был очень доволен, что у него родилась дочурка. Лавранс и Рагнфрид много расспрашивали его о маленькой Ульвхильд, и Симон всегда мог ответить на все их вопросы о весе малютки и о ее развитии. И тут тоже Кристин чувствовала, что ревность грызет ее сердце, – Эрленд никогда не обращал внимания на детей в этом смысле. В то же время ей казалось немного смешным, когда такой уже не очень молодой человек с тяжелым буро-красным лицом болтает с полным знанием дела о желудочной рези у грудного ребенка или о том, как он ест.

Однажды как-то Симон захватил Кристин с собой на санях, ведь нужно же ей съездить взглянуть на сестру и племянницу.

Симон перестроил совершенно заново старую, закоптелую жилую горницу, в которую в течение нескольких сот лет обычно переселялись женщины в Формо, когда им наступало время родить. Очаг был выброшен, сложена из кирпичей печь, и к одной из ее сторон удобно и хорошо пристроена отличная кровать с резьбой, а у стены прямо напротив стояло прекрасное, тоже резное, изображение Божьей Матери, так что женщина, лежавшая на этой кровати, все время видела его перед собой. В горнице появились пол из досок, застекленное окно в стене, всякая красивая мелкая утварь и новые скамьи. Симону хотелось, чтобы эта постройка служила

Рамборг женской горницей, – здесь она может держать свои личные вещи, принимать хозяек-соседок, а если в усадьбе бывают пиры, то сюда могут удаляться те женщины, которым будет не по себе, когда мужчины перепьются к концу вечера.

В честь гостьи Рамборг улеглась в постель. Она нарядилась в шелковую косынку и красную кофту с белой меховой оторочкой на груди; за спину у нее были положены подушки в шелковых наволочках, а постель застлана бархатным покрывалом в цветочках. Перед кроватью стояла колыбель Ульвхильд, дочери Симона. Это была старинная шведская колыбель, которую привезла с собою в Норвегию Рамборг, дочь Сюне. В ней лежали отец и дед Кристин, сама она и все ее братья и сестры. По всем обычаям и свычаям эту колыбель должна была бы получить Кристин как старшая дочь, в составе своего приданого, но колыбель не была упомянута, когда Кристин выходила замуж. Она, разумеется, поняла, что родители забыли включить эту колыбель умышленно: не сочли ее и Эрленда детей достойными спать в ней…

Потом Кристин стала уклоняться от поездок в Формо, – сказала, у нее не хватает на это сил.

Она и вправду чувствовала себя больной, но это было от горя и душевной тревоги. Ибо она не могла скрыть от себя самой, что чем дольше она жила дома, тем ей было хуже. Такой уж она была, что ей было это больно – видеть, что теперь, когда к отцу быстро приближалась смерть, самым близким для него человеком оказывалась все же его жена.

Всегда она слышала, что совместная жизнь ее родителей выставлялась как пример прекрасного и достойного супружества, прожитого в единении, верности и благожелательности. Но Кристин ощущала, совершенно не задумываясь над этим, что было нечто разделявшее их, какая-то неопределенная тень, – она делала их семейную жизнь тусклой, хотя Лавранс и Рагнфрид жили мирно и хорошо. Теперь между ее родителями не стояло больше никакой тени. Они беседовали между собой ровно и спокойно, по большей части о самых обыкновенных, будничных делах, но Кристин чувствовала, что в их взорах и в звуке их голосов появилось нечто новое. Она понимала, что отцу всегда недоставало жены, когда ее не было в горнице около него. Если он сам убеждал ее пойти немного отдохнуть, то потом лежал, как бы немного беспокоясь и поджидая ее, и когда она входила к нему, то к больному словно возвращались вместе с ней и покой и радость. Однажды Кристин слышала, как родители беседовали о своих умерших детях, однако у них обоих был счастливый вид Когда заходил отец Эйрик и читал Лаврансу вслух, Рагнфрид всегда сидела около них. Тогда Лавранс часто брал жену за руку и лежал, играя ее пальцами и вертя на них кольца.

Кристин знала, что отец любит ее ничуть не меньше, чем прежде. Но до сих пор она не понимала, что он любит ее мать. И она поняла разницу между его любовью к жене, которая прожила с ним всю долгую жизнь – и в трудные и в хорошие дни, и его любовью к ребенку, который только де-

лил вместе с ним его радости и встречал с его стороны самую глубокую нежность. И Кристин плакала и молила Господа Бога и святого Улава о помощи, ибо вспоминала о том, омытом слезами, тяжелом и нежном прощании минувшей осенью в горах, – но нет же, она не пожелала, чтобы то прощание было последним!

* * *

В день начала лета[39] Кристин родила шестого сына и уже на пятый день после родов встала с постели и прошла в жилую горницу посидеть с отцом. Лаврансу это не понравилось: в его доме никогда еще не бывало таких порядков, чтобы разрешившаяся женщина выходила на улицу раньше того дня, когда ей надо идти в церковь. Во всяком случае, ей нельзя ходить через двор, если только солнце не гуляет по небу. Он сказал об этом Рагнфрид.

– Мне сейчас подумалось, супруг мой, – сказала она, – что никогда мы, твои женщины, не были тебе очень послушны, но чаще всего поступали так, как нам самим хотелось.

– А ты не замечала этого раньше? – спросил муж смеясь. – Только, знаешь, уж брат твой Тронд в этом не виноват… Помнишь, он всегда называл меня тряпкой за то, что я позволял вам командовать собой?

---

[39] *В Норвегии началом лета считалось 14 апреля.*

В следующий праздничный день Рамборг посетила церковь для очистительной молитвы, а на обратном пути заехала в Йорюндгорд – впервые после того, как родила. С ней была Хельга, дочь Ролва, – та теперь тоже была замужем. В это время у Лавранса сидел Ховард, сын Тронда из Сюндбю. Все трое были сверстниками и в течение трех лет жили вместе в Йорюндгорде как брат и сестры. В ту пору Ховард был самым резвым и верховодил во всех их играх, потому что был мальчиком. Зато теперь обе молодые замужние женщины в белых повязках дали ему ясно почувствовать, что они – умудренные опытом женщины, с мужьями, детьми и домашним хозяйством, а он просто-напросто несовершеннолетний и неразумный ребенок. Лавранс очень потешался над этим.

– Подожди, друг мой Ховард, пока ты сам не обзаведешься женой. Вот тогда ты как следует узнаешь, сколько есть вещей, в которых ты ничего не смыслишь! – сказал он, и все мужчины, бывшие в горнице, захохотали и подтвердили его слова.

Отец Эйрик ежедневно заходил к умирающему. Их старый приходский священник видел теперь плохо, но сказание о сотворении мира на норвежском языке и Евангелие и псалтырь на латинском языке читал все так же бойко, ибо знал эти книги очень хорошо. Но Лавранс несколько лет тому назад выменял в Состаде какую-то огромную книгу, – вот из нее-то ему больше всего и хотелось послушать, однако отец Эйрик из-за своего плохого зрения не мог справиться с

чтением по ней. Тогда отец попросил Кристин попробовать, не сможет ли она почитать по этой книге. И когда Кристин немного приобвыкла к ней, она стала справляться с этим отлично, и для нее было большой радостью, что вот теперь есть что-то, в чем она может быть полезной отцу.

В книге этой были, между прочим, споры между Страхом и Мужеством, между Верой и Сомнением, между Душой и Телом. Кроме того, в ней было несколько сказаний о святых людях и повествований о мужах, которые еще при жизни своей были вознесены в духе и видели мучения грешников в преисподней, испытания очистительным огнем и небесное блаженство. Лавранс часто говорил теперь об огне чистилища, в который он вскоре ожидал войти, но не испытывал страха. Он надеялся на большое облегчение от молитв своих друзей и священников и утешался мыслью, что святой Улав и святой Томас укрепят его в последнем испытании, как – он чувствовал – они не раз укрепляли его в этой жизни. Ему всегда приходилось слышать, что тот, кто крепок в вере, ни на миг не потеряет из виду блаженство, к которому идет душа его сквозь жаркий огнь чистилища. Кристин казалось, что ее отец радуется так, словно идет на испытание своего мужества. Ей ясно вспомнились – из времен ее детства – дни, когда королевские вассалы из долины шли на войну против герцога Эйрика, – теперь ей чудилось, что ее отец смотрит в лицо своей смерти точно так, как он в тот раз глядел вперед в ожидании славных приключений и битв.

И вот она сказала однажды, что, по ее мнению, отец перенес столько испытаний в своей земной жизни, что ему, должно быть, облегчат испытания на том свете. Лавранс ответил, что теперь он не разделяет этого мнения. Он был богатым человеком, родился в знатном семействе, имел друзей и успех в жизни.

– Самым тягчайшим для меня горем было то, что я никогда не видел лица своей матери и потерял своих детей. Но и то и другое очень скоро перестанет быть для меня горем. И точно так же все иные вещи, удручавшие меня при жизни, – они для меня уже больше не горе.

Мать часто присутствовала при чтении Кристин, бывали люди посторонние. Эрленд тоже охотно заходил в горницу и слушал. Всех их это чтение радовало, но Кристин оно только будоражило и приводило в отчаяние: она думала о своем собственном сердце, которое прекрасно знает, что правильно и что хорошо, и все же всегда склонно к несправедливости. И боялась за своего малютку, почти не смела спать по ночам от страха, как бы ребенок не умер язычником. Две сиделки должны были быть при ней по ночам, и все же Кристин боялась: а вдруг она сама уснет? Всех ее других детей крестили, пока им еще не исполнилось трех дней от роду, но с последним сыном Кристин приходилось ждать, потому что ребенок был большим и крепким, а всем хотелось назвать его Лаврансом в честь деда. Здесь же, в долине, народ строго придерживался обычая не называть детей по имени живых

людей.

Однажды, когда Кристин сидела у отца с ребенком на коленях, Лавранс попросил ее развернуть пеленки – до сей поры он видел только личико мальчика. Кристин исполнила просьбу отца и положила ребенка к нему на руки. Лавранс погладил маленькую выпуклую грудку и взял в свою руку стиснутый кулачок.

– Странно мне, родич, что ты будешь носить мою кольчугу, – сейчас ты занял бы в ней не больше места, чем червь в пустом орехе! А вот этой руке придется сильно вырасти, прежде чем она сможет обхватить рукоять моего меча. Когда видишь вот такого младенца, то начинаешь понимать, что у Господа Бога не было желания, чтобы мы носили оружие. Но ты, малютка, не намного подрастешь, как уж у тебя явится стремление взять в руки меч. Самое ничтожное число людей, рожденных женщиной, питает такую великую любовь к Богу, что отказывается от ношения оружия. У меня не было такой любви.

Он немного полежал, глядя на новорожденного.

– Ты носишь своих детей под любящим сердцем, моя Кристин, – мальчик у тебя толстый и большой, но ты сама бледная и тонкая, как прутик, – и так бывало, по словам твоей матери, всякий раз, когда ты разрешалась детьми. Дочка у Рамборг родилась худенькой и маленькой, – сказал он со смехом, – зато Рамборг цветет, словно роза.

– И все же мне кажется странным, что она не хочет сама

кормить грудью, – сказала Кристин.

– Симон тоже этого не хотел, – он говорит, что не желает отблагодарить ее за подарок тем, что позволит ей изводиться. Ты должна помнить, что Рамборг не было еще полных шестнадцати лет. И она еще не успела износить детских башмачков, когда у нее уже родилась дочь… и никогда прежде не знала ни одного часа болезни… Не удивительно, что у нее не хватает терпения. А ты была взрослой женщиной, когда выходила замуж, моя Кристин!

Неожиданно Кристин отчаянно разрыдалась… Она и сама едва ли знала, почему она так рыдает. Но то была истинная правда: она любила своих детей с первого же часа, как узнавала, что носит их во чреве своем, любила их, когда они мучили ее беспокойством, обременяли ее и обезображивали. Она любила их маленькие личики с того времени, как видела их впервые, и любила их каждый час, пока они росли, изменялись и мужали. Но никто не любил их по-настоящему вместе с ней и не радовался им вместе с нею!.. Эрленд был не такой, – правда, он их любил… но считал, что Нокве появился на свет преждевременно, а про других всегда говорил, что их на одного слишком много… У нее мелькнула мысль: когда-то она думала о плоде греха, в ту первую зиму в Хюсабю, – она поняла, что ей дано было вкусить от его горечи, хоть и не таким образом, как она тогда боялась. Что-то пошло между ней и Эрлендом вкривь и вкось в тот раз, и, наверное, этого уж никогда не исправишь.

С матерью она никогда не была близка, сестры ее были еще совсем детьми, когда она стала уже взрослой девушкой, подруг по играм у нее не было. Она воспитывалась среди мужчин и могла всецело позволить себе быть нежной и мягкой, ибо вокруг нее всегда бывали мужчины, отделявшие ее от всего мира оградой своих рук, поднятых для ее защиты и охраны. Теперь ей казалось таким справедливым, что сама она рожает только сыновей, что ей даруются дети мужского пола, чтобы ей вскармливать их своею кровью и у своей груди, чтобы любить, защищать и пестовать их, пока они не станут такими большими, что смогут занять место среди мужчин. Она вспомнила сказание об одной королеве, прозванной Матерью молодцов. Верно, вокруг ее детской горницы была ограда из бдительных мужей…

– Ну, что с тобой, Кристин? – немного погодя спросил ее отец.

Она не могла поведать ему обо всем этом… Поэтому через некоторое время сказала, как только смогла заговорить, оправившись от слез:

– Как мне не горевать, отец, когда вы лежите здесь… Но в конце концов, когда Лавранс стал настаивать, она сказала, что боится за некрещеного ребенка. Тогда он приказал, чтобы ребенка отнесли в церковь в ближайший же день, когда в ней будет служба, и сказал, что не верит, будто из-за этого умрет раньше, чем Господь судил.

– Да и кроме того, я уж достаточно здесь залежался, – ска-

зал он со смехом, – скорби сопровождают наше появление и наш уход, Кристин! В болезнях мы рождаемся и в болезнях мы умираем – тот, кто не умирает внезапной смертью. Когда я был молод, мне казалось самой прекрасной смертью – быть сраженным на поле брани. Но грешному человеку, пожалуй, нужен одр болезней… Однако сейчас я не ощущаю, что моя душа лучше исцелится оттого, что я здесь дольше пролежу.

Итак, мальчик был окрещен в следующее же воскресенье и получил имя деда. Кристин и Эрленда жестоко осуждали за это дело по всей округе, хотя Лавранс, сын Бьёргюльфа, и говорил всем, кто к нему приходил, что сам этого потребовал: ему не хотелось, чтобы в его доме был язычник, когда смерть подойдет к дверям.

Лавранс начал беспокоиться, как бы смерть не постигла его в самый разгар весенних работ, к большому неудобству многих людей, которые, наверное, захотят почтить его память своим участием в погребальном шествии. Но через две недели после крещения ребенка Эрленд зашел к Кристин в старую ткацкую, где она теперь жила после родов. Было уже позднее утро, Кристин лежала, потому что мальчик беспокоился ночью. Эрленд был сильно взволнован. Он сказал ей тихо и ласково, чтобы она поскорей вставала и шла к отцу. На рассвете у Лавранса было несколько очень тяжелых сердечных припадков, и после этого он долго лежал без чувств. Сейчас у него, отец Эйрик, он только что выслушал его исповедь.

Это был пятый день после праздника святого Халварда. Временами шел теплый дождь. Выйдя во двор, Кристин почуяла в нежном дуновении с юга запах земли со свежевспаханных и унавоженных полей. Долина лежала бурая под весенним дождиком, воздух синел между высокими горами, и туман тихо полз по лесистым склонам, где-то на половине высоты. Из рощиц вдоль полноводной серой реки доносилось позвякивание колокольчиков, – это стадо коз выпустили на волю, и оно разбрелось, пощипывая налившиеся почками ветки. Стояла такая погода, которая всегда радовала сердце ее отца: для людей и для скота приходит конец зиме и холоду, – животных выпускают на волю из темных стойл, где они так скудно питались.

Кристин сразу же увидела по отцовскому лицу, что теперь уже смерть очень близка. У ноздрей было бело как снег, губы посинели, синева легла и под большими глазами; волосы разметались и лежали влажными прядями вокруг широкого, покрытого росою лба. Но Лавранс был теперь в полном сознании и говорил внятно, хотя медленно и слабым голосом.

Домочадцы подходили к нему один за другим. Лавранс брал каждого за руку, благодарил за службу, желал им долгих лет жизни, просил прощения, если он когда-либо чем-либо согрешил против кого, и просил поминать его молитвой за спасение его души. Потом он начал прощаться со своими родными. Дочерей он просил нагнуться чтобы ему можно было поцеловать их, и призвал на них благословение

Божье и всех святых. Обе они горько рыдали, и юная Рамборг бросилась в объятия сестры. Крепко обнявшись, отошли обе дочери Лавранса на свое место в ногах отцовской постели, и младшая продолжала рыдать, склонившись Кристин на грудь.

Лицо у Эрленда дрожало и слезы текли у него но щекам, когда он поднял руку Лавранса и поцеловал ее, а потом тихо попросил у тестя прощения за все, что причинил ему во все эти годы; Лавранс сказал, что он прощает его от всего сердца и молит Бога пребывать с Эрлендом во все дни его жизни. На красивом лице Эрленда был какой-то странный бледный свет, когда он тихо отошел от кровати и стал рядом со своей супругой, рука об руку.

Симон Дарре не плакал, но опустился на колени, когда брал руку тестя, чтобы ее поцеловать, и довольно долго стоял так, крепко сжимая ее.

– Какая у тебя горячая и славная рука, зять! – произнес Лавранс со слабой улыбкой.

Рамборг повернулась к мужу, когда он подошел к ней, и Симон обнял ее за тоненькие, девические плечи.

В последнюю очередь Лавранс простился с женой. Они прошептали друг другу несколько слов, которых никто не слышал, и обменялись на глазах у всех поцелуем, что было пристойно, раз смерть уже стояла в горнице. Потом Рагнфрид опустилась на колени перед ложем мужа и стояла так, обратив свое лицо к нему. Она была бледна, но тиха и спо-

койна.

Отец Эйрик остался в доме, после того как умастил умирающего елеем, прочел ему напутствие и причастил его. Он сидел, читая молитвы, у изголовья кровати; Рагнфрид пересела теперь на край ее. Так прошло несколько часов. Лавранс лежал с полузакрытыми глазами. По временам он беспокойно перекладывал голову на подушке, комкал руками одеяло, раза два тяжело и со стоном вздохнул. Все уже думали, что он утратил дар речи, однако смертная борьба еще не началась.

Стемнело рано, и священник зажег свечу. Собравшиеся тихо сидели, глядя на умирающего, и прислушивались, как струится и капает дождь за стенами дома. Но вот словно какое-то беспокойство овладело больным, тело его затрепетало, лицо посинело, и, по-видимому, он стал задыхаться. Отец Эйрик подсунул руку ему под плечи, приподнял его и придал ему сидячее положение, положив голову больного к себе на грудь и держа крест перед его лицом.

Лавранс открыл глаза, устремил взор на распятие в руке священника и произнес тихо, но так отчетливо, что большинство бывших в горнице слышало его слова:

– Exsurrexi, et adhuc sum tecum.[40]

По телу его пробежало еще несколько содроганий, и руки стали шарить по покрывалу. Отец Эйрик некоторое время еще продолжал прижимать Лавранса к себе. Потом осто-

---

[40] *Когда пробуждаюсь, я остаюсь с тобою (лат.)*

рожно опустил тело друга на подушки, поцеловал его в лоб, пригладил ему волосы и лишь тогда прижал мертвецу веки и ноздри, а затем поднялся на ноги и начал читать вслух молитву.

* * *

Кристин позволили принять участие в ночном бдении у тела. Лавранса положили на солому в верхней горнице, потому что там было просторнее всего, а ожидался большой наплыв народу.

Отец казался ей невыразимо прекрасным, когда он лежал там при блеске свечей, с открытым золотисто-бледным лицом. Полотняный воздух был немного отвернут с лица, чтоб его не испачкали многочисленные посетители, приходившие взглянуть на тело. Служили над ним отец Эйрик и приходский священник из Квама, – тот приехал вечером сказать Лаврансу последнее прости, но не застал его в живых.

А уже на следующий день в усадьбу начали съезжаться верхом гости, и Кристин ради пристойности пришлось улечься в постель, потому что она еще не побывала в церкви для очистительной молитвы. Теперь уже для нее постлали парадную постель роженицы с шелковыми одеялами и самыми красивыми подушками, какие только были в доме. Из Формо привезли колыбель, взяв ее на время. И вот в ней лежал Лавранс-младший, и с утра до вечера люди входили и

выходили, чтобы взглянуть на Кристин и на ребенка.

Тело отца по-прежнему отлично сохраняется, – так передавали Кристин, – оно лишь немного пожелтело. И никогда еще не было видано, чтобы ко гробу умершего приносили столько свечей.

На пятый день началось погребальное пиршество. Оно было необычайно пышным. Во дворе усадьбы и в Лэугарбру стояло свыше сотни чужих лошадей, гости были размещены и в Формо. На седьмой день наследники поделили между собой имущество – в полном единодушии и дружелюбии. Лавранс сам всем распорядился перед смертью, и они точно выполнили его желания.

На следующий день должен был состояться вынос тела, – оно стояло сейчас в церкви святого Улава, – и начиналось его путешествие в Хамар.

Накануне вечером, – скорее то была уже глубокая ночь, – Рагнфрид пришла в старую жилую горницу, где лежала ее дочь с ребенком. Хозяйка дома страшно устала, но лицо у нее было ясное и спокойное. Она попросила служанок удалиться.

– Все помещения у нас переполнены, но вы, конечно, найдете для себя какой-нибудь угол. Мне хочется самой бодрствовать около моей дочери в эту последнюю ночь, что я провожу в своей усадьбе.

Она взяла ребенка из рук Кристин, отнесла его к очагу и перепеленала на ночь.

– Должно быть, странно вам, матушка, уезжать из того дома, где вы жили с моим отцом все эти годы, – сказала Кристин. – Не пойму, как у вас хватает сил на это.

– У меня и совсем не хватило бы сил, – отвечала Рагнфрид, укачивая маленького Лавранса у себя на коленях, – оставаться здесь и не видеть, как твой отец бродит тут по усадьбе.

– Ты никогда не слышала, как это произошло, что мы переехали сюда, в долину, и стали жить здесь? – продолжала она немного погодя. – В то время, когда до нас дошла весть, что ждут скорой кончины Ивара, отца моего, я не в состоянии была ехать, – Лаврансу пришлось отправиться на север одному. Помню, стояла такая прекрасная погода, когда он уезжал, – уже в те дни он предпочитал выезжать позднее, когда бывает прохладно. И вот он хотел прибыть в Осло вечером… Это было как раз перед летним солнцеворотом. Я провожала его до того места, где дорога из усадьбы перерезает дорогу в церковь, – ты помнишь? Там несколько больших голых скал и кругом бесплодная земля… Самые плохие земли во всем Скуге, – они всегда сохнут, но в тот год на этих участках рос отличный хлеб, и мы беседовали об этом. Лавранс шел, ведя свою лошадь за повод, а я держала тебя за руку, – тебе было тогда четыре зимы…

Когда мы дошли до перекрестка, я сказала, чтобы ты бежала домой. Тебе не хотелось, но тут отец твой сказал, чтобы ты поискала пять белых камешков и сложила их крестом в

ручье под стрежнем, – это защитит, мол, его от троллей, живущих в лесу Мьёрса, когда он будет проплывать мимо него. Тогда ты пустилась бежать…

– Есть такая примета? – спросила Кристин.

– Не знаю, не слышала – ни раньше, ни потом. Я думаю, отец твой просто все выдумал тут же, не сходя с места. Разве не помнишь, как он был горазд на разные выдумки, когда играл с тобой?

– Да. Помню!

– Я проводила его через лес до самого Камня карликов. Тут он попросил меня повернуть назад, а сам пошел со мной обратно опять до перекрестка. Он посмеялся и сказал, – я, дескать, должна понять, что он не допустит, чтобы я шла через лес одна, да еще когда уже и солнце село. Когда мы стояли там на перекрестке, я обняла его за шею: мне было так больно, что я не могу поехать домой… Я никогда не могла по-настоящему ужиться в Скуге и всегда так тосковала и стремилась на север, в долину. Лавранс утешал меня и под конец сказал: «Вот когда я вернусь домой, а ты выйдешь ко мне навстречу с сыном моим на руках, тогда можешь просить меня о чем хочешь. И если только во власти человеческой дать тебе это, ты не обратишься ко мне со своей просьбой напрасно!» И я ответила, что в таком случае попрошу о том, чтобы мы переехали на север и поселились в моем родовом поместье. Твоему отцу это не понравилось, и он сказал: «Разве ты не могла попросить чего-нибудь большего?..»

и засмеялся, а я подумала: этого он никогда не сделает, да мне и казалось это вполне понятным. Ну, ты знаешь, случилось так, что Сигюрд, твой младший брат, не прожил и часу… Халвдан окрестил его, и ребенок сейчас же умер…

Отец твой приехал домой как-то утром рано – он накануне вечером услышал в Осло, как обстоят у нас дела, и пустился в путь тотчас же. Я еще лежала в постели… Так горевала, что и вставать не хотелось. Мне и то думалось, что я уж никогда больше не встану на ноги. Прости меня Боже, когда тебя привели ко мне, я отвернулась к стене и не желала на тебя смотреть, бедная моя деточка! Но тут Лавранс сказал, – он сидел на краю моей кровати, еще в плаще и не сняв меча: «Ну, мы теперь посмотрим, не будет ли нам лучше, если мы поселимся в Йорюндгорде». Вот так-то мы и переехали из Скуга. Теперь ты понимаешь, что мне не хочется жить здесь, когда Лавранса нет больше на свете.

Рагнфрид подошла с ребенком и положила его у материнской груди. Взяла шелковое покрывало, которым была застлана кровать Кристин днем, сложила его и отложила в сторону. Потом постояла немного, глядя на дочь, потрогала толстую светло-русую косу, лежавшую между белых грудей.

– Отец твой часто спрашивал у меня, все так же ли длинны и прекрасны твои волосы. Для него было такой радостью, что ты не утратила своей красоты, родив стольких детей. Ты его очень радовала в последние годы, что стала такой дельной женщиной и остаешься по-прежнему здоровой и красивой

со всеми своими красавцами сыновьями вокруг себя.

Кристин глотала слезы.

– А мне, матушка, он часто говорил о том, что вы были самой лучшей из жен… Сказал, что я должна передать вам это… – Она умолкла в смущении, а Рагнфрид тихо рассмеялась.

– Лавранс мог бы знать, что ему не надо было никому поручать говорить о его добрых чувствах ко мне. – Она погладила детскую головку и руку дочери, которой та держала ребенка. – Но, быть может, он хотел… Не думай, моя Кристин, что я когда-либо завидовала тебе в том, что отец любил тебя так сильно. Правильно и справедливо, что и ты любила его больше, чем меня. Ты была такой милой и славной девочкой, я благодарила Бога за то, что он сохранил мне тебя. Но я всегда больше думала о том, что я потеряла, чем о том, что у меня было…

Рагнфрид присела на край кровати.

– Там, в Скуге, были совсем другие порядки, чем у нас дома. Я не могу припомнить, чтобы мой отец целовал меня… Он поцеловал мою мать, когда та лежала на смертной соломе. Мать целовала Гюдрюн в церкви за обедней, потому что та стояла к ней ближе всех, потом сестра целовала меня… А в иных случаях у нас никогда не водилось ничего подобного…

В Скуге же был обычай, что когда мы возвращались домой из церкви, где причащались, и слезали с лошадей во дворе,

господин Бьёргюльф целовал своих сыновей и меня в щеку, а мы целовали ему руку. После этого все мужья целовали жен, а потом мы пожимали руки всем домочадцам, присутствовавшим на богослужении, и поздравляли друг друга с принятием святых тайн. У Лавранса и Осмюнда было обыкновение целовать отцу руку, когда тот делал им подарки и тому подобное. Когда он или Инга входили в горницу, сыновья всегда вставали и продолжи ли стоять, пока им не приказывали садиться. Все это казалось мне сперва дурацкими затеями и заморскими порядками…

Зато потом, в те годы, что я жила с твоим отцом, когда мы потеряли наших сыновей, и все те годы, когда мы так боялись и горевали за нашу Ульвхильд… тогда для меня было хорошо, что Лавранс так воспитан – в более мягких и ласковых нравах.

Немного погодя Кристин спросила тихо:

– Так отец никогда не видел Сигюрда?

– Да, – отвечала так же тихо Рагнфрид. – Я тоже не видела его, пока он был жив.,

Кристин полежала немного и сказала:

– И все-таки мне кажется, матушка, что в вашей жизни было много хорошего…

Слезы начали капать с бледного лица Рагнфрид, дочери Ивара:

– Да, ты права, помоги мне Боже! Сейчас и мне самой это кажется.

Вскоре после этого она осторожно отняла уснувшего ребенка от груди матери и отнесла его в колыбель. Заколола сорочку Кристин ее маленькой застежкой, погладила дочь по щеке и велела ей спать. Кристин протянула руку.

– Матушка!.. – взмолилась она.

Рагнфрид склонилась над ней, привлекла дочь к себе и поцеловала ее много, много раз. Этого с ней еще не бывало все эти годы со времени смерти Ульвхильд.

* * *

На следующий день, – когда Кристин стояла за углом жилого дома и смотрела на горные склоны там, вдали за рекой, – была прекраснейшая погода. Пахло весною, пели вскрывшиеся всюду ручьи, все рощи и луга подернулись зеленью. Там, где дорога шла вдоль обрыва горы над Лэугарбру, светилось свежее и блестящее покрывало озимой ржи, – в прошлом году Ион сжег там лесную поросль и посеял на пожарище рожь.

Когда похоронное шествие подойдет к этому месту, ей будет хорошо видно.

И вот шествие медленно потянулось под каменистой осыпью, над свежими, новыми ржаными полями.

Кристин могла различить всех священников, ехавших впереди; тут же среди передних был виден и причт, несший крест и подсвечники. Пламени свечей не было заметно

при ярком свете дня, но самые свечи ей были видны как тоненькие белые черточки. Потом появились две лошади, которые везли на подвешенных между ними носилках отцовский гроб. Затем в далеко растянувшемся шествии она узнала Эрленда на вороном коне, мать, Симона и Рамборг и многих своих родичей и друзей.

Некоторое время до нее сквозь рокот Логена явственно доносились голоса священников, но затем звуки песнопений утонули в шуме реки и журчании весенних ручьев, сбегавших со склонов среди горного леса. Кристин стояла и глядели неподвижным взором еще долго после того, как последняя вьючная лошадь с дорожными пожитками исчезла в роще на той стороне долины.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
# ЭРЛЕНД, СЫН НИКУЛАУСА

## I

Рагнфрид, дочь Ивара, не прожила и двух лет после смерти своего супруга: она умерла ранней зимой 1332 года. От Хамара до Скэуна далеко, так что в Хюсабю узнали о ее смерти, когда она уже лежала в земле больше месяца. Но около Троицына дня к ним приехал Симон, сын Андреса. Родичам надо было кое о чем переговорить в связи с разделом наследства после Рагнфрид. Теперь Йорюндгордом владела Кристин, дочь Лавранса, и потому было решено, что Симону придется присматривать за ее имуществом и принимать отчеты от ее крестьян. Он управлял недвижимостями своей тещи, пока та жила в Хамаре.

Как раз в это время у Эрленда были всякие хлопоты и неприятности по некоторым делам, возникшим в его воеводстве. Прошлой осенью один из крестьян в Форбрегде в Упдале,[41] по имени Хюнтьов, убил своего соседа за то, что тот назвал его жену колдуньей. Жители той местности привели убийцу связанным к воеводе, и Эрленд велел посадить его

---

[41] *Упдал – долина на спуске с гор Довре к долине Оркедал.*

под стражу на чердаке клети. Но когда зимой настали большие холода, он выпустил его и позволил ему жить вместе со слугами усадьбы. Хюнтьов был с Эрлендом на севере в составе команды «Маргюгр» и проявил там большое молодечество. Когда Эрленд послал письменное сообщение о деле Хюнтьова и просил не присуждать того к изгнанию из страны, он выставил его в самом лучшем свете. А когда Ульв, сын Халдора предъявил поручительство, что Хюнтьов предстанет в надлежащее время перед тингом в Оркедале, Эрленд разрешил крестьянину съездить домой на Рождество. Но потом Хюнтьов и его жена отправились в Дривдал – погостить у своего родича, владельца постоялого Двора, и по дороге туда исчезли. Эрленд считал, что они погибли в сильную бурю и непогоду, которые случились как раз в это время, но многие говорили, что те просто сбежали, – теперь воеводские люди могут искать ветра в поле! А затем против пропавших были возбуждены новые дела – будто бы Хюнтьов еще за несколько лет до этого убил какого-то человека в горах и закопал его труп под кучей камней, Хюнтьов подозревал его в том, что он подрезал жилы его кобыле. И еще обнаружилось, что жена убийцы действительно занималась колдовством.

И вот теперь упдалский священник и посланец архиепископа приступили к расследованию этих слухов о колдовстве. А это привело к тому, что обнаружились печальные вещи, – как во многих местах Оркедалского округа люди соблюдают христианскую веру. Правда, но большей части та-

кие дела случались в отдаленных местностях – в Реннабю, в Упдалском лесу, но и из Будвика один старик был приведен на архиепископский суд в Нидаросе. И тут Эрленд обнаружил столь малое рвение, что люди заговорили об этом. Началось с этого старика, Оона, который жил на берегу озера около Хюсабю и почти что считался одним из челядинцев Эрленда. Он занимался рунами и ворожбой, а в горнице у него были даже какие-то изображения, и народ говорил, будто он приносил им жертвы. Но после его смерти ничего такого не нашли в хижине, где он жил. Правда, сам Эрленд и Ульв, сын Халдора, были у него, когда он испускал свой последний вздох, и вот они-то, разумеется, кое-что и уничтожили, прежде чем явился священник, – так болтали люди. Да и вообще, когда народ стал теперь задумываться над этим, то заговорили, что ведь и родная тетка Эрленда обвинялась в колдовстве, блуде и мужеубийстве, хотя фру Осхильд, дочь Гэуте, была слишком умна и ловка и, пожалуй, у нее были слишком могущественные друзья, чтобы ее можно было в чем-нибудь уличить. И тут же сразу всем вспомнилось, что в дни своей юности Эрленд жил весьма не по-христиански и ни во что не ставил церковное запрещение…

В конце концов архиепископ вызвал Эрленда, сына Никулауса, к себе в Нидарос для беседы. Симон поехал в город вместе со свояком; ему нужно было захватить своего племянника в Ранхейме, потому что хотели, чтобы мальчик проехал вместе с Симоном домой, в долину, и некоторое время

погостил у своей матери.

Все это происходило за неделю перед Фростатингом,[42] который должен был происходить в Нидаросе, и потому в городе было очень людно. Когда свояки приехали на архиепископский двор и их провели в приемную горницу, там было много монахов и несколько светских знатных людей, среди них – лагман фростатинга Харалд, сын Никулауса, Улав, сын Германа, лагман,[43] Нидароса, рыцарь Гютторм, сын Хельге, воевода Йемтланда[44] а также Арне, сын Яввалда, который сейчас же подошел к Симону Дарре и сердечно его приветствовал. Арне отвел Симона в нишу окна, и там они оба сели.

Симону было как-то не по себе. Он не встречался со своим собеседником с тех самых пор, как был в Ранхейме десять лет тому назад, и хотя тамошнее семейство приняло его очень хорошо, однако поездка туда с таким поручением оставила рану в душе Симона.

Пока Арне хвастался своим внуком, юным Яввалдом, Симон сидел, не спуская взора со свояка. Эрленд стоял, беседуя с посадником, – того звали Бордом, сыном Петера, но он не был в родстве с семейством из Хестнеса. Нельзя сказать, что поведению Эрленда не хватало должной учтивости, но все

---

[42] *Фростатинг – тинг северной Норвегии, один из четырех высших тингов в стране.*

[43] *Лагман – здесь председатель тинга и верховный судья либо в округе, либо на территории, на которую распространяется юрисдикция высшего тинга.*

[44] *Йемтланд – область к востоку от Трондхеймской (Нидаросской) области, ныне шведская, в старину норвежская.*

же он держал себя очень свободно и непринужденно, беседуя со стариком: покачивался взад и вперед на пятках, закладывал руки за спину. Одет он был в темные цвета, как чаще всего одевался, но очень красиво: на нем было фиолетовое полукафтанье французского покроя, которое тесно облегало тело и было разрезано по бокам, черная пелерина с откинутым назад капюшоном, так что видна была серая шелковая подкладка, отделанный серебром пояс и высокие красные сапоги, туго зашнурованные в икрах и обнаруживавшие стройные, красивые ноги.

При резком свете, лившемся из застекленных окон каменной горницы, было заметно, что у Эрленда, сына Никулауса, появилось немало седых волос на висках. Вокруг рта и под глазами его тонкое загорелое лицо теперь слегка подернулось морщинками, появились поперечные морщины и на длинной, красивой изогнутой шее. И все же он казался удивительно молодым среди других людей, – хотя был вовсе не самым младшим по возрасту из присутствовавших в горнице. Он оставался все таким же стройным и гибким, держался все так же свободно, немного развязно, как в молодости, походка у него была все такая же легкая и упругая, когда он теперь принялся расхаживать взад и вперед по горнице, попрежнему заложив руки за спину, после того как посадник отошел от него. Все другие сидели, переговариваясь между собой тихими, сухими голосами. Легкая поступь Эрленда и позвякивание его маленьких серебряных шпор были слиш-

ком уж отчетливо слышны.

Наконец кто-то из более молодых людей сердито попросил Эрленда сесть: «Нельзя ли потише, любезный?!»

Эрленд резко остановился, нахмурив брови, потом, смеясь, повернулся к заговорившему.

– Где ты пил вчера вечером, родич мой Ион, раз у тебя так голову ломит? – сказал он садясь. Когда лагман Харалд подошел к нему, он, правда, поднялся с места и стоял, пока тот усаживался, но зато потом непринужденно плюхнулся рядом с ним, закинул ногу за ногу и сидел, обхватив руками колено, пока тот говорил.

Эрленд очень чистосердечно рассказал Симону обо всех неприятностях, с которыми ему теперь пришлось столкнуться из-за того, что убийца и колдунья выскользнули у него из рук. Но едва ли у кого-нибудь из присутствующих был более беззаботный вид, чем у Эрленда, когда он обсуждал это дело с лагманом.

Тут вошел архиепископ. Его повели к почетному месту двое людей, обложивших потом старика подушками со всех сторон. Симон никогда еще не видел господина Эйлива Кортина. Тот выглядел дряхлым и хилым и, казалось, все мерз, хотя и был одет в меховой плащ и на голове у него была отороченная мехом шапка. Когда до них дошла очередь, Эрленд подвел к нему свояка, и Симон, опустившись на одно колено, поцеловал перстень на руке господина Эйлива. Эрленд тоже почтительно поцеловал кольцо.

И вообще Эрленд держал себя очень пристойно и почтительно, когда наконец предстал перед архиепископом, после того как тот довольно долго беседовал с другими господами о разных вещах. Но на вопросы, которые задавал ему один из каноников, отвечал довольно легкомысленно, при этом выражение лица у него было веселое и невинное.

Да, он слышал толки среди людей о колдовстве в течение многих лет. Но поскольку никто не обращался к нему за разъяснениями, то как он мог считать, что должен разбираться во всей той болтовне, которая ходит среди женщин в какой-нибудь долине. Уж это обязанность священника – расследовать, есть ли какое-нибудь основание для возбуждения дела.

Тогда его спросили насчет того старика, который жил в Хюсабю и, по слухам, занимался колдовством.

Эрленд усмехнулся: да, Оон сам хвастался этим, но Эрленду никогда не приходилось видеть образчиков его искусства. Еще с детских лет он слышал, что Оон говорил о каких-то женщинах, которых называл Хэрн, Скёгуль и Снегра,[45] но всегда принимал это просто за сказки или шутки.

– Мой брат Гюннюльф и наш священник отец Эйлив допрашивали его несколько раз, но, очевидно, не нашли никаких причин возбуждать против него дело, раз они ничего не сделали. Ведь этот старик ходил в церковь каждый праздник и умел читать христианские молитвы. – Большой веры в ис-

---

[45] *Хэрн, Скёгуль и Снегра – богини древнескандинавской мифологии.*

кусство Оона у Эрленда никогда не было, и так как потом, будучи на севере, он видел, что такое чары и колдовство у финнов, то счел все то, чем занимался Оон, просто дурачеством.

Тут священник спросил, правда ли, что раз как-то сам Эрленд получил от Оона нечто… нечто такое, что должно было приносить ему амурную удачу?

– Да, – отвечал Эрленд быстро, охотно и с улыбкой. Это случилось в ту пору, когда ему, наверное, было лет пятнадцать, значит двадцать восемь лет тому назад. Он получил кожаный кошель с маленьким белым камнем и высушенными частями какого-то зверя. Но он и тогда не очень-то верил в такие штуки и год спустя отдал этот талисман, в первый же год своей службы при королевском Дворе. Это было в городской бане – он шутя показал колдовской талисман другим юношам, А потом один из королевских дружинников явился к нему и пожелал его купить, и Эрленд отдал ему талисман в обмен на отличную бритву.

Его спросили: а кто же был этот господин? Сперва Эрленд не хотел ничего говорить. Но сам архиепископ потребовал от него, чтобы он сказал. Эрленд взглянул на него с лукавым блеском в синих глазах:

– Это был господин Ивар, сын Огмюнда!..

У присутствующих на лицах появилось несколько странное выражение. Старый господин Гютторм, сын Хельге, не мог удержаться от довольно непонятного фырканья. Сам гос-

подин Эйлив старался подавить улыбку. Тут Эрленд решился сказать, опустив глаза долу и закусив нижнюю губу:

– Владыка мой, конечно, вы не станете докучать доброму рыцарю, поднимая такое старое дело. Как я уже сказал вам, я и сам не очень-то верил во все это… и никогда не замечал в нас какого-нибудь изменения оттого, что я отдал ему эту вещь…

Господин Гютторм испустил какой-то рев, а потом все мужчины не смогли больше удерживаться и один за другим разразились громким смехом. Архиепископ хихикал, кашлял и качал головой. Было хорошо известно, что у господина Ивара всегда бывало больше желания, чем счастья в известных делах.

Однако вскоре один из монахов пришел уже в себя и напомнил присутствующим, что они собрались здесь для разговоров о серьезных вещах. Эрленд довольно резко спросил, возбуждено ли против него дело с какой-либо стороны и не допрос ли это, – он лично считает, что его вызвали просто побеседовать. Тогда беседа стала продолжаться, правда, не без некоторой помехи, потому что Гютторм, сын Хельге, время от времени прыскал от смеха.

День спустя, когда свояки возвращались домой из Ранхейма, Симон снова вернулся к предмету этой беседы. Симону казалось, что Эрленд отнесся к ней очень легко, а между тем можно было понять, что многие из вельмож с удовольствием сыграли бы с Эрлендом какую-нибудь злую штуку, если бы

только могли.

Эрленд сказал, что ничуть не сомневается: они охотно бы это сделали, будь они в силах. Ибо здесь, на севере, большинство людей держится теперь канцлера… Кроме архиепископа – в нем Эрленд имеет сейчас верного друга. Но Эрленд во всех делах поступает по закону: по всем вопросам он советуется со своим писцом Клёнгом, сыном Аре, который необычайно сведущ в законах. Эрленд говорил теперь серьезно, только мимолетно улыбнулся, когда сказал, что никто, наверное, не ожидал, что он так хорошо разбирается во всех этих делах, – ни его добрые друзья здесь, в округе, ни господа в совете. Впрочем, он совершенно не уверен в том, что ему захочется сохранить воеводство на других условиях, чем те, которые были ему предоставлены, когда правил Эрлинг, сын Видкюна. Дела его сейчас в таком положении – в особенности после смерти родителей жены, – что ему не нужно искать милости у тех, кто пришел к власти с тех пор, как король объявлен совершеннолетним. Да все равно, когда ни объявить этого гнилого мальчишку совершеннолетним – теперь или потом, – все равно он не стал бы более мужчиной, если бы его продолжали прятать. А так – тем скорее выяснится, что он замышляет… или те шведские вельможи, которые правят вместе с ним. Народу придется признать, что Эрлинг ясно видел правду. Нам это обойдется дорого, если король Магнус захочет забрать Сконе[46] под шведскую дер-

---

[46] *Сконе – область на крайнем юге Швеции, и то время составлявшая часть*

жаву… и это вызовет войну с датчанами в тот самый час, когда кто-нибудь один, датчанин или немец, захватит власть там в стране. А мир на севере, который должен был иметь силу в течение десяти лет… Ныне прошла уже половина этого срока, и неизвестно. захотят ли руссы держаться согласия так долго. Эрленд что-то плохо в это верит… да и сам Эрлинг тоже. Да, конечно, канцлер Поль – человек ученый и во многих отношениях разумный… быть может. Но у этих господ в совете, взявших его себе в руководители, столько же ума, сколько вот у Сутена. Правда, сейчас они отделались от Эрлинга… пока. И до тех пор и Эрленд готов отойти в сторонку. Но Эрлингу и друзьям его, конечно, хотелось бы, чтобы Эрленд сохранял свою власть и благосостояние здесь, на севере, – поэтому он еще не решил.

– Мне кажется, ты как будто научился теперь подпевать господину Эрлингу, – не мог удержаться Симон Дарре от замечания.

Эрленд ответил: «Это так». Прошлым летом, будучи в Бьёргвине, он жил в усадьбе господина Эрлинга и научился понимать этого человека лучше. Дело в том, что Эрлинг желает превыше всего сохранить мир в стране. Но хочет, чтобы норвежская держава пользовалась львиным миром, – чтобы никто не смел выбить зубы или отрезать когти льву их родича короля Хокона… и чтобы его не превратили в охотничьего пса для чужестранцев. Впрочем, у Эрлинга теперь завет-

---

*датского государства.*

ное желание – покончить раз и навсегда со старыми недоразумениями между норвежцами и фру Ингебьёрг. Ныне, когда она осталась вдовой после господина Кнута, можно только желать, чтобы она опять приобрела некоторую власть над своим сыном. Правда, она питает такую великую любовь к детям, рожденным ею от Кнута Порее, что, по-видимому, до некоторой степени забыла своего старшего сына, – но, разумеется, все будет иначе, когда она опять с ним встретится. И, надо полагать, у фру Ингебьёрг нет причин желать, чтобы король Магнус был замешан в беспорядке в Сконе потому лишь, что у его сводных братьев там ленные поместья.

Симон подумал, что все эти речи Эрленда свидетельствуют как будто о его неплохой осведомленности. Но удивлялся Эрлингу, сыну Видкюна, – думает ли бывший наместник короля, что Эрленд, сын Никулауса, способен судить о таких делах? Или же дела Эрлинга обстоят так, что он хватается теперь за любую поддержку? Конечно, рыцарь из Бьяркёя неохотно расстался с властью. Про него никогда нельзя было сказать, что он пользовался ею в своих собственных выгодах, но ведь не таково было его положение, чтобы это было ему нужно. И все говорили, что он с годами становился все более и более упрямым и самонадеянным, а по мере того как другие вельможи пытались противодействовать ему в Государственном совете, он становился столь властным, что почти и слушать не желал ничьих речей.

Было очень похоже на Эрленда, что он теперь наконец взо-

шел, так сказать, на корабль Эрлинга, сына Видкюна, обеими ногами, как раз в такое время, когда задули противные ветры и было неизвестно, принесет ли пользу господину Эрлингу, да и самому Эрленду то, что он, по-видимому, от всего сердца присоединился к своему богатому родичу. Впрочем, Симон должен был признать в глубине души, что, как ни развязны речи Эрленда и о людях и о делах, все же в них есть доля здравого смысла.

Но вечером Эрленд был весел и игрив. Он жил теперь в отцовском доме, который отдал ему брат, когда решил уйти в монастырь. Кристин тоже приехала с мужем, взяв с собой троих своих детей – двух старших и самого меньшего, и дочь Эрленда Маргрет.

К вечеру к ним прибыла целая куча гостей, между прочими – многие из тех господ, которые были накануне утром у архиепископа. Эрленд хохотал и шумел за столом, когда все сидели и пили после ужина. Он взял с блюдца на столе яблоко, что-то нацарапал и вырезал на нем ножом и покатил его на колени к фру Сюнниве, дочери Улава, сидевшей прямо против него.

Дама, сидевшая рядом с Сюннивой, захотела взглянуть на яблоко и схватила его, но фру Сюннива не пожелала его отдать, и вот обе женщины принялись толкать друг дружку под крики и хохот. А Эрленд закричал, что он даст и фру Эйвор яблоко. И вскоре набросал яблок всем бывшим тут женщинам, заявив, что на всех вырезал любовные руны.

– Ну, брат, ты растратишь так свои силы, если будешь выкупать все эти заклады! – закричал кто-то из мужчин.

– Тогда я не стану их выкупать, со мной это бывало и прежде! – отвечал Эрленд, и все расхохотались.

Но исландец Клёнг взглянул на одно из яблок и закричал, что это вовсе не руны, а так, какие-то бессмысленные каракули. Вот сейчас он покажет всем, как надо по-настоящему вырезать руны. Тут Эрленд крикнул, чтобы он не смел этого делать.

– А то от меня потребуют заключить тебя в оковы, Клёнг… а я не могу без тебя обходиться!

Под этот шум и гам в горницу вошел вперевалочку младший сын Эрленда и Кристин. Лаврансу, сыну Эрленда, было теперь немного больше двух лет, и это был на редкость красивый ребенок, беленький, пухленький, с тонкими, как шелк, золотистыми кудрявыми волосиками. Женщины, сидевшие на внешней скамье, сейчас же подхватили мальчугана и стали передавать его с рук на руки, осыпая довольно непристойными ласками, ибо все они уже охмелели и разыгрались. Кристин, сидевшая на почетном месте рядом со своим мужем, потребовала, чтобы ребенка передали ей, да и малютка пищал и тянулся к матери, – но ее не слушали.

Вдруг Эрленд одним прыжком перескочил через стол и взял ребенка, который уже заливался громким криком, потому что фру Сюннива и фру Эйвор тянули его каждая к себе и дрались из-за него. Отец взял мальчугана на руки, ласково

заговорил с ним, а так как малютка все еще плакал, принялся укачивать и убаюкивать его, расхаживая с ним взад и вперед по горнице в полутьме. Казалось, Эрленд совершенно забыл про своих гостей. Белокурая головка ребенка лежала на плече у отца под черными его волосами, и время от времени Эрленд ласкал полуоткрытыми губами крохотную ручонку, упиравшуюся ему в грудь. Так он ходил, пока не вошла служанка, которая ухаживала за ребенком и давным-давно уже должна была уложить его в постель.

Тут кто-то из гостей закричал, что теперь Эрленд должен спеть им, а они будут плясать, – у Эрленда такой прекрасный голос. Сначала он отказывался, но потом подошел туда, где сидела на скамье среди женщин его юная дочь. Эрленд обнял Маргрет и вытащил ее на середину горницы:

– Ну, иди, моя Маргрет! Попляши с отцом! Какой-то молодой человек выступил вперед и взял девушку за руку:

– Маргит[47] обещала поплясать со мной сегодня вечером… Но Эрленд подхватил дочь на руки и опустил ее на пол по другую сторону от себя.

– Пляши со своей женой, Хокон… Не плясал я с другими в ту пору, когда был молодоженом, как ты…

– Ингебьёрг говорит, что у нее сил нет… А я обещала Хокону поплясать с ним, отец, – сказала Маргрет.

Симон Дарре не хотел плясать. Одно время он стоял с какой-то старой дамой, глядя на окружающих… Взгляд его то

---

[47] *Маргит – разговорная, просторечная форма имени Маргрет.*

и дело скользил по Кристин. Пока ее сенные девушки убирали со стола, вытирали его, приносили еще напитков и заморских орехов, она стояла у верхнего конца стола. Потом отошла к камину и села там, вступив в беседу с каким-то священником, бывшим среди гостей. Немного погодя Симон подсел к ним.

Только отплясали под песню-другую, как Эрленд подошел к жене.

– Идем попляшем с нами, Кристин! – сказал он просительно и протянул ей руку.

– Я устала, – сказала она, на миг подняв на него взгляд.

– Пригласи ее ты, Симон, – она не сможет отказаться проплясать с тобой.

Симон привстал с места и протянул было руку, но Кристин покачала головой:

– Не проси меня, Симон… Я так устала…

Эрленд немного постоял; казалось, он огорчился. Потом вернулся к фру Сюнниве, взял ее за руку в цепи пляшущих, а сам крикнул, что теперь Маргит должна спеть для них.

– С кем это рядом пляшет твоя падчерица? – спросил Симон. А про себя подумал, что лицо этого малого ему не нравится, хотя то был видный молодой человек, мужественный, со свежим смуглым цветом лица, прекрасными зубами и блестящими глазами – только они сидели слишком близко к переносице; и у него были крупные волевые рот и подбородок. Но лицо суживалось в верхней части, у лба. Кристин отве-

тила, что это Хокон, сын Эйндриде из Гимсара, внук Туре, сына Эйндриде, воеводы в округе Гэульдал.[48] Хокон только что женился на маленькой хорошенькой молодой женщине, которая сидит на коленях у лагмана Улава – он приходится ей крестным отцом. Симон обратил внимание на эту женщину, – она немного походила на его первую жену, хотя была не так красива. Узнав, что между ними есть какое-то родство, он подошел к Ингебьёрг, поздоровался с ней, сел рядом и начал с ней беседовать.

Кольцо пляшущих вскоре распалось. Люди пожилые занялись напитками, а молодежь продолжала петь и играть посредине горницы. Эрленд отошел к камину вместе с несколькими пожилыми мужчинами, но все еще продолжал вести за руку фру Сюнниву, как бы в рассеянности. Мужчины уселись поближе к огню, так что места для дамы не оказалось, но она стояла перед Эрлендом и ела грецкие орехи, которые тот давил для нее пальцами…

– Однако ты, Эрленд, неучтив, – вдруг сказала она. – Сам сидишь, а я должна стоять перед тобой…

– Ну, садись! – сказал со смехом Эрленд и притянул ее к себе на колени. Она стала сопротивляться, расхохоталась и закричала хозяйке, чтобы та посмотрела, как ее муж ведет себя с гостьей.

– Эрленд так поступает по своей доброте, – ответила на это, тоже со смехом, Кристин. – Моя кошка как, бывало, по-

---

[48] *Гэульдал – долина, соседняя с Орксдалом.*

трется о его ноги, так он и положит ее к себе на колени!

Эрленд с дамой продолжали сидеть по-прежнему, делая вид, как будто ничего не случилось, но оба покраснели. Эрленд небрежно обнимал даму, словно почти не замечая, что она сидит тут, а тем временем сам он и его гости опять заговорили о тех неладах между Эрлингом, сыном Видкюна, и канцлером Полем, которые так занимали мысли людей. Эрленд сказал, что Поль, сын Борда, уже многократно выказывал свое нерасположение к Эрлингу совершенно по-бабьи; вот послушайте и судите сами.

– В прошлом году летом один молодой человек из финской области приехал на съезд военачальников, чтобы поступить на королевскую службу. И вот этот несчастный молокосос так уж старался воспринять воинские свычаи и обычаи и научиться придворному обхождению, что начал украшать свою речь шведскими словами, – в дни моей юности был французский язык, ну, а теперь шведский. В один прекрасный день юноша спрашивает у кого-то, что значит по-норвежски «зануда»? Господин Поль услышал это и говорит; «Зануда, друг мой, – вот, например, фру Элин, супруга Эрлинга, зануда!» Северянин решил, что это, должно быть, значит «красивый» или «любезный», ибо такова ведь и есть фру Элин, а ему, бедняге, не представлялось еще случая послушать, как и что она говорит! И вот однажды Эрлинг встречается с ним на лестнице, ведущей в зал, останавливается и ласково заговаривает с юношей, спрашивает, как ему

нравится город и все такое, и просит передать поклон отцу. Юноша благодарит и говорит, что для его отца будет величайшей радостью, когда он, сын, вернется домой с приветами «от вас, дорогой мой господин, и от вашей супруги, зануды!» На это Эрлинг дает ему в ухо, так что мальчик летит задом на три-четыре ступеньки вниз, пока кто-то не подхватывает его на руки. Поднимается шум и гам, сбегается народ, и все выясняется. Эрлинг бесился – ведь его же выставляют на смех! – но сделал вид, будто ничего не произошло. А канцлер, узнав обо всем этом, только рассмеялся и сказал: ему следовало бы сказать юноше, что «зануда» – это, например, наместник короля; тогда, конечно, молодой человек не истолковал бы неверно его слов.

Слушатели согласились, что такие поступки канцлера малопочтенны… но немало смеялись. Симон молча слушал, подперев щеку рукой. И думал про себя: все же Эрленд выражает свои дружеские чувства к Эрлингу, сыну Видкюна, странным способом, – ведь из этого рассказа явствует со всей очевидностью, что Эрлинг до некоторой степени утратил свое душевное равновесие, если мог подумать, что какой-то мальчишка, только что приехав из глухой местности, осмелится вышучивать его прямо в лицо, стоя на парадной лестнице королевского дворца. Чтобы Эрленд смутился мыслью о прежнем свойстве Симона с фру Элин и господином Эрлингом – этого, конечно, Симон едва ли мог ожидать.

– О чем ты думаешь, Кристин? – спросил он. Та сидела

тихо, выпрямившись и сложив руки крестом у себя на коленях. Она же ответила:

– Сейчас я думала о Маргрет.

Поздно ночью, когда Эрленд и Симон вышли по некоему делу во двор, они спугнули парочку, стоявшую за углом дома. Ночи были светлые как день, и Симон узнал Хокона из Гимсара и Маргрет, дочь Эрленда. Эрленд посмотрел им вслед, – он был довольно трезв, и Симон понял, что это ему весьма не понравилось. Хотя он сказал, словно извиняясь, что молодые люди знают друг друга с самого детства и вечно подтрунивали друг над другом. Симон подумал, что если здесь и нет ничего особенного, то все же жаль молодую жену Хокона Ингебьёрг.

Но на другой день молодой Хокон был с каким-то поручением в доме Никулауса и спросил, где Маргит. Тут Эрленд накинулся на него:

– Моя дочь для тебя не Маргит! И если вы вчера не наговорились, так припрячь про себя, что ты хотел сказать ей…

Хокон пожал плечами, а когда уходил, попросил передать привет Маргарите.

* * *

Семья из Хюсабю оставалась в Нидаросе до окончания тинга, но Симону от этого было мало радости. Эрленд, когда наезжал в свой городской дом, то и дело начинал раздра-

жаться, потому что Гюннюльф предоставил больнице, расположенной по другую сторону яблоневого сада, право пользования некоторыми из примыкавших построек, а также кое-какие права в самом саду. Эрленду же обязательно хотелось выкупить у больницы эти права; ему не нравилось, что больные разгуливают по саду, да и по двору, – к тому же на многих из них было страшно смотреть, – и он опасался, как бы они не заразили детей. Но ему не удавалось прийти к соглашению с монахами, ведавшими больницей.

А тут еще Маргрет! Симон понял, что люди начинают о ней болтать и что Кристин принимает это близко к сердцу, а отцу это словно бы безразлично. Конечно, он уверен в том, что всегда может уберечь свою дочь и что все это ничего не значит. Однако он как-то упомянул Симону, что, пожалуй, Клёнг, сын Аре, охотно взял бы за себя его дочь, но только он, Эрленд, сам не знает по-настоящему, как ему быть в этом деле. Он ничего не имеет против исландца, кроме тою лишь, что тот поповский сын, – не хотелось бы, чтобы о детях Маргрет говорили, что на их обоих родителях лежит пятно незаконного происхождения. Но, впрочем, Клёнг – человек приятный, веселого нрава, умный и очень ученый. Его родитель, отец Аре, воспитал его у себя и сам обучал; у него было намерение сделать сына священником, и он уже предпринял было шаги для получения разрешительной грамоты, но тут сам Клёнг не захотел принимать посвящение. По-видимому, Эрленд решил пока оставить все так, как оно есть. Если не

представится лучшего жениха для дочери, так он всегда сможет отдать ее за Клёнга, сына Аре.

Впрочем, Эрленд уже получил одно столь хорошее предложение насчет дочери, что люди усиленно заговорили о его гордыне и неразумии, когда он упустил из рук эту сделку. То был внук барона Сигварта из Лейрхуле, звали его Сигмюндом, сыном Финна. Он не был богат, потому что у Финна, сына Сигварта, было одиннадцать человек детей и все они были живы. Не так уж он был и молод, – примерно одного возраста с Эрлендом, – но почтенный и разумный человек. А с теми земельными угодьями, которые Эрленд отдал своей дочери, когда женился на Кристин, дочери Лавранса, да еще со всеми теми украшениями и драгоценностями, что он передавал девочке за все эти годы, да еще с тем приданым, о котором он договорился с Сигмюндом, Маргрет была бы устроена наилучшим образом. Эрленд тоже был весьма рад, что нашелся такой искатель руки. для его рожденной в блуде дочери. Но когда он приехал домой к ней с этим женихом, девушка заявила, что она не желает идти за него замуж, потому что у Сигмюнда несколько бородавок на краешке одного из век, а это, как заявила Маргрет, вызывает в ней ужасное отвращение. Эрленд примирился с этим, и когда Сигмюнд разгневался и заговорил о нарушении рукобития, Эрленд тоже разозлился и сказал, что тот, конечно, должен был понимать, что сделка заключалась при условии согласия самой девушки: дочь его не ляжет приневоленной в брачную

постель! Кристин была согласна с мужем в том, что не нужно применять к девочке насилие, но, с другой стороны, ей казалось, что Эрленду следовало бы поговорить серьезно со своей дочерью и заставить ее понять, что Сигмюнд, сын Финна, столь хороший жених для Маргрет, что лучшего ей нечего ждать при ее происхождении. Но Эрленд страшно рассердился на жену уже за то лишь, что та посмела заговорить с ним об этом. Обо всем этом Симон узнал, будучи в Ранхейме у родичей. Они предсказывали, что добром это не кончится, – правда, Эрленд стал теперь могущественным человеком, а девушка необычайно красива, но все-таки ей не принесет пользы, что отец все эти годы баловал ее, не мог на нее надышаться и любовался ее своеволием и высокомерием.

После тинга Эрленд отправился домой в Хюсабю с женой, детьми и Симоном Дарре, который вез с собой своего племянника Яввалда, сына Яввалда же. Он боялся, как бы то свидание, которого Сигрид ждала с такой несказанной радостью, не сложилось бы худо. Сигрид жила в Крюке в довольстве, принесла своему мужу троих прекрасных детей, а Гейрмюнд был таким хорошим человеком, какие не часто встречаются на земле. Это он заговорил со своим шурином, чтобы тот привез с собой на юг маленького Яввалда: пусть мать посмотрит на него, ибо мысли об этом ребенке никогда не покидали Сигрид. Но Яввалд так привык к бабушке с дедушкой, – старики любили ребенка совершенно безумно, давали ему все, что ему взбредет в голову, и потакали всем его вы-

думкам, – в Крюке же было совсем не так, как в Ранхейме. Трудно было также ожидать; чтобы Гейрмюнду понравилось, что у побочного сына его жены, приехавшего к ним в гости, привычки как у королевича: свой собственный слуга, человек пожилой, которым мальчишка помыкал и распоряжался и который и пикнуть не смел, когда тот делал какие-нибудь несообразности. Зато для сыновей Эрленда наступила Масленица, когда к ним в усадьбу приехал Яввалд. Эрленд считал, что его сыновьям не подобает отставать от внука Арне, сына Яввалда, и потому Ноккве и Бьёргюльф получали от своего отца все, чем, по их словам, обладал гость.

* * *

Теперь, когда старшие сыновья настолько подросли, что могли выезжать верхом с Эрлендом, он стал больше заниматься мальчиками. Симон заметил, что Кристин это не всегда только радовало, ей казалось, что они обучаются не одному лишь хорошему, вращаясь среди отцовских людей. Из-за детей-то чаще всего и не ладили между собой супруги; хотя дело у них и не доходило до прямой ссоры, но, во всяком случае, они нередко бывали к ней во много раз ближе того, что, по мнению Симона, могло считаться пристойными. И ему казалось, что чаще всего виновата Кристин. Эрленд был вспыльчив, но Кристин часто говорила с ним, словно тая глубокую, скрытую обиду. Так это было однажды, ко-

гда она явилась с какими-то жалобами на Ноккве. Отец сказал, что он поговорит серьезно с мальчиком, а в ответ на какое-то замечание, сказанное затем женой, выпалил сердито, что не может же он пороть такого большого сына – домочадцев стыдно!

– Да, уж теперь поздно! Делай ты это, когда он был поменьше, так теперь он тебя послушался бы. Но в те дни ты никогда не глядел в ту сторону, где он бывал.

– Ну, положим, глядел! Но я считаю правильным, что позволял ему бегать за тобой, когда он был маленьким… Да и не дело для мужчины пороть бесштанных младенцев!

– Однако на прошлой неделе ты иначе думал, – сказала Кристин с горечью и насмешкой.

Эрленд ничего не ответил, но встал и вышел из горницы. И Симон подумал, что Кристин не следовало так говорить. Она намекала на случай, происшедший за неделю перед тем. Эрленд и Симон въехали на конях во двор, и к ним подбежал со всех ног маленький Лавранс с деревянным мечом. Пробегая мимо отцовского коня, ребенок из шалости ударил его этим мечом по ноге. Конь взвился на дыбы и в одно мгновение сшиб мальчика. Эрленд осадил коня, резко повернул его в сторону и спрыгнул наземь, бросив поводья Симону; лицо у него было белое от испуга, когда он подхватил малютку на руки. Но, увидев, что ребенок цел и невредим, Эрленд перекинул его к себе на левую руку, схватил деревянный меч и выпорол им Лавранса по голой заднюшке – мальчуган ходил

еще без штанов. В первый миг душевного волнения Эрленд не почувствовал, как сильно он бьет, и Лавранс еще до сих пор ходил с сине-зеленой задницей. Но потом Эрленд целый день все заигрывал с мальчиком, пытаясь опять подружиться с ним, а малютка дулся, жался к матери, отбивался от отца и замахивался на него. А когда вечером Лавранса укладывали в супружескую постель, где он спал, потому что по ночам мать еще кормила его грудью, Эрленд весь вечер просидел у постели, то и дело тихонько прикасаясь к спящему ребенку и не спуская с него глаз. Он сам говорил Симону, что этого мальчика он любит больше всех своих сыновей…

Когда Эрленд уехал на летние тинги. Симон отправился домой. Он скакал на юг через долину Гэульдал так, что из-под конских копыт только искры сыпались. Раз как-то, когда они ехали медленнее вверх по какому-то крутому склону, слуги, смеясь, спросили Симона, не собирается ли он проехать трехдневный путь за двое суток. Симон тоже рассмеялся и сказал, что этого ему больше всего хочется.

– Потому что сейчас я скучаю по Формо.

Он постоянно по нему скучал, когда на некоторое время покидал свою усадьбу. Симон был домоседом и всегда радовался, поворачивая лошадь на дорогу к дому. Но ему казалось, что так, как в этот раз, он никогда еще не стремился вернуться домой – в свою долину, в свой дом, к своим маленьким дочерям; он скучал теперь и по Рамборг. В сущности, ему казалось странным, что он переживает это так, – но

там, в Хюсабю, он чувствовал себя таким подавленным, что ему думалось: теперь он по себе знает, как скотина ощущает приближение непогоды.

# II

Все лето напролет Кристин думала только о том, что рассказал Симон о смерти ее матери.

Рагнфрид, дочь Ивара, умерла в одиночестве, – около нее никого не было, когда она испустила свой последний вздох, если не считать спавшей служанки. Мало было утешения в том, что сказал Симон: будто она умерла, успев подготовиться к смерти. Было как бы особым промыслом Божьим то, что за несколько дней до этого она так взалкала тела Христова, что исповедалась и причастилась у того монаха, который был ее духовником в монастыре. Без сомнения, смерть ее была легка, – Симон видел тело Рагнфрид и говорил, что это было изумительное зрелище: Рагнфрид стала так прекрасна в смерти; ведь она же была женщиной лет под шестьдесят, и уже много лет ее лицо покрывали морщины, – но теперь оно совершенно изменилось, помолодело и стало гладким; она выглядела как уснувшая молодая женщина. Теперь ее отвезли на покой и положили рядом с супругом; туда же еще, вскоре после смерти отца, перевезли и останки Ульвхильд, дочери Лавранса. На могилы положена большая каменная плита, разделенная надвое красиво высеченным крестом, а под ним – длинный латинский стих, составленный приором… Только Симон не запомнил стиха как следует, ибо мало что понимал по-латыни. У Рагнфрид был свой отдельный домик в город-

ской усадьбе, где жили монастырские постояльцы, – небольшой сарай, а над ним красивая светличка. Там она и жила одна с какой-то бедной крестьянкой, подрядившейся к монахам за умеренную плату, взамен чего и прислуживала кому-нибудь из более богатых монастырских постояльцев. Но, во всяком случае последние полгода, Рагнфрид прислуживала той, потому что вдова эта, – звали ее Тургюнна, – стала недомогать, и Рагнфрид ухаживала за ней с большой любовью и старанием.

В последний вечер своей жизни Рагнфрид присутствовала на всенощной в монастырской церкви, а потом заходила в поварню, на двор той усадьбы, где жили постояльцы. Она сварила там наваристую похлебку, подбавив к ней укрепляющих снадобий, и сказала другим женщинам, бывшим в поварне, что хочет покормить этой похлебкой Тургюнну и надеется, что та поправится к утру и они обе придут к заутрене. Но к заутрене они не явились, ни она, ни крестьянка, не пришли они и к ранней обедне. Когда кто-то из монахов, бывших на хорах, заметил, что Рагнфрид не было в церкви и за поздней обедней, – забеспокоились: она никогда еще не пропускала трех служб подряд за одни сучки. Тогда послали в город узнать, не заболела ли вдова Лавранса, сына Бьёргюльфа. Поднявшись в светличку, люди увидели, что миска с похлебкой стоит нетронутой на столе: в кровати спит у стены сладким сном Тургюнна, а Рагнфрид, дочь Ивара, лежит с краю, сложив на груди руки крестом, мертвая и почти уже

совсем похолодевшая. Симон и Рамборг приезжали на ее похороны, которые прошли очень чинно.

Теперь, когда в Хюсабю стало столько народу и у Кристин было шестеро сыновей, она уже не могла сама заниматься всеми работами по домашнему хозяйству. Ей пришлось взять себе домоправительницу, и потому получилось так, что хозяйка дома большую часть времени проводила в большой горнице за каким-нибудь шитьем. Всегда кто-нибудь нуждался в одежде – Эрленд, Маргрет или ребята.

В последний раз она видела свою мать, когда та ехала верхом за гробом мужа, – в тот светлый весенний день, когда сама Кристин стояла на лужку перед Йорюндгордом, глядя, как похоронное шествие с телом отца тянется по зеленому ковру озимой ржи под каменистой осыпью.

Игла в ее руках летала и летала, а она думала о своих родителях и о родном доме там, в Йорюндгорде. Теперь, когда все стало воспоминанием, ей казалось, что она прозрела многое, чего не видела, пока в этом была ее жизнь, ибо принимала как нечто само собой разумеющееся отцовскую нежность и опеку и постоянную, спокойную заботу и труд молчаливой, вечно грустной и задумчивой матери. Она думала о своих собственных детях, – они были для нее дороже крови ее сердца, мысли о них не покидали ее ни на один миг, пока она бодрствовала. И все же в голове было много другого, о чем она размышляла гораздо больше: детей своих она любила, не задумываясь над этим. Живя дома, она привыкла

считать, что вся жизнь родителей шла и все их труды и дела совершались ради нее самой и ее сестер. Теперь, ей казалось, она понимала, что между этими двумя людьми, которые были соединены в молодые годы своими отцами, почти без их спросу, текли могучие потоки печалей и радостей, а Кристин не знала ничего об этом, кроме того лишь, что они вместе ушли из ее жизни. Теперь она понимала, что жизнь этих двух людей вмещала в себе много другого, кроме любви к детям, – и все же эта любовь, была сильна, широка и бездонно глубока, тогда, как любовь, которую она давала им взамен, была слабой, бездушной и своекорыстной, даже и тогда, в дни ее детства, когда отец и мать составляли весь мир для ребенка. Кристин словно бы виделось, что она стоит далеко-далеко… совсем маленькая на таком расстоянии во времени и в пространстве. Она стояла под потоком солнечного света, просачивавшегося сквозь дымовую отдушину в старой жилой горнице, там, у них дома, – в зимней горнице времен ее детства. Родители стояли немного позади в тени, они возвышались над ней такие огромные, как всегда казалось се взору, когда она была маленькой, и улыбались ей, – она сама знала теперь, что так улыбаются люди, когда приходит маленький ребенок и оттесняет в сторону всякие тяжелые и трудные мысли.

– Я думала о том, Кристин, что, когда придет время и ты сама родишь ребенка, ты, наверное, поймешь…

Она вспомнила, когда мать сказала эти слова, и, полная грусти, подумала: видно, даже теперь она не понимает свою

мать. Но начинает осознавать, сколь многого. она не понимала…

Этой осенью умер архиепископ Эйлив. Приблизительно в это же время король Магнус велел пересмотреть условия службы для многих воевод страны, но не для Эрленда, сына Никулауса. Будучи в Бьёргвине в последнее лето несовершеннолетия короля, Эрленд получил грамоту, что ему предоставляется четвертая часть вир, пеней и взысканий, – было много разговоров о том, почему ему дарованы такие льготы к концу опекунского правления. Так как теперь Эрленд владел большими земельными угодьями в округе и чаще всего живал в своих собственных усадьбах, когда разъезжал по воеводству, а крестьянам разрешал откупаться от постоя, то у него были большие доходы. Правда, зато он мало получал платы от найма земли, а кроме того, широко жил. Кроме челядинцев, у него в Хюсабю никогда не бывало меньше двенадцати вооруженных слуг; они разъезжали на лучших лошадях и были отлично вооружены, а когда он совершал свои объезды воеводства, люди его жили как господа.

Об этом в один прекрасный день зашел разговор, когда лагман Харалд и воевода области Гэульдал были в Хюсабю. Эрленд отвечал, что многие из этих его слуг были с ним, когда он был на севере:

– Тогда мы довольствовались тем, что попадалось под руку, – ели сушеную треску и пили прогорклое пиво. А теперь

люди, которым я даю платье и пищу, знают, что я не жалею для них пшеничного хлеба и лучшего пива: и даже когда я, рассердившись, пошлю их к черту, они понимают, что я не позволю им отправиться туда, пока сам не поеду впереди…

Ульв, сын Халдора, который был теперь начальником оруженосцев Эрленда, потом говорил Кристин, что это действительно так и есть. Люди Эрленда любят его, и они все у него в руках.

– Ты сама знаешь, Кристин, на слова Эрленда особенно полагаться не следует, о нем нужно судить по его поступкам!

Шли разговоры и насчет того, что у Эрленда, кроме его домашней стражи, сидят еще свои люди повсюду в долинах, – даже и за пределами округа Оркедал, – которым он дал присягнуть себе на рукоятке меча. В конце концов пришло королевское письмо с запросом по этому делу, но Эрленд ответил, что эти люди входили в состав его корабельных ватаг и что он привел их к присяге в первую же весну, когда должен был отплыть на север. На это ему было предписано разрешить этих людей от присяги на ближайшем же тинге, который будет созван для обнародования судебных приговоров и постановлений суда, а всех людей, живущих за пределами области, он должен будет вызвать туда, оплатив их проездные издержки. И вот он действительно вызвал на тинг в Оркедал кое-кого из старых гребцов, живущих на побережьях Мере, – однако никто не слышал, чтобы он разрешил от присяги их или каких-либо других людей, начальником которых

был. Тем временем дело это больше не поднималось, и к исходу осени народ перестал о нем говорить.

Поздней осенью Эрленд уехал на юг страны и на Рождестве был у короля Магнуса, жившего в тот год в Осло. Эрленд сердился, что не смог взять с собой жену – у Кристин не хватило решимости пуститься в тяжелое зимнее путешествие, и она осталась в Хюсабю.

* * *

Он вернулся через три недели после Рождества и привез хорошие подарки жене и всем детям. Кристин получила серебряный колокольчик, чтобы вызывать служанок, а Маргрет – застежку из чистого золота; такой вещи у девушки еще никогда не бывало, хотя у нее была масса всевозможных серебряных и позолоченных безделушек и украшений. По когда женщины укладывали подарки в свои ларцы, что-то прицепилось к рукаву Маргрет и повисло на нем. Девушка быстро прикрыла это рукой, а сама сказала мачехе:

– Эта вещь мне осталась от матери… А потому отец не хотел, чтобы я ее показывала тебе.

А Кристин покраснела еще гораздо больше, чем сама девушка. Сердце у нее заколотилось от страха, но ей показалось, что она должна переговорить с падчерицей и предостеречь ее.

Немного погодя она сказала тихо и нерешительно:

– Это похоже на ту золотую заколку, которую фру Хельга из Гимсара обычно носила в праздник…

– Да, многие золотые вещи одинаковы, – отвечала коротко девушка.

Кристин заперла свой ларец и стояла, упираясь в крышку руками, чтобы Маргрет не заметила, как они у нее дрожат.

– Моя Маргрет… – произнесла она тихо и ласково; речь ее прервалась, но потом она собрала все свои силы. – Моя Маргрет, я горько раскаиваюсь… Никогда меня не радовала вполне никакая радость, хотя мой отец простил мне от всего сердца все, в чем я провинилась перед ним… Ты знаешь, я ведь во многом прегрешила перед своими родителями из-за твоего отца. Но чем дольше я живу и чем больше я учусь понимать, тем тяжелее для меня вспоминать, что я отплатила за их доброту тем, что причинила им горе. Моя Маргрет… Ведь твой отец был добр к тебе во все дни твоей жизни…

– Тебе нечего бояться, матушка, – отвечала девочка. – Я не настоящая твоя дочь; тебе нечего бояться, что я стану таскать твою грязную рубаху или залезать в твои башмаки!

Кристин обратила к падчерице пылающее гневом лицо. Потом крепко стиснула в руке крест, который носила на шее, и проглотила слова, уже вертевшиеся у нее на языке.

* * *

В тот же день после вечерни она отправилась к отцу Эйли-

ву и рассказала об этом; вперившись в него взглядом, тщетно искала она какого-нибудь знака в лице священника… Случилось ли уже несчастье и знает ли он о нем? Ей вспомнилась собственная безрассудная юность, вспомнилось лицо отца Эйрика, которое ничего не обнаруживало, когда он встречался с ней и с ее доверчивыми родителями, замкнув в глубине своей души ее греховную тайну… и она сама, немая и ожесточенная его суровыми предупреждениями и угрозами. И вспомнилось ей, как она показывала своей матери подарки Эрленда, которые тот сделал ей в Осло, – это было уже после того, как она стала его законной и нареченной невестой. Лицо матери было непоколебимо спокойным, когда она брала вещи в руку, одну за другой, глядела на них, хвалила их и откладывала затем в сторону.

Кристин смертельно боялась, приходила в отчаяние и стерегла Маргрет, как только могла. Эрленд заметил, что с женой его что-то происходит, и однажды вечером, когда они улеглись в постель, спросил ее, не беременна ли она опять.

Кристин некоторое. время лежала молча, прежде чем ответить, что как будто бы так и есть. Тогда муж ласково привлек ее в свои объятия и больше не стал расспрашивать, но она не в силах была сказать, что ее тревожит другое. Но когда Эрленд шепнул ей, чтобы на этот раз она постаралась подарить ему дочь, она не в состоянии была ему ответить и лежала, застыв от страха, и думала: Эрленд еще успеет узнать, что за радость получает человек от дочерей своих…

Спустя несколько ночей все домашние в Хюсабю улеглись в постель подвыпивши и очень сильно объевшись, потому что то были последние дни перед наступлением поста, и все спали тяжелым сном. Среди ночи проснулся маленький Лавранс, спавший в кровати с родителями, заплакал и в полусне стал хныкать и просить, чтобы мать покормила его грудью. Но уже настала пора отучать его от этого. Эрленд проснулся, сердито поворчал, но взял мальчика, попоил его молоком из чашки, стоявшей на ступеньке у кровати, и потом положил в постель по другую сторону от себя.

Кристин давно уже опять погрузилась в сонное забытье, как вдруг почувствовала, что Эрленд сел в постели. Полуочнувшись, она спросила, что случилось, – он зашикал на нее голосом, которого она не узнала. Он бесшумно выскользнул из кровати. Кристин поняла, что он накидывает на себя кое-какую одежду, но когда приподнялась на локте, он опрокинул ее, прижав одной рукой к подушкам, а сам перегнулся через нее и взял меч, висевший у изголовья.

Он двигался неслышно, как рысь, но Кристин поняла, что он идет к лесенке, которая вела в светличку Маргрет над сенями большой горницы.

Одно мгновение Кристин лежала в полнейшем бессилии от страха, – потом села в кровати, нашла сорочку и юбку и стала шарить впотьмах, ища на полу у кровати свои башмаки.

В тот же миг сверху из светлячки донесся пронзитель-

ный женский вопль. Должно быть, его было слышно по всей усадьбе. Голос Эрленда прокричал несколько слов… Потом Кристин услышала звон скрестившихся мечей и топот ног наверху… затем звук упавшего на пол оружия, – и Маргрет закричала от страха.

Кристин присела на корточки у очага, разгребла голыми руками горячую золу и стала раздувать уголья. Вздув огонь, она запалила лучинку и, высоко подняв ее трясущимися руками, увидела наверху в темноте Эрленда, – он спрыгнул вниз, даже не подумав воспользоваться лесенкой, и выбежал из горницы через наружную дверь; в руке его был обнаженный меч.

Со всех сторон из темноты выглядывали мальчишеские головы. Кристин подошла к северной кровати, где спали трое старших, велела им сейчас же ложиться и закрыть дверцу кровати. Ивару и Скюле, севшим на скамейке, где они лежали, и испуганно и растерянно щурившимся на свет, она велела залезть в родительскую постель и тоже закрыла их там. Потом зажгла свечу и вышла во двор.

Шел дождь… В одно мгновений, пока свет ее свечи отражался в блестящей мокрой гололеди, она увидела толпу народа перед дверью в соседний дом – людскую, где спали слуги Эрленда. Тут свечу у нее задуло ветром, – на мгновение ночь стала черна как сажа, – но вот из дома для слуг появился фонарь; его нес Ульв, сын Халдора.

Ульв наклонился над каким-то темным скрюченным те-

лом, лежавшим на мокрой наледи. Кристин опустилась на колени и стала ощупывать лежавшего человека – то был молодой Хокон из Гимсара, он был без сознания или мертв. Сразу же руки ее обильно измазались в крови. Вместе с Ульвом она перевернула тело и выпрямила его. Кровь водопадом хлестала из правой руки, у которой была отрублена кисть.

Невольно Кристин бросила взгляд туда, где ставня от слухового оконца в светличке Маргрет хлопала, и билась об стену под порывами ветра. Кристин не могла разглядеть там ничьего лица – правда, было очень темно.

Стоя на коленях в лужах воды и изо всех сил сжимая кистевой сустав Хокона, чтобы остановить поток крови, Кристин заметила слуг Эрленда, которые стояли кругом полуодетые. Потом увидела серое, искаженное лицо Эрленда; полой кафтана он отирал окровавленный меч. Под кафтаном на Эрленде ничего не было надето, и он стоял босой.

– Кто-нибудь… раздобудьте мне повязку… а ты, Бьёрн, пойди и разбуди отца Эйлива – нам нужно будет перенести его к священнику в дом.

Она схватила кожаный ремень, который кто-то протянул ей, и туго перевязала им обрубок руки Хокона. Вдруг Эрленд сказал сурово и яростно:

– Не сметь трогать его! Пусть он лежит там, где улегся!..

– Ты прекрасно знаешь, супруг мой, – сказала спокойно Кристин, хотя сердце у нее колотилось так, что она едва не задыхалась, – что этого нельзя допустить.

Эрленд тяжело ткнул в землю мечом:

– Ну, еще бы!.. То не твоя плоть и кровь, – это ты мне давала чувствовать ежедневно все эти годы.

Кристин поднялась на ноги и тихо сказала, чтобы слышал только он один:

– И все же ради нее я хочу, чтобы это было скрыто – если возможно… Слушайте, молодцы, – вернулась она к стоявшим вокруг слугам, – вы так верны хозяину, что не станете говорить об этом, пока он сам не расскажет вам, как у них с Хоконом вышла эта ссора…

Все слуги согласились. Один из них осмелился выступить вперед; они проснулись, услышав, что какая-то женщина кричит так, словно ее насилуют. Сейчас же вслед за этим кто-то перепрыгнул к ним на крышу, но, наверное, поскользнулся на обледеневшей поверхности. Слышно было, как он покатился вниз и потом тяжело рухнул наземь. Но Кристин велела слуге замолчать. Тут прибежал отец Эйлив.

Когда Эрленд повернулся и пошел в дом, жена бросилась за ним, желая пробраться туда раньше него. Когда же он направился было к лесенке в светличку, Кристин опять перебежала ему дорогу и обхватила его за плечи.

– Эрленд! Что ты хочешь сделать с девочкой? – поспешно спросила она, глядя в его дикое, посеревшее лицо.

Он не отвечал, стараясь отбросить ее от себя, но Кристин крепко вцепилась в него:

– Повремени, Эрленд, повремени!.. Твое дитя! Ты ведь не

знаешь… Он был совсем одет! – в отчаянии пробовала она остановить его.

Эрленд громко вскрикнул, прежде чем ответить, – Кристин смертельно побледнела от ужаса… Слова его были так грубы, а голос неузнаваем от дикой боли.

И вот она молча боролась с бесновавшимся мужем – тот рычал, скрежетал зубами. Пока наконец не поймала его взгляда в полутьме:

– Эрленд… пусти меня к ней сперва. Я не забыла того дня, когда была не лучше Маргрет…

Тогда он отпустил ее; шатаясь, попятился к стене чулана и остановился там, дрожа, как издыхающий зверь. Кристин отошла, зажгла свечу, вернулась и поднялась мимо мужа в светличку к Маргрет.

Первым, что свет вырвал из темноты, был меч, валявшийся на полу неподалеку от кровати, а рядом с ним – отрубленная кисть руки. Кристин сорвала с себя головную повязку, которой, не отдавая себе в том отчета, кое-как прикрыла свои распущенные волосы перед тем, как выйти к мужчинам. Теперь она накинула ее на то, что лежало на полу.

Маргрет сидела, скорчившись, на подушках у изголовья, устремив взор больших, дико вытаращенных глаз прямо на факел в руках Кристин. Она куталась в одеяло, но белые плечи сверкали наготой сквозь золотистые кудрявые волосы. Кругом все было залито кровью.

Напряжение Кристин разрешилось бурными рыданиями

– было так жалко видеть такую красивую юную девочку и весь этот ужас! Тут Маргрет громко закричала:

– Матушка!.. Что отец хочет сделать со мной?..

Кристин не могла совладать с собой; хоть она и чувствовала глубокое сострадание к девочке, все же сердце словно сжалось и почерствело в ее груди. Маргрет не спрашивала, что ее отец сделал с Хоконом. На мгновение ей представилось: Эрленд лежит на земле, а ее собственный отец стоит над ним с окровавленным мечом, и она сама… Но Маргрет и с места не двинулась. Кристин не в силах была удержаться, чтобы давнее пренебрежение и неприязнь к дочери Элины не напомнили ей снова о себе, когда Маргрет, вся трепеща, прижалась к ней, почти обезумев от страха, а она присела на край кровати, стараясь немного успокоить девочку.

Так они сидели, как вдруг Эрленд вынырнул снизу, с лестницы. Он был теперь совсем одет. Маргрет опять закричала, прячась в объятия мачехи, – Кристин на мгновение взглянула на мужа: сейчас он был спокоен, но бледен, и лицо его казалось чужим. Впервые он выглядел не моложе своих лет.

И когда он спокойно сказал: «Ступай вниз, Кристин, я хочу поговорить со своей дочерью с глазу на глаз», – она послушалась. Заботливо уложив девочку в постель, прикрыла ее одеялом до подбородка и затем спустилась вниз.

Последовав примеру Эрленда, Кристин тоже совсем оделась, – разумеется, в эту ночь в Хюсабю уже никто больше не спал, – и принялась успокаивать перепуганных ребят и

служанок.

* * *

На следующее утро, – была сильная метель, – служанка Маргрет уходила, рыдая, из усадьбы, унося свое имущество в заплечном мешке. Хозяин выгнал ее вон, осыпав ругательствами, и пригрозил содрать с нее кожу за то, что она так продала свою госпожу.

Потом Эрленд подверг допросу остальных слуг: неужели служанки не почуяли ничего подозрительного, когда Ингелейв осенью и зимой стала то и дело ночевать у них, а не в светелке Маргрет? И собаки почему были заперты у них же? Но, как и следовало ожидать, служанки все отрицали.

Наконец он взялся за жену, оставшись с ней наедине. С болью в сердце, смертельно усталая, слушала мужа Кристин, стараясь отвести его несправедливые упреки кроткими ответами. Она не отрицала, что боялась; но удержалась и не сказала, почему не говорила ему о своих страхах, – потому что не видала ничего, кроме неблагодарности, всякий раз, как пыталась дать совет ему или Маргрет, ради блага самой же девушки. И поклялась Господом Богом и девой Марией, что никогда не знала, – да и не могла подумать ничего такого, – что этот человек приходил по ночам в светелку к Маргрет.

– Не могла! – презрительно сказал Эрленд. – Ты сама говоришь, что еще помнишь то время, когда была не лучше Мар-

грет… И ведает Господь Бог, за годы, прожитые нами совместно, ты всякий день давала мне заметить, что помнишь обиду, которую я причинил тебе… Хотя ты, точно так же, как и я, поступала по своей доброй воле и хотя твой отец, а не я был причиной многих несчастий, отказав мне, когда я просил его отдать мне тебя в жены… Я же был готов загладить свой грех с первого же часа. Когда ты увидела гимсарское золото, – он грубо схватил женину руку и поднял ее вверх, так что на пальцах заблестели два кольца, подаренные Эрлендом Кристин, когда они встречались в Гердарюде, – разве ты не поняла, что это значит? Ежедневно все эти годы ты носила кольца, которые я подарил тебе, когда ты отдала мне свою честь.

Кристин едва держалась на ногах от усталости и горя; она тихо ответила:

– Удивляюсь, Эрленд, как ты еще помнишь то время, когда ты победил мою честь…

Тут он обхватил руками голову, бросился на скамью, корчась и извиваясь. Кристин села неподалеку от него, – ей хотелось, чтобы она могла хоть как-нибудь помочь мужу. Она понимала, что это несчастье еще тяжелее падает на него, ибо он сам грешил против других таким же образом, как теперь согрешили против него. И он, который никогда не любил принимать на себя вину за им же самим вызванное несчастье, теперь не в силах был снести эту вину, – и не на кого было ее свалить, кроме как на Кристин. Но она не так сердилась,

как скорбела и страшилась того, что будет теперь…

* * *

Время от времени она поднималась к Маргрет. Девочка лежала недвижимо, бледная, с устремленным куда-то вдаль взором. Она все еще не спросила о судьбе Хокона, и Кристин не знала – потому ли, что не смела, или потому, что была совершенно ошеломлена своим собственным горем.

В конце дня Кристин видела, что Эрленд и исландец Клёнг шли вдвоем сквозь пургу в оружейную. Но через самое короткое время Эрленд вернулся обратно один. Кристин на мгновение подняла глаза, когда Эрленд вошел в полосу света и прошел мимо нее, после этого она уже не решалась обращать свой взгляд в тот угол горницы, где он спрятался от людей. Она видела, что он совершенно сломлен.

Немного погодя, когда она ходила зачем-то в клеть, прибежали Ивар и Скюле и сообщили матери, что Клёнг-исландец вечером уезжает, – мальчики были очень огорчены, потому что писец был их добрым другом. Сейчас он укладывает свои вещи и к ночи хочет быть в Биргси…

Кристин уже догадалась о том, что произошло. Эрленд предложил свою дочь писцу, а тот не захотел брать за себя соблазненную девушку. Но чего этот разговор стоил Эрленду! У Кристин закружилась голова, ей стало дурно, и она не в силах была продумать эту мысль до конца.

* * *

Спустя день из дома священника пришло известие: Хокон, сын Эйндриде, просил о разрешении поговорить с Эрлендом. Эрленд велел ответить, что ему не о чем говорить с Хоконом. Отец Эйлив сказал Кристин, что если Хокон и выживет, то останется совершенным калекой. Помимо того, что он потерял кисть правой руки, он еще расшиб себе спину и бедра при падении с крыши людской. Но он хочет домой, хоть и в таком виде, и священник обещал достать для него сани. Он сейчас от всего сердца раскаивается в своем прегрешении, – он сказал, что отец Маргрет имел право так поступить, как ни толковать закон, но ему очень хотелось бы, чтобы все постарались заглушить это дело и чтобы его проступок и срам Маргрет были скрыты, насколько это возможно. К концу дня его вынесли из дому и положили в сани, которые отец Эйлив занял в Репстаде, и священник сам поехал вместе с ним через горы в Гэульдал.

* * *

Поэтому на другой день, – а это была среда на первой неделе Великого Поста, – обитателям Хюсабю пришлось пойти к обедне в приходскую церковь ниже по долине, в Ви-

ньяре; но ко времени вечерни Кристин попросила причетника впустить ее в их домашнюю церковь.

Она еще ощущала пепел на голове своей,[49] когда стояла на коленях у могилы своего пасынка и читала «Отче наш» за упокой его души.

Наверное, там, под камнем, от мальчика почти ничего не осталось, кроме костей. Костей, и волос, и чего-нибудь из одежды, в которой он был опущен в землю. Она видела останки своей маленькой сестрички, когда ее выкопали, чтобы свезти к отцу в Хамар. Прах и пепел… Она вспомнила прекрасное лицо отца, вспомнила мать, ее большие глаза на изборожденном морщинами лице, ее фигуру, сохранившуюся все столь же странно молодой, хрупкой и легкой, хотя она так рано состарилась. Оба они лежали под одним камнем, распадаясь, как распадаются лома, когда их жители выедут. Перед ней всплывали и исчезали картины: сгоревшие остатки церкви в ее родной долине, усадьба в долине речки Сильсо, мимо которой приходится проезжать, когда едешь из Йорюндгорда в Вогэ: дома стояли пустые и разваливались, и те, кто возделывал землю усадьбы, не смели подходить к ним близко после захода солнца. Она думала о своих дорогих умерших – выражении их лиц, их голосах, улыбках, привычках и обыкновениях; когда они уже ушли в тот, иной край, думать об их образах так больно, как будто вспоминаешь о родном доме, когда знаешь, что ныне он пуст и гниющие

---

[49] *В этот день было принято каяться в церкви, посыпая голову пеплом.*

бревна обваливаются, погружаясь в дерн.

Она сидела на скамье у стены в пустой церкви, и запах застарелого куренья приковывал ее мысли к смерти и к упадку всего преходящего. И не было сил вознести душу так, чтобы увидеть хоть мимолетный отблеск той страны, где были они, куда вся доброта, вся любовь и верность в конце концов переходили и где пребывали. Каждый день, молясь за упокой их душ, она думала о том, как неестественно ей молиться за них, кто уже здесь, на земле, имел больше душевного покоя, чем сама она когда-либо ведала с тех пор, как стала взрослой женщиной. Правда, отец Эйлив говорил, что молитва за умерших всегда хороша. – и если те уже обрели покой у Господа, то хороша для себя.

Но ей это не помогало. Ей казалось, что когда ее утомленное тело наконец будет гнить под камнем, то ее тревожная душа все равно должна будет реять где-то поблизости, как проклятый дух бродит и стонет вокруг обрушившихся домов пустынной усадьбы. Ибо в ее сознании сохранится грех, как корни сорных цветов пронизывают дерн. Они больше не цветут, не распускаются, не благоухают, но в дерне они сохраняются, бледные, сильные и живые. Несмотря на всю нежность, наплывавшую в ее душе, когда она видела отчаяние мужа, у нее не хватало воли заглушить голос, вопрошавший внутри нее, оскорбленный и ожесточенный: как ты можешь так говорить со мной, разве ты забыл, как я отдала тебе верность и честь, разве ты забыл, как я была твоей возлюблен-

ной подругой?.. И понимала, что пока этот голос вопрошает в ней, до тех пор она сама будет говорить с ним так, будто она все забыла…

Мысленно она бросалась на колени перед ракой святого Улава, хваталась за истлевшие кости руки брата Эдвина там, в церкви на горе Ватсфьелль, поочередно сжимала в руке кресты – то хранивший кусочки савана мертвой, то хранивший осколки кости неизвестного мученика, – искала защиты, хваталась за эти малые остатки, которые сквозь смерть и уничтожение сохранили немного силы отошедшей души – как найденные в земле, изъеденные ржавчиной мечи древних богатырей сохраняют волшебное могущество.

На следующий день Эрленд поехал в город в сопровождении только Ульва да еще одного слуги. Он так и не возвращался домой в течение всего поста, но Ульв приезжал за его оруженосцами и уехал с ними, чтобы встретить Эрленда на весеннем тинге в Оркедале.

Наедине с Кристин Ульв рассказал ей, что Эрленд договорился с Тидекеном Паусом, немцем, золотых дел мастером в Нидаросе, о том, что Маргрет выйдет замуж за сына Тидекена, Герлаха, вскоре после Пасхи.

Эрленд вернулся домой к праздникам. Он теперь успокоился и пришел в себя, но Кристин понимала, что это все не пройдет ему так легко, как проходило многое, – оттого ли, что он теперь уже не так молод, или потому, что ничто еще не унижало его столь глубоко. Маргрет же, казалось, была со-

вершенно равнодушна к тому, как отец устраивал ее судьбу.

Однажды вечером, когда муж и жена остались вдвоем, Эрленд все же сказал:

– Будь она моим законным ребенком – или будь ее мать незамужней женщиной… никогда я не отдал бы ее чужеземцу, когда с ней такое дело. Я бы не пожалел ей и ее потомству ни защиты, ни приюта. Теперешний выход худший из всех, но раз уж она такого происхождения, то законный муж может лучше всего защитить ее…

Но в то время как Кристин готовила все к отъезду своей падчерицы, Эрленд сказал однажды коротко:

– Ты сейчас, наверно, чувствуешь себя не так хорошо, чтобы ехать с нами в город?

– Если ты хочешь, то, разумеется, я поеду, – сказала Кристин.

– А зачем мне хотеть? Если ты прежде не была ей вместо матери, так и теперь можешь избавиться от этого… Особого веселья на свадьбе не будет! А фру Гюнна из Росволда и жена ее сына обещали вспомнить наше родство и приехать.

Так Кристин и просидела в Хюсабю, пока Эрленд выдавал свою дочь в Нидаросе за Герлаха, сына Тидекена.

# III

Этим летом, перед самым Ивановым днем, Гюннюльф, сын Никулауса, вернулся в свой монастырь. Эрленд был в городе на Фростатинге. Он отправил домой гонца и велел спросить у жены, как она думает, сможет ли она приехать повидаться с деверем. Кристин чувствовала себя не более чем сносно, но все же поехала. Когда она встретилась с Эрлендом, тот сказал, что, насколько ему кажется, здоровье брата совершенно подорвано. Предприятие монахов, отправившихся на север, в Мункефьорд, не увенчалось особым успехом. Построенную ими церковь так и не удалось освятить, потому что архиепископ не смог поехать на север в такое неспокойное время. Пришлось служить обедни у походного алтаря. В довершение всех бед у них не хватило ни хлеба, ни вина, ни свечей, ни масла для богослужения, а когда брат Гюннюльф и брат Аслак поплыли в Варгёй, чтобы раздобыть все это, финны заколдовали их: корабль перевернулся, и им пришлось просидеть трое суток на каком-то скалистом островке. После этого оба они заболели, а брат Аслак спустя некоторое время умер. Они сильно страдали от цинги в Великий Пост, потому что у них не было ни муки, ни овощей для приправы к сушеной треске. Поэтому епископ Хокон бьёргвинский и магистр Арне, возглавлявший соборный капитул в Нидаросе на время отсутствия господина По-

ля, уехавшему к папе за посвящением, приказали тем монахам, которые еще оставались в живых, вернуться домой, а впредь, до дальнейшего распоряжения, о пастве в Мюнкефьорде должны были пектись священники в Варгёе.

Но хотя Кристин и была уже подготовлена заранее, все же она пришла в ужас, увидев вновь Гюннюльфа, сына Никулауса.

Она поехала в монастырь вместе с Эрлендом на следующий же день, и их провели в приемную. Монах вышел к ним – он совсем сгорбился, венчик его волос совершенно поседел, под впалыми глазами были морщины и темные круги, а на гладкой белой коже лица – свинцового цвета пятна. Такие же пятна оказались у него на руке, когда он выпростал ее из рукава рясы и протянул Кристин. Он улыбнулся, и Кристин увидела, что у него не хватает много зубов.

Они уселись и стали беседовать, но Гюннюльф словно и говорить разучился. Он сам об этом упомянул, перед тем как им уйти.

– А ты, Эрленд, все такой же… Как будто и не постарел, – сказал он с легкой улыбкой.

Кристин сама отлично знала, что у нее сейчас прескверный вид. Эрленд же был красив – высок, строен, темноволос и хорошо одет. И все же Кристин подумала в глубине души, что и Эрленд тоже сильно изменился… Странно, как Гюннюльф этого не заметил, – раньше у него всегда было такое острое зрение.

* * *

Раз как-то поздним летом Кристин была на чердаке, где хранилась одежда; с ней была фру Гюнна из Росволда, она приехала в Хюсабю помогать Кристин, когда той опять настанет время родить. И вот они услышали, что Ноккве и Бьёргюльф поют во дворе, точа свои ножи, – поют какую-то грубую и непристойную песню. Они орали ее во все горло.

Мать была вне себя от гнева. Она сошла к ребятам и обрушилась на них со строжайшим выговором. А потом пожелала узнать, от кого они научились таким вещам; конечно, это они подхватили в людской, но кто же из мужчин учит такому делу детей? Мальчики не хотели отвечать. Тут из-под лестницы, ведшей на чердак, вылез Скюле; он сказал, что мать может прикусить язык: эту песню распевает отец, а они ее слушали, да научились…

Тогда вмешалась фру Гюнна – неужели они больше уже не боятся Бога, что поют такие вещи… И в особенности теперь, когда, ложась вечером спать, не знают, не окажутся ли они завтра без матери еще раньше, чем петухи пропоют? Кристин ничего не сказала и молча вернулась в дом.

Потом, когда она прилегла ненадолго на кровать, в горницу вошел Ноккве и подошел к ней. Он взял ее за руку, но ничего не сказал, а принялся тихонько плакать Тогда она заговорила с ним ласково и шутливо, прося его не печалить-

ся и не сетовать: она уже шесть раз благополучно перенесла это, так что, наверное, перенесет и в седьмой. Но мальчик плакал все больше и больше. В конце концов он попросил позволения забраться к ней на кровать и лег у стенки, продолжая плакать, обняв мать за шею и положив голову к ней на грудь. Но Кристин так и не могла добиться от него, чтобы он рассказал ей, что его так огорчало, хотя он и пролежал у нее вплоть до того, как служанки внесли ужин.

Ноккве шел теперь двенадцатый год; он был крупный мальчик для своего возраста и очень старался казаться возмужавшим и взрослым, но у него была нежная душа, и матери нередко приходилось видеть, что он ведет себя еще совсем по-детски. Он уже был настолько велик, чтобы понять, какая беда случилась с его сводной сестрой; мать спрашивала себя, не замечает ли он также, как отец его совершенно изменился после этого.

С Эрлендом всегда бывало так, что когда он вспылит, то может наговорить самые ужасные вещи, – однако прежде он никогда не говорил никому ни одного дурного слова, кроме как в гневе. И сейчас же старался загладить все сказанное, когда, бывало, сам поостынет. Теперь же он был в состоянии говорить жестокие и мерзкие вещи хладнокровно. Он и раньше был несдержан на язык и любил ругаться и божиться. Однако все же до некоторой степени отучился от этой скверной привычки, видя, что это причиняет боль жене и оскорбляет отца Эйлива, к которому он постепенно стал

питать большое почтение. Но никогда его речи не бывали непристойны или грязны, и ему никогда не нравилось, если другие мужчины вели подобные разговоры, – в этом отношении он был гораздо скромнее многих мужчин, живших более чистой жизнью. Оскорбительно и больно было Кристин слышать такие слова из уст своих малолетних сыновей, в особенности теперь, когда она была в положении, и знать, что они научились этому от отца; однако было еще одно, что оставляло наигорчайший привкус у нее во рту: она поняла, что Эрленд еще настолько ребячлив, что в состоянии думать, будто он вышибает клин клином, если теперь, после такого постыдного происшествия с дочерью, с его языка будут, срываться нечистые и непристойные слова и выражения.

От фру Гюнны она знала, что Маргрет разрешилась мертворожденным мальчиком незадолго до дня святого Улава. По словам старухи, она уже довольно скоро утешилась; они с Герлахом живут в добром согласии, он обращается с ней ласково; Эрленд заезжает к дочери, когда бывает в городе, и Герлах чествует тестя с большой пышностью, хоть Эрленд не очень склонен признавать его за родича. Но сам Эрленд не упоминал имени дочери у себя дома, в Хюсабю, с тех пор как та уехала из усадьбы.

У Кристин опять родился сын, при крещении названный Мюнаном – в честь деда Эрленда. В течение всего того времени, что она лежала в маленькой горенке, Ноккве ежедневно приходил к матери, принося ей ягоды и орехи, которые

собирал в лесу, или венки, которые сплетал из разных целебных трав, Эрленд приехал домой, когда новорожденному исполнилось уже три недели, и долго просиживал у жены, стараясь быть нежным и ласковым, и на этот раз не жаловался на то, что опять родился мальчик, а не девочка или что ребенок такой слабенький и болезненный. Но Кристин скупо отвечала на его ласковые речи, была молчалива, задумчива и удручена. И на этот раз здоровье ее восстанавливалось очень медленно.

* * *

Всю зиму напролет Кристин недомогала, и, казалось, мало было надежд, что ее ребенок выживет. Мать почти не думала ни о чем – только о своем бедненьком малютке. Поэтому она слушала в пол-уха все разговоры о тех важных известиях, о которых говорилось повсюду этой зимой. Король Магнус оказался в тяжелейшем безденежье из-за своих попыток обеспечить себе владычество в Сконе и ждал теперь помощи и средств из Норвегии. Некоторые из господ в государственном совете были склонны поддержать его в этом деле. Но когда королевские посланцы прибыли в Тюнсберг, посадник оттуда уехал, а Стиг, сын Хокона, бывший начальником тюнсбергской крепости, запер замок перед королевскими людьми и приготовился защищать его силой оружия. У него было немного людей, но Эрлинг, сын Видкюна, ко-

торый был мужем его тетки и жил у себя в поместье в Акере, прислал сорок своих вооруженных людей на подмогу, а сам отплыл на запад. Тогда же королевские двоюродные братья Ион и Сигюрд, сыновья Хафтура, возмутились против короля из-за одного судебного приговора, вынесенного не в пользу кого-то из их людей. Эрленд смеялся над этим и говорил, что сыновья Хафтура доказали здесь свою молодость и глупость. Недовольство королем Магнусом охватило теперь всю страну. Знатные люди требовали, чтобы во главе правления государством был поставлен наместник и чтобы государственная печать была передана в руки норвежцу, раз король из-за своих сконских дел, по-видимому, склонен большую часть времени проводить в Швеции. Горожане и городское духовенство были напуганы слухами о королевском денежном займе у немецких городов. Высокомерие немцев и их издевательство над законами и обычаями страны и без того уже были более чем нетерпимы, а теперь говорили, что король пообещал им еще большие права и преимущества в норвежских городах, так что тем норвежцам, которые ведут торговлю и уже и так с трудом изворачиваются, станет совсем несносно терпеть. В народе упорно держался слух о тайном грехе короля Магнуса, и, во всяком случае, многие из приходских священников по округам и бродячие монахи были единодушны в утверждении, что из-за этого и сгорел собор святого Улава в Нидаросе. Крестьяне тоже начали искать в этом причины многих несчастий, которые за последние го-

ды обрушивались то на одну долину, то на другую, – болезни скота, головня на зерновых хлебах, приносившая с собой немощи и напасти людям и животным, плохие урожаи хлеба, недостаток сена. Поэтому Эрленд говорил, что если бы у сыновей Хафтура хватило ума просидеть еще немного времени тихо и спокойно и приобрести себе славу людей тороватых и ведущих себя как свойственно вождям, то люди, пожалуй, вспомнили бы о том, что ведь и они тоже внуки по дочери короля Хокона.

Но все эти волнения затихли, а из них получилось то, что король назначил Ивара, сына Огмюнда, королевским наместником в Норвегии. Эрлингу, сыну Видкюна, Стигу, сыну Хокона, сыновьям Хафтура и всем его приверженцам пригрозили, что они будут объявлены государственными изменниками. Тогда им пришлось уступить, поехать к королю и примириться с ним. Был один могущественный человек из Опланда, которого звали Ульвом, сыном Саксе; он принимал участие в замысле сыновей Хафтура; но не поехал мириться с королем, а прибыл в Нидарос после Рождества. Он проводил с Эрлендом много времени в городе, и от него-то жители северных областей и узнали обо всех этих событиях, как их понимал Ульв. Кристин этот человек очень не нравился: его самого она не знала, но была знакома с его сестрой Хельгой, дочерью Саксе, которая была замужем за Гюрдом Дарре из Дюфрина. Она была красива, но очень высокомерна, и Симон не любил ее, хотя Рамборг прекрасно с ней уживалась.

Вскоре после начала Великого Поста пришли грамоты воеводам, чтобы Ульв, сын Саксе, был объявлен на тингах изгоем, но к тому времени он в самый разгар зимы уже отплыл из Норвегии.

* * *

Этой весной Эрленд и Кристин проводили Пасху в своем городском доме, и с ними был их младший ребенок Мюнан. Дело в том, что одна монашенка из монастыря была столь искусной лекаркой, что все больные дети, побывавшие в ее руках, выздоравливали, если только по воле Божьей не умирали.

Однажды, вскоре же после праздников, Кристин вернулась из монастыря домой с малюткой. Сопровождавшие ее слуга и служанка вошли вместе с ней в горницу. Эрленд был там один – лежал на одной из скамеек. Когда слуга удалился, а женщины сняли с себя плащи, Кристин села с ребенком у очага, а служанка занялась разогреванием какого-то маслица, которое им дала монахиня, Эрленд спросил с того места, где лежал, что сестра Рагнхильд сказала насчет ребенка. Кристин отвечала немногословно, развертывая тем временем пеленки, а под конец и вовсе перестала откликаться.

– Что же, мальчику так худо, Кристин, что ты не хочешь об этом говорить? – спросил Эрленд с легким нетерпением в голосе.

– Ты уже спрашивал об этом раньше, Эрленд, – отвечала холодно жена, – а я повторяла тебе много раз. Но раз ты так мало беспокоишься о мальчике, что не помнишь этого от разу до разу…

– Со мной тоже случалось, Кристин, – сказал Эрленд поднимаясь на ноги и подходя к ней, – что мне приходилось отвечать тебе по два и по три раза, ибо ты не изволила помнить, что я тебе отвечал на твои же собственные вопросы.

– Наверное, не о таких важных вещах, как здоровье детей, – отвечала она все так же.

– Да и не о таких уж пустяках… Например, нынче зимой, – я принимал их близко к сердцу.

– Это неправда, Эрленд! Давным-давно уже ты не разговариваешь со мной о делах, которые ближе всего принимаешь к сердцу…

– Выйди-ка, Сигне! – сказал Эрленд девушке. Лоб у него покраснел, он повернулся к жене. – Я понимаю, во что ты метишь. Уж об этом я не хочу с тобой разговаривать при твоей служанке, хотя ты с ней так дружишь, что не считаешься с ее присутствием, когда заводишь ссоры со своим мужем и говоришь, что я говорю неправду…

– С кем поведешься, от того и наберешься, – коротко сказала Кристин.

– Трудно понять, что ты хочешь этим сказать. Никогда я не разговаривал с тобой неласково при чужих или позабывал оказывать уважение и почет перед нашими слугами.

Кристин разразилась каким-то странным, болезненным и дрожащим смехом:

– У тебя плохая, память, Эрленд! Все эти годы Ульв, сын Халдора, жил у нас. А разве не помнишь, как ты позволял ему и Хафтуру провожать меня к тебе в спальную горницу у Брюхильд в Осло?

Эрленд бессильно опустился на скамейку, уставившись на свою жену с полуоткрытым ртом. А та продолжала:

– Редко случались в Хюсабю… или в иных местах… такие непристойные и непочтенные вещи, которые тебе приходило бы в голову скрывать от своих слуг… хотя бы это было к стыду твоему или твоей супруги…

Эрленд продолжал сидеть все так же, с ужасом глядя на нее.

– Помнишь первую зиму, когда мы были женаты… Я ходила с Ноккве, дела обстояли так, что мне бывало достаточно трудно требовать послушания и уважения от моих домочадцев: помнишь, как ты поддержал меня?.. Помнишь, как твой приемный отец гостил у нас с посторонними женщинами, слугами и служанками, наши собственные люди сидели с нами за столом… Помнишь, как Мюнан стаскивал с меня каждую тряпку, которой я старалась прикрыться, а ты сидел тихонечко и не посмел заткнуть ему рот…

– Господи! Неужели ты таила это целых пятнадцать лет! – Он поднял на нее глаза, взгляд их казался странно голубым, а голос был слаб и беспомощен. – И все же, моя Кристин…

Мне думается, это не то же самое, что нам говорить друг другу неприязненные и язвительные слова…

– Да, – сказала Кристин, – и мое сердце поранило еще хуже, когда в тот раз на нашем рождественском пиршестве ты обругал меня за то, что я накинула свой плащ на Маргрет… А женщины из трех областей стояли вокруг, слушая это…

Эрленд не отвечал.

– А ты еще обвиняешь меня за то, что все обернулось так с Маргрет… А всякий раз, когда я пыталась сказать ей на пользу хотя бы одно слово, она бежала к тебе, а ты с раздражением приказывал мне оставить девушку в покое, – она, дескать, твоя, а не моя…

– Тебя… я не обвинял!.. – отвечал Эрленд с трудом; он изо всех сил старался говорить спокойно. – Будь кто-нибудь из наших детей девочкой, ты, наверное, легче бы поняла, что такая вещь, как то, что произошло с моей дочерью… наносит отцу удар до самого мозга костей…

– Мне казалось, я доказала тебе в прошлом году весной, что я понимаю, – тихо ответила жена. – Мне нужно было вспомнить, только о своем собственном отце…

– И все же, – произнес Эрленд по-прежнему спокойно, – в этом случае было хуже. Я был холостым человеком. А тот… был… женат. Я не был связан… Я не был так связан, – поправился он, – что никогда не мог бы освободится…

– И все-таки ты не освободился, – сказала Кристин. – Разве не помнишь, как случилось, что ты стал свободен?

Эрленд вскочил на ноги и ударил ее в лицо. Потом остановился в ужасе и вперил в нее взор – на белой щеке появилось красное пятно. По Кристин сидела неподвижно и спокойно, и глаза ее были сухи. Испуганный ребенок принялся кричать – она стала тихонько покачивать дитя на коленях и убаюкивать его.

– Это… было зло сказано, Кристин, – неуверенно произнес муж…

– В прошлый раз, когда ты меня ударил, – проговорила она тихим голосом, – я носила под сердцем твое дитя. Сейчас ты меня ударил, когда я сидела с твоим сыном на коленях…

– Да уж, вечно у нас эти дети! – воскликнул он нетерпеливо.

Они умолкли. Эрленд принялся быстро расхаживать взад и вперед но горнице. Кристин отнесла ребенка в чулан и положила его на постель; когда она снова показалась в дверях чулана, Эрленд остановился перед женой.

– Я… Я не должен был бить тебя, моя Кристин! Я желал бы, чтобы этого не было… Наверное, я буду раскаиваться в этом так же долго, как в прошлый раз. Но ты… Ты и раньше давала мне понять, что, по-твоему, я слишком легко забываю. А ты, ты ничего не забываешь… ни одной несправедливости, в которой я провинился перед тобой. Ведь я же старался… старался быть тебе хорошим мужем, но, вероятно, тебе это кажется не стоящим воспоминания. Ты… Ты прекрасна, Кристин… – Он посмотрел ей вслед, когда она про-

шла мимо.

Да, спокойные и полные достоинства повадки хозяйки были так же прекрасны, как хрупкая прелесть юной девушки; она стала полнее в груди и шире в бедрах, но зато и выше ростом. Она держалась стройно, а круглая ее головка сидела на шее все так же гордо и восхитительно. Бледное непроницаемое лицо с большими темно-серыми глазами возбуждало и воспламеняло его точно так же, как возбуждало и воспламеняло когда-то его мятежную душу своим странным спокойствием круглое розовое детское личико. Эрленд подошел к ней и взял ее за руку.

– Для меня, Кристин, ты навеки останешься самой прекрасной из всех женщин и самой любимой…

Она позволила ему держать себя за руку, но не ответила на его пожатие. Тогда он отбросил от себя ее руку – раздражение вновь овладело им.

– Я позабыл, ты говоришь? Это, пожалуй, не всегда самый великий грех – забвение. Я никогда не кичился благочестием, но помню то, чему научился у отца Иона в детстве, а Божьи служители напоминали мне об этом потом. Грех – это размышлять и вспоминать о грехах, в которых мы исповедались перед священником, и покаялись перед Господом, и получили его прощение от руки и из уст священника. И не из благочестия ты, Кристин, всегда вскрываешь наши старые грехи! Нет, ты хочешь иметь нож против меня всякий раз, как я поступаю не по-твоему!..

Он отошел от нее и снова вернулся.

– Властолюбива… Бог знает, что я люблю тебя, Кристин… хоть и вижу, что ты властолюбива и никогда не можешь простить мне, что я поступил с тобой дурно и соблазнил тебя на дурное. Я сносил многое от тебя, Кристин, но не хочу больше терпеть, чтобы у меня никогда не было покоя из-за этих старых несчастий и чтобы ты разговаривала со мной так, словно я твой холоп…

Отвечая, Кристин дрожала от душевного волнения.

– Не разговаривала я с тобой так, словно ты холоп. Разве ты слышал хоть раз, чтобы я говорила грубо или запальчиво с человеком, который мог бы считаться стоящим ниже меня?.. Будь это самые бездельные и дрянные среди наших челядинцев – я чувствую себя чистой перед Богом и не грешна в том, что оскорбляла бедняков Божьих словом или делом. Но ты должен был быть моим господином, тебя я должна была слушаться и почитать, склоняться перед тобой и искать в тебе своей опоры – сразу же после Бога… по Божьему закону, Эрленд! И если я теряла терпение и разговаривала с тобой так, как не приличествует жене говорить со своим супругом, то, верно, потому, что по твоей же вине мне не раз было трудно склонять мое неразумие перед твоим разумом, почитать своего мужа и господина и слушаться его всегда, как мне хотелось бы… И, быть может, я ждала, что ты… Быть может, я думала, что смогу побудить тебя показать, что ты мужчина, а я только бедная женщина…

…Но утешься, Эрленд. Я не стану больше оскорблять тебя словами и после этого дня никогда не буду забывать говорить с тобой так кротко, словно ты холоп по рождению…

Лицо Эрленда залилось багровым румянцем, он поднял было на нее крепко сжатый кулак, потом круто повернулся на пятках, схватил со скамьи у двери свой плащ и меч и выбежал из горницы.

На улице ярко светило солнце и дул пронзительный ветер, в воздухе было холодно, и блестящие искорки замерзающих капель талой воды брызгали на Эрленда со стрех и с ветвей деревьев, сотрясаемых порывами ветра. Снег на крышах домов сверкал серебром, а за черно-зелеными лесистыми холмами вокруг города сияли вдали холодно-синие и ясно-белые горы в сверкании пронзительного не то весеннего, не то зимнего дня.

Эрленд шел по улицам и переулкам – быстрыми шагами, без. всякой цели. Все в нем кипело: она не права, это ясно как Божий день, была не права с самого же начала, а он, Эрленд, прав, хоть он и не сдержался и ударил ее и тем ослабил свою правоту… Но она была неправа! Что ему теперь с собой делать – он не знал! У него не было ни малейшего желания зайти к кому-нибудь из знакомых, и идти домой он не хотел…

В городе чувствовалось некоторое оживление. Большой купеческий корабль из Исландии – первый в эту весну – подошел еще утром к пристани. Эрленд повернул на запад,

переулками вышел к церкви святого Мартейна и спустился вниз, к прибрежным улочкам. Хотя было еще довольно рано, но в лавках под навесами и в харчевнях уже стоял шум и гам. В дни своей юности Эрленд сам способен был посещать такие заведения – с друзьями и товарищами. Но теперь у людей глаза на лоб полезли бы, а потом они истрепали бы себе языки, если бы воевода одного из округов, владелец городской усадьбы, имеющий в своем доме в изобилии пиво, мед и вино, зашел бы в кабак и велел подать себе какого-нибудь дрянного пива. Однако, сказать по правде, ему больше всего и хотелось бы сидеть и пить с мелкими крестьянами, попавшими в город, челядинцами да моряками… Там не станут поднимать шум, если кто-нибудь из парней даст в ухо своей бабе, – и слава Богу… Черта лысого, как мужу справиться с женой, раз ее нельзя поколотить, оттого, что она знатна родом и что ты должен соблюдать свою честь?.. А переспорить женщину и сам дьявол не сможет! Какая чертовка!.. И какая красавица!.. Если бы можно было лупить ее, пока она опять станет хорошей!..

* * *

Колокола всех городских церквей принялись звонить, созывая народ к вечерне, – в бурном воздухе над головой Эрленда весенний ветер перемешал эти звуки в сплошное месиво. Наверное, она пошла теперь в церковь… Святая чер-

товка! Будет жаловаться Богу, деве Марии и святому Улаву, что муж поставил ей синяк под глазом! Эрленд послал святым хранителям жены привет от полноты своих греховных мыслей, а тем временем колокола гудели, звенели и трезвонили. Он направил свои шаги к церкви святого Григория.

Могилы его родителей находились перед алтарем, в северном приделе. Читая молитвы, Эрленд заметил, что в церковную дверь вошла фру Сюннива, дочь Улава, со своей служанкой. Кончив молиться, он подошел к ней и поздоровался.

Уж так повелось в течение всех этих лет, с тех пор как он познакомился с этой дамой, что они при всякой встрече дурили и шутили довольно свободно. И вот в этот вечер, когда они сидели на скамье у стены в ожидании начала службы, Эрленд так расшалился, что даме пришлось неоднократно напоминать ему, что ведь они находятся в церкви и народ все время проходит мимо.

– Да, да! – сказал Эрленд. – Но ты сегодня так красива, Сюннива! Приятно пошутить с женщиной, у которой такие ласковые глаза!

– Ты не стоишь того, Эрленд, сын Никулауса, чтобы я глядела на тебя ласковыми глазами… – сказала она со смехом.

– Тогда я приду пошутить с тобой, когда стемнеет, – отвечал Эрленд, тоже смеясь. – Когда отпоют службу, я провожу тебя домой…

Тут на хоры вышли священники, и Эрленд перешел в южный придел, заняв место среди мужчин.

Когда служба закончилась, он вышел в главные двери. Он увидел фру Сюнниву и ее служанку неподалеку от церкви на улице… Подумал – пожалуй, будет лучше не провожать ее, а пойти прямо домой. В это самое время на улице появилась толпа исландцев с купеческого корабля. Они шли, держась друг за друга и пошатываясь, и, по-видимому, намеревались загородить дорогу женщинам. Эрленд побежал вдогонку за дамой. Как только моряки увидели, что к ним приближается какой-то господин с мечом на поясе, они отошли в сторону и дали женщинам пройти.

– Пожалуй, будет лучше, если я все-таки провожу тебя до дому, – сказал Эрленд. – Сегодня вечером в городе неспокойно.

– Знаешь что, Эрленд? Ведь такой старой женщине, как я… быть может, не так уж неприятно, если кому-нибудь из мужчин кажется, что я еще так красива, что стоит загородить мне дорогу…

На подобные слова всякий вежливый мужчина мог ответить только одним.

* * *

Эрленд вернулся к себе на следующий день на рассвете и немного постоял перед запертой дверью жилого дома, замерзший, смертельно усталый, с болью в сердце, чувствуя себя отвратительно. Поднять на ноги домочадцев стуком в

дверь, войти в дом, забраться в постель к Кристин, которая лежит с ребенком у груди… Нет! У него был при себе ключ от верхней клети восточного стабюра; там лежало разное имущество, за которое он отвечал. Эрленд отомкнул дверь, вошел в клеть, стащил сапоги и приготовил себе постель, застлав солому какой-то сермяжной тканью и пустыми мешками. Он закутался в плащ, забрался под мешки и имел счастье заснуть, позабыв обо всем на свете, – так он был утомлен и ошеломлен.

Кристин была бледна и измучена бессонной ночью, когда садилась за завтрак со своими домочадцами. Один из оруженосцев доложил ей, что он просил хозяина пожаловать к столу… Тот ночует наверху, в клети… Но Эрленд велел ему убираться ко всем чертям.

* * *

Эрленду нужно было ехать после обедни на деловое свидание в Эльгесетерский монастырь – быть свидетелем при каких-то сделках на недвижимость. Но он отвертелся от пиршества, которое устраивалось потом в трапезной, да и от Арне, сына Яввалда, – тот тоже не мог остаться пображничать с монахами, и ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы Эрленд поехал вместе с ним в Ранхейм.

Потом он начал раскаиваться, что расстроил компанию… Ему стало страшно, когда он возвращался один в город: те-

перь ему придется подумать обо всем том, что он натворил. На одно мгновение ему захотелось сейчас же отправиться в церковь святого Григория – ему было разрешено исповедоваться перед одним из тамошних священников, когда он бывает в Нидаросе. Но если он опять поступит так же уже после исповеди, тогда ведь грех будет гораздо большим. Лучше немножко подождать!..

Теперь Сюннива, должно быть, думает, что он цыпленок, которого она поймала голыми руками. Но, черт подери, он и представить себе не мог, что какая бы то ни было женщина может открыть ему так много нового, – ведь он еще до сих пор не может прийти в себя от того, с чем ему пришлось иметь дело. Он воображал, что достаточно опытен в ars amoris,[50] или как это там называют люди ученые. Будь он молод и зелен, так, конечно, он гордился бы и считал, что это замечательно. Но ему не нравится эта женщина – сумасшедшая баба, она ему противна, ему противны все женщины, кроме его жены… Да и она ему опротивела! Ей-Богу, он до того сжился с ней в браке, что сам стал совсем благочестивым, ибо верил в ее благочестие… Но прекрасную же награду получил он от своей благочестивой супруги и свою верность и любовь… от такой чертовки! Он вспомнил ее язвительные, полные злобы слова, сказанные накануне вечером: так, значит, ей кажется, что он ведет себя, словно происходит от холопов… А та, другая, Сюннива, наверное считает,

---

[50] *Искусстве любви (лат.).*

что он совершенно неопытен и неуклюж, раз он позволил захватить себя врасплох и обнаружил некоторый страх перед ее любовными ухищрениями. Теперь он ей покажет, что он такой же святой мужчина, как она святая женщина… Он пообещал ей прийти сегодня ночью в дом ее мужа Борда… Ну что же, значит и пойдет! Грех уже совершен им, почему же не попользоваться тем удовольствием, которое дается с ним вместе?

Раз уж он нарушил свою верность Кристин… и она вызвала его на это своим злобным и несправедливым поведением…

Он пришел домой и начал слоняться по конюшням да пристройкам, выискивая, с кем бы ему побраниться, обругал поповскую служанку из больницы, потому что та снесла солод в сушилку, хотя прекрасно знала, что его домочадцам на этот раз не понадобится погреб, пока они будут в городе. Ему хотелось, чтобы его мальчики были здесь; все же у него было бы общество… Ему хотелось уехать домой, в Хюсабю, немедленно же. Но ему нужно было дождаться в городе писем с юга – было бы чистейшим безумием получать такие послания у себя дома, в деревне.

– Хозяйка не вышла к ужину, она лежит в постели в чулане, – сказала Сигне, ее служанка, с упреком глядя на хозяина.

Эрленд грубо ответил, что он не спрашивал ее о хозяйке. Когда люди оставили горницу, он пошел в чулан. Там была

кромешная тьма. Эрленд наклонился над Кристин, лежавшей в постели.

– Ты плачешь? – спросил он еле слышно, потому что она как-то странно дышала.

Но она ответила, с трудом шевеля языком, что нет, она не плачет.

– Ты устала? Мне тоже хочется сейчас лечь спать, – тихо сказал он.

Голос Кристин дрожал, когда она промолвила:

– Тогда мне больше хотелось бы, Эрленд, чтобы ты шел себе и лег сегодня там, где спал в прошлую ночь.

Эрленд не ответил. Он вышел из чулана, взял из горницы свечу, вернулся и отомкнул свой сундук с одеждой. Он был достаточно хорошо одет для того, чтобы идти куда бы то ни было, потому что на нем все еще было темно-лиловое полукафтанье французского покроя, в котором он ездил утром в Эльгесетер. Но теперь он медленно и обстоятельно сменил одежду: облачился в красную шелковую рубашку и мышиного цвета бархатный кафтан до колен с серебряными колокольчиками на отворотах рукавов, причесал себе волосы и вымыл руки. А тем временем искоса поглядывал на жену – та лежала молча и не шевелилась. Затем он вышел, не пожелав ей спокойной ночи. На следующий день он открыто явился домой лишь поздним утром.

Так это продолжалось с неделю. Когда однажды вечером Эрленд вернулся домой, – он ездил по какому-то делу в Хан-

грар, – ему сообщили, что Кристин уехала утром в Хюсабю.

К тому времени ему уже стало ясно, что никогда никто из людей не получал меньшего удовольствия от греха, чем он от своей связи с Сюннивой, дочерью Улава. Он чувствовал в глубине души, что эта безумная женщина надоела ему ужасно, – противна ему, даже когда он забавляется с ней и ласкает ее. И к тому же он поступает так легкомысленно – наверное, уже по всему городу и по всей округе болтают о том, что он совершает ночные прогулки в дом Борда, Не стоит Сюннива того, чтобы он пачкал из-за нее свое доброе имя. Иногда он задумывался и над тем, что это может привести за собой последствия, – ведь у нее же есть все-таки муж, хоть и довольно старый и болезненный; жаль Борда, что он женился на такой распущенной и неразумной женщине, – наверное, Эрленд не первый, кто посягнул на честь ее мужа. А Хафтур… Но Эрленд и не вспомнил, когда связался с Сюннивой, что она сестра Хафтура; мысль об этом пришла ему в голову только тогда, когда было уже поздно. Все это было так скверно, что хуже не могло бы и быть, а теперь еще он понял, что Кристин знает об этом.

Не явится же у нее мысли поднять против него дело перед архиепископом… потребовать разрешения на отъезд от него? У нее есть Йорюндгорд, где она может найти себе пристанище, но ей невозможно ехать через горы в такое время года, – совершенно немыслимо, если она захочет взять с собой маленьких детей, а от них Кристин не уедет. Да и морем

она ни за что не поедет с Мюнаном и Лаврансом такой ранней весной, утешал себя Эрленд. Нет, не похоже на Кристин, чтобы она стала требовать у архиепископа помощи против мужа… У нее есть на это основание… Но он сам добровольно будет отказываться от супружеского ложа… пока она не поймет, что он искренне раскаивается. Не может быть, чтобы Кристин хотелось, чтобы это дело стало явным. Но он понимал, что много воды утекло с тех пор, когда он действительно знал о своей жене, что она сделает или чего не сделает.

Он лежал ночью в своей собственной постели, мысленно прикидывая и так и сяк. Ему стало ясно, что он вел себя еще неразумнее, чем ему казалось сперва, – позволил себя втянуть в это скверное дело теперь, когда он находится в самой гуще величайших замыслов.

Он проклинал себя самого за то, что перед женой он настолько все еще ходит в дураках, что она смогла толкнуть его на такое дело. Он проклинал и Кристин и Сюнниву. Во имя дьявола, ведь он же не более женолюбив, чем всякий другой мужчина, – даже, пожалуй, имел дело с гораздо меньшим числом женщин, чем большинство других мужчин, о которых ему известно! Но словно сам нечистый подстраивает все это… Он не может приблизиться к женщине, чтобы сейчас же не увязнуть в болоте по самые подмышки!..

Но теперь этому конец! Слава Господу Богу, у него руки заняты другим. Скоро, скоро он, разумеется, получит письмо от фру Ингебьёрг. Да, бабьей бестолочи он не избежал и в

этом деле, но это, уж наверное, Божье наказание за его грехи в юности! Эрленд громко рассмеялся во мраке наедине сам с собой. Фру Ингебьёрг должна понять, что дела обстоят так, как было ей ясно изложено. Вопрос идет о том, выдвинут ли норвежцы против короля Магнуса ее сыновей или сыновей ее побочной сестры?[51] А фру Ингебьёрг любит своих детей от Кнута Порее так, как никогда не любила других своих детей…

Скоро, скоро… Он раскроет объятия резкому ветру и соленым морским брызгам. Боже мой, как хорошо будет промокнуть от океанской волны и чувствовать, что ветер вдувает в тебя свежесть до самого мозга костей! Отделаться от всего женского пола на восхитительно долгий срок!

Сюннива… Пусть думает все, что ей угодно. Он туда больше не пойдет. А Кристин может, если желает, уезжать в Йорюндгорд, – ему безразлично. Быть может, именно самое лучшее и надежное для нее и для детей, если они окажутся этим летом в стороне, в Гюдбрандской долине. А потом уж он с ней опять помирится…

На следующее утро он поехал в Скэун. Все же он не сможет успокоиться, пока не узнает, что его жена намерена делать.

Кристин встретила его вежливо, спокойно и холодно, когда он в конце дня приехал в Хюсабю. Если он не обращался к ней с вопросом, сама она не говорила ему ни одного непри-

---

[51] *То есть сыновей Хафтура.*

язненного слова. Не сделала и никаких возражений, когда он вечером как бы в виде пробы пришел к ней, чтобы лечь спать в супружескую постель. Но когда они полежали немного, он попытался нерешительно положить ей руку на грудь.

Голос Кристин дрожал, но Эрленд не мог понять, было ли то от горя или от ожесточения, когда она прошептала:

– Не такой ты ничтожный человек, Эрленд, чтобы сделать это еще более невыносимым для меня. Затевать с тобою ссору я не могу – наши дети спят вокруг нас. И раз уж я прижила с тобой семерых сыновей, то хоть я и оскорбленная жена, но мне хотелось бы, чтобы наши домочадцы не поняли, что мне это известно…

Эрленд долго лежал, прежде чем решился ответить:

– Да. Помилуй меня Господь, Кристин, я оскорбил тебя. Я не… Я не сделал бы этого, если бы мог отнестись легче к тому, что ты говорила мне такие жестокие слова в тот день в Нидаросе… Не для того я приехал домой, чтобы вымаливать у тебя прощение, – я отлично знаю, что сейчас это значило бы просить тебя о немалом…

– Я вижу, Мюнан, сын Борда, сказал правду, – отвечала жена. – Никогда не наступит такой день, когда ты встанешь и сам ответишь за то, что наделал. Ты должен обратиться к Богу и с ним искать примирения… Меня тебе нужно меньше просить о прощении, чем его…

– Да, я понимаю, – сказал Эрленд с горечью. Больше они не разговаривали. А на следующее утро он уехал обратно в

Нидарос.

* * *

Он пробыл в городе несколько дней, когда однажды к нему подошла в церкви святого Григория служанка фру Сюннивы. Эрленд решил, что все же нужно поговорить с дамой в последний раз, и потому велел девушке посторожить вечером, – тогда он явится тем же путем, как всегда.

Ему приходилось карабкаться и ползти, как воришке, который таскает кур, чтобы забираться в светличку, где они встречались. Теперь ему было стыдно до отвращения, что он так валял дурака – при своем возрасте и положении. Но спервоначала его забавляло проказничать так по-юношески.

Дама приняла его в постели.

– Все ж таки ты явился наконец? – засмеялась она зевая. – Поторопись же, дружок, и залезай в постель, а потом можно будет побеседовать, где ты был так долго…

Эрленд хорошенько не знал, что ему делать или каким образом ему высказать ей то, что лежит у него на душе. Невольно он начал развязывать свою одежду.

– Легкомысленно мы ведем себя оба, Сюннива… Право, неблагоразумно будет, чтобы я оставался здесь сегодня ночью. Ведь может же когда-нибудь вернуться домой Борд, – сказал он.

– А, ты испугался моего мужа? – спросила Сюннива, под-

дразнивая его. – Ты ведь сам видел, что Борд и ухом не ведет, когда мы перешучиваемся прямо у него на глазах. Если он узнает, что ты бывал здесь в доме, так я сумею заставить его поверить, что это только прежнее дурачество. Он слишком мне доверяет…

– Да, видно, он тебе действительно слишком доверяет, – захохотал Эрленд, запуская пальцы в ее белокурые волосы и беря ее за крепкие белые плечи.

– Ах, ты находишь так? – Она схватила его за кисть руки. – А своей жене ты доверяешь? Я-то была еще скромна и невинна, когда Борд получил меня…

– Мою жену нам нечего сюда впутывать, – резко сказал Эрленд и отпустил се.

– Как это так? Что же, по-твоему, говорить о Кристин, дочери Лавранса, более неприлично, чем о муже моем, господине Борде?

Эрленд стиснул зубы и не ответил.

– Видно, ты из тех мужчин, Эрленд, – сказала насмешливо Сюннива, – которые мнят себя столь обольстительными и прекрасными, что не ставят в грех женщине, если ее добродетель была перед ними подобна хрупкому стеклу; зато для всех других она должна быть тверда, как сталь!

– Я никогда этого не думал о тебе, – грубо ответил Эрленд. Глаза у Сюннивы засверкали:

– Чего же тебе тогда надо от меня, Эрленд… раз ты столь счастлив в браке?

– Я уже сказал: ты не должна упоминать моей жены…

– Твоей жены или моего мужа…

– Это ты всегда заводила разговор о Борде и больше меня издевалась над ним, – сказал Эрленд с горечью. – Да если бы даже и не издевалась над ним на словах… я-то ведь прекрасно знаю, насколько тебе дорога его честь, раз ты взяла себе другого мужчину вместо своего мужа. А она… не стала хуже оттого, что я поступаю скверно.

– Не то ли ты хочешь сказать… что любишь Кристин, хоть я и нравлюсь тебе настолько, чтобы побаловаться со мной?..

– Я не знаю, насколько ты мне нравишься… А ты знала, что я тебе нравлюсь…

– А Кристин не понимает настоящей цены твоей любви? – издевалась она. – Ведь я же видела, как ласково она всегда поглядывает на тебя, Эрленд!..

– Замолчи! – крикнул он. – Быть может, она понимала, чего я заслуживаю… – сказал он сурово и с ненавистью. – Мы с тобой вполне друг друга стоим…

– Значит, я для тебя только бич, – спросила Сюннива с угрозой, – которым ты хочешь наказать свою супругу?.. Эрленд стоял, тяжело дыша.

– Можешь называть это так. Но ты сама далась мне в руки…

– Берегись! – сказала Сюннива. – Как бы этот бич не поразил тебя самого!

Она села на постели и стала ждать. Но по Эрленду не бы-

ло видно, чтобы он хотел возражать своей приятельнице или искать с ней примирения. Он снова оделся и вышел, не сказав ей больше ни слова.

Он был не особенно доволен собой или, вернее, тем, как он расстался с Сюннивой. Ему это не приносит никакой чести. Но все равно, – во всяком случае, он теперь разделался с ней.

# IV

Этой весной и летом хозяина не часто видели дома, в Хюсабю. В те дни, когда он бывал у себя в усадьбе, он и хозяйка встречались вежливо и дружелюбно. Эрленд никоим образом не пытался сломать ту стену, которую Кристин воздвигла теперь между ними, хотя часто поглядывал на жену испытующе. Впрочем, по-видимому, у него было о чем думать и помимо домашних дел. Относительно управления имением он никогда не спрашивал ни слова.

Об этом и упомянула жена, когда он вскоре же после Троицына дня выразил желание, чтобы она поехала вместе с ним в Рэумсдал. У него было какое-то дело в Опланде, не хочет ли она захватить с собой детей, пожить немного в Йорюндгорде, повидать родных и друзей в долине? Но Кристин ни под каким видом на это не соглашалась.

Эрленд ездил в Нидарос на время судебного съезда и после этого в Оркедал, а затем вернулся домой, в Хюсабю, но сейчас же усердно занялся приготовлениями к поездке в Бьёргвин. «Маргюгр» стояла у острова Нидархолма, и Эрленд только и ждал Хафтура Грэута, чтобы отплыть вместе с ним.

За три дня до праздника святой Маргреты в Хюсабю начался сенокос. Погода была прекраснейшая, и когда народ возвращался на луга после обеденного отдыха, Улав, помощ-

ник управителя, высказал желание, чтобы и дети тоже шли со всеми.

Кристин была в клети для платья, которая находилась во втором венце оружейной. Оружейная так была построена, что в эту клеть вела наружная лестница и вокруг шла галерея, но третий венец выступал за нее, и в него вела лишь приставная лестница через лаз из клети для одежды. Лаз стоял открытым, потому что наверху, в оружейной клети, был Эрленд.

Кристин вынесла меховой плащ, который Эрленд хотел взять с собой в морскую поездку, и вытряхивала его на галерее. Вдруг ей послышался топот большого отряда всадников, и в тот же миг она увидела, что из леса по Гэульдальской дороге выезжают люди. В следующее мгновение Эрленд уже стоял рядом с ней.

– Ты как будто говорила, Кристин, что огонь у нас в поварне потух сегодня утром?

– Да, Гюдрид опрокинула котел с кипятком, придется занять угольков у отца Эйлива…

Эрленд взглянул в сторону усадьбы священника.

– Нет! Его нельзя запутывать в это дело. Гэуте! – тихо крикнул он вниз мальчику, возившемуся под галереей клети. Тот перебирал грабли, одни за другими, и, видимо, не очень торопился сгребать сено. – Поднимись сюда по лестнице… Дальше не иди, иначе тебя заметят.

Кристин внимательно глядела на мужа. Таким она нико-

гда еще его не видала… Напряженное, настороженное спокойствие в голосе, в лице, пока он следил за дорогой, во всей его гибкой длинной фигуре, когда он взбежал в оружейную и сейчас же вернулся обратно с каким-то плоским свертком, зашитым в холст. Он передал его мальчику.

– Спрячь это у себя за пазухой – и запомни хорошенько мои слова. Ты должен спасти эти письма – дело идет о большем, чем ты можешь понять, мой Гэуте. Возьми на плечо грабли и тихонько ступай через поле, пока не дойдешь до ольховой заросли. Держись между кустами до самого леса… Я знаю, тебе все эти места знакомы… Крадись через самую густую чащу всю дорогу до Шолдвиркстада. Хорошенько осмотрись по сторонам, все ли там спокойно в усадьбе. Если заметишь какой-нибудь признак чего-либо недоброго или чужих людей кругом, тогда спрячься. Но если будешь уверен в том, что все благополучно, спустись туда и передай это Ульву, если он будет дома. Если же ты не сможешь передать ему письма из рук в руки так, что никого наверняка не будет поблизости, тогда сожги их как можно скорее. Но проследи хорошенько, чтобы и самые письма и печати сгорели совершенно и чтобы они не попали ни в чьи руки, кроме Ульва. Помоги нам Господи, сын мой… Великое дело передается в руки десятилетнего мальчика, жизнь и благосостояние многих добрых людей, – понимаешь ли ты, что это очень важно, Гэуте?

– Да, отец! Я понял все, что вы мне сказали, – Гэуте под-

нял свое беленькое, полное серьезности личико, продолжая стоять на лестнице.

– Скажи Исаку, если Ульва не окажется дома, что он должен скакать сейчас же в Хевне и ехать всю ночь… Пусть он скажет, а кому – он знает, что, по-моему, здесь задул противный ветер, и я боюсь, что поездку мою заколдовали. Ты понял?

– Да, отец. Я запомню все, что вы мне сказали.

– Ну, ступай! Храни тебя Бог, мой сын.

Эрленд вбежал в оружейную и хотел опустить западню, но Кристин была уже наполовину в отверстии лаза. Он подождал, пока она не поднялась, потом закрыл западню, поспешно бросился к ларю и достал несколько грамот. Сорвал с них печати и растоптал их на полу, разорвал пергамент на полосы, обернул ими ключ и выбросил все из слухового оконца вниз на землю, прямо в высокую крапиву, которая росла позади дома. Опершись руками на подоконник, Эрленд стоял, не спуская взора с маленького мальчика, шедшего по меже хлебною поля по направлению к лугу, где косцы выступали рядами с косами и граблями. Когда Гэуте исчез в молодом лесочке между нивой и лугом, Эрленд закрыл ставень. Топот копыт раздавался уже громко и совсем близко от усадьбы. Эрленд повернулся к жене.

– Если тебе удастся подобрать то, что я сейчас выбросил, пусть Скюле… он мальчик умный… Скажи ему, чтобы он бросил это в яму за хлевом. С тебя они, наверное, не будут

глаз спускать, а может, и с больших мальчиков. Но обыскивать тебя они едва ли станут… – Он сунул ей за пазуху обломки печатей. – Их, конечно, уже нельзя больше различить, но все-таки…

– Тебе грозит какая-нибудь опасность, Эрленд? – тихо спросила она. Взглянув ей в лицо, он бросился навстречу ее раскрытым объятиям и на мгновение крепко прижал ее к себе.

– Не знаю, Кристин! Скоро все выяснится. Туре, сын Эйндриде, едет во главе вооруженных людей, и с ними господин Борд, если я хорошо разглядел. Я не жду ничего доброго от приезда Туре…

Всадники были теперь уже во дворе. Эрленд постоял немного. Потом жарко поцеловал жену, открыл западню лаза и сбежал вниз по лестнице. Когда Кристин вышла на галерею, Эрленд стоял во дворе и помогал сойти с лошади посаднику, человеку пожилому и тяжеловесному. С господином Бордом, сыном Петера, и воеводой округа Гэульдал было по меньшей мере тридцать вооруженных людей.

Идя через двор, Кристин услышала, как воевода сказал:

– Могу приветствовать тебя от твоих свояков, Эрленд. Боргар и Гютторм пользуются королевским гостеприимством на острове Веэй, и я думаю, что Хафтур, сын Туре, уже навестил Ивара и мальчишку у них в Сюндбю, примерно об эту же пору. Грэута господин Борд задержал вчера утром в Нидаросе.

– А теперь ты приехал сюда пригласить меня на тот же смотр воинов, как я понимаю!.. – сказал Эрленд улыбаясь.

– Вот именно, Эрленд!

– И вы, конечно, будете обыскивать мою усадьбу? Ах, я столько раз сам участвовал в таких делах, что должен знать порядки…

– Такие важные дела, как обвинение в государственной измене, едва ли попадали в твои руки, – сказал Туре.

– Да, по крайней мере до сих пор, – сказал Эрленд. – И, пожалуй, похоже на то, что я играю в шахматы черными, Туре, и ты сделал мне мат? Не так ли, родич?

– Мы должны сейчас найти письма, которые ты получил от фру Ингебьёрг, дочери Хокона, – сказал Туре, сын Эйндриде.

– Они лежат в ларе с красными ланями на крышке, наверху, в оружейной… Но в них нет ничего особенного, кроме обычных приветов и поклонов, какие посылают друг другу любящие родственники… И к тому же все это старые письма. Вот Стейн может проводить вас наверх. Чужие слуги сошли с коней, и на двор стали сбегаться толпами челядинцы Эрленда.

– В том письме, которое мы отобрали у Боргара, сына Тронда, было написано еще кое-что, – промолвил Туре. Эрленд тихо свистнул.

– Пожалуй, лучше войти в горницу, – сказал он. – Здесь становится людно.

Кристин вошла вслед за мужчинами в большую горницу. По знаку Туре двое-трое чужих слуг последовали за ними.

– Тебе придется отдать нам свой меч, Эрленд, – сказал Туре из Гимсара, когда все вошли в горницу, – в знак того, что ты наш пленник…

Эрленд похлопал себя по ляжкам, чтобы показать, что у него нет другого оружия, кроме кинжала на поясе. Но Туре сказал опять:

– Ты должен передать нам свой меч в знак того…

– Ах, если надо проделать такой торжественный обряд, так… – сказал Эрленд усмехнувшись.

Он отошел, снял свой меч с крюка, взялся за ножны и подал его рукояткой Туре, сыну Эйндриде, с легким поклоном.

Старик из Гимсара распустил перевязи, вытащил меч совсем из ножен и провел пальцем по желобку для стока крови.

– Этим мечом, Эрленд, ты?..

Синие глаза Эрленда сверкнули сталью, губы его сжались в узкую полоску.

– Да. Этим самым мечом я проучил твоего внука, когда застал его у своей дочери.

Туре стоял с мечом в руках; он взглянул на меч и произнес с угрозой:

– Ты ведь сам должен был укреплять закон, Эрленд: тебе следовало бы знать, что в тот раз ты зашел немного дальше того, что закон тебе разрешает…

Эрленд гордо вскинул голову и густо покраснел.

– Есть один закон, Туре, которого не могут отменить ни короли, ни народное собрание, – что честь своих женщин мужчина охраняет мечом!..

– Хорошо для тебя, Эрленд, сын Никулауса, что никто из людей не применял этого закона к тебе, – отвечал с ненавистью Туре из Гимсара. – Иначе тебе пришлось бы быть живучим, как кошка…

Эрленд сказал с вызывающей медлительностью:

– Разве цель вашего приезда так неважна, что вам кажется своевременным примешивать сюда старые дела моей молодости?

– Не знаю, считает ли Борд, сын Осюльва из Ленсвика, что все это такие уже старые дела.

Эрленд вспыхнул и хотел ответить, но Туре закричал:

– Ты бы сперва постарался узнать, Эрленд, не столько ли умны твои любовницы, чтобы читать по-писаному, а уж потом бегал бы на ночные свидания с тайными письмами в поясе штанов! Спроси-ка вот у Борда, кто осведомил нас о том, что ты замыслил заговор против своего короля, которому клялся в верности и от которого получил в лен свое воеводство!

Невольно Эрленд поднес руку к груди… На миг он взглянул на жену, и густым, темным румянцем залилось его лицо. Тут Кристин подбежала к нему и обвила его шею руками. Эрленд взглянул ей в лицо – и не увидел в нем ничего, кроме любви.

– Эрленд!.. Муж мой!

До сих пор посадник почти не разговаривал. Теперь он подошел к ним обоим и тихо произнес:

– Дорогая хозяйка!.. Пожалуй, будет лучше, если вы уведете с собой детей и служанок в женскую горницу и посидите там, пока мы здесь, в усадьбе.

Эрленд отпустил жену, в последний раз крепко обняв ее за плечи.

– Так будет лучше, Кристин, родная моя… Сделай-ка, как советует господин Борд.

Кристин поднялась на цыпочки и подставила ему губы. Потом вышла во двор. И из смущенной и взволнованной толпы людей извлекла и собрала воедино своих детей и служанок, уведя их с собой в маленькую горенку, – никакой другой женской горницы в Хюсабю не было.

Несколько часов просидели они там, и спокойствие хозяйки и ее стойкость до некоторой степени держали перепуганных людей в узде. Затем появился Эрленд, безоружный, и одетый по-дорожному. Двое чужих вооруженных людей остались стоять за дверью.

Эрленд пожал руку старшим сыновьям, а меньших брал на руки и между прочим спросил: «А где Гэуте?»

– …Пожалуйста, передай ему поклон, Ноккве! Наверное, он удрал, по своему обыкновению, в лес пострелять из лука. Скажи ему, что он все-таки может взять мои английский самострел, который я не хотел ему дать в прошлое воскресе-

нье. Кристин молча приникла к нему.

– Когда ты вернешься домой, друг мой Эрленд? – шепнула она ему умоляюще.

– Это будет, когда Господь пожелает, супруга моя.

Она отшатнулась, изо всех сил борясь, чтобы не пасть духом. Говоря с ней, он обычно никогда не называл ее иначе, как по имени, и эти его последние слова потрясли ее до самой глубины души. Словно она впервые полностью поняла, что случилось.

* * *

На закате солнца Кристин сидела на вершине холма к северу от построек.

Никогда еще не видала она такого красного и золотого неба. Над лесистой горой прямо напротив лежала большая туча; она имела вид птичьего крыла, – в ней словно калилось железо в горне и светилось ясно, как янтарь. Маленькие золотые хлопья, подобно перьям, отделялись от нее и плыли по воздуху. А глубоко внизу, на дне долины, на озере лежало отражение и неба, и тучи, и горы над ним, – казалось, оттуда, из глубины, изливается зарево пожара, ложась на все, что открывалось перед нею.

Трава на лугах уже перезрела, и шелковистые хвосты на стебельках отливали темнеющей краснотой под красным светом неба; ячмень колосился, улавливая отсвет своими мо-

лодыми шелковисто-блестящими остями. Домовые крыши в усадьбе вспухли от щавеля и лютиков, росших на дерне, и солнечный свет лежал на них широкими лучами; на почерневшем гонте церковной крыши лежал мрачный отсвет, а светлый камень стен нежно золотился.

Солнце вышло из-под тучи, остановилось на горном гребне и осветило поросшие лесом горы. Был ясный вечер – кое-где между поросшими еловым лесом дальними склонами холмов свет открывал зрению вид на маленькие поселки; она могла различить горные выгоны и крошечные усадьбы среди лесов, о которых никогда раньше и не знала, что их можно видеть из Хюсабю. Огромные красно-лиловые горные кряжи выступили на юге, в стороне Довре, там, где в обычное время всегда дымка или тучи.

Внизу в церкви зазвонил самый маленький колокол; ему ответил церковный колокол в Виньяре. Кристин сидела, склонившись головой над сложенными руками, пока последний из трижды трех ударов не замер в воздухе.

Вот солнце зашло за гору, золотое сияние побледнело, а красное зарево порозовело и стало нежным. По мере того как затихал звон колоколов, рос и распространялся повсюду шорох леса; ручеек, бегущий через чернолесье внизу, в долине, зажурчал громче. С огороженного луга, совсем неподалеку, долетало знакомое позвякивание колокольчиков домашнего стада; какой-то жук с жужжанием описал полукруг около Кристин и улетел.

Она послала последний вздох вслед своим молитвам – молитву о прощении за то, что ее мысли были далеко, когда она молилась…

Прекрасная огромная усадьба расстилалась внизу под ее ногами – словно драгоценное украшение на широкой груди горы. Кристин взглянула сверху на всю эту землю, которой она владела вместе со своим мужем. Мысли об этом имении, заботы о нем наполняли все это время ее душу до краев. Она работала, боролась – еще никогда до этого вечера она сама не знала, какую она вела борьбу, чтобы возродить это поместье и поддерживать его, – сколько у ней нашлось на это сил и сколь многого она достигла.

То, что это все легло на нее, она приняла как свою долю, которую нужно нести терпеливо и не сгибая спины, – подобно тому, как старалась быть терпеливой и держаться прямо под бременем своих жизненных обстоятельств всякий раз, когда узнавала, что теперь ей опять досталось вынашивать ребенка под сердцем – вновь и вновь. С каждым сыном, который прибавлялся к толпе сыновей, она знала, что вот опять возрастает ее ответственность за благоденствие потомства и за его надежное положение, – она увидела в этот вечер, что и ее способность обозреть все дела, ее бдительность возрастали с каждым новым ребенком, о котором нужно было заботиться. Никогда еще не видала она так ясно, как в тот вечер, чего потребовала от нее судьба и что она ей подарила в лице семерых сыновей. И снова и снова радость за них уско-

ряла биение ее сердца, страх за них разрывал его, – ведь это же ее дети, большие мальчики с худощавыми, угловатыми мальчишескими телами, – как они были ее детьми, когда были такими маленькими и пухленькими, что почти не ушибались, падая во время своих путешествий между скамьей и материнскими коленями. Они принадлежали ей, как и в те дни, когда она вынимала их из колыбели, прикладывала к своей переполненной молоком груди и должна была поддерживать головку ребенка, ибо она склонялась на нежной шейке, как никнет на своем стебельке колокольчик. Где бы им ни пришлось потом странствовать по белу свету, куда бы они ни уехали, позабыв свою мать, – она думала, что их жизнь все равно будет для нее словно шевелением в ее собственной жизни, они будут единым целым с нею самой, как это было, когда она лишь одна во всем мире знала о новой жизни, таившейся в ней, пившей ее кровь и заставлявшей бледнеть ее щеки. И снова и снова испытала она тот болезнетворный, бросающий в пот ужас, когда она чувствовала, что вот опять наступает ее час, вот опять ее затянет грохочущий прибой родовых мук… пока ее не вынесет на берег с новым ребенком на руках. И насколько она богаче, сильнее, смелее с каждым ребенком – это она поняла впервые сегодня вечером.

И вместе с тем она увидела в этот вечер, что она все та же самая Кристин из Йорюндгорда, не привыкшая сносить неласковое слово, ибо во все дни ее жизни ее охраняла такая сильная и нежная любовь. В руках Эрленда она по-прежнему

все та же…

Да. Да. Да. Это правда, что она непрестанно вспоминает каждую рану, которую он нанес ей, – хотя и знала всегда, что он никогда не причинял ей боли как взрослый человек, желающий другому зла, но как ребенок, играя, бьет своего товарища по игре. Она оберегала воспоминание о каждом его оскорблении, как оберегают гноящуюся рану. А всякое унижение, которое он навлекал на себя, следуя каждой своей прихоти, поражало ее, словно удар бичом по телу, и наносило ей сочащуюся кровью рану. Нельзя сказать, чтобы она сознательно и умышленно копила обиду против мужа, – она знала, что не мелочна, но становится мелочной, когда дело касается Эрленда. Если в том участвовал Эрленд, она не могла ничего забыть, – и каждая малейшая царапина в ее душе начинала болеть, и кровоточить, и нарывать, и жечь как огнем, если это он причинил ее.

По отношению к нему она не становилась ни умнее, ни сильнее. Сколько бы она ни старалась казаться дельной, отважной, благочестивой, сильной также и в своей совместной с ним жизни, но это была неправда: такой она не была! Всегда, всегда ее терзало страстное томление – ей хотелось быть его Кристин, той Кристин из гердарюдских лесов.

Тогда она предпочитала скорее сделать все, что считала дурным и греховным, чем потерять его. Для того чтобы привязать Эрленда к себе, она отдала ему все, чем обладала: свою любовь, свое тело, свою честь, свою долю в спасении

души. И даже отдала то, что могла найти под рукой, не принадлежавшее ей: честь своего отца и его доверие к детям; все, что взрослые, мудрые люди возвели, чтобы охранять безопасность маленькой, несмышленой девочки, она опрокинула; против их помыслов о благосостоянии потомства, против их надежд на плоды своей работы, когда сами они будут уже лежать под землей, она поставила свою любовь. Гораздо больше, чем одну свою собственную жизнь, бросила она на ставку в игре, где единственным выигрышем была любовь Эрленда, сына Никулауса.

И выиграла. Она знала с того времени, когда он поцеловал ее впервые в саду в Хофвине, до того, как он поцеловал ее сегодня в маленькой горенке, прежде чем его увели пленником из собственного дома, – Эрленд любит ее, как свою собственную жизнь. И если плохо правил женою, так ведь она же знала почти что с первого часа их встречи, как он правил собою самим. Если он и не всегда поступал хорошо по отношению к ней, то все же лучше, чем по отношению к самому себе.

Боже, но как она его выиграла! Она сознавалась себе самой в этот вечер: сама она толкнула его на нарушение супружеских обетов своими холодными, своими ядовитыми словами. Она сознавалась теперь себе самой: даже и в те годы, когда она постоянно видела его непристойное заигрывание с этой Сюннивой и негодовала на него, все же и в самом гневе своем она чувствовала высокомерную и упрямую ра-

дость: никому не было известно о каком-нибудь явном пятне на доброй славе Сюннивы, дочери Улава, а Эрленд болтал и шутил с ней, словно какой-нибудь наймит с девчонкой из кабака. О Кристин же он знал, что она может солгать и обмануть тех, кто больше всего ей доверял, что она добровольно позволяла заманивать себя в самые скверные места, – и все же он доверял ей, все же он почитал и уважал ее, как умел. Как ни легко забыл он страх перед грехом, как ни легко в конце концов он нарушил свой обет, данный ей в церкви, – все же он печалился о своих прегрешениях перед ней, годами боролся, чтобы сдержать данные ей обещания.

Сама она избрала его. Избрала его в опьянении любовью и избирала вновь и вновь каждый день в те тяжелые годы в Йорюндгорде. Его беспечную любовь предпочла она любви отца, который не позволял даже ветру неласково дуть на нее. Она отклонила жребий, уготованный ей отцом, когда тот хотел передать ее в руки человека, который, наверное, повел бы ее по самым безопасным путям, да еще охотно нагибался бы, чтобы убрать с ее дороги малейший камешек, о который она могла бы ушибить себе ногу. Она предпочла идти за другим, о котором знала, что он ходит по путям заблуждений. Монахи и священники указывали ей, что путь раскаяния и искупления приводит к миру, – она же предпочла волнения и тревоги отказу от своего драгоценного греха.

Поэтому для нее остается только одно – не хныкать и не жаловаться, что бы теперь ни случилось с ней, идущей бок о

бок с этим человеком. Ей казалось, что то время, когда она оставила своего отца, уже отошло головокружительно далеко. Но она видит его любимое лицо, помнит его слова, сказанные в тот день в кузнице, когда она нанесла ему последний удар ножом в сердце, помнит о том, как они беседовали там, в горах, в тот час, когда она поняла, что двери смерти приотворились за спиной отца. Недостойно жаловаться на долю, которую ты сама избрала себе… Святой Улав, помоги мне, чтобы я теперь не оказалась совсем недостойной отцовской любви…

Эрленд, Эрленд!.. Когда она встретилась с ним во дни своей юности, жизнь для нее стала буйной рекой, несущейся по скалам и стремнинам. В эти годы, проведенные в Хюсабю, жизнь расширилась, легла широко и просторно, словно озеро, отражающее в себе все, что окружало Кристин. Ей вспомнилось, как на родине Логен разливался весенней порой и бежал на дне долины, широкий, серый, могучий, унося щепу и бурелом, а купы деревьев, крепко вросшие корнями в дно, качались над водой. Подальше от берегов по небольшим темным грозным водоворотам было видно, каким быстрым, и буйным, и опасным было течение под гладкой поверхностью. Теперь Кристин знала, что вот так же точно и ее любовь к Эрленду бежала буйным и опасным потоком все эти годы под поверхностью ее жизни. Теперь ее выносило в стремнину… куда-то… она не знала – куда.

«Эрленд, друг мой любимый!..»

Еще раз Кристин произнесла молитву в красное зарево вечера:

«Пресвятая дева, я вижу теперь – я не смею молить тебя ни о чем другом: спаси Эрленда, спаси жизнь моего мужа!..»

Она взглянула вниз, на Хюсабю, и подумала о своих сыновьях. Сейчас, когда усадьба стояла в вечернем свете как сновидение, которое может исчезнуть; сейчас, когда страх за неизвестную судьбу детей потрясал ее сердце, она вспомнила: никогда она еще по-настоящему не благодарила Бога за те богатые плоды, что за эти годы принес ее труд, никогда по-настоящему не благодарила за то, что ей семь раз дано было родить сына.

Из купола вечернего неба, из долин, видимых под ее ногами, глухо доносились до нее звуки божественной службы, слышанные тысячи раз, голос отца, толковавший ей слова, когда она ребенком стояла у его колен: так поет отец Эйрик в «Praefalio», повернувшись к алтарю, а на норвежском языке это будет:

«Воистину достойно и правильно есть, справедливо и спасительно, что мы всегда и везде благодарим тебя, Святый Господин, Всемогущий Отче, Боже Вечный…»

Она сидела, закрыв лицо руками. А когда снова подняла голову, то увидела Гэуте, поднимавшегося к ней. Кристин тихо сидела, ожидая, пока мальчик не подошел. Тогда она протянула к нему руку, и он вложил в нее свою. Вершина холма поросла луговой травой, и на довольно большом рас-

стоянии вокруг камня, на котором она сидела, не было места, где кто-нибудь мог бы спрятаться.

– Как ты справился с поручением отца своего, сыночек? – тихо спросила она.

– Как он наказал мне, матушка! Я прошел в усадьбу так, что никто не видел. Ульва дома не было, и поэтому я сжег на очаге то, что отец вручил мне. Я вынул эту вещь из тряпки. – Он немного помедлил. – Матушка!.. На ней было девять печатей!

– Милый мой Гэуте! – Мать переложила руки ему на плечи и взглянула в лицо мальчику. – Отцу твоему пришлось отдать в твои руки очень важные вещи. Не доверяйся же никому другому, а если тебе уж так нужно будет поговорить об этом с кем-нибудь, что станет совсем невтерпеж, тогда скажи своей матери, что у тебя на душе. Но больше всего я была бы довольна, если бы ты совершенно молчал, сынок!

Светлое лицо под гладкими, светлыми, как лен, волосами, большие глаза, полные, крепкие, красные губы, – как он похож сейчас на ее отца. Гэуте кивнул. Потом положил руку на плечо матери. Болезненно-сладко почувствовала Кристин, что может приклонить свою голову на худенькую грудь мальчика; он был теперь такого роста, что когда стоял, а она сидела, то ее голова доставала как раз по его сердце. Впервые она искала опоры у ребенка.

Гэуте сказал:

– Исак один был дома. Я не показал ему, что я нес, а толь-

ко сказал, что мне нужно кое-что сжечь. Тогда он развел большой огонь на очаге, а потом пошел седлать лошадь.

Мать кивнула. Тогда он отпустил ее, повернулся к ней и спросил с детским страхом и удивлением в голосе:

– Матушка, а знаете вы, что говорят?.. Говорят, что отец… хотел стать королем…

– Это маловероятно, мальчик! – отвечала она с улыбкой.

– Но ведь он же королевского рода, матушка! – сказал мальчик серьезно и гордо. – И мне кажется, отец годится на это гораздо больше многих людей…

– Тс! – Она опять взяла его за руку. – Мой Гэуте… Ты должен понимать, раз отец оказал тебе такое доверие… и ты и все мы не должны говорить ничего и не рассуждать, но хорошо следить за своими языками, пока не сможем узнать чего-нибудь, чтобы мы могли судить о том, следует ли нам говорить и как именно. Я поеду завтра в Нидарос… и если мне как-нибудь удастся побеседовать с твоим отцом наедине, то я, конечно, скажу ему, что ты хорошо справился с его поручением.

– Возьмите меня с собой, матушка!.. – с жаром попросил мальчик.

– Мы не должны никого наводить на мысль, Гэуте, что ты не просто беззаботное дитя. Ты должен стараться, сыночек, играть и веселиться здесь, у нас дома, как только сумеешь. Этим ты сослужишь отцу большую службу.

* * *

Ноккве и Бьёргюльф медленно поднимались в гору. Они подошли к матери и остановились около нее, такие юные, взволнованные и серьезные. Кристин увидела, что они еще настолько дети, что ищут прибежища у матери в своей тревоге… и вместе с тем настолько приблизились к возрасту мужей, что им хочется утешить и успокоить ее, если бы нашлось к тому средство. Она протянула руку каждому из мальчиков. Но ничего особенного между ними не было сказано.

Немного погодя все стали спускаться, Кристин – положив руки на плечи старших сыновей.

– Что ты так смотришь на меня, Ноккве? – Но мальчик покраснел, отвернулся и не ответил.

Он никогда раньше не думал о том, как выглядит его мать. Давным-давно уже он принялся сравнивать своего отца с другими мужчинами, – отец был самым красивым и больше всех походил на вождя. А мать была матерью, у которой рождались все новые дети; они вырастали и переходили из женских рук в жизнь, в сотоварищество, ссоры и дружбу братской стайки. У матери были широко раскрыты руки, и из них потоком лилось все, в чем дети нуждались; мать знала, чем помочь в большинстве их бед; мать была в доме как огонь на очаге, она вносила в дом жизнь, как земли в Хюсабю прино-

сили из года в год урожаи; жизнь и тепло истекали из нее, как от скота в хлевах или от лошадей на конюшне. Мальчику никогда не приходила в голову мысль сравнивать мать с другими женщинами…

Нынче вечером он неожиданно увидел: она гордая и прекрасная дама. С широким белым лбом под полотняной повязкой и с открытым взором серо-стальных глаз под спокойными дугами бровей, с тяжелой грудью и длинными, стройными ногами. Ее высокое прямое тело напоминало клинок, осанка была величавой и благородной. Но мальчик не мог заговорить об этом; он покраснел и молча шел, чувствуя материнскую руку у себя на затылке.

Гэуте шел позади Бьёргюльфа, держась за пояс матери. Старший начал ворчать, потому что тот наступал ему на пятки, – мальчики принялись полегоньку толкаться и пихать друг друга. Мать зашикала на них и прекратила их ссору; ее исполненное серьезности лицо смягчилось при виде этого в улыбку. Все-таки ее сыновья – только дети.

Она лежала ночью без сна – спящий Мюнан лежал у ее груди, а Лавранс – между ней и стеной.

Кристин пыталась составить себе какое-нибудь понятие о деле мужа.

Она не могла поверить, что опасность была так уж велика. Эрлинг, сын Видкюна, и королевские двоюродные братья в Сюдрхейме обвинялись в государственном преступлении, измене королю, однако они сидят себе спокойно и наслажда-

ются своими богатствами, хотя уже не в такой милости у короля.

Возможно, что Эрленд совершил какие-нибудь незаконные поступки, желая услужить фру Ингебьёрг. Ведь он же все эти годы поддерживал дружбу со своей высокопоставленной родственницей. Кристин было известно, что он оказывал ей или кому-то другому незаконную помощь, которую приходилось держать в тайне, – это было пять лет тому назад, когда Эрленд гостил у фру Ингебьёрг в Дании. Теперь же, когда Эрлинг, сын Видкюна, взял на себя дела фру Ингебьёрг и хочет ввести ее во владение ее земельным имуществом в Норвегии, очень может быть, что Эрлинг указал ей на Эрленда или же она сама обратилась к троюродному брату своего отца, после того как между Эрлингом и королем произошло охлаждение. А Эрленд поступил в этом деле как-никак легкомысленно…

Но тогда трудно понять, каким образом оказались замешанными в этом ее родичи в Сюндбю…

В таком случае не может быть, чтоб все это кончилось иначе, чем полным примирением с королем, – если Эрленд не провинился ни в чем, кроме излишнего усердия на службе у его матери.

Государственная измена. Кристин слышала о падении Эудюна, сына Хюглейка, – это случилось в дни юности ее отца. Но господина Эудюна обвиняли в ужасных преступлениях. Отец ее говорил, что все это была ложь, – девица Маргрет,

дочь Эйрика было тринадцать лет, а Эудюну шел шестой десяток, когда он вез ее невестой к королю Эйрику, – как только людям не стыдно верить подобным слухам об этой поездке! Отец не позволял, чтобы дома у них, в Йорюндгорде, пели песни об Эудюне. Кроме того, об Эудюне Хестакурне рассказывались совершенно неслыханные вещи: будто он продал всю военную силу короля Хокона французскому королю и обещал подойти к тому на помощь с тысячей двумястами военными кораблями, – за это ему уплатили семь бочек золота. Но народу так и не объяснили полностью, за что Эудюну, сыну Хюглейка. пришлось умереть на виселице в Нурднесе…

Сын его бежал из Норвегии, – в народе говорили, будто он поступил на службу в войско французского короля. Внучек Эудюна, Гюрид и Сигне, увез с места казни их деда его конюх. Говорят, они живут где-то в горах Хаддингьядала, бедными женами простых крестьян.

Все-таки хорошо, что у них с Эрлендом не было дочерей. Нет, ей не хочется и думать о таких вещах! Так мало вероятности, чтобы дело Эрленда кончилось хуже, чем… чем дело Эрлинга, сына Видкюна, и сыновей Хафтура, к примеру…

Никулаус, сын Эрленда, из Хюсабю! Теперь и ей самой казалось, что Хюсабю – прекраснейшая усадьба в норвежской земле.

Она пойдет к господину Борду и узнает от него все в точности. Посадник всегда был ей другом. Лагман Улав тоже…

в прежнее время. Но Эрленд так разгорячился в тот раз, когда лагманом было вынесено решение против него по делу о городском доме при тяжбе с больницей. И, кроме того, Улав принял близко к сердцу несчастье с мужем своей крестной дочери.

Близких родственников у них не было, ни у Эрленда, ни у Кристин, как ни обширен был их род. Мюнан, сын Борда, теперь уж мало что значил. Он обвинялся в незаконных поступках в бытность свою воеводой в Рингерике, – чересчур уж ревностно старался устроить в жизни получше своих многочисленных детей; их у него было четверо рожденных в браке и пять – вне брака. И, говорят, Мюнан очень сильно опустился со времени смерти фру Катрин. Инге из Рюфюльке, Юлитту и ее мужа и Рагнрид, которая была выдана замуж в Швецию, Эрленд знал мало, – то были дети господина Борда и фру Осхильд. Между семейством из Хестнеса и Эрлендом не поддерживалось дружеских отношений со времени смерти господина Борда, сына Петера. Турмюнд из Росволда впал в детство, а его и фру Гюнны дети умерли; внуки же были еще несовершеннолетними.

У нее самой здесь, в Норвегии, не было никаких родичей с отцовской стороны, кроме Кетиля, сына Осмюнда, в Скуге, и Сипорда Кюрнинга, женатого на старшей дочери ее дяди. Вторая жила вдовой, а третья была в монастыре. В Сюндбю из мужского поколения, по-видимому, замешаны в том же деле все четверо. С Эрлендом Эльдьярном Лавранс настоль-

ко рассорился при дележе наследства после Ивара Йеслинга, что с тех пор они больше не желали друг с другом видеться, и Кристин не была знакома ни с мужем своей тетки, ни с его сыном.

Больной монах в обители братьев-проповедников был единственным близким родственником Эрленда. А для нее ближе всех в мире был Симон Дарре, так как он был женат на ее единственной сестре.

Мюнан проснулся и запищал. Кристин повернулась в кровати и положила ребенка к груди с другой стороны. Его нельзя будет взять с собой в Нидарос – ведь все в такой неизвестности. Быть может, малютка в последний раз пьет из груди своей родной матери. Быть может, в последний раз в жизни она лежит вот так и прижимает к себе ребенка, и ей хорошо, хорошо… Если Эрленду будет грозить лишение жизни… Пречистая Матерь Божья, да разве она хоть день, хоть час роптала на рождение детей, которых Господь соизволил даровать ей?.. Неужели же это последний поцелуй вот такого сладкого от молока ротика?..

# V

Кристин отправилась в королевскую усадьбу на следующий же вечер, как только приехала в Нидарос. «Куда они девали тут Эрленда?» – думала она и, озираясь по сторонам, смотрела на многочисленные каменные постройки. Ей казалось, она думает больше о том, каково сейчас Эрленду, чем о том, что ей доведется узнать. Но ей сказали, что посадника нет в городе.

Глаза у нее жгло после долгой поездки на лодке при ослепительном солнечном блеске, а от молока распирало переполненные груди. Когда слуги, помещавшиеся в горнице, уснули, она встала и проходила взад и вперед всю ночь.

На следующий день она послала Халдора, своего личного слугу, в королевскую усадьбу. Слуга вернулся домой в страхе и огорчении, – его дядя Ульв, сын Халдора, схвачен на фьорде во время попытки переправиться к монастырю на Нидархолм! Посадник еще не вернулся.

Эти известия ужасно перепугали и Кристин. Ульв в последний год не жил в Хюсабю, а сидел воеводским ленсманом, чаще всего в Шолдвиркстаде, большая часть которого принадлежала теперь ему. Что это может быть за дело такое, в котором, по-видимому, замешано столько людей? Кристин, больная и невыспавшаяся, не могла избавиться от самых худших опасений.

Утром на третий день господин Борд все еще не возвращался домой. А весточка, которую Кристин пыталась было переслать мужу, не дошла но назначению. Она подумала было навестить Гюннюльфа в монастыре, но у нее не хватило сил, И все ходила, ходила да ходила взад и вперед по горнице с полузакрытыми от жгучей боли глазами. Иногда она была будто в полусне, но едва ложилась на постель – ею овладевал такой ужас и начинались такие боли, что она должна была снова подниматься, совершенно проснувшись, и опять принималась ходить, иначе нельзя было терпеть.

Вскоре после поздней обедни к ней зашел Гюннюльф, сын Никулауса. Кристин поспешила навстречу монаху.

– Ты видел Эрленда?.. Гюннюльф, в чем его обвиняют?

– Плохие вести, Кристин! Нет, к Эрленду не пускают никого – а нас, монахов, к подавно; подозревают, что аббату Улаву были известны его замыслы. Правда, деньги Эрленд занял в монастыре, но вся братия клянется, что они ничего не знали, на что они ему, когда прикладывали к грамоте монастырскую печать. И господин Улав отказывается давать объяснения…

– Да, да. Но в чем же дело?.. Не герцогиня ли вовлекла Эрленда в это?..

Гюннюльф отвечал:

– Скорее выходит так, что им пришлось сильно нажимать на нее, прежде чем она согласилась. Это письмо, черновик которого… кто-то… видел и которое Эрленд и его друзья

послали ей этой весной, им, верно, не удастся зацапать в свои руки, если только они не принудят фру Ингебьёрг отдать его. А черновика никакого не нашли. Но, судя по ответному письму и письму от господина Оле Лаурисена, отобранным у Боргара, сына Тронда, на острове Вези, довольно правдоподобно, что фру Ингебьёрг получила такое письмо от Эрленда и тех людей, которые обязались участвовать вместе с ним в этом замысле. По-видимому, она долго боялась посылать принца Хокона в Норвегию, но они указывали ей, что, какой бы оборот ни приняло дело, все же невероятно, чтобы король Магнус причинил какой-либо вред ребенку, – ведь он ему брат. Даже если Хокон, сын Кнута, и не завладеет королевской властью в Норвегии, он окажется не в худшем положении, чем раньше, – но эти люди готовы были рискнуть своем жизнью и имуществом, чтобы возвести его на королевский престол.

После долгого молчания Кристин сказала:

– Я понимаю. Да, это гораздо более важные дела, чем то, что было между господином Эрлингом или сыновьями Хафтура и королем.

– Да, – сказал Гюннюльф, понизив голос. – Считалось, что Хафтур Грэут и Эрленд отправятся морем в Бьёмвин. Но путь их лежал в Данию, в Калундборг, и они должны были привезти с собой в Норвегию принца Хокона, пока король Магнус находится за границей и занят там сватовством…

Немного погодя монах сказал, по-прежнему понизив го-

лос:

– Вот уж, пожалуй… скоро сто лет с тех пор, как какой-либо знатный норвежец дерзал на такие вещи – пытался низложить наследственного короля и посадить на престол его соперника…

Кристин сидела, глядя перед собой неподвижным взором. Гюннюльф не мог видеть ее лица.

– Да. Последними, кто дерзнул на такую игру, были твои и Эрленда предки. И в тот раз мои далекие предки из рода Йеслингов стояли на стороне короля Скюле, – задумчиво сказала она немного погодя.

Она встретила испытующий взор Гюннюльфа и тут заговорила запальчиво и с жаром:

– Я всего лишь простая женщина, Гюннюльф, я мало обращала внимания на те речи, которые мой супруг вел с другими людьми о таких делах… да и неохотно слушала, когда он заговаривал со мной об этом… помоги мне Господи, у меня не хватало разума постигать столь важные вопросы. Но какой бы неразумной женщиной я ни была, не способной ни к чему, кроме своей домашней работы и воспитания детей, – все же и я знаю, что справедливости и праву приходится совершать слишком уж долгий путь, прежде чем какое-либо дело дойдет до этого короля и потом опять вернется в наши долины. И я тоже поняла, что народу в нашей стране живется теперь гораздо хуже и тяжелее, чем в то время, когда я была ребенком, а блаженной памяти король Хокон – нашим

повелителем. Мой муж… – Ту она несколько раз вздохнула быстро и трепетно. – Мой муж взял на себя дело, которое было столь огромно, что никто из других вельмож в нашей стране не дерзнул, поднял его, – так что я теперь понимаю!..

– Да, он его поднял! – Монах крепко стиснул руки, голос его упал до шепота. – Столь огромное дело, что многие сочтут скверным, что он сам вызвал его падение… таким образом…

Кристин, вскрикнув, вздрогнула. И оттого, что она дернулась так неожиданно и резко, от боли в грудях и в руках все тело ее покрылось потом. Бурно и лихорадочно повернулась она к своему собеседнику и громко воскликнула:

– Не вызывал его Эрленд… То было так уж суждено, было его несчастьем!..

Она рухнула на колени, уцепившись руками за скамейку, подняла к монаху пылающее лихорадкой, искаженное отчаянием лицо.

– Мы с тобой, Гюннюльф, – ты, его брат, и я, его жена на протяжении тринадцати лет, – мы не должны порицать Эрленда теперь, когда он бедняк и узник и, быть может, жизни его угрожает опасность…

Лицо Гюннюльфа дрогнуло. Он опустил глаза на коленопреклоненную женщину.

– Да вознаградит тебя Бог, Кристин, за то, что ты так это принимаешь. – Он опять стиснул свои исхудалые руки. – Бог… бог да сохранит жизнь Эрленду и да даст ему возмож-

ность вознаградить тебя за твою верность! Да отвратит он эту беду от тебя и твоих детей, Кристин…

– Не говори так! – Она выпрямилась, стоя на коленях, и взглянула ему в лицо. – Добра из того не вышло, Гюннюльф, когда ты занимался моими делами и Эрленда. Никто не осуждал его так строго, как ты… его брат и служитель Божий!

– Никогда я не хотел осуждать Эрленда суровее, чем… чем был должен. – Белое лицо его еще более побледнело. – Никого в мире не было для меня дороже моего брата. Потому-то, наверное… меня жгло огнем, – словно то были мои собственные грехи, те, что сам я должен искупить, – когда Эрленд поступил с тобой дурно. А потом Хюсабю… Эрленд один должен был продолжать род, который ведь и мой также! Я отдал большую часть и своего отцовского наследства в его руки. Твои сыновья ближе всего стоят ко мне по крови…

– Не поступал Эрленд дурно со мною! Я была не лучше его! Зачем ты так говоришь со мною, Гюннюльф!.. Никогда ты мне не был духовником. Отец Эйлив не поносил предо мной моего мужа – он порицал меня за грехи мои, когда я жаловалась ему на свои трудности. Он лучший священник, чем ты… и его Бог поставил надо мной, его я и стану слушать… а он никогда не говорил, что я страдаю от несправедливости. Я буду слушаться сто!

Гюннюльф поднялся, когда она встала. Бледный и потрясенный, он пробормотал: – Ты правду сказала. Слушайся от-

ца Эйлива!.. Он повернулся, чтобы уйти; тогда она пылко схватила его за руку:

– Нет, не уходи от меня так! Мне вспоминается, Гюннюльф… Мне вспоминается, как я гостила у тебя в этом доме – он тогда был твоим; ты был добр ко мне. Мне вспоминается, как я впервые встретила тебя… Я была в беде и в страхе, я помню, ты говорил со мной и приводил оправдания Эрленду, – что ты, мол, не знаешь… Ты молился и молился за жизнь мою и за жизнь моего ребенка. Я знаю, что ты желал нам добра, ты любил Эрленда… О, не говори так сурово об Эрленде, Гюннюльф! Кто из нас чист перед Богом? Мой отец полюбил его, наши дети любят своего отца. Вспомни, он нашел меня слабой и легко поддающейся соблазну – и привел к жизни в довольстве и почете. Ах, как прекрасно в Хюсабю! В последний вечер перед моим отъездом из дому было так прекрасно, солнечный закат был так красив в тот вечер. Мы с Эрлендом прожили там много хороших дней… И что бы ни было, все же он мой муж, мой муж, которого я люблю!..

Гюннюльф оперся обеими руками о посох, которым теперь всегда пользовался, когда выходил куда-нибудь из своего монастыря.

– Кристин… Не строй ничего на зареве солнечных закатов и на той… любви… о которой ты вспоминаешь теперь, когда боишься за его жизнь.

…Мне вспоминается, когда я был молодым… всего лишь субдьяконом… Гюдбьёрг, на которой женился потом Алф из

Увоса, жила тогда служанкой в Сильхейме. Ее обвинили в краже золотого перстня. Оказалось, она не была виновата, но стыд и страх настолько потрясли ее душу, что дьявол овладел ею; она спустилась к озеру и хотела в него броситься. Потом она нам часто свидетельствовала, что в ту пору весь мир казался ей таким красивым, золотым и красным, а вода светилась и как будто была теплой и живительной, но когда она зашла в нее до пояса, вдруг ей пришло на ум произнести имя Христа и осенить себя крестным знамением. И тут сразу весь мир посерел, а вода стала холодной, и она увидела, куда вознамерилась отправиться…

– Ну, так я не стану произносить его. – Кристин говорила тихо; она стояла неподвижно, выпрямившись во весь рост. – Если поверю, что тогда я подвергнусь искушению предать своего господина, когда он в беде. Но я думаю, что не Христово имя, а скорее имя дьявола может довести до этого.

– Я не то хотел сказать, я хотел сказать… Господь да укрепит тебя, Кристин, чтобы ты смогла осилить это – снести ошибки мужа с любящей душой…

– Ты видишь, я так и делаю, – сказала женщина по-прежнему тихо.

Гюннюльф отвернулся от нее, бледный и дрожащий. Он закрыл лицо руками:

– Я пойду домой. Я смогу легче… Дома мне легче собрать свои мысли… чтобы сделать все, что в моих силах, для Эрленда и для тебя. Господи… Да сохранят Господь Бог и все

его святые жизнь моему брату, и да спасут они его! Ах, Кристин… не думай, что я не люблю своего брата…

Но, когда он ушел, Кристин подумала, что теперь все значительно ухудшилось. Она не пожелала, чтобы слуги оставались с ней в горнице, и все ходила да ходила, ломая руки, и тихо стонала. Был уже поздний вечер, когда кто-то въехал во двор. Сейчас же распахнулась дверь горницы, и какой-то высокий тучный человек в дорожном плате, сперва с трудом различимый в потемках, быстро направился к Кристин, позвякивая шпорами и волоча за собой меч. Узнав Симона Дарре, она разразилась громкими рыданиями и бросилась к нему, простирая руки. но вскрикнула от боли, когда он прижал ее к себе.

Симон отпустил ее. Она осталась стоять, положив ему на плечи руки, прижавшись лбом к его груди, и беспомощно всхлипывала. Симон легонько обнял ее за бедра.

– Бог с тобой, Кристин! – Казалось, было спасение уже в самом его трезвом приветливом голосе, в живом мужском запахе, исходившем от него, – запахе пота, дорожной пыли, лошади и кожаной сбруи. – Бог с тобой, еще слишком рано терять мужество и надежду!.. Уж будь уверена, найдется какой-нибудь выход…

Скоро Кристин настолько оправилась, что смогла извиниться перед Симоном. Она чувствует себя совершенно отвратительно из-за того, что ей пришлось так внезапно отнять от груди младшего ребенка.

Симон справился о том, как она провела эти трое суток. Он позвал ее служанку и сердито спросил; неужели же здесь во всем доме не нашлось ни одной женщины, у которой хватило бы ума понять, что такое происходит с их хозяйкой? Но служанка была неопытной юной девушкой, а городской домоуправитель был вдовцом с двумя незамужними дочерьми. Симон отправил человека в город за какой-нибудь лекаркой и упросил Кристин лечь в постель. Когда ей станет немного получше, он придет к ней поговорить.

Пока они ждали лекарку, Симону и его слуге принесли в горницу поесть. Тем временем Симон перебрасывался словами с Кристин, раздевавшейся в чулане. Да, он отправился на север сейчас же, как услышал о том, что случилось в Сюндбю, – он поехал сюда, а Рамборг – туда, чтобы побыть пока с женами Ивара и Боргара. Мвара увезли в Мьёсенский замок, но Ховарда оставили на свободе, только он должен был дать обещание, что останется у себя в долине. Говорят, будто Боргару и Гютторму удалось бежать… Ион из Лэугарбру поехал в Рэумсдал за новостями и пришлет сюда гонца. Симон проезжал Хюсабю сегодня в обед, но пробыл там недолго. Мальчики живут хорошо, но только Ноккве и Бьёргюльф сильно клянчили, чтобы он взял их с собой.

Кристин уже обрела спокойствие и мужество, когда поздно вечером Симон пришел к ней. Он присел на край кровати. Она лежала в приятной усталости, которая всегда появляется после сильных болей, и глядела на тяжелое, загорелое от

солнца лицо зятя и его маленькие глазки, полные силы. Для нее было огромной поддержкой, что Симон приехал. Правда, он очень призадумался, узнав о деле более подробно, но все-таки говорил с Кристин успокоительно.

Кристин лежала, глядя на пояс лосиной кожи, стягивавший его внушительную талию. Большая плоская медная пряжка с тонкой серебряной накладкой, без всяких украшений, кроме вырезанных на ней букв М. Д., означавших «Мария дева», длинный кинжал с позолоченными серебряными накладками и большими кристаллами горного хрусталя на рукоятке; плохонький ножик с треснувшей роговой ручкой, починенной медной проволокой, – все это принадлежало к будничному обиходу ее отца еще с тех пор, когда Кристин была ребенком. Она вспомнила, как Симон приобрел эти вещи: перед самой своей смертью Лавранс пожелал подарить ему свой позолоченный праздничный пояс и серебра на столько добавочных пластин, чтобы он был зятю впору. Но Симон попросил подарить ему вот этот, старый… А когда Лавранс сказал, что ведь этим он сам себя надувает, Симон заявил, что все-таки кинжал-то – дорогая вещь… «Да, и еще нож!» – сказала Рагнфрид, слегка улыбнувшись. И мужчины засмеялись и сказали: «Да, уж нож-то!..» Из-за этого ножа у отца с матерью было много споров. Рагнфрид каждый день сердилась, видя этот безобразный, плохонький нож за поясом мужа. Но Лавранс клялся, что ей никогда не удастся разлучить его с этим ножом. «Ведь я же никогда не обнажал

его против тебя, Рагнфрид! И вообще это отличный нож, им не хуже всякого другого в норвежской земле можно резать масло – когда он горячий!»

Кристин попросила Симона дать ей нож посмотреть и некоторое время лежала, держа его в руках.

– Хотелось бы мне, чтобы этот нож был моим, – тихо и просительно сказала она.

– Ну конечно! Охотно верю… Я сам рад, что он принадлежит мне, – я не продам его и за двадцать марок серебра. – Он, смеясь, схватил Кристин за руку и отнял у нес нож. Маленькие, пухлые руки Симона были всегда такие теплые, приятные и сухие.

Немного погодя он пожелал ей спокойной ночи, взял свечу и ушел в горницу. Кристин слышала, как он преклонил там колено перед распятием, потом встал, скинул сапоги на пол и вскоре тяжело повалился на постель у северной стены.

Тут и Кристин погрузилась в бездонно-глубокий сладкий сон.

На следующий день она проснулась поздно. Симон, сын Андреса, ушел уже несколько часов тому назад, и слуги передали ей от его имени, что она должна спокойно сидеть дома.

Он вернулся домой только в конце дня и тотчас же сказал:

– Привет тебе от Эрленда, Кристин, я беседовал с ним. Он увидел, как сразу помолодело у нее лицо, какой оно исполнилось мягкости и нежности, смешанной со страхом. Взяв

ее руку в свою, он стал рассказывать. Много им с Эрлендом не удалось сообщить друг другу, потому что человек, проведший Симона к узнику, все время оставался там с ними. Разрешение на эту беседу раздобыл Симону лагман Улав, ради того свойства, которое было между ними при жизни Халфрид. Эрленд шлет сердечные приветы Кристин и детям. Он усердно расспрашивал о них о всех, но особенно о Гэуте. Симон высказал предположение, что, наверное, через несколько дней Кристин разрешат свидание с мужем. По-видимому, Эрленд спокоен и не падает духом.

– Если бы я пошла с тобой сегодня, то, наверное, тоже повидала бы его, – тихо сказала Кристин.

Симон этого не думал; ему потому это и удалось, что он пошел один.

– Во многом для тебя будет легче продвигаться вперед, Кристин, когда впереди тебя пойдет мужчина…

Эрленд сидит в одном из помещений в восточной башне, выходящей на реку, – это одна из камер для господ, хотя и маленькая. Ульв, сын Халдора, сидит как будто бы в подземелье, Хафтур – в какой-то другой камере.

Осторожно и как бы нащупывая каждый свой шаг, все время следя, хватит ли у Кристин сил, Симон рассказал о том, что ему удалось разузнать в городе. Увидев, что она сама ясно все понимает, он не скрыл, что и по его мнению дело это опасное. Но все, с кем он только ни беседовал, считают совершенно невозможным, чтобы Эрленд дерзнул задумать

такое предприятие и продвинуть его так далеко, не зная совершенно точно, что за его спиной стоит значительная часть рыцарей и сыновей господских. Значит, раз число недовольной знати столь велико, то едва ли король отважится расправиться сурово с их вожаком, – вероятно, он заставит Эрленда пойти на соглашение с ним каким-либо образом.

Кристин еле слышно спросила:

– А каково положение Эрлинга, сына Видкюна, в этом деле?

– Насколько я понял, многие кое-что дали бы за то, чтобы узнать это, – сказал Симон.

Одного он не сказал Кристин, как не говорил этого и тем, с кем беседовал о деле Эрленда. Ему казалось маловероятным, чтобы за спиной Эрленда стояло сколько-нибудь значительное число людей, согласившихся поддержать своей жизнью и своим имуществом столь опасное дело; иначе едва ли бы выбрали Эрленда вожаком, – ведь все его сверстники знали, что на него нельзя полагаться. Правда, он был родичем фру Ингебьёрг и ее сына, предназначенного занять королевский престол, пользовался некоторой властью и уважением в последние годы, был не так уж совершенно неопытен в военных делах, как большинство его ровесников, и считалось, что он умеет приобретать любовь воинов и вести их за собой – и хотя столько раз поступал безрассудно, однако умел поворачивать свою речь хорошо и умно, так что почти можно было поверить, что он теперь наконец после всех превратно-

стей научился осторожности. Симон считал, что, вероятно, были такие люди, которые знали о замыслах Эрленда и подталкивали его, но его удивило бы, если бы они связали себя так крепко, что теперь не смогли бы отступиться от Эрленда, оставив того под ударом.

Симону показалось, что и сам Эрленд не ожидал ничего иного и, по-видимому, готов к тому, что придется платить за свою рискованную игру. «Когда коровы увязают в болоте, пусть владелец и тащит их за хвост!» – сказал он засмеявшись. Впрочем, Эрленд и не мог сказать многого в присутствии третьего лица.

Симон сам себе изумлялся, что свидание со свояком так его потрясло: крохотная, тесная камера в башне, где Эрленд пригласил его присесть на кровать, – она шла от стены к стене и занимала почти половину помещения, – и прямая, стройная фигура Эрленда, когда он стоял у маленького светового отверстия в каменной стене, совершенно без страха, с ясным взором, не тревожимый ни боязнью, ни надеждой, – то был здоровый, хладнокровный, мужественный человек, когда с него смело липкую паутину любовных проказ и дурачеств с женщинами. Хотя именно женщины и любовные дела привели его сюда со всеми его дерзкими замыслами, которым был положен конец прежде, чем он успел их осуществить. Но, казалось, сам Эрленд об этом не думал. Он вел себя как человек, который рискнул на отчаяннейшую игру, проиграл и умеет переносить свое поражение мужественно

и спокойно.

И его изумленная и радостная благодарность при виде свояка удивительно шла к нему. Симон сказал ему тогда:

– Ты помнишь, свояк, ту ночь, когда мы оба бодрствовали около нашего тестя? Мы подали друг другу руки, а Лавранс положил поверх них свою, – мы пообещали друг другу и ему, что во все дни пашей жизни будем держаться вместе, как братья.

– Да, – лицо Эрленда просияло улыбкой. – Но Лавранс, конечно, не думал, чтобы тебе когда-либо понадобилась моя помощь.

– Скорее всего он думал, – сказал Симон твердо, – что ты при своем положении можешь оказаться поддержкой для меня, а не то, что ты будешь нуждаться в моей помощи.

Эрленд опять улыбнулся.

– Лавранс был умным человеком, Симон. И как это ни странно может прозвучать, но я знаю, что он любил меня!

Симон подумал: «Да, видит Бог, это странно!» Но даже и сам он, – вопреки тому, что он знал об Эрленде, и вопреки всему тому, что тот ему причинил, – не мог удержаться от какой-то братской нежности, которую питал теперь к мужу Кристин. Тут Эрленд спросил о ней.

Симон сообщил, в каком виде он ее застал, – больную и исполненную боязни за мужа. Улав, сын Германа, обещал посодействовать, чтобы ее допустили к Эрленду, как только вернется домой господин Борд.

– Но не раньше, чем она будет здорова! – быстро и испуганно. попросил Эрленд. Странный, девический румянец залил его смуглое, небритое лицо. – Это единственное, чего я страшусь, Симон, что я не смогу хорошо держаться, когда свижусь с ней!

Но немного спустя он сказал с прежним спокойствием:

– Я знаю, ты будешь ей верным другом, если она овдовеет нынче. Бедными они, вероятно, не будут, ни она, ни дети, с ее наследством после Лавранса. И у нее будешь ты неподалеку, когда она поселится в Йорюндгорде.

* * *

На другой день после Рождества Богоматери в Нидарос прибыл наместник короля, господин Ивар, сын Огмюнда. Был назначен суд из двенадцати королевских вассалов, жителей северных областей; они должны были разобраться в деле Эрленда, сына Никулауса. Господин Финн, сын Огмюнда, брат наместника, был избран вести дело против обвиняемого.

Между тем еще летом случилось, что Хафтур Грэут из Гудёя убил себя маленьким, кинжалом, какие было разрешено держать при себе каждому узнику для разрезания пищи. Говорили, что заключение так повлияло на Хафтура, что разум у него несколько помутился. Эрленд, услышав об этом, сказал Симону, что теперь ему не надо больше бояться языка

Хафтура. Но все же он был сильно потрясен.

Иногда случалось, что тюремщик выходил по какому-нибудь делу, когда Симон или Кристин бывали у Эрленда. Оба они понимали – и говорили между собой о том, – что первой и последней мыслью Эрленда было пройти через это дело, не открывая имен своих соучастников. Симону он к один прекрасный день так и сказал напрямик. Он обещал всем, с кем вступал в заговор, что будет держаться за веревку так, чтобы ему самому отрубило лапы, если до того дойдет дело. «А до сей поры я еще ни разу не изменял никому, кто доверился мне!» Симон взглянул на Эрленда – глаза у того были сини и ясны. Не было сомнения в том, что он сказал это о себе с полной уверенностью.

Не удалось королевским чиновникам и выследить кого-либо еще, кто принимал участие в государственной измене Эрленда, кроме братьев Грейпа и Турвалда, сыновей Туре из Мере, но и те не желали сознаться в том, что им было известно что-либо иное о замыслах Эрленда, кроме того, что он сам и многие другие убеждали герцогиню разрешить воспитывать принца Хокона, сына Кнута, в Норвегии. А потом вельможи должны были бы разъяснить королю Магнусу, что будет к пользе обоих его государств, если он передаст королевское звание в Норвегии своему сводному брату.

Боргару и Гютторму, сыновьям Тронда, посчастливилось бежать из королевской усадьбы на острове Веэй – никто не знал, каким именно образом, но люди догадывались, что

Боргар получил помощь от женщины: был он очень красив и несколько легкомыслен. Ивар из Сюндбю еще сидел в Мьёсенском замке, а юного Ховарда братья, по-видимому, не посвящали в свои замыслы.

Одновременно со сбором дружинников в королевской усадьбе архиепископ созвал «консилиум» в своем замке. У Симона было много друзей и знакомых, а потому оп мог приносить Кристин новости. Все считали, что Эрленд будет присужден к изгнанию, а все его имения будут отобраны королем в казну. Эрленд тоже говорил, что так это, должно быть, и будет; настроение его было бодрым – он намеревался искать убежища в Дании. При нынешнем положении дел в этой стране для смелого и владеющего оружием человека всегда открыта дорога, а фру Ингебьёрг, наверное, примет его супругу как свою родственницу и будет держать у себя с подобающим почетом. Детей придется взять к себе Симону, но двух старших сыновей Эрленду все же хотелось бы увезти с собой…

За все это время Кристин ни на один день не выезжала за город и не видела своих детей, кроме Ноккве и Бьёргюльфа; те приезжали как-то вечером одни верхом. Мать продержала их у себя несколько дней, но потом отослала в Росволд, к фру Гюнне, которая взяла к себе всех меньших.

Таково было желание Эрленда. А Кристин боялась тех мыслей, которые могли возникнуть у нее, если бы она увидела своих сыновей вокруг себя, стала выслушивать их во-

просы и пытаться посвятить их в сущность всех этих дел. Она боролась с собой, чтобы отогнать от себя все мысли и воспоминания о годах, проведенных ею в замужестве в Хюсабю. Столь богаты были эти годы, что теперь казались ей сплошным великим покоем, – так на море и при волнении лежит спокойствие, если глядеть на него с достаточно высокого утеса. Волны, бегущие одна за другой, как бы вечны и едины; так и жизнь пробегала волнами в ее душе за эти просторные годы.

Теперь опять все было как в пору юности, когда она ради Эрленда противопоставила свою волю всему и всем. Теперь опять ее жизнь стала одним-единственным ожиданием – от свидания до свидания – того часа, когда ей можно было видеть мужа, сидеть рядом с ним на кровати в камере башни королевской усадьбы, беседовать с ним спокойно и ровно… пока, случалось, они останутся одни на кратчайший миг и крепко прижмутся друг к другу в жарком, бесконечном поцелуе и в бурном объятии.

Остальное время она проводила и церкви, просиживая там часами. Падала на колени и неподвижным взором глядела на золотую раку святого Улава за решеткой позади алтаря…

«Господи, я его жена. Господи, я не покинула его, когда принадлежала ему в грехе и неправде. Божьим милосердием мы, недостойные, соединены были во святом венчании. Заклейменные клеймом греха, отягощенные тяготой греха,

пришли мы вместе к вратам Божьего дома, вместе приняли тело спасителя из рук священника. Мне ли теперь жаловаться, мне ли теперь думать об ином, кроме того, что я его жена, а он мой муж, пока мы с ним оба живы?..»

* * *

В четверг перед Михайловым днем состоялось собрание королевских дружинников и был произнесен приговор над Эрлендом, сыном Никулауса, из Хюсабю. Он был признан виновным в том, что изменой хотел отнять землю и подданных у короля Магнуса, хотел поднять мятеж против короля внутри страны и ввести в Норвегию чужие, наемные военные силы. По изучении подобных же дел, имевших место в прошлом, судьи признали, что Эрленд потерял право на жизнь и имущество и предается в руки короля Магнуса.

Арне, сын Яввалда, приехал к Симону Дарре и Кристин, дочери Лавранса, в городской дом Никулауса. Он присутствовал на этом собрании.

Эрленд не пытался отвести обвинение. Ясно и твердо он признался в своем намерении: он хотел принудить этими мерами короля Магнуса, сына Эйрика, отдать королевскую власть в Норвегии своему юному сводному брату, принцу Хокону Порее. По словам Арне, Эрленд говорил превосходно. Он указал на огромные трудности, выпавшие на долю народа вследствие того, что за последние годы король по-

чти не бывал в пределах Норвегии и неизменно высказывал нежелание назначить таких заместителей, которые могли бы отправлять правосудие и осуществлять королевские полномочия. Из-за предприятия, начатого королем в Сконе, из-за расточительности и неразумия при решении денежных вопросов, проявленных людьми, к советам которых король больше всего прислушивался, народ подвергается притеснениям и разорению и никогда не знает, огражден ли он от новых требований о помощи и от налогов сверх обычного. Поскольку норвежские рыцари и люди, носящие оружие, пользуются меньшими правами и преимуществами, чем шведские рыцари, первым стало трудно тягаться с последними, и по тому вполне понятно, что столь юный и еще неразумный человек, как господин Магнус, сын Эйрика, охотнее слушается шведских господ и любит их больше, раз у тех гораздо больше богатства и, стало быть, больше возможностей поддержать его вооруженными и привычными к войне людьми.

И вот сам он, Эрленд, и его друзья-соумышленники сочли, что им настолько хорошо известно желание большинства населения севера и запада Норвегии – сыновей господских, крестьян и горожан, – что они не сомневались в их полной поддержке, если ими будет выдвинут такой притязатель на престол, который окажется в столь же близком родстве с нашим любезным государем, блаженной памяти королем Хоконом, как и нынешний наш король. Таким образом, он, Эрленд, ожидал, что население страны объединится на этом

и мы понудим короля Магнуса к тому, чтобы он не препятствовал своему брату взойти здесь на королевский престол; принц же Хокон присягнет сохранить мир и братство с господином Магнусом, защищать норвежскую державу в пределах старинных государственных границ, поддерживать права Божьей церкви, законы и обычаи страны, как они ведутся исстари, вольности и преимущества крестьян и горожан, но положит конец проникновению иноземцев в государство. Он, Эрленд, и его друзья намеревались изложить этот замысел королю Магнусу мирным образом, хотя в прежние времена всегда было правом норвежских крестьян и знати отвергать короля, который пытается властвовать не по закону.

Об образе действий Ульва, сына Саксе, в Англии и Шотландии Эрленд сказал, что единственной целью Ульва было заручиться там благосклонным отношением к принцу Хокону, если бы Господу Богу было угодно даровать его нам в короли. «Во всех этих предприятиях со мной вместе не принимал участия никто из норвежцев, кроме Хафтура Грэута, сына Улава из Гудея, – упокой Господи его душу, – да моих свояков, трех сыновей Тролда Йеслинга из Сюндбю, и Грейпа и Турвалда, сыновей Туре из Хаттебергского рода».

Речь Эрленда произвела большое впечатление, сказал Арне, сын Яввалда. Но затем под конец, упоминая о том, что они ожидали поддержки от мужей церкви, Эрленд намекнул на старые слухи, еще тех времен, когда король Магнус находился под опекой, а это было неумно, так полагал Арне.

Архиепископский официал резко обрушился на него за это; ведь архиепископ Поль, сын Борда, – как в то время, когда он был канцлером, так и ныне, – питал и питает большую любовь к королю Магнусу за его склонность к божественному: а люди предпочитают позабыть, что такие слухи когда-либо ходили об их короле: да и к тому же теперь он женится на молодой девушке, дочери графа Намюрского… Если бы даже во всем этом и была когда-либо доля истины, то теперь уж король Магнус совершенно отвратился от подобных вещей.

…Арне, сын Яввалда, выказывал величайшую дружбу Симону, сыну Андреса, пока тот жил в Нидаросе. Именно Арне теперь напомнил Симону о том, что Эрленд мог бы обжаловать приговор, как вынесенный незаконно. По букве закона обвинение против Эрленда должно было быть выдвинуто равным ему человеком, но государственный обвинитель, господин Финн из Хестбё, – рыцарь, в то время как Эрленд по званию только оруженосец. Тогда весьма вероятно, что вновь назначенный суд найдет, что Эрленда нельзя присудить к более суровому наказанию, чем изгнание из страны, – таково было мнение Арне.

Что же касается того, что предлагал Эрленд, – такого королевского правления, которое, по его мнению, удовлетворяло бы нуждам страны, – да, это, конечно, звучит хорошо! И всем известно, где можно найти человека, который охотно бы взялся за кормило и стал бы вести страну этим курсом, пока король еще в несовершенных летах… Арне почесал в

седой щетине бороды, искоса взглянув на Симона.

– О нем ничего не слышно и ничего не известно этим летом? – тихо спросил Симон.

– Ничего. Правда, я слышал, – он говорит, что теперь в немилости у короля и потому, мол, держится вдалеке от всяких таких дел. Давно уж не случалось, чтобы он утерпел столько времени у себя дома, выслушивая болтовню фру Элин. Говорят, дочери его столь же красивы и столь же глупы, как их мать.

Эрленд выслушал свой приговор с непоколебимо спокойным видом и приветствовал судей столь же вежливо, непринужденно и красиво, когда его выводили, как и при входе в помещение суда. Он был спокоен и весел, когда на следующий день Кристин и Симон пришли к нему на свидание. С ними был и Арне, сын Яввалда, и Эрленд сказал, что он последует его совету.

– Еще ни разу в жизни мне не удавалось убедить Кристин поехать со мной в Данию, – сказал он, обняв одной рукой стан жены. – А мне всегда хотелось поездить с ней по свету!.. – По лицу его пробежала словно бы дрожь, и вдруг он горячо поцеловал жену в бледную щеку, не обращая внимания на зрителей.

* * *

Симон, сын Андреса, поехал в Хюсабю распорядиться на-

счет перевозки движимого имущества Кристин в Йорюндгорд. Он советовал ей воспользоваться этим случаем и отослать детей в Гюдбрандсдал. Кристин сказала:

– Сыновья мои не выедут с отцовского двора, пока их не выгонят.

– Я не стал бы этого дожидаться, будь я на твоем месте, – сказал Симон. – Они так молоды – они не в состоянии понять это как следует. Лучше будет, если ты дашь им уехать из Хюсабю в уверенности, что они только погостят у своей тетки и приглядят за материнским наследством в долине.

Эрленд вполне согласился в этом с Симоном. Однако в конце концов только Ивар и Скюле поехали с дядей на юг. Кристин была не в состоянии отослать от себя самых маленьких в такую даль. Когда к ней привезли в городской дом Лавранса и Мюнана и она увидела, что младший уже не узнает матери, силы ее оставили. Симон ни разу не видал, чтобы она хоть слезинку пролила с того первого вечера, как он приехал в Нидарос, – а теперь она рыдала и рыдала над Мюнаном, который барахтался и отбивался в тесных объятиях, матери и тянулся к кормилице. И рыдала над малюткой Лаврансом, когда он забрался на колени к матери, обнял ее за шею и плакал вместе с ней, потому что плакала она. Итак, Кристин оставила у себя обоих малышей и Гэуте, который не желал ехать с Симоном, – да ей и самой казалось неблагоразумным терять из виду ребенка, несшего чересчур уж тяжелое бремя для своего возраста.

Детей привез в город отец Эйлив. Он испросил архиепископа разрешение отлучиться из церкви и съездить в гости к брату в монастырь Тэутра, Такое разрешение было охотно дано домашнему священнику Эрленда, сына Никулауса. И вот он высказал мнение, что Кристин трудно сидеть тут в городе с целой кучей ребят да заботиться о них, и предложил взять с собой в монастырь Ноккве и Бьёргюльфа.

В последний вечер перед отъездом священника и старших мальчиков (Симон уже уехал с близнецами) Кристин исповедалась перед этим кротким, чистой души человеком, который был столько лет ее духовным отцом. Они провели вместе несколько часов, и отец Эйлив внушал ей быть смиренной и послушной Богу, терпеливой, верной и любящей по отношению к мужу. Она стояла на коленях перед скамьей, где он сидел, потом отец Эйлив встал и опустился на колени с нею рядом, не снимая червленого ораря – символа ига Христовой любви, и долго, жарко молился про себя. Но она знала, что он молится за ту семью – отца, и мать, и детей, и домочадцев, – чье душевное здравие он с такою верностью столько лет стремился укреплять.

День спустя она стояла на берегу, глядя, как братья-миряне из Тэутры поднимают парус на лодке, увозившей от нее священника и обоих старших сыновей. Возвращаясь домой, она зашла в церковь миноритов и немного побыла там, пока не почувствовала себя достаточно сильной, чтобы отважиться идти к себе, в свой городской дом. А вечером, когда

младшие уснули, она уселась за прялкой и стала рассказывать Гэуте сказки, пока и мальчику не пришло время спать.

# VI

Эрленд просидел в королевской усадьбе до самого дня святого Клемента. Затем прибыл гонец с приказом доставить его пред очи короля Магнуса, который выдал на это охранную грамоту. Король намеревался праздновать в этом году Рождество в Богахюсе.[52]

Кристин ужасно испугалась. С невыразимым трудом приучилась она казаться спокойной, пока Эрленд сидел в заключении, приговоренный к смерти. А теперь его увозят далеко от нее навстречу неизвестности; о короле ходят самые различные слухи, а в кругу тех людей, которые стоят близко к нему, у ее мужа нет друзей. Ивар, сын Огмюнда, бывший теперь начальником замка в Богахюсе, отзывался самым суровым образом об измене Эрленда королю. И якобы еще больше раздражился, когда до него опять дошли слухи об одной дерзости, сказанной о нем Эрлендом.

Однако Эрленд был рад. Правда, Кристин видела, что он нелегко переживал предстоящую им разлуку. Но долгое заключение начинало теперь так на нем сказываться, что он жадно ухватился за возможность длительного морского путешествия и, казалось, был почти равнодушен ко всему остальному.

---

[52] *Богахюс – крепость в области Бохюслен, в Швеции, у юго-восточной границы Норвегии; в XIV веке эта область входила в состав Норвегии.*

В три дня все было готово, и Эрленд отплыл на юг на корабле господина Финна. Симон обещал вернуться в Нидарос перед Рождеством, как только он немного разберется в своих домашних делах; если же будут новые вести до этого времени, то он просил Кристин прислать гонца, и он сейчас же приедет. Теперь ей пришло в голову самой поехать к нему на юг, а оттуда добираться до короля, пасть к его ногам и молить о помиловании своего мужа – с готовностью предложить все, чем она владеет, в выкуп за его жизнь.

Эрленд продал и заложил свой двор в городе разным лицам; теперь жилой дом. принадлежал нидархолмскому монастырю, но аббат Улав любезно написал Кристин и просил ее пользоваться домом, пока ей нужно. Сейчас она жила там одна с девушкой-служанкой, Ульвом, сыном Халдора, выпущенным на свободу, ибо против него не удалось собрать достаточных улик, и его племянником Халдором, личным слугой Кристин.

Она посоветовалась с Ульвом, но тот сперва высказал некоторое сомнение, – ему казалось, что переезд через Довре будет для нее тяжел; в горах уже выпало много снега. Но, заметив ее душевную тревогу, он передумал и согласился с ней. Фру Гюнна увезла двух младших детей к себе в Росволд, но Гэуте не хотел разлучаться с матерью, да и та ни за что не решалась терять мальчика из виду, если бы он остался здесь, на севере.

Они встретили такую суровую погоду, когда добрались на

юг до гор Доврe, что, по совету Ульва, оставили лошадей в постоялой избе и взяли там лыжи – на случай, если бы пришлось проводить следующую ночь под открытым небом. Кристин ни разу не ходила на лыжах с тех самых пор, как была маленькой девочкой, поэтому ей было трудно продвигаться вперед, хотя мужчины и помогали ей изо всех сил. В этот день они прошли по горам всего лишь полпути между Дривдалской избой и Йердкинном, и когда начало смеркаться, им пришлось искать убежища в березняке на горном склоне и зарыться там в снег. В Тофтаре опять наняли лошадей; здесь они встретили туман, а спустившись немного в долину, попали под сплошной дождь. Когда они через несколько часов после наступления темноты въезжали во двор Формо, ветер завывал за углами строений, река шумела и в лесу на горных склонах свистело и гудело. Двор был как раскисшее болото и заглушал стук копыт – в субботний, предпраздничный вечер по всей большой усадьбе не видно было признаков жизни, и ни люди, ни собаки не обратили внимания на приезд гостей.

Ульв загрохотал копьем в дверь жилого дома; появился слуга и открыл. Сейчас же в сенях показался из горницы сам Симон, широкий и темный против света, с ребенком на руках; он сдерживал лаявших позади собак. Симон издал восклицание, узнав свою свояченицу, поставил на пол ребенка и потащил Кристин и Гэуте в горницу, сам стаскивая с них по пути промокшую верхнюю одежду.

В горнице было уютно и тепло, но стоял ужасно тяжелый

воздух, – это была горница с печкой и с плоским потолком, под горницей второго жилья. И она была переполнена народом, – дети и собаки кишмя кишели в каждом углу. Затем Кристин различила за столом, на котором горела свеча, лица своих двух младших сыновей, красные, разгоряченные, и радостные. Туг они вышли из-за стола и поздоровались несколько принужденно с матерью и братом, – Кристин поняла, что она попала сюда в самый разгар веселья и помешала людям приятно проводить время. Впрочем, в горнице был ужаснейший беспорядок, и Кристин на каждом шагу наступала на хрустящую ореховую скорлупу – ею был усыпан весь пол.

Симон разослал слуг и служанок с разными поручениями, и горница освободилась от людей и большей части детей и собак (это были соседи и их свита). Расспрашивая Кристин и слушая ее рассказы, Симон в то же время застегивал и завязывал рубаху и кафтан, которые были совсем раскрыты на его голой волосатой груди. «Это меня так растрепали дети», – сказал он виноватым голосом. Он выглядел ужасно неряшливым, пояс перевернулся и сидел на нем криво, платье и руки были очень грязны, лицо измазано сажей, а волосы полны мякины и пыли.

Вскоре появились две служанки и отвели Кристин и Гэуте в женскую горницу Рамборг. Там уже была затоплена печь; хлопотливые служанки зажигали свечи, постилали постель и помогали Кристин и мальчику переодеться в сухое платье, а

тем временем другие накрывали на стол и подавали кушанья и напитки. Какая-то девочка-подросток с шелковыми лентами в косах принесла Кристин чашу с пенящимся пивом. Девочка эта была старшей дочерью Симона, Арньерд.

Потом пришел и он сам; он привел себя в порядок и был одет красивее и наряднее, чем Кристин привыкла его видеть. Он вел свою маленькую дочь за руку, а Ивар и Скюле сопровождали его.

Кристин спросила о сестре, и Симон ответил, что Рамборг уехала в Рингхейм проводить туда родственниц из Сюндбю.

Юстейн захватил свою дочь Хельгу, и ему захотелось взять с собой и Дагни с Рамборг, – это такой веселый, ласковый старик; он обещал позаботиться о трех молодых женщинах. Поэтому, может быть, Рамборг останется там и на зиму. Она ожидает ребенка примерно ко дню святого Матвея, а сам Симон подумал, что, возможно, ему не придется быть дома зимой; поэтому Рамборг будет приятнее у молодых родственниц. Нет, для домашнего хозяйства здесь, в Формо, совершенно безразлично, будет ли Рамборг дома или в отъезде, засмеялся Симон, ведь он никогда не требовал, чтобы такое юное дитя, как Рамборг, выбивалось из сил, управляя столь большим делом.

Относительно замыслов Кристин Симон тотчас же сказал, что он охотно поедет с ней на юг. Там у него столько родичей и друзей, еще от старых времен, – и отцовских и его собственных, – что он надеется услужить Кристин лучше, чем

в Нидаросе. Умно ли будет с ее стороны добиваться свидания с самим королем, – об этом Симон сумеет легче навести справки там. Кристин должна быть готова к поездке через три-четыре дня.

Они вместе отправились на следующее утро к обедне, – это было в воскресенье, – а потом навестили отца Эйрика в его доме в Румюпдгорде. Священник состарился; он ласково встретил Кристин и, видимо, очень горевал над ее грустной судьбой. Затем они зашли в Йорюндгорд.

Постройки были те же самые, а в горницах стояли все те же кровати, скамьи и столы. Теперь это была собственная усадьба Кристин; похоже на то, что здесь придется вырасти ее сыновьям к здесь же она сама когда-нибудь сляжет и закроет свои глаза. Но никогда еще не чувствовала она так ясно, как в тот час, что жизнь в этом доме создавали ее отец и мать. С чем бы ни приходилось самим им бороться втайне, но ко всем, кто жил вокруг них, потоками струились дружеское участие и помощь, мир и уверенность.

Кристин была взволнована, на душе у нее было тяжело, и потому ее немного утомляло, когда Симон говорил о своих личных делах, об усадьбе, о детях. Она сама понимала, что это нехорошо: Симон желал ей помочь по мере всех своих сил и возможностей, она видела, как благородно с его стороны уезжать из дому на праздники и от жены, когда она в положении… Наверное, он много думает о том, родится ли у него теперь сын, – ведь у него всего один ребенок от Рам-

борг, хотя вот уже скоро будет шесть лет, как они женаты. Трудно было бы ожидать, что Симон настолько близко примет к сердцу ее и Эрленда несчастье, чтобы совершенно забыть всякую радость от того, как благоприятно сложилась его собственная жизнь; но в то же время странно было ходить вместе с ним здесь, где он дома и где, казалось, ему так радостно, так уютно, так спокойно.

Невольно Кристин подумала о том, что Ульвхильд, дочь Симона, должна была бы походить на ее собственную маленькую сестричку, в честь которой она названа, и быть белокурой, хрупкой и ясной. Но маленькая дочь Симона была кругленькой и пухлой; у нее были щечки – как яблочки, а ротик – как алая ягодка, быстрые серые глазки, похожие на отцовские в молодости, и его же красивые темно-русые кудрявые волосы. Симон ужасно любил этого милого, живого ребенка и гордился ее смышленой болтовней.

– Хотя эта девица такая противная, скверная и безобразная, – сказал он, схватив девочку обеими руками за грудку и вертя ее из стороны в сторону и высоко поднимая на воздух, – я думаю, что это подмененное дитя и в колыбель его подложили твоей матери и мне здешние горные тролли! Такой это безобразный и ужасный ребенок! – А потом разом поставил девочку на пол и трижды торопливо перекрестил ее, словно испугавшись своих собственных неосторожных слов.

Его побочная дочь Арньерд была некрасивой, но у нее был

добрый и умненький вид, и отец вывозил ее с собой каждый раз, как к этому представлялась возможность. Он не переставал хвалить ее способности. Кристин должна была заглянуть в сундук Арньерд и посмотреть на все, что сама девочка уже успела напрясть, наткать и нашить для своего приданого.

– Тот час, когда я вложу руку вот этой моей дочери в руку какого-нибудь хорошего, достойного жениха, – сказал Симон, долго глядя вслед девочке, – будет одним из самых радостных часов, что я когда-либо переживал.

Ради уменьшения расходов и чтоб можно было ехать быстрее, Кристин не хотела брать с собой служанок и никого из слуг, кроме Ульва, сына Халдора. За две недели до Рождества Кристин с Ульвом выехали из Формо в сопровождении Симона, сына Андреса и его двух молодых расторопных слуг.

Когда они прибыли в Осло, Симон тотчас же узнал, что король не приедет в Норвегию, – он пожелал праздновать Рождество в Стокгольме. Эрленд сидит в замке на Акерснесе; начальник замка уехал куда-то, так что пока не было возможности ни для кого из них повидать узника. Но помощник посадника Улав Кюрнинг обещал дать Эрленду знать, что они в городе. Улав обошелся очень дружески с Симоном и Кристин – его брат был женат на Рамборг, дочери Осмюнда из Скуга, так что он считался дальним родственником дочерям Лавранса.

Кетиль из Скуга приехал в город и пригласил Кристин и

Симона отпраздновать Рождество у него в усадьбе, но Кристин не хотела кутить на праздниках, когда Эрленд в таком положении. А тогда и Симон не пожелал ехать, хотя Кристин очень его уговаривала; Симон и Кетиль были немного знакомы, но Кристин видела своего двоюродного брата всего один раз с тех пор, как тот вырос.

Кристин и Симон поселились в том самом дворе, где она когда-то гостила у его родителей в те дни, когда они были обручены, но жили они теперь в другом доме. В горнице было две кровати: в одной спала Кристин, в другой – Симон с Ульвом; слуги ночевали на конюшне.

В ночь на Рождество Кристин захотелось пойти ко всенощной с обедней в церковь Ноннесетерского монастыря, – «Потому что монахини так хорошо поют», – сказала она. Все пятеро отправились туда. Ночь была звездная, мягкая и прекрасная; под вечер прошел снежок, так что было довольно светло. Когда в церквах начался перезвон колоколов, народ хлынул потоком из всех дворов, и Симону пришлось вести Кристин за руку. По временам он украдкой посматривал на нее. Она очень исхудала этой осенью, но зато ее высокая, стройная фигура как бы опять приобрела нечто от мягкой и тихой прелести молодой девушки. На бледном лице снова появилось спокойное, кроткое выражение, какое бывало у нее в юности, прикрывавшее глубокое и тайное, чутко настороженное волнение. У нее появилось странное сходство с прежней, юной Кристин, какой она была в пору того Рож-

дества, много лет тому назад… Симон стиснул ее руку и не замечал, что он делает, пока Кристин не сжала ему пальцев в ответ. Симон взглянул на нее – она улыбнулась и кивнула ему головой, и он понял: она приняла его рукопожатие за ободрение, – не надо, мол, падать духом! И постаралась показать ему, что нет, она не падает духом.

Когда праздники миновали, Кристин отправилась в женский монастырь и попросила разрешения передать аббатисе и тем сестрам, которые еще жили там с ее времени, почтительный привет. Ее провели ненадолго в приемную аббатисы. Потом она прошла в церковь. Она поняла, что внутри монастырских стен ей нечего делать. Сестры встретили ее дружелюбно, но она видела, что для них она была лишь одной из многих молодых девушек, пробывших здесь год в обучении, – если они и слышали какие-нибудь разговоры о том, что она чем-то отличалась от других молодых дочерей, и притом не в лучшую сторону, то, во всяком случае, ничем не обнаружили этого. Но проведенный ею здесь, в этом монастыре, год, занимавший такое огромное место в ее жизни, для монастыря значил так мало. Ее отец купил для себя и своих долю в молитвах монастыря; новая аббатиса фру Элин и сестры сказали, что будут молиться за избавление ее мужа и ее самой. Но она поняла, что не имеет права навязываться им и беспокоить людей своими посещениями. Церковь их была ей открыта, как всем людям; ей можно было стоять в северном притворе, слушать пение чистых женских

голосов на хорах, окидывать взором знакомое помещение, алтари и картины, а когда сестры покинут церковь, выйдя через дверь, ведущую на монастырский двор, ей можно было подойти и преклонить колено у могильного камня фру Груа, дочери Гютторма, вспомнить умную, властную, достойную мать, чьих советов она не поняла и не оценила, – других прав у ней не было в этом доме служанок Христовых.

В конце праздников к ней явился господин Мюнан – он только сейчас узнал, что она находится в городе, так он сказал. Он сердечно поздоровался с ней, с Симоном, сыном Андреса, и с Ульвом, которого то и дело называл своим родичем и дорогим другом. Им будет трудно повидать Эрленда, высказал он свое мнение, его строго охраняют, – самому Мюнану тоже не удалось добиться доступа к своему двоюродному брату. Но Ульв сказал со смехом, когда рыцарь уехал, что ему не верится, чтобы Мюнан столь уж настойчиво добивался разрешения, – он так смертельно боится, как бы его не запутали, что едва смеет слушать, когда говорят об этом деле. Мюнан сильно постарел, очень полысел и похудел, кожа просто висела складками на его дородном теле. Он жил в Скугхейме, и с ним была одна из его побочных дочерей, оставшаяся вдовой. Отец охотно расстался бы с ней, а то никто из других его детей, ни законных, ни побочных, не желал приезжать к нему, пока эта их сводная сестра правит домом. Это была властная, жадная до денег и резкая на язык женщина. Но Мюнан не смел попросить ее о выезде.

Наконец, уже в начале нового года, Улав Кюрнинг добился для Симона и жены Эрленда разрешения на свидание с узником. Так опять на долю Симона выпало провожать скорбную женщину на эти душераздирающие свидания. Здесь следили гораздо строже, чем в Нидаросе, чтобы Эрленд не мог ни с кем разговаривать иначе, как в присутствии кого-нибудь из людей начальника замка.

Эрленд был по-прежнему спокоен, но Симон понимал, что такое состояние уже начинает сказываться на нем. Он никогда не жаловался и говорил, что не страдает от дурного обращения, свободно получает все, что только может быть ему предоставлено, но признал, что его довольно сильно мучит холод: в помещении не было очага. И кроме того, было мало пользы от его стараний содержать себя в чистоте, – хотя если бы ему не приходилось сражаться со вшами, то время тянулось бы здесь еще дольше, смеялся он.

Кристин была тоже спокойна – так спокойна, что Симон, затаив от страха дыхание, ждал того дня, когда она вдруг сломится.

Король Магнус совершал торжественную поездку по Швеции, и не было никаких видов на то, чтобы он вскоре прибыл к границе страны или чтобы произошло какое-нибудь изменение положении Эрленда в ближайшем будущем.

* * *

В день святого Григория Кристин и Ульв, сын Халдора, были в Ноннесетерской церкви. Когда на обратном пути они перешли по мостику, перекинутому через монастырский ручей, Кристин свернула не на дорогу к дому, который находился около епископского двора, а на восток, к улице у церкви святого Клемента, и углубилась в узкие переулочки между церковью и рекой.

День был промозглый и пасмурный, все это время стояла мягкая погода, поэтому их обувь и полы плащей промокли и отяжелели от. желтой глины там, у реки. Они вышли на пахотные земли к высокому речному берегу. Раз как-то их взгляды встретились. Ульв тихо рассмеялся, скривил рот в подобие гримасы, но его глаза были полны печали; Кристин улыбнулась странной болезненной улыбкой.

Вскоре они оказались у обрыва: глина когда-то сползла здесь, и дом стоял прямо внизу, так тесно прижавшись к грязно-желтому откосу, где скудно росла почерневшая, хилая сорная трава, что вонь из свиного хлева, видневшегося под ногами, ударила им прямо в нос; две жирные свиньи бродили, копаясь в темной грязи. Речной берег здесь был узкой полоской; серый и грязный поток реки с шуршащими посреди него льдинами бежал у самого подножия развалившихся домишек с выцветшими соломенными крышами.

Покуда они стояли так, к загородке хлева подошли какие-то мужчина и женщина и начали разглядывать свиней; мужчина перегнулся через загородку и почесал одну из маток концом длинной рукоятки отделанного серебром топорика, которым пользовался вместо палки. Это был сам Мюнан, сын Борда, а женщина – Брюнхильд Муха. Он взглянул наверх, заметил их и замер на месте, разинув рот, а Кристин весело окликнула его, здороваясь с ним.

– Спускайтесь-ка сюда и выпейте горячего пива, – это полезно в такую паршивую погоду! – закричал он им наверх.

По дороге вниз к воротам Ульв рассказал, что Брюнхильд, дочь Иона, больше не содержит ни дома для приезжих, ни распивочной. Несколько раз она попадала в беду, и наконец ей пригрозили, что с нее сдерут шкуру, но Мюнан спас ее и дал за нее поручительство, что она навсегда прекратит свой незаконный промысел. К тому же ее сыновья занимают сейчас такое положение, что матери ради них приходится думать о том, как бы ей избавиться от дурной славы. После смерти своей жены Мюнан, сын Борда, опять связался с ней и вечно торчит в доме Мухи.

Мюнан встретил их у калитки.

– Ведь мы же все четверо родственники… в некотором роде, – захихикал он. Он был немного навеселе, но не очень. – Ты хорошая женщина, Кристин, дочь Лавранса, благочестивая и не высокомерная… И Брюнхильд теперь почтенная, честная женщина… А я был еще неженатым человеком, ко-

гда прижил с нею наших двух сыновей… И они самые лучшие из всех моих детей… Ведь это же я твержу тебе, Брюнхильд, ежедневно все эти годы. Инге и Гюдлейка я люблю больше всех своих детей…

Брюнхильд была еще красива, но лицо у нее было бледно-желтого цвета, и выглядела она так, словно ее кожа была липкой на ощупь, – Кристин подумала: так бывает, когда целый день стоишь над котлами с жиром. Но горница у нее была отлично прибрана, еда и питье, которые она подала на стол, замечательны, а посуда чиста и красива.

– Да, я иногда заглядываю сюда, когда у меня бывают дела в Осло, – сказал Мюнан. – Понимаешь, ведь матери хочется узнать новости о сыновьях! Инге пишет мне время от времени, потому что он ученый человек, мой Инге, как и подобает быть епископскому чиновнику, вот что! Я раздобыл ему прекрасную невесту, Туру, дочь Бьярне из Грьюте. Ты думаешь, многим удалось бы получить такую жену для своего побочного сына? И вот мы сидим здесь да болтаем об этом, а Брюнхильд подает мне еду и пиво, как в прежние времена, когда она носила при себе мои ключи в Скугхейме. Тяжко мне сидеть теперь там и вспоминать о своей покойной супруге… Вот я и езжу сюда, чтобы хоть немного развлечься… когда Брюнхильд бывает в таком настроении, чтобы уделить мне малость дружбы и уюта.

Ульв, сын Халдора, сидел, подперев подбородок рукой, и глядел на хозяйку Хюсабю. Кристин слушала и отвечала ти-

хо, ласково и вежливо, – столь же спокойно и учтиво, как если бы она была в гостях в доме кого-нибудь из знатных людей там у них, в Трондхеймской области.

– Да! Ты, Кристин, дочь Лавранса, получила имя супруги и с ним почести, – сказала Брюнхильд Муха, – хоть по собственному своему желанию ходила ты к Эрленду на свидания ко мне в светелку. А меня вечно называли сукой и шлюхой – моя мачеха продала меня в руки вот ему!.. Я кусалась и царапалась, и знаки от каждого моего ногтя остались у него на лице, прежде чем ему удалось добиться своего…

– Ну, ты опять завела разговор об этом! – захныкал Мюнан. – Ты же знаешь… Я же говорил это тебе так часто… Я отпустил бы тебя идти с миром, если бы ты вела себя по-человечески и попросила пощадить тебя; но ты бросилась мне в глаза, словно дикая кошка, не успел я войти в дверь.

Ульв, сын Халдора, тихо рассмеялся про себя.

– И я после этого всегда хорошо с тобой обращался, – сказал Мюнан. – Ты получала все – стоило тебе только указать пальцем… А дети наши… Да они сейчас в лучшем и более обеспеченном положении, чем бедные сыновья Кристин… Да хранит Господь Бог бедняжек – подумать, что Эрленд устроил для своих детей! Я считаю, это должно быть гораздо важнее для материнского сердца, чем имя супруги… И ты знаешь, я не раз желал, чтобы ты была знатного происхождения, тогда я мог бы законно жениться па тебе… Ни одна женщина мне так не нравилась, как ты… хоть ты и ред-

ко бывала добра и ласкова со мной… А ту супругу, которую я получил, да вознаградит ее Господь! Я заказал поставить алтарь в нашей церкви, Кристин, за мою Катрин и за себя самого… и благодарил Господа Бога и Богородицу каждый день за свой брак, – ни у кого из мужчин не было лучшей жены… – Он захныкал и засопел носом.

Немного погодя Ульв сказал, что им пора идти. Они с Кристин не обменялись ни единым словом на обратном пути. Но уже стоя перед дверью в горницу, Кристин протянула ему руку:

– Ульв… Мой родич и друг мой!

– Если бы это могло помочь, – тихо сказал он, – я охотно пошел бы на виселицу вместо Эрленда… ради него и ради тебя!

* * *

Вечером, незадолго до того как ложиться спать, Кристин сидела в горнице одна с Симоном. И вдруг неожиданно принялась рассказывать, где она побывала в этот день. И передала ему разговор у Мухи.

Симон сидел на табуретке недалеко от Кристин. Немного наклонившись вперед, положив локти на колени и свесив руки, он сидел, глядя на нее со странным пытливым выражением в маленьких острых глазках. Он не произнес ни слова, и ни один мускул не шевельнулся па его тяжелом, крупном

лице.

Тогда Кристин упомянула, что она рассказала про это своему отцу и что тот сказал…

Симон сидел все так же недвижимо. Но через некоторое время сказал спокойно:

– Это единственное, о чем я просил тебя за все те годы, что мы с тобой знакомы… если я припоминаю верно… что ты должна… Но раз уж ты не смогла умолчать об этом, чтобы пощадить Лавранса, так что же тогда…

Кристин задрожала всем телом:

– Да. Но… Ах, Эрленд, Эрленд, Эрленд! Услышав этот дикий крик, Симон вскочил на ноги… Кристин перегнулась вперед и, обхватив голову руками, качалась из стороны в сторону, продолжая громко звать Эрленда в промежутках между трепетными, жалобными рыданиями, которые, казалось, рвались из ее тела, наполняли ее горло плачем, вскипали и били через край.

– Кристин!.. Ради бога!

Когда он схватил ее за плечи, пытаясь успокоить, она бросилась к нему всей тяжестью своего тела, прижалась к нему, обняла его за шею, а сама все продолжала выкрикивать с плачем имя своего мужа.

– Кристин!.. Приди в себя!.. – Он стиснул ее в своих объятиях и понял, что она этого не замечает; она рыдала так, что не могла стоять на ногах. Тогда он поднял ее на руки… на мгновение прижал к себе, потом отнес к кровати и положил

на постель.

– Приди в себя! – взмолился он опять, задыхаясь и почти угрожая… Положил руки ей на лицо, а она хватала его за руки, прижималась к нему.

– Симон… Симон… Ах, его надо спасти!

– Я делаю что могу, Кристин… Ну, приди же в себя! – Он круто повернулся, направился к двери и вышел во двор. Крикнул служанку так, что зазвенело среди домов, ее Кристин наняла здесь, в Осло. Девушка примчалась бегом, и Симон велел ей идти к хозяйке. Служанка сейчас же вернулась. «Хозяйка хочет быть одна», – сказала она испуганно Симону, который все стоял на том же месте.

Он кивнул головой и пошел на конюшню, где и оставался, пока его слуга Гюннар и Ульв, сын Халдора, не пришли задавать коням корму на ночь. Симон вступил с ними в беседу и потом вернулся в горницу вместе с Ульвом.

* * *

На следующий день Кристин почти не видела своего зятя. Но под вечер, когда она сидела за шитьем какой-то одежды, которую хотела снести мужу, Симон вбежал второпях в горницу, ничего не сказал Кристин и не взглянул на нее, быстро открыл свой дорожный ларец, наполнил вином серебряный кубок и опять выбежал вон. Кристин встала и пошла за ним. Перед крыльцом стоял незнакомый человек, еще державший

в поводу лошадь… Симон снял с пальца золотой перстень, бросил в кубок и пригласил прибывшего выпить.

Кристин поняла, что случилось, и радостно воскликнула:

– У тебя родился сын, Симон!

– Да.

Он похлопал гонца по плечу, когда тот, рассыпаясь в благодарностях, стал прятать в пояс кубок и перстень. Потом схватил за талию свояченицу и покрутил ее в воздухе. У него был такой радостный вид, что Кристин невольно положила ему на плечи руки… Тогда Симон поцеловал ее прямо в губы и громко захохотал.

– Значит, после твоей смерти, Симон, в Формо все-таки будет сидеть род Дарре! – сказала она радостно.

– Будет!.. Если Господь пожелает!.. Нет, сегодня вечером я пойду один, – сказал он, когда Кристин, спросила его, пойдет ли он с ней в церковь ко всенощной.

Вечером он сказал Кристин, что ему передавали, будто Эрлинг, сын Видкюна, сейчас у себя, в своей усадьбе Акер, около Тюнсберга. И Симон сегодня днем сторговал себе проезд на одном корабле, идущем на юг из фьорда, – ему хочется поговорить с господином Эрлингом о деле Эрленда.

Кристин почти ничего не сказала. Они уже касались этого вопроса мельком раньше, но воздержались от его более подробного обсуждения: знал ли господин Эрлинг о замыслах Эрленда или нет? Симон сказал, что он спросит совета у Эрлинга, сына Видкюна, что тот думает о клане Кристин, чтобы

Симон отвез ее к влиятельным родичам Лавранса в Швеции – посчитаться с ними родством и потребовать от них родственной помощи.

Тогда Кристин сказала:

– Но теперь, когда ты получил такое важное известие, зять, то, как мне кажется, будет самое лучшее, если ты отложишь эту поездку и Акер… И съездишь сперва в Рингхейм – поглядеть на Рамборг и на сына своего.

Ему пришлось отвернуться – такую он почувствовал слабость. Он так ждал этого – не подаст ли Кристин какого-нибудь знака, что она понимает, как он страстно стремится повидать своего сына. Но, немного справившись со своим волнением, он сказал смущенным голосом:

– Я думал об этом, Кристин!.. Быть может, Господь Бог дарует мальчику больше преуспеяния, если я буду терпелив и подавлю свое стремление повидать его, пока мне не удастся немного помочь Эрленду и тебе в этом деле.

День спустя он пошел в город и накупил дорогих и богатых подарков для жены и мальчика, а также и для всех женщин, бывших с Рамборг, когда та рожала. Кристин достала красивую серебряную ложку, которая ей досталась от матери, – она предназначалась для маленького Андреса, сына Симона, а сестре своей она послала тяжелую позолоченную серебряную цепь, полученную ею когда-то в детстве от Лавранса вместе с крестом и частицей мощей. Крест она теперь прицепила на цепочку, которую ей подарил Эрленд в числе

других свадебных подарков. На следующий день около полудня Симон отплыл.

К вечеру корабль остановился у какого-то острова среди фьорда. Симон остался на палубе, лежал в меховом мешке, накрытом несколькими кусками сермяги, и смотрел в ночное небо, где созвездия, казалось, качались и ныряли, когда судно колыхалось на сонно скользивших волнах. Вода поплескивала, а льдины терлись и стукались о борт корабля. Было почти приятно чувствовать, как холод прокрадывается все дальше и дальше в самую глубину тела. Это успокаивало…

…И все же он теперь уверен: так плохо, как было, никогда уже больше не может быть. Теперь, когда у него есть сын. Не то чтобы он думал, что сможет полюбить этого мальчика больше, чем дочерей. Но тут было что-то другое. Как ни радуют его до глубины души его маленькие девочки, когда они жмутся к отцу со своими играми, смехом и болтовней, как ни приятно и весело чувствовать их у себя на коленях, ощущать нежные детские волосики под своим подбородком, все же человек не составит таким путем звена в цепи мужчин своего рода, если его двор, и имущество, и память о его делах на белом свете перейдут с рукой его дочери в чужой род. Но теперь, если, как он смеет надеяться, Господь Бог позволит этому крохотному мальчонке вырасти, в Формо сын будет сменять отца: Андрес, сын Гюдмюнда, потом Симон, сын Андреса, затем Андрес, сын Симона… Тогда само собой разумеется, что он, Симон, должен будет стать для своего сына

Андреса тем же, чем его отец был для него самого, – прямым и честным человеком как в своих тайных помыслах, так и в своих явных делах.

…Иногда бывало так, что просто непонятно, как он может еще выдерживать! Добро бы он видел хоть один знак, что она что-нибудь понимает. Но она держится с ним так, словно они с ней кровные родственники: полна забот о его благе, добра, ласкова и мила… И он не знает, как долго это будет продолжаться – что они будут жить вот так вместе, в одном доме. Неужели же она никогда не думала о том, что он не может забыть?.. Потому лишь, что он теперь женат на ее сестре, не может же он совершенно позабыть, что они с нею когда-то намеревались жить вместе как супруги…

Но теперь у него родился сын. Он всегда стеснялся прибавлять что-либо от себя, своими собственными словами, будь то желание или благодарность, когда он читал молитвы. Но Христос и дева Мария, конечно, прекрасно знали, что у него было на уме, когда он за последнее время ежедневно читал вдвое больше положенных молитв. И будет продолжать это делать до тех пор, пока не вернется домой. И покажет свою благодарность еще как-нибудь, достойно и щедро. Быть может, этим обретет себе помощь и в нынешнем своем путешествии.

Собственно говоря, сам он считал, что довольно трудно ожидать пользы от этой поездки. Между господином Эрлингом и королем отношения теперь совершенно охладели. И

как бы ни был могуществен и независим бывший правитель государства и как бы мало ему ни приходилось бояться юного короля, который находился в гораздо более стесненном положении, чем самый богатый и самый знатный в Норвегии человек, все же нельзя было ожидать, что он захочет еще больше восстановить короля Магнуса против себя, начав разговор о деле Эрленда, сына Никулауса, и навлекая на себя подозрение в том, что он знал об изменнических замыслах Эрленда. Но даже если он и принимал в них участие, даже если он и стоял за всем этим предприятием, готовый вмешаться и дать себя поставить во главе правления страной, как только у нее опять будет несовершеннолетний король, то едва ли он чувствует себя обязанным рисковать чем-либо ради помощи человеку, посадившему все дело на мель из-за постыдного любовного приключения. Симон словно наполовину забывал об этом, когда бывал вместе с Эрлендом и Кристин, ибо те, казалось, едва ли об этом помнили. Но ведь действительно сам Эрленд тому виной, что из всего замысла не вышло ровно ничего, кроме несчастья для него самого и для добрых людей, погубленных его безумным легкомыслием.

И все же нужно испробовать все способы, чтобы помочь ей и ее мужу. И у него явилась теперь надежда: быть может, Господь Бог и дева Мария или кто-нибудь из святых, которым он обычно оказывает уважение жертвами и милостыней, поддержат его и в этом.

Он прибыл в Акер довольно поздно на следующий вечер. Его встретил домоуправитель; он послал слуг – одних с лошадьми, других – со слугой Симона в людскую, а сам направился в светличку стабюра, где рыцарь сидел за столом с напитками. Сейчас же сам господин Эрлинг вышел на галерею и стоял там, пока Симон не поднялся по лестнице. Тогда он довольно приветливо поздоровался с гостем, поздравил его с приездом и повел в светличку, где уже сидели Стиг, сын Хокона, из Мандвика, и еще один совсем молодой человек – это был единственный сын Эрлинга, Бьярне.

Симона приняли довольно радушно; слуги сняли с него верхнее платье и внесли еду и питье. Но он понял, что они догадались, – во всяком случае, господин Эрлинг и Стиг, – зачем он приехал, и почувствовал, что они ведут себя сдержанно. И потому, когда Стиг завел разговор о том, что Симона редко бывает видно в этой части страны, – нельзя сказать, чтобы он истер дверные косяки у своих прежних свояков; да бывал ли он когда южнее Дюфрина после смерти Халфрид? – Симон отвечал: нет, не бывал до этой зимы. Но теперь он живет уже несколько месяцев в Осло, и с ним сестра его жены, Кристин, дочь Лавранса, что замужем за Эрлендом, сыном Никулауса.

На это никто ничего не сказал, и воцарилось ненадолго молчание. Затем господин Эрлинг вежливо справился о здоровье Кристин, супруги, братьев и сестер Симона, а Симон спросил о фру Элин, о дочерях Эрлинга к о том, как живется

Стигу и что нового в Мандвике и у старых его соседей.

Стиг, сын Хокона, был дородным темноволосым человеком, на несколько лет старше Симона. Он был сыном дяди Халфрид, дочери Эрлинга, – господина Хокона, сына Туре, и племянником жены Эрлинга, сына Видкюна, – фру Элин, дочери Туре. Он потерял воеводство в Скидане и начальство над замком в Тюнсберге года два тому назад, когда он поссорился с королем, однако, в общем, был довольно обеспечен, живя у себя в Мандвике; но был он бездетен и вдов. Симон знал его хорошо и был с ним в дружеских отношениях, как и со всеми родственниками своей первой жены, хоть эта дружба и не была чересчур уж горячей. Симон отлично знал, что все они думали о втором браке Халфрид: младший сын Андреса, сына Гюдмюнда, мог быть и человеком состоятельным и хорошего рода, но для брака все же он был неровней Халфрид, дочери Эрлинга, и кроме того – младше ее на десять лет; они не могли понять, почему она остановила свой выбор на этом молодом человеке, но ей не препятствовали делать все, что она хочет, потому что с первым мужем ей было так невыносимо тяжело.

С Эрлингом, сыном Видкюна, Симон встречался раньше раза два, и тот бывал каждый раз в сопровождении фру Элин, а в таких случаях он никогда и рта не раскрывал: никому не удавалось ничего сказать, кроме «да» и «ага», когда она бывала в горнице. Господин Эрлинг немало постарел с того времени, несколько потучнел, но все еще был красив

и виден собой, потому что держался необычайно изящно, и ему очень шло, что его белесые, желто-рыжие волосы, стали теперь серебристо-седыми и блестящими.

Юного Бьярне, сына Эрлинга, Симон никогда раньше не видал. Тот воспитывался вблизи Бьергпина, в доме одного духовного лица, друга Эрлинга; среди родственников ходили слухи, что отец, распорядился так, не желая, чтобы мальчик рос в Гиске, среди всех этих взбалмошные баб. Сам Эрлинг бывал у себя дома не дольше, чем было необходимо, а возить мальчика с собой во время своих постоянных разъездов он не решался:

Бьярне, когда подрастал, был очень слабого здоровья, а Эрлинг, сын Видкюна, потерял двух других сыновей, когда те были еще маленькими.

Мальчик казался необычайно красивым, когда сидел спиной к свету, повернувшись лицом в профиль. Черные густые локоны ниспадали на лоб, большие глаза казались черными, крупный нос был красиво изогнут, губы твердые, полные, тонко очерченные, и прекрасно вылепленный подбородок. К тому же он был высок ростом, широкоплеч и строен. Но вот Симона пригласили сесть за стол и откушать, слуга переставил свечу, и Симон увидел, что шея у Бьярне совершенно изъедена рубцами от золотухи; они шли по обеим сторонам вплоть до самых ушей и уходили под подбородок – такие мертвенные, блестяще-белые пятна на коже, сизо-багровые полосы и вздувшиеся узлы. И, кроме того, у Бьярне, кото-

рый даже здесь, в горнице, сидел в круглой, обшитой мехом бархатной пелерине с капюшоном, была привычка то и дело вдруг подтягивать капюшон на полголовы до ушей. Вскоре ему, видимо, делалось жарко, и он опускал его, а потом опять подтягивал, казалось, и сам не замечая, что он делает. В конце концов Симон, из-за того, что глядел на это, и сам уже просто не знал, куда ему девать руки, хотя и старался туда не смотреть.

Господин Эрлинг почти не отводил глаз от сына, но, казалось, тоже не замечал, что он так неотступно глядит на мальчика. Лицо у господина Эрлинга было не очень подвижным, и в его бледно-голубых глазах не было никакого особенного выражения, но под немного смутным и водянистым взглядом, казалось, таились многолетние заботы, думы и любовь – глубоко-глубоко, на самом дне.

И вот трое пожилых людей беседовали между собой вежливо и неторопливо, пока Симон ел, – юноша все теребил капюшон своей пелерины. Потом все четверо сидели и пили, сколько требовало благоприличие, а затем господин Эрлинг спросил, не устал ли Симон с дороги, и Стиг пригласил его соблаговолить переночевать с ним. Симон был рад, что он может отложить разговор о своем деле. Этот первый вечер в Акере подействовал на него довольно угнетающе.

На следующий день, когда он приступил к разговору, господин Эрлинг ответил ему приблизительно так, как Симон и ожидал. Эрлинг сказал, что король Магнус вообще никогда

не внимал его словам благожелательно, но что он, Эрлинг, понял: с того часа, как Магнус, сын Эйрика, стал настолько взрослым, чтобы делать для себя какие-либо выводы, он решил, что Эрлинг, сын Видкюна, не должен будет иметь при кем никакого значения, как только он, король, достигнет совершеннолетия. А с тех пор как ссора между ним и его друзьями, с одной стороны, и королем – с другой, была улажена, он, Эрлинг, ничего больше и не слышал и не ведал о короле и королевских друзьях. И если он заговорит с королем Магнусом о деле Эрленда, то едва ли это принесет тому большую пользу. Ему хорошо известно, что многие здесь, в Норвегии, считают, что он тем или иным образом поддерживал Эрленда, Симон может ему верить или не верить, но ни он, ни его друзья ничего не знали о том, что замышлялось. Вот если бы это дело было обнаружено как-нибудь иначе или если бы эти отчаянные, жаждущие приключений молодые люди довели до конца свой дерзкий замысел и тогда потерпели неудачу, то он, Эрлинг. выступил бы вперед и попытался бы посредничать. Но при том, как все произошло, ему кажется, что никто по справедливости не может требовать, чтобы он поднял свой голос и тем укрепил подозрения, что он вел двойную игру.

Однако он посоветовал Симону обратиться к сыновьям Хафтура. Они двоюродные братья короля и когда не находятся с ним в прямой вражде, то поддерживают некое подобие дружбы. И, насколько Эрлинг может судить, людей, ко-

торых покрывает Эрленд, скорее всего можно найти среди сторонников сыновей Хафтура – и среди самых молодых из знати.

Но дело ведь в том, что летом здесь, в Норвегии, состоится бракосочетание короля. Тогда королю Магнусу представится подходящий случай проявить снисхождение и мягкость к своим врагам. А на празднества, разумеется, прибудут мать короля и фру Исабель. Ведь мать Симона была в молодости приближенной девушкой при королеве Исабель. Пусть Симон обратится к фру Исабель или же пусть супруга Эрленда падет к ногам королевской невесты и фру Ингебьёрг, дочери Хокона, и молит их о заступничестве.

Симон подумал, – пусть уж это будет самым последним средством, чтобы Кристин преклоняла колена перед фру Ингебьёрг! Если бы герцогиня понимала, что такое честь, она, конечно, уже давным-давно выступила бы вперед и выручила Эрленда из беды. Но когда он как-то упомянул об этом Эрленду, тот только засмеялся и сказал: «У этой дамы всегда столько дел и затруднений, да к тому же она, наверное, гневается, потому что теперь маловероятно, чтобы ее любимое детище когда-либо получило королевское звание».

# VII

Лишь весной Симон, сын Андреса, поехал в Тутен,[53] чтобы захватить там свою жену и новорожденного сына и отвезти их домой в Формо. Он остался там на некоторое время, чтобы немного заняться своими собственными делами.

Кристин не хотела уезжать из Осло. И не смела предаться томительной, щемящей тоске о своих трех сыновьях, живших там, в долине. Если ей предстоит и дальше выносить жизнь, какую она теперь ведет изо дня в день, то нельзя вспоминать о детях. Она держалась, она казалась спокойной и мужественной, она разговаривала с чужими людьми и слушала чужих людей, внимая их советам и словам утешения, но для этого должна была крепко цепляться за мысль об Эрленде – только об Эрленде! В отдельные короткие промежутки, когда она не сдерживала своих мыслей в твердых руках воли, в памяти ее мелькали разные образы и думы; вот Ивар стоит в дровяном сарае в Форме вместе с Симоном и с волнением ждет, пока дядя выберет для него брусок, и Симон гнет и пробует руками брусья. Светлое мальчишеское лицо Гэуте, мужественно-решительное, когда он, наклонившись вперед, боролся со снежной бурей в тот серый зимний день в горах нынче осенью – вдруг лыжа его соскользнула вниз на

---

[53] *Тутен – местность к юго-западу от озера Мьесен, восточнее Осло, где была расположена усадьба Рингхейм.*

крутом подъеме, он покатился за ней и завяз в глубоком сугробе, – на мгновение лицо его дрогнуло – это был переутомившийся, беспомощный ребенок. Мысли бежали дальше, к двум младшим: Мюнан теперь, наверное, уже ходит и немного говорит, – такой же ли он красавчик, каким бывали другие в этом возрасте? Лавранс, конечно, позабыл ее. А большие мальчики, живущие в монастыре в Тэутре… Ноккве, Ноккве, ее первенец! Что понимают и что думают эти двое старших? А Ноккве, ведь у него такая детская душа, – как он переносит мысль, что теперь, вероятно, ничто в жизни не сложится для него так, как думали его мать, и сам он, да и все люди?

Отец Эйлив прислал Кристин письмо, и она передала Эрленду то, что было написано там об их сыновьях. Вообще же они никогда не упоминали о детях. Теперь они больше не разговаривали ни о прошлом, ни о будущем. Кристин приносила мужу что-нибудь из одежды или какое-нибудь кушанье, он расспрашивал, как она себя чувствовала со, времени их последнего свидания; они сидели, держась за руки, на его кровати. Иногда случалось так, что на мгновение они оставались одни в маленькой, холодной, грязной, вонючей камере и сжимали друг друга в объятиях, в немой, жгучей ласке, слыша, но не замечая того, как служанка Кристин хохочет за дверьми на лестнице со стражниками.

Еще будет время, – отнимут ли у нее Эрленда или же возвратят его ей, – подумать о всей этой ораве детей и об их

изменившейся судьбе… обо всем другом в ее жизни, кроме мужа. Ей нельзя терять ни единого часа из того времени, что им можно быть вместе, и не смеет она думать о свидании с четырьмя детьми, оставшимися там, на севере. Поэтому Кристин согласилась, когда Симон Дарре предложил ей, что он один съездит в Трондхейм и, совместно с Арне, сыном Яввалда, примет на себя охрану ее собственности при отобрании имения в казну. Не многим богаче станет король Магнус от имущества Эрленда: тот задолжал гораздо больше, чем представлял себе сам, да еще собрал деньги и послал их в Данию, Шотландию и Англию. Эрленд пожал плечами и сказал с усмешкой, что уж за них-то он не ждет никакого возмещения.

Итак, дело Эрленда оставалось почти все в том же положении, когда Симон Дарре вернулся в Осло осенью, около Воздвижения. Но он пришел в ужас, увидав, как измучены и как исстрадались оба, и Кристин и его свояк, и ему стало до странности больно и тошно на сердце оттого, что они оба еще настолько владели собой, что сочли нужным поблагодарить его за приезд сюда в такое время года, когда столько дел в усадьбе и когда все валом повалили в Тюнсберг, где жил в ожидании своей невесты король Магнус.

Немного позднее, в середине месяца, Симон сторговал себе проезд туда на корабле – с какими-то купцами, собиравшимися отплыть через неделю. Как вдруг однажды утром явился чужой слуга и попросил Симона соблаговолить от-

правиться сейчас же в церковь святого Халварда – Улав Кюрнинг ждет его там.

Помощник посадника был в сильном возбуждении. Он ведал замком, пока посадник находился в Тюнсберге. Накануне вечером к нему явились какие-то господа, предъявившие грамоту за печатью короля Магнуса о том, что им поручается расследование по делу Эрленда, сына Никулауса, и он, Улав, вывел к ним заключенного. Все трое были иноземцами, видно, французами, – Улав не понимал их языка, но королевский капеллан говорил с ними сегодня утром по-латыни, – якобы это родичи той девицы, которая будет нашей королевой, – многообещающее начало! Они подвергли Эрленда допросу с пристрастием – принесли с собой нечто вроде лесенки и привели нескольких парней, умеющих пускать в ход такие вещи. Сегодня Улав отказался вывести Эрленда из камеры и поставил сильную охрану, – ответственность он принимает на себя, ибо это же незаконно, – неслыханное в Норвегии дело!

Симон занял лошадь у одного из священников церкви и сейчас же поскакал вместе с Улавом в Акерснес.

Улав Кюрнинг поглядывал довольно боязливо на своего спутника – тот ехал, стиснув челюсти, и но лицу его пробегали вспышки густого румянца. По временам Симон делал яростное и необузданное движение, совершенно не замечая этого сам, – и чужой конь шарахался в сторону, взвивался на дыбы и не слушался поводьев под таким всадником.

– Вижу по вам, Симон, что вы разгневаны! – сказал Улав Кюрнинг.

Симон и сам не знал, какое чувство преобладает в его душе. Он был так взволнован, что по временам его прямо тошнило. То слепое и дикое, что прорвалось в нем и доводило его бешенство до крайних пределов, было своего рода стыдом: человек как бы нагой, безоружный и беззащитный должен терпеть, когда чужие руки роются в его платье, когда чужие люди обшаривают его тело; слушать об этом – все равно что слушать об изнасиловании женщины. Симон пьянел от жажды мести и алчно желал пролить кровь за это. Нет, таких порядков и обычаев никогда не бывало в Норвегии! Что же, хотят приучить норвежских дворян переносить подобные вещи? Нет, не будет этого!

Ему делалось нехорошо от страха перед тем, что он сейчас увидит, – боязнь стыда, который он заставит испытать другого человека, увидев его в таком состоянии, преобладала у него над всеми другими чувствами, когда Улав Кюрнинг отомкнул дверь. ведущую в камеру Эрленда.

Эрленд лежал на полу, растянувшись наискось от одного угла камеры до другого; он был такого высокого роста, что едва хватало места, чтобы он мог вытянуться во всю свою длину, Толстый слой сухой грязи на полу под ним был покрыт соломой и одеждой, я тело было прикрыто темно-синим, подбитым мехом плащом, до самого подбородка, так что мягкий серо-коричневый куний мех воротника смеши-

вался с черной всклокоченной, курчавой бородой, которая выросла у Эрленда за время его заключения.

Губы казались совершенно бескровными, а лицо у него было белым как снег. Крупный прямой треугольник носа поднимался неестественно высоко над впалыми щеками, тронутые сединой волосы были откинуты назад потными, раздельными прядями с высокого благородного лба, на каждом из ввалившихся висков было по большому багровому пятну, словно что-то прижимали или прикладывали к ним.

Медленно, с трудом открыл он большие, синие, словно море, глаза и, узнав вошедших, сделал попытку улыбнуться; голос его звучал как-то незнакомо и неясно.

– Садись, свояк… – Он шевельнул толовой в сторону пустой кровати. – Да, я теперь узнал кое-что новое, с тех пер как мы виделись а последний раз.

Улав Кюрнинг нагнулся над Эрлендом и спросил, не нужно ли ему чего. Не получив ответа, – очевидно, потому, что Эрленд не в силах был говорить, – он снял с него плащ. На Эрленде были только полотняные штаны и обрывки рубахи; зрелище распухшего и потерявшего свой естественный цвет тела возмутило и потрясло Симона, и его охватил ужас омерзения. Он невольно задался вопросом: испытывает ли Эрленд нечто подобное? По лицу того промелькнула тень краски, когда Улав вытирал ему руки и ноги тряпкой, намоченной в сосуде с водой. И когда Улав опять накинул на него плащ, Эрленд стал поправлять его, слегка шевеля руками и

ногами, а потом подтянул его подбородком, чтобы закрыться плащом совсем.

– Да… – сказал Эрленд как будто более знакомым голосом, и улыбка стала немного заметнее на бледных губах. – Следующий раз… будет хуже! Но я не боюсь… Пусть никто не боится… они ничего из меня не вытянут… таким способом.

Симон ощутил, что тот говорит правду. Пыткой нельзя будет принудить Эрленда, сына Никулауса произнести хоть слово. Он, который мог сделать и выдать все, что угодно, в порыве гнева или легкомыслия, никогда не дал бы сдвинуть себя с места силой, хотя бы на волосок. И Симон почувствовал, что сам Эрленд едва ли ощущает тот стыд и оскорбление, которые Симон переживал за него: он был преисполнен самолюбивой радости от сознания, что переупрямил своих палачей, и удовлетворенной уверенности в своей выносливости. Он, всегда столь жалко уступавший, когда ему приходилось встречаться с твердой волей, он, несомненно способный сам быть жестоким в минуту страха, воспрянул теперь, когда в этой жестокости почуял противника, который был слабее его самого.

Но Симон ответил, процедив сквозь зубы:

– Следующего раза… верно, не будет. Это скажете вы, Улав? Улав покачал головой, и Эрленд сказал с тенью своей прежней развязной игривости:

– Да, если бы я мог… поверить в это… столь же твердо,

как вы! Но эти ребята едва ли… удовлетворятся… этим… – Он заметил подергивания, пробегавшие по мускулистому, тяжелому лицу Симона. – Нет, свояк… Симон! – Эрленд хотел подняться на локте, от боли издал странный, подавленный стон и опять повалился, потеряв сознание.

Улав и Симон растерянно захлопотали около него. Когда обморок прошел, Эрленд полежал немного с открытыми глазами, потом заговорил более серьезно:

– Разве вы… не понимаете?.. Это значит… много… для Магнуса… узнать… каким людям он не должен доверять… когда они с глаз долой… Столько недовольства… и смут…, столько их было здесь…

– Ах, если он думает, что этим успокоит недовольство… – сказал Улав Кюрнинг угрожающе. Тогда Эрленд произнес тихим и ясным голосом:

– Я так испортил это дело… что мало кто сочтет… что имеет значение, как поступают со мной… Я и сам знаю…

Те оба покраснели. Симон думал прежде, что сам Эрленд не понимал этого… И в разговоре они никогда раньше не намекали на фру Сюнниву. Теперь он не удержался и сказал, полный отчаяния:

– Как ты мог… поступить так… безумно легкомысленно?

– Да и я этого не понимаю… теперь, – сказал Эрленд откровенно. – Но… черта ли! Как я мог думать, что она умеет читать по-писаному! Она казалась… очень неученой…

Глаза у него опять закатились, он был готов снова впасть

в обморок.

Улав Кюрнинг пробормотал, что он сходит и принесет все необходимое, и ушел.

Симон наклонился над Эрлендом, который опять лежал с полузакрытыми глазами.

– Свояк… Был ли… был ли Эрлинг, сын Видкюна, с тобой в этом деле?

Эрленд слегка повертел головой, медленно улыбнулся, подняв взор.

– Клянусь Богом, нет. Мы думали… или у него не хватит храбрости, чтобы идти с нами… или же он будет всем распоряжаться. Но не спрашивай, Симон… Я ничего не скажу… никому… Тогда буду знать, что не проговорюсь.

Вдруг Эрленд прошептал имя жены. Симон пригнулся к нему… Он ждал, что тот попросит его привести теперь Кристин к нему. Но Эрленд быстро сказал, словно в припадке лихорадки:

– Она не должна знать об этом, Симон. Скажи – пришел королевский приказ никого не допускать ко мне. Отвези ее к Мюнану… в Скугхейм… Слышишь? Эти французские… или эфиопские… новые друзья… нашего короля… еще не сдадутся! Увези ее из города, пока об этом не стало известно в Осло!.. Слышишь, Симон?

– Да.

Но каким образом ему добиться этого, он не имел никакого понятия.

Эрленд немного полежал с закрытыми глазами; потом сказал с каким-то подобием улыбки:

– Я сегодня ночью думал… Когда она родила нашего старшего… ей, наверное, было не лучше тогда… если судить по тому, как она стонала. И она смогла это вытерпеть… семь раз… ради нашей утехи… Тогда, конечно, и я смогу…

Симон молчал. О невольном смущении, которое он испытывал перед глубочайшими тайнами мук и наслаждений, какие могла явить ему жизнь, Эрленд, казалось, даже и не имел понятия. Он обращался с самым скверным и с самым прекрасным столь же простодушно, как неразумный мальчик, которого друзья повели с собой в бордель, пьяного и любопытного…

Эрленд нетерпеливо завертел головой:

– Эти мухи… хуже всего… Они, верно, созданы нечистым!

Симон снял шапку и стал бить ею и вверх и вниз по густым роям сине-черных мух, так что те целыми тучами, жужжа, взвились к потолку. Он в бешенстве втаптывал в грязь тех, которые падали, оглушенные, на пол.

Это не очень помогло, потому что отдушина в стене оставалась открытой, – минувшей зимой она прикрывалась деревянным щитом с прорезанными в нем отверстиями, закрытыми пузырем, но тогда в помещении было очень темно.

Симон еще продолжал заниматься этим, когда вернулся Улав Кюрнинг со священником, который нес чашу с питьем.

Священник бережно приподнял Эрленду голову и поддерживал его, пока тот пил. Много проливалось ему на бороду и стекало по шее, а потом он лежал спокойно и невозмутимо, как дитя, когда священник вытирал его тряпкой.

Симон был в таком состоянии, словно что-то бродило в его теле; кровь глухо стучала и стучала у него где-то под ушами, и сердце билось как-то странно и беспокойно.

Мгновение он постоял, глядя из двери неподвижным взором на длинное вытянутое тело под плащом. Лихорадочный румянец ходил теперь волнами по лицу Эрленда, он лежал с полузакрытыми блещущими глазами, но улыбался свояку – какой-то тенью своей удивительной, невзрослой улыбки.

* * *

На следующий день, когда Стиг, сын Хокона, сидел у себя в Мандвике за столом и завтракал со своими гостями – господином Эрлингом, сыном Видкюна, и его сыном Бьярне, – они услышали топот копыт одинокой лошади во дворе. Сейчас же после этого дверь в господскую горницу распахнулась, и к ним быстрыми шагами подошел Симон, сын Андреса. Он вытер лицо рукавом – был забрызган грязью с ног до головы после езды.

Трое мужчин за столом поднялись с места навстречу прибывшему с легкими восклицаниями полупривета-полуизумления.

Симон не поздоровался, – он стоял, опираясь обеими руками на рукоять своего меча; он сказал:

– Хотите услышать изумительные, потрясающие вести? Эрленда сына Никулауса, взяли и растянули на дыбе… какие-то иноземцы, которых король прислал допросить его…

Мужчины вскрикнули и столпились вокруг Симона. Стиг ударил рукой об руку:

– Что он сказал?

В то же время они невольно обернулись к господину Эрлингу – и Стиг и Бьярне. Симон разразился громким смехом – все хохотал, хохотал.

Он рухнул на кресло, придвинутое к нему Бьярне, взял чашу с пивом, которую подал ему молодой человек, и стал жадно пить.

– Почему вы смеетесь? – сурово спросил господин Эрлинг.

– Я смеялся над Стигом. – Симон сидел, немного нагнувшись вперед и упираясь руками в колени, обтянутые испачканными глиной штанами. Он еще два-три раза фыркнул от смеха. – Я подумал… ведь мы все здесь сыновья знатных людей… Я ожидал, что вы придете в гнев, узнав; что такие дела могут совершаться с одним из равных вам людей, что вы прежде всего спросите, как это могло случиться.

…Не могу сказать, чтобы я знал так уж точно, что гласит в подобных случаях закон. С тех пор как умер мой повелитель король Хокон, я довольствовался тем, что готов был

предоставить свои услуги его преемнику, когда тому угодно будет распоряжаться мной в военное или мирное время, – а то сидел себе спокойно дома. Но могу сказать только, что в этом деле с Эрлендом, сыном Никулауса, поступили незаконно. Его товарищи рассмотрели его дело и вынесли свой приговор; по какому праву они присудили его к смерти – не знаю… Потом ему была дарована пощада и дана охранная грамота, чтобы он мог явиться на свидание с королем, своим родичем, – не позволит ли тот Эрленду примириться с ним. С тех пор человек просидел в башне акерснесского замка около года, а король был за границей почти все это время, несколько писем было отправлено в оба конца – и ничего не воспоследовало. Потом король присылает сюда каких-то холуев – они и не норвежцы и не королевские дружинники – и пытается допросить Эрленда способом, неслыханным но отношению к норвежцу, обладающему правами дружинника… А между тем в стране царит мир, и родичи Эрленда и равные ему люди стекаются толпами в Тюнсберг па празднование королевской свадьбы… Какого вы мнения об этом, господин Эрлинг?

– Я такого мнения… – Эрлинг уселся на скамейку прямо против него. – Я такою мнения, что вы рассказали ясно и точно, Симон Дарре, о том, как обстоит это дело. Мне думается, король может сделать лишь одну их трех вещей: или приказать привести в исполнение тот приговор суда, который был вынесен Эрленду в Нидаросе, или назначить новый

суд из дружинников и приказать, чтобы дело против Эрленда велось человеком, не имеющим звания рыцаря, – и тогда те присудят Эрленда к изгнанию с предоставлением законного срока для выезда из пределов государств короля Магнуса. Или же он должен позволить Эрленду примириться с собой. И это будет самым умным из всего, что он может сделать.

Это дело, как мне кажется, настолько теперь ясно, что, кому бы вы ни изложили его в Тюнсберге, всякий пойдет за вами и вас поддержит. Там сейчас Ион, сын Хафтура, и ею брат… Эрленд им родич, точно так же, как и королю… Сыновья Огмюнда тоже поймут, что несправедливость тут неразумна. Прежде всего вы должны, конечно, обратиться к предводителю дружины – добиться от него и господина Поля, сына Эйрика, созыва собрания королевских вассалов из числа находящихся сейчас в городе и наиболее подходящих, чтобы взяться за это дело…

– А вы, господин, и ваши родичи не хотите поехать со мной?

– Мы не собираемся на празднества, – коротко ответил Эрлинг.

– Сыновья Хафтура молоды… а господин Поль стар и хил… А другие… Вы сами лучше всех знаете, господин, – правда, у них есть некоторая сила, благодаря королевским милостям и тому подобному, но… Эрлинг, сын Видкюна, что значат они по сравнению с вами? Вы, господин, вы обладали такой властью в этой стране, как никто из других знат-

ных людей, начиная… я уж не знаю с какого времени. За вашей спиной, господин, стоят древние роды, из которых народ нашей страны знал каждого человека с самых незапамятных времен, с каких только начинается предание о дурных и хороших временах в наших долинах. А по отцу… Что такое Магнус, сын Эйрика, или сыновья Хафтура из Сюдрхейма против вас? Стоит ли говорить об их богатстве по сравнению с вашим? Те советы, что вы мне даете… Это потребует времени, а французы сидят в Осло, и вы можете побожиться, что они не сдадутся… Ясно, что король хочет попытаться править в Норвегии по обычаям, принятым в чужих странах; я знаю, в заморских землях повелось так, что король ставит себя выше закона, когда ему это заблагорассудится, если может найти охочих людей среди своего рыцарства, которые поддержат его прочив своих же собственных сотоварищей, равных им по положению…

Улав Кюрнинг уже разослал письма, и господские сыновья, которых он нашел, готовы идти с ним… Епископ тоже обещал написать… Но все это смятение, все эти раздоры, Эрлинг, сын Видкюна, вы могли бы прекратить в тот самый час, когда выступили бы перед королем Магнусом. Вы – первый наследник всей прежней власти знатных господ в Норвегии; король знает, что за вашей спиной встанем мы все…

– Не могу сказать, чтобы я замечал это раньше, – с горечью произнес Эрлинг. – Ты говоришь с таким жаром за своего свояка, Симон!.. Но неужели же ты не понимаешь? Те-

перь я не могу. Ведь тогда скажут: в тот самый час, когда на Эрленда так нажали, что можно было опасаться, хватит ли у него сил держать язык за зубами… выступаю я!

На минуту стало тихо. Потом Стиг опять спросил:

– А что… Эрленд проговорился?

– Нет, – отвечал Симон нетерпеливо. – Он молчал как рыба. И я думаю, так это будет и дальше. Эрлинг, сын Видкюна, – сказал он с мольбой, – ведь он же ваш родич… Вы с ним были друзьями!..

Снова последовало молчание.

Эрлинг несколько раз вздохнул коротко и тяжело, затем заговорил горячо, убежденно:

– Да… Слушайте, Симон, сын Андреса! Полностью ли вы понимаете, что взял на себя Эрленд, сын Никулауса? Положить конец этому положению, когда у нас общий король со шведами… этому образу правления, которого никогда еще раньше не испытывали… которое, кажется, приносит нашей стране все больше и больше бедствий и затруднений с каждым новым годом… вернуться обратно к старому правлению, нам известному, о котором мы знаем, что оно несет с собой удачу и благоденствие. Разве вы не понимаете, что это было замыслом для дерзкого и умного человека?.. И разве вы не понимаете, что теперь, после него, этот замысел трудно подхватить другому? Дело сыновей Порее он погубил, других людей королевского рода, вокруг которых мог бы сплотиться народ, больше нет. Быть может, вы скажете, что если

бы Эрленду удалось осуществить свое намерение и привезти в Норвегию принца Хокона, то он сыграл бы на руку мне? А что дальше, после высадки на берег с этим мальчиком… Все эти… мальчишки… едва ли бы оказались в силах продвинуться в своих замыслах одни… без других, разумных людей, которые помогли бы справиться с тем, что предстояло… Вот как обстоит дело… Решаюсь в этом признаться. Один Господь Бог знает, что я не только не имел никакого барыша, но скорее должен был откладывать попечение о своем собственном имуществе на протяжении тех десяти лет, что я прожил в беспокойстве и трудах, в страданиях и бесконечных мучениях… Кое-кто в этой стране это понял, и этим я и должен удовольствоваться! – Он с силой ударил кулаком по столу. – И разве вы не понимаете, Симон, что человек, взяв на свои плечи столь огромные замыслы, что никто не ведает, не шло ли тут дело о благополучии всех нас, жителей этой страны, и наших потомков на долгие времена… и сложив это все с себя вместе со штанами на край кровати какой-то распутной бабы… Кровь Христова! Да ведь он вполне бы заслужил такую же участь, какая выпала на долю Эудюна Хестакурна!

Потом он сказал немного спокойнее:

– А впрочем, не в том дело, что я не желаю Эрленду спасения, и вы не должны думать, что меня не возмущает все, о чем вы сообщили. И я полагаю, что если вы последуете моему совету, то найдете достаточно людей, которые пойдут

вместе с вами в этом деле. Но не думаю, чтобы я мог принести вам такую пользу своим сопутствием, чтобы ради этого мне ехать незваным к королю.

Симон тяжело поднялся с места. Лицо у него посерело от усталости. Стяг, сын Хокона, подошел к нему и взял за плечи, – сейчас подадут поесть; он нарочно не хотел впускать в горницу посторонних, пока не кончился, разговор. Но сейчас можно подкрепить свои силы, поев и попив, а потом соснуть.

Симон поблагодарил; немного погодя он поедет дальше, если Стиг предоставит ему свежую лошадь. И если тот сможет приютить у себя на ночь его слугу Иона Долка… Симону пришлось вчера вечером оставить своего слугу позади, потому что лошадь Иона не могла угнаться за его Дигербейном.[54] Да, он скакал большую часть ночи… считал, что отлично знает дорогу сюда… но все же несколько раз сбивался с пути…

Стиг просил его подождать до завтра, тогда и он сам с ним поедет, – во всяком случае, хоть часть пути… Впрочем, охотно съездит с ним и в Тюнсберг…

– Здесь мне нечего больше делать. Я хочу лишь пройти в церковь… Раз уж я приехал сюда, хочу еще помолиться на могиле Халфрид…

Кровь шумела и звенела колоколами в его утомленном теле, сердце оглушительно колотилось в груди. От усталости

---

[54] *Дигербейн – по-норвежски тонконогий.*

он был точно в полусне, словно падал куда-то в пропасть. Но услышал свой собственный голос, произнесший ровно и спокойно;

– Не пожелаете ли составить мне компанию, господин Эрлинг? Я знаю, она любила вас больше всех своих родичей…

Он не глядел на него, но почувствовал, как тот весь застыл, И немного погодя услышал сквозь шумящий и поющий звук своей крови отчетливый и учтивый голос Эрлинга:

– Охотно составлю, Симон Дарре… Какая скверная погода! – сказал он, повязывая на себе пояс с мечом и набрасывая на плечи толстой плащ.

Симон стоял неподвижно как вкопанный, пока Эрлинг не был готов. Потом они вышли.

На дворе лил проливной осенний дождь, а с моря наползал такой густой туман, что поля и пожелтевшие лиственные рощи по обеим сторонам тропинки можно было разглядеть не дальше, чем на расстоянии двух-трех коней. До церкви было недалеко. Симон взял ключ в усадьбе священника, расположенной как раз рядом, и обрадовался, увидев там все новый народ, приехавший сюда после его отъезда из Мандвика: значит, можно избегнуть долгих разговоров.

То была маленькая каменная церковка с единственным алтарем. Симон преклонил колена у белой мраморной плиты, отойдя немного от Эрлинга, сына Видкюна, и глядя рассеянно на те же старые изображения и украшения, которые уже видал когда-то столько сотен раз, читал молитвы да кре-

стился в положенных местах, не сознавая ничего.

Он и сам не понимал, как это у него вышло. Но теперь возврата нет. О том, что ему нужно будет сказать, он не имел ни малейшего понятия; но, хоть и чувствовал тошноту от страха и стыда за самого себя, знал, что он все-таки испытает это средство.

Ему вспомнилось бледное, болезненное лицо немолодой женщины в полумраке закрытой кровати, ее милый, нежный голос, – в тот послеполуденный час, когда Симон сидел на краю ее постели и она рассказывала ему об этом. То было за месяц до рождения ребенка, она сама ждала, что он будет стоить ей жизни, но радовалась и желала купить их сына и такой дорогой ценой. Бедный малютка, лежащий там внизу, под плитой, в гробике, у плеча своей матери! Нет, того, что он хотел было сделать, не может сделать никто из людей!..

Но побелевшее лицо Кристин! Она уже знала все, когда Симон вернулся домой из Лкерснеса в тот день. Бледная и спокойная, заговорила она об этом и стала его расспрашивать, но он увидел ее глаза на самый короткий миг и больше не посмел встречаться с их взглядом. Где она сейчас и что она делает он не знал, сидит ли у себя дома, или на свидании с мужем, или же ее убедили уехать в Скугхейм, – Симон передал все это в руки Улава Кюрнинга к отца Инголфа… Больше он был не в силах выдерживать, и, кроме того, ему показалось, что нельзя терять времени…

Симон не заметил, что он закрыл себе лицо руками. Хал-

фрид… Ведь в этом же нет ни греха, ни стыда, моя Халфрид!.. И все же. То, что она рассказала ему, своему мужу… о своем горе и о своей любви, которые заставляли ее оставаться у этого старого дьявола. Однажды он уже убил свое дитя под сердцем матери… а она осталась с ним, потому что не хотела подвергать искушению своего дорогого друга…

Эрлинг, сын Видкюна, преклонил колена без всякого выражения на бесцветном, правильном лице. Руки он прижимал к груди, сложив их ладонями; время от времени осенял себя крестным знамением спокойным, мягким и красивым движением руки и опять складывал пальцы рук концами вместе.

Нет. Это столь ужасно, что никто из людей не в состоянии это сделать. Даже ради Кристин этого он сделать не может! Оба поднялись на ноги одновременно, поклонились алтарю и направились к выходу из церкви. Шпоры Симона тихонько позвякивали при каждом его шаге по каменному полу. Они еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как вышли из дому, и Симон не знал, что сейчас произойдет.

Он замкнул церковную дверь, и Эрлинг, сын Видкюна, пошел впереди него через кладбище. Под небольшой крышей над кладбищенской калиткой он остановился. Симон шел за ним; они немного постояли, прежде чем выйти под моросивший дождь.

Эрлинг, сын Видкюна, заговорил спокойно и ровно, но Симон почувствовал безграничное бешенство, бушевавшее

в душе спутника, – и не смел поднять глаз.

– Во имя дьявола, Симон, сын Андреса, что вы хотите сказать этим… Что вы тут… подстроили? Симон не мог ответить ни слова.

– Вы полагаете, что можете мне угрожать… и тогда я поступлю по вашему желанию… потому что вы, быть может, слышали какие-нибудь лживые слухи о событиях, которые произошли… в то время, когда вы едва ли еще разучились титьку сосать… – Его гнев постепенно нарастал.

Симон покачал головой.

– Я подумал, господин, что когда вы вспомните ту, которая была лучше самого чистейшего золота… то, может быть, пожалеете жену и детей Эрленда.

Господин Эрлинг взглянул на него, не ответил, но принялся сдирать мох и лишай с камней кладбищенской стены. Симон проглотил слюну и смочил губы языком.

– Я сам не знаю, о чем я думал, Эрлинг, сын Видкюна… Может быть, когда вы вспомните о той, которая претерпела все те тяжкие годы… без всякого иною утешения или помощи, кроме одного только Бога… то захотите помочь стольким людям… А вы можете! Раз вы не могли помочь ей. И если вы раскаивались когда-либо, что уехали в тот день из Мандвика, дозволив Халфрид остаться во власти господина Финна…

– Но я не раскаиваюсь! – Теперь голос Эрлинга словно резал. – Потому что знаю, что она никогда… Но мне думается,

ты этого не поймешь. Потому что если бы ты полностью понимал хоть на один-единственный миг, как горда была она, та женщина, которую ты получил в жены… – Он засмеялся от гнева. – Тогда ты не сделал бы этого. Я не знаю, что тебе известно… Но вот что ты, во всяком случае, можешь узнать. Меня послали, – ибо Хокон лежал больной в то время, – чтобы я увез ее домой к ее родичам. Элин и она росли вместе, как сестры они были почти ровесницами, хотя Элин была ей теткой… Мы с ней… Дело в том, что если бы она вернулась домой из Мандвика, мы вынуждены были бы встречаться с ней постоянно. Мы сидели и беседовали всю ночь напролет на галерее стабюра – того, что с головами змея, – за каждое слово, что нами было сказано, мы с ней оба можем ответить перед Богом в день Страшного суда. Пусть ОН ответит за нас, почему это так случилось…

Хотя Бог вознаградил ее наконец за благочестие. Дал ей хорошего супруга в утешение за того, который был у нее раньше… дал такого молокососа, каким ты был… что валялся с ее же собственными служанками в ее собственном доме… и давал ей вскармливать своих пащенков. – Он отшвырнул слепленный в мяч комок мха.

Симон стоял недвижимый и немой. Эрлинг отодрал еще кусок мха и отбросил его в сторону.

– Я сделал то, о чем она просила. Ты слышишь? Иного выхода не было. Где бы еще мы ни встретились на свете, мы бы с ней… Мы бы с ней… Блуд – некрасивое слово. Крово-

смешение… еще хуже…

Симон шевельнул головой и, не сгибая шеи, слегка кивнул.

Он сам понимал… Будет смешно говорить о том, что он думал, Эрлингу, сыну Видкюна, было тогда немногим больше двадцати лет, он был изящен и учтив, Халфрид любила его так, что готова была целовать следы его ног на покрытой росою траве двора в то весеннее утро… А он, пожилой, ожиревший, некрасивый мужик… и Кристин? Ей-то, конечно, никогда и в голову не придет, что будет опасно для чьего-нибудь душевного здравия, если они проживут с ней в одном доме хоть двадцать лет. Уж это-то он научился понимать, на пользу для себя…

И вот он сказал тихо, почти смиренно:

– Она не могла допустить, чтобы даже невинному дитяти, которое ее служанка прижила от ее мужа, жилось плохо на свете. Это она просила меня поступить с ребенком по справедливости, насколько это было в моей власти. Ах, Эрлинг, сын Видкюна!.. Ради бедной невинной жены Эрленда… Она умрет от горя… Мне казалось, я должен был испытать все средства, когда стану искать помощи ей и ее детям…

Эрлинг, сын Видкюна, стоял, прислонившись к столбу ворот. Лицо его было таким же спокойным, каким оно обычно бывало, а голос – учтивым и холодным, когда он опять заговорил:

– Мне нравилась Кристин, дочь Лавранса, хоть я и мало

с ней встречался… Она прекрасная и достойная женщина… И я повторял вам уже много раз, Симон Дарре, – я уверен, что вы получите помощь, если захотите последовать моему совету. Но я не совсем понимаю, что вы имели в виду под этой… странной выдумкой. Не можете же вы думать, что из-за того, что мне пришлось подчиниться моему дяде, когда он решал в вопросе моего брака, – я ведь был тогда несовершеннолетним, а девушка, которую я любил больше всех, была уже просватана за другого, когда мы познакомились… Супруга Эрленда, конечно, не так уж невинна, как вы говорите. Да, это правда, вы женаты на ее сестре, это так; но ведь вы, а не я, повинны в том. что нам; пришлось вести этот… странный разговор… И потому вам придется стерпеть, что я говорю об этом. Помнится, когда Эрленд женился на ней, немало болтали… будто эта сделка состоялась против воли Лавранса, сына Бьёргюльфа, и вопреки его решению, – но девушка больше думала о том, чтобы проявить свою волю, чем о том, чтобы слушаться отца и оберегать свою честь. Конечно, она тем не менее может быть хорошей женой… Но ведь она получила Эрленда, значит, у них было время и радости и утех. Я никогда не поверю, чтобы Лавранс очень любил этого своего зятя… Ведь он-то уже выбрал для своей дочери другого мужа, когда она познакомилась с Эрлендом… Я знаю, она была уже просватана… – Он внезапно умолк, на мгновение поглядел на Симона и довольно смущенно отвернулся от него.

Сгорая от стыда, Симон низко склонил голову на грудь, но все же сказал тихо и твердо:

– Да, она была обещана мне.

С минуту они стояли, не смея глядеть друг на друга. Затем Эрлинг отшвырнул последний комок мха, резко повернулся и вышел под дождь. Симон остался стоять… Но его собеседник, который уже отошел немного и начал скрываться в тумане, остановился и нетерпеливо помахал ему.

Я вот они пошли обратно, столь же молча, как и пришли сюда. Когда они уже подходили к дому, господин Эрлинг сказал:

– Я сделаю это, Симон Дарре. Подождите до завтра, мы поедем вместе, все четверо.

Симон взглянул на Эрлинга… Лицо его было искажено от зла и боли. Он хотел поблагодарить, но был не в силах, ему пришлось крепко прикусить себе губу, потому что нижняя челюсть у него страшно дрожала.

Когда они проходили в дверь горницы, Эрлинг словно случайно дотронулся до плеча Симона. Но каждый из них знал о другом, что они не смеют взглянуть друг на друга.

На следующий день, когда они готовились к отъезду, Стиг, сын Хокона, все навязывал Симону свою одежду, – тот не захватил с собой ни одной смены. Симон оглядел себя, – его слуга почистил и выколотил ему платье, однако это не помогло: платье сильно пострадало после такого долгого пути в плохую погоду. Но Симон хлопнул себя по ляжкам.

– Я слишком толст, Стиг… Да и на пиру мне не бывать!.. Эрлинг, сын Видкюна, стоял, поставив ногу на скамью, и сын подвязывал ему позолоченную шпору, – господин Эрлинг словно старался обойтись сегодня по возможности без слуг. Рыцарь рассмеялся со странным раздражением.

– Пожалуй, не повредит, если по Симону Дарре будет видно, что он не жалеет себя, чтобы услужить свояку… а является прямо с большой дороги со своими смелыми и добросердечными речами. У него язык прекрасно подвешен, у нашего с тобой прежнего свояка, Стиг! Одного я боюсь… что он сам не будет знать, когда ему следует остановиться.

Симон стоял, густо покраснев, но ничего не сказал. Во всем, что Эрлинг, сын Видкюна, говорил ему со вчерашнего дня, он замечал насмешку с обидой пополам… и какую-то странную доброту… и твердую волю довести дело до конца – раз уж он за него взялся.

И вот они поехали на север от Мандвика, – господин Эрлинг, его сын и Стиг с десятью прекрасно одетыми и хорошо вооруженными слугами. Симон, ехавший со своим единственным слугой, подумал, что у него должно было бы хватить ума ехать ко двору с более подобающей свитой и вооружением, – Симону Дарре из Формо нет надобности ехать вкупе со своими прежними родичами, словно маленькому человеку, который ищет их поддержки в своем бессилия. Но ему было все равно. Он так устал и был так разбит от всего совершенного им вчера, что теперь ему почти казалось без-

различным, каков будет исход этой поездки.

* * *

Симон всегда делал вид, что не питает доверия к скверным слухам о короле Магнусе. Сам он был не таким уж святым человеком, чтобы не вынести грубой шутки среди взрослых мужчин, Но когда люди подсаживались друг к другу и, тесно сблизив головы, начинали с содроганием бормотать о темных к тайных грехах, Симон всегда чувствовал себя неловко, И ему казалось непристойным верить или внимать чему-нибудь гадкому о короле, на верность которому он присягал.

И все же он изумился, стоя перед молодым королем. Он не видал Магнуса, сына Эйрика, с тех пор, как тот был ребенком, и все-таки ждал, что в нем проявится нечто женственное, липкое, нездоровое; однако перед ним был один из самых красивых молодых людей, на каких когда-либо падал его взгляд, и у него был мужественный и царственный вид, несмотря на всю его молодость и хрупкую стройность.

На короле был голубой с зеленым кафтан, ниспадавший до самых пят широкими складками и перехваченный в тонком стане позолоченным поясом; он был высок ростом и еще по-юношески худощав, но держался с непринужденным изяществом, несмотря на свою тяжелую одежду. У него были белокурые волосы, лежавшие гладко на красивой голове, но

на концах искусно завитые. Черты его лица были тонки и задорны, цвет кожи свежий, с румянцем на щеках и желтоватым оттенком солнечного загара, глаза ясные, взгляд открытый. Он поздоровался со своими подданными с красивым достоинством и с любезной мягкостью. Потом положил руку на рукав Эрлинга, сына Видкюна, отвел его за собой на несколько шагов в сторону от других собравшихся и поблагодарил за приезд.

Они немного поговорили между собой, и господин Эрлинг упомянул, что у него есть особое дело, в котором он рассчитывает на милость и благосклонность короля. Тут королевские слуги поставили для рыцаря кресло перед почетным королевским сиденьем и, указав трем остальным места несколько подальше, удалились из зала.

Как будто сами собой у Симона появились те обращение и повадка, которые он приобрел в молодости, и так как он наконец сдался и взял у Стига заимообразно длинную коричневую суконную одежду, то и по внешности не отличался от других присутствовавших. Но, сидя здесь, он чувствовал себя словно во сне: был и не был тем юным Симоном Дарре, живым и учтивым сыном рыцаря, который подавал полотенце и носил свечу при Дворе короля Хокона в Осло бесконечно много лет тому назад. Он был и не был Симоном, крестьянином из Формо, жившим относительно привольной и веселой жизнью на севере долины все эти годы, в то время как где-то глубоко в нем лежал и тлел уголек… Но он отвращал

свои мысли от этого. В нем поднималась глухая и грозная воля к возмущению… То не было сознательным грехом или его собственной виной, ему известной, – нет, то сама судьба раздувала тлеющую искру в яркое пламя, а ему приходилось бороться и делать вид, что он ничего не замечает, поджариваясь на медленном огне.

Он встал, когда все другие встали, – король Магнус поднялся со своего места.

– Дорогой родич! – прозвучал его юный, свежий голос. – Мне кажется, дело обстоит так. Принц – мой брат, но ведь мы никогда не пытались содержать Двор и дружину совместно: одни и те же люди не могут служить нам обоим. По-видимому, и Эрленду не приходило в голову, что такое положение вещей может продолжаться, – хотя он в течение некоторого времени сидел на воеводстве под моей державой и вместе с тем был вассалом принца Хокона. Но те из моих людей, которые предпочтут последовать за моим братом Хоконом, получат освобождение от службы мне и свободу искать себе счастья при его Дворе. А кто же они такие – вот это я и намерен узнать из уст Эрленда!

– Тогда, государь, вы должны подумать, не сможете ли вы прийти в этом вопросе к соглашению с Эрлендом, сыном Никулауса. Вам следовало бы выполнить данное вами обещание об охранной грамоте и предоставить вашему родичу возможность переговорить с вами…

– Да, он мой родич и ваш родич, и господин Ивар побу-

дил меня пообещать ему охранную грамоту, но ведь он не сдержал своих кляты на верность мне и не вспомнил о родстве между нами. – Король Магнус тихо рассмеялся и опять положил руку на рукав Эрлинга. – Мои родичи, родич, видно, живут по пословице, которая есть у нас в Норвегии, что родич родичу – худший враг. Ныне я полностью желаю проявить милосердие к своему родичу Эрленду из Хюсабю, ради Господа Бога, девы Марии и моей невесты, – дарую ему жизнь, и имущество, и разрешение обитать здесь, в Норвегии, если он захочет примириться со мной, и законный срок на выезд из моих стран, если он пожелает поехать к своему новому повелителю, принцу Хокону. Ту же самую милость я окажу каждому, кто был в союзе с Эрлендом; но я хочу знать, кто они такие и которые из моих людей, живущих по всей стране, служили своему государю лукаво. Что скажете вы, Симон, сын Андреев, – я знаю, ваш отец был вернейшей опорой моего деда, вы сами с честью служили королю Хокону, – разве вы не считаете, что я имею право производить расследование по этому делу?

– Я считаю, государь, – Симон выступил вперед и опять поклонился, – что пока ваша милость правит по законам и обычаям нашей страны милосердно, вы, несомненно, никогда не узнаете, что за люди могли бы возыметь в мыслях беззаконие и измену своему королю. Ибо пока народ нашей страны видит, что ваша милость соблюдает те права и обычаи, которые установили ваши далекие предки, ни один че-

ловек в этом государстве, разумеется, не помыслит о нарушении мира. А те, которым, может быть, когда-то и казалось трудным поверить, чтобы вы, государь, при вашей молодости, были способны управлять с мудростью и твердостью двумя большими государствами, те смолчат и передумают.

– Это так, государь, – вставил Эрлинг, сын Видкюна, – ни один человек в нашей стране не думал отказывать вам в послушании в том, чего вы требуете по праву…

– Не думал отказывать? Значит, вы так полагаете? Что Эрленд невиновен в предательстве и государственной измене… если внимательно рассмотреть дело?

На мгновение казалось, что господин Эрлинг не находит ответа; тогда взял слово Симон:

– Вы, государь, – наш король, от вас каждый ждет, что вы будете карать беззаконие по закону. Но если вы пойдете путем Эрленда, то может статься, что те, которых вы сейчас так ревностно стремитесь обнаружить, выступят вперед и сами назовут свои имена, – или же другие люди, которые могут начать размышлять о том, все ли чисто в этом деле… Ибо о нем поднимется много разговоров, если ваша милость будет и впредь поступать так, как вы грозите, со столь известным и знатным человеком, как Эрленд, сын Никулауса.

– Что вы хотите этим сказать, Симон, сын Андреев? – резко сказал король, внезапно покраснев.

– Симон хочет сказать, – вмешался Бьярне, сын Эрлинга, – что вашей милости, пожалуй, будет невыгодно, если лю-

ди примутся расспрашивать, почему Эрленд не должен пользоваться теми правами, которые предоставлены всем, кроме воров и злодеев. Быть может, тогда люди вспомнят и о других внуках короля Хокона…

Эрлинг, сын Видкюна, резко повернулся к сыну, – вид у него был гневный, – но король сухо сказал:

– А вы не считаете изменников злодеями?

– Никто не назовет их так, если их замыслы увенчаются успехом, государь, – отвечал Бьярне.

Одно мгновение все стояли молча. Потом Эрлинг, сын Видкюна, произнес:

– Как ни называть Эрленда, государь, однако не приличествует извращать из-за него закон…

– Тогда надобно изменить закон в этой части, – сказал с жаром король, – если сейчас я не имею власти раздобывать сведения о том, как народ намерен сохранять мне верность…

– И все-таки вы не можете применять поправку к закону, пока она не проведена, иначе это будет притеснением народа. А наш народ со стародавних времен с трудом привыкал к притеснениям со стороны своих королей, – сказал Эрлинг упрямо.

– У меня есть рыцарство и мои верноподданные вассалы, на которых я могу положиться, – отвечал король с мальчишеским смехом. Что скажете вы, Симон?

– Я скажу, государь… Может легко оказаться, что это не

такая уж надежная поддержка… если судить по тому, как поступили рыцарство и дворяне со своими королями в Дании и Швеции… когда у народа не нашлось сил поддержать королевскую власть против них. Но если ваша милость питает такие замыслы, то я прошу вас освободить меня от вашей службы… ибо тогда я предпочту находиться среди крестьянской черни.

Симон говорил все время так спокойно и разумно, что, казалось, король сперва не понял смысла его слов. Потом он расхохотался:

– Вы угрожаете, Симон Дарре? Что же, вы, может, хотите бросить мне перчатку?

– Как вам будет угодно, государь! – сказал Симон все тем же ровным голосом, но вынул из-за пояса свои перчатки и держал их в руке. Тогда юный Бьярне нагнулся и выхватил их.

– Такие перчатки вашей милости неприлично покупать к своей свадьбе! – Он поднял высоко вверх толстые, изношенные перчатки для верховой езды и рассмеялся. – Если станет известно, государь, что вы ищете такие перчатки, то вам могут предложить их слишком много – и по дешевой цене!

Эрлинг, сын Видкюна, вскрикнул. Казалось, резким движением он смел короля в одну сторону, троих мужчин в другую и потом погнал их через зал к дверям:

– Я должен побеседовать с королем наедине!

– Нет, нет! Я хочу поговорить с Бьярне! – закричал ко-

роль, поспешая за ним.

Но господин Эрлинг вытолкал своего сына вон вместе с остальными.

Некоторое время они разгуливали по двору замка и по скале за стенами его – никто из них ничего не говорил. У Стига, сына Хокона, был очень задумчивый вид, но он по-прежнему хранил безмолвие, как и вообще все время. Бьярне, сын Эрлинга, все время расхаживал с легкой усмешкой на устах.

Немного погодя из замка явился оруженосец господина Эрлинга и передал им просьбу своего господина подождать его в гостинице, – их кони все это время стояли во дворе замка.

Потом они сидели втроем в гостинице. Избегали говорить о происшедшем, – в конце концов стали беседовать о своих лошадях, собаках и соколах. Кончилось тем, что к вечеру Стиг и Симон пустились рассказывать всякие истории о женщинах, У Стига всегда бывал огромный запас подобных историй, но у Симона получалось так, что как только ему что-нибудь приходило на ум, об этом как раз принимался повествовать Стиг. Причем, по словам Стига, получалось, что действующим лицом забавного случая был или он сам, или его знакомые, и происходил этот случай совсем недавно где-нибудь неподалеку от Мандвика, – хотя Симон припоминал, что он слышал подобные россказни в дни своего детства дома, в Дюфрине, от слуг.

Но он ржал и хохотал наперегонки со Стигом. По временам скамейка словно качалась под ним, – он чего-то боялся, но не решался додумать до конца, чего именно. Бьярне тихо смеялся, пил вино и грыз яблоки, теребил капюшон воротника и время от времени рассказывал обрывки каких-нибудь историй, – это были самые неприличные, но столь двусмысленные, что Стиг их не понимал. Бьярне слышал их от одного священника в Бьёргвине, так он сказал.

Наконец явился господин Эрлинг. Сын пошел к нему навстречу, чтобы принять от него верхнюю одежду. Эрлинг гневно повернулся к юноше:

– Ты! – Он швырнул плащ на руки Бьярне, и по лицу отца пробежала тень улыбки, которую он быстро подавил. Он обратился к Симону:

– Ну, вы должны быть довольны, Симон, сын Андреса! Теперь вы можете с уверенностью считать, что недалек тот день, когда вы будете тихо и мирно сидеть у себя по вашим соседним усадьбам, – вы, и Эрленд, и жена его, и все их сыновья…

Симон стал чуточку бледнее в лице, когда поднялся с места и поблагодарил господина Эрлинга. Он знал, что это был за страх, которому он не смел взглянуть в глаза. Но ничего не поделаешь…

* * *

Приблизительно через две недели после этого Эрленд, сын Никулауса, был освобожден. Симон с двумя слугами и Ульв, сын Халдора, ездили за ним в Акерснес и привезли его.

Деревья стояли поникшие, почти голые, ибо за неделю перед тем несколько дней бушевала сильная буря. Уже наступили заморозки – земля глухо звенела под конскими копытами, а поля побелели от инея, когда они въезжали в город. Можно было ожидать снега – небо было ровно затянуто тучами, и день был хмурый и серо-холодный.

Симон заметил, что Эрленд слегка волочил одну ногу, когда выходил во двор замка, и, садясь на лошадь, казался несколько связанным и негибким в своих движениях. К тому же он был очень бледен. Он сбрил себе бороду и подстриг и подправил волосы, – верхняя часть лица у него была теперь мертвенно-желтого цвета, а нижняя – белою, с синевой от сбритой бороды, глаза провалились. Но выглядел он нарядно в длинном темно-синем кафтане и плаще, а прощаясь с Улавом Кюрнингом и раздавая денежные подарки людям, которые стерегли его и носили ему пищу в тюрьму, вел себя подобно богатому вельможе, расстающемуся с толпой во время свадебного торжества.

Первое время, пока они ехали, Эрленд, казалось, мерз, он несколько раз поежился. Потом на его щеках появилось

немного краски, лицо оживилось – словно жизненные соки начали наливаться в нем. Симон подумал: право, Эрленда не легче сломать, чем ивовую ветку.

Они подъехали к их жилью, и Кристин вышла во двор навстречу мужу. Симон пытался не смотреть на них, но не мог.

Эрленд и Кристин поздоровались за руку и обменялись несколькими словами, спокойно и отчетливо сказанными. Они провели это свидание на глазах у всех домочадцев и красиво и благопристойно. Только оба густо покраснели, на мгновение взглянули друг на друга и потом опять потупили взор. Затем Эрленд снова подал жене руку, и они вместе направились к светелке, где должны были жить, пока были в городе.

Симон повернулся, чтобы идти в горницу, где у него с Кристин было до сих пор пристанище. Тут она обернулась к нему с нижней ступени лестницы, ведшей в светелку, и окликнула удивительно звонким, молодым голосом:

– А ты не идешь, зять?.. Покушай сначала… И ты тоже, Ульв!

Она казалась такой юной и гибкой телом, стоя так, слегка повернувшись и глядя через плечо. Вскоре же после своего приезда в Осло она начала повязывать головную повязку новым способом.

Здесь, на юге, только жены маленьких людей носили косынку по-старинному, как сама Кристин всегда носила с первых дней своего замужества, – плотно обтягивая лицо, как

монашеским платом, завязывая концы крестообразно через плечи, так что шея была совершенно закрытой, а по бокам и на затылке, поверх сложенных узлом волос, напуская складками.

В Трондхеймской области было, так сказать, как бы признаком благочестия, повязывать косынку именно таким образом, и он всегда восхвалялся архиепископом Эйливом, как самый пристойный и самый добродетельный обычай для замужних женщин. Но, не желая выделяться, Кристин переняла здесь южную моду, повязывая косынку так, что та лежала у нее гладко на темени и спускалась назад прямо вниз и видны были волосы спереди, а шея и плечи оставались свободными, и притом косы просто подвязывались, чтобы их не было видно из-под края косынки, а головной платок мягко облегал голову, обрисовывая ее форму.

Симон и раньше видел на Кристин этот убор и считал, что он идет ей… Но все же не замечал до этих пор, какой молодой она выглядит в нем. А глаза у нее сияли, точно звезды.

Днем приехали разные люди приветствовать Эрленда: Кетиль из Скуга, Маркус, сын Тургейра, а позднее вечером – сам Улав Кюрнинг, отец Инголф и господин Гютторм, священник церкви святого Халварда. Перед тем как явились священники, пошел снег, немного сухой, мелкий, но шел он сплошной пеленой, и они сбились с дороги и попали в репейник – платье их было сплошь усажено им. Все принялись старательно обирать репей со священников и прибывших с

ними слуг. Эрленд и Кристин обирали его с господина Гютторма; они то и дело краснели и шутили со священником каким-то странно неуверенным и дрожащим голосом, когда смеялись.

Симон усердно пил в первую часть вечера, но совсем не пьянел – только чувствовал какую-то тяжесть во всем теле. Он слышал необычайно остро каждое сказанное слово. Все другие быстро стали очень невоздержанны на язык. И неудивительно: никто из них не был из числа друзей короля.

Теперь, когда все кончилось, ему было до странности не по себе. Все болтали какой-то вздор – громкими голосами и с большой горячностью. Кетиль, сын Осмюнда, был довольно глуповат, его зять Маркус тоже не отличался особым умом. Улав Кюрнинг был человеком здравомыслящим и разумным, но близоруким, а оба священника казались ему тоже не очень толковыми. Все сидели, слушая Эрленда, поддакивали ему, а тот все больше становился похожим на себя самого, каким он всегда бывал, – развязным и легкомысленным. Он взял руку Кристин, положил ее себе на колени и играл ее пальцами, – они сидели так, что касались друг друга плечами. Лицо ее заливал яркий румянец, она не могла отвести глаз от него; когда он украдкой обнял ее стан, губы у нее задрожали, так что она с трудом могла сомкнуть уста…

Вдруг дверь распахнулась, и в горницу вошел Мюнан, сын Борда.

– Последним пришел сам великий бык! – закричал Эр-

ленд, смеясь, вскочил на ноги и пошел навстречу гостю.

– Помоги нам всем Господи и святая Мария-дева!.. Я вижу, тебе и горя мало, Эрленд! – сказал сердито Мюнан.

– А ты думаешь, поможет теперь хныкать да печалиться, родич?

– Никогда не видел я никого тебе подобного… Все свое благосостояние ты погубил…

– Знаешь, я никогда таким не был, чтобы идти в ад с голым задом, лишь бы штаны не попалить! – сказал Эрленд. Кристин засмеялась тихо и шаловливо. Симон положил голову на стол, обхватив ее руками: пусть их думают, что он уже так пьян, что совсем спит… Ему хотелось, чтобы его оставили в покое, чтобы забыли о самом его существовании.

Все было так, как он ожидал, – во всяком случае, как он должен был ожидать. И она тоже. Вот она сидит здесь, единственная женщина среди всех этих мужчин, такая же нежная, скромная, безбоязненная, уверенная. Такой она была и в тот раз… когда обманула его… бесстыжая или безвинная, он и сам не знал. Да нет, неправда, не такой уж была она уверенной, не была она бесстыжей… не была спокойной, хоть и был у нее спокойный вид… Но этот человек околдовал ее, – ради Эрленда она с радостью пойдет и по раскаленным каменьям… А на него, Симона, она наступила, словно для нее он всего лишь холодный бесчувственный камень…

Все это чепуха… Ей хотелось добиться своего, и она ни на что не обращала внимания. Пусть себе радуются… Неуже-

ли ему это не безразлично? Какое ему дело, если они народят себе еще семерых сыновей, – тогда их будет четырнадцать, – как придется делить половину имущества Лавранса, сына Бьёргюльфа! Видно, о своих детях ему не придется беспокоиться: Рамборг не так спешит рожать детей, как ее сестра… Его потомство будет в свое время жить после него в богатстве и в почете. Но ему все это безразлично… сегодня вечером. Ему хотелось еще выпить, но он знал, что сегодня Божьи дары не развеселят его… К тому же придется поднять голову и, быть может, принять участие в разговоре.

– Да ты, наверное, считал себя годным в правители государства! – сказал Мюнан презрительно.

– Нет, ты же понимаешь, мы намечали на эту должность тебя! – расхохотался Эрленд.

– Господи помилуй… Придержи-ка свой язык, любезный!..

Все рассмеялись.

Эрленд подошел к Симону и тронул его за плечо.

– Ты спишь, свояк?..

Симон поднял голову.

Эрленд стоял перед ним, держа кубок в руке:

– Выпей со мной, Симон. Тебя я больше всего должен благодарить за то, что сохранил жизнь… А я дорожу ею, какова бы она ни была, мой милый! Ты стоял за меня как брат… Не будь ты моим свояком, мне бы, наверное, пришлось расстаться с головой!.. А ты мог бы получить мою вдову…

Симон вскочил. Одно мгновение они стояли, глядя друг на друга… Эрленд протрезвел и побледнел, губы его невольно раскрылись…

Симон ударом кулака выбил кубок из рук Эрленда, мед разлился по полу. Затем он повернулся и вышел из горницы.

Эрленд остался стоять. Он вытер полой кафтана свою руку и пальцы, сам не зная, что делает… Оглянулся назад; никто не заметил происшедшего. Он отбросил ногой кубок под скамейку… постоял мгновение… потом тихо вышел вслед за свояком.

Симон Дарре стоял у подножия лестницы, ведшей в светелку. Ион Долк уже выводил его лошадей из конюшни. Он не шевельнулся, когда подошел Эрленд.

– Симон! Симон… Я не знал… Поверь… Я не знал, что говорю!

– Теперь ты знаешь.

Голос Симона был совершенно беззвучен. Он стоял, не шевелясь и не глядя на Эрленда.

Эрленд растерянно огляделся по сторонам. Из завесы туч еще проглядывало мутное пятно месяца, сыпался мелкий, жесткий, зернистый снег. Эрленд поежился от холода.

– Куда?.. Куда ты поедешь? – спросил он неловко, глядя на слугу и лошадей.

– Поискать себе другого пристанища, – коротко ответил Симон. – Ты же понимаешь, здесь я не желаю оставаться…

– Симон! – вырвалось у Эрленда… – О, я не знаю. чего

бы я только не дал, чтобы эти слова не были мною сказаны!..

– И я тоже, – тихо отвечал Симон все тем же голосом. Дверь светелки отворилась. Кристин вышла на галерею с фонарем в руке… перегнулась через перила и посветила вниз.

– А, вы здесь? – спросила она ясным голосом. – Что вы тут делаете?

– Я почувствовал, что мне нужно выйти поглядеть на лошадей, так обычно говорят люди учтивые, – отвечал Симон со смехом, глядя наверх.

– Да, но… вывел лошадей-то ты зачем? – весело изумилась Кристин.

– Да… Бывает, когда шумит в голове, – сказал Симон все так же.

– Так поднимайтесь же сюда! – перебила она светло и радостно.

– Хорошо. Сейчас.

Она вернулась в горницу, а Симон крикнул Иону, чтобы тот отвел лошадей на конюшню. Он повернулся к Эрленду, – тот все продолжал стоять с каким-то странным, отсутствующим видом.

– Я скоро приду. Нам придется… попытаться сделать так, словно ничего не было сказано, Эрленд… ради наших жен. Но все-таки ты, быть может, в состоянии понять хотя бы то, что… что из всех людей на свете мне меньше всего хотелось… чтобы об… этом знал ты! И не забудь, что я не так забывчив, как ты!

Дверь наверху опять отворилась; гости толпой выходили из горницы. Кристин была с ними, а ее служанка несла фонарь.

– Да, – хихикнул Мюнан, сын Борда, – уже поздняя ночь… а я думаю, этим двоим давно уже очень хочется лечь в постель…

– Эрленд! Эрленд! Эрленд! – Кристин бросилась к, нему в объятия, как только они остались вдвоем за дверью светлячки. Она крепко и тесно прижалась к нему. – Эрленд… Ты чем-то огорчен? – шепнула она испуганно, почти касаясь полуоткрытыми губами его уст. – Эрленд? – Она взяла его за виски обеими руками.

Он немного постоял, не крепко держа ее. Потом с тихим стонущим звуком в горле прижал к себе.

Симон пошел к конюшне – ему нужно было что-то сказать Иону, но что – он по дороге забыл. В дверях конюшни немного постоял, поглядел на мутный свет месяца и на падающий снег, – теперь начало валить крупными хлопьями. Ион и Ульв вышли ему навстречу, заперев за собой дверь, и все трое направились вместе к дому, где должны были ночевать.